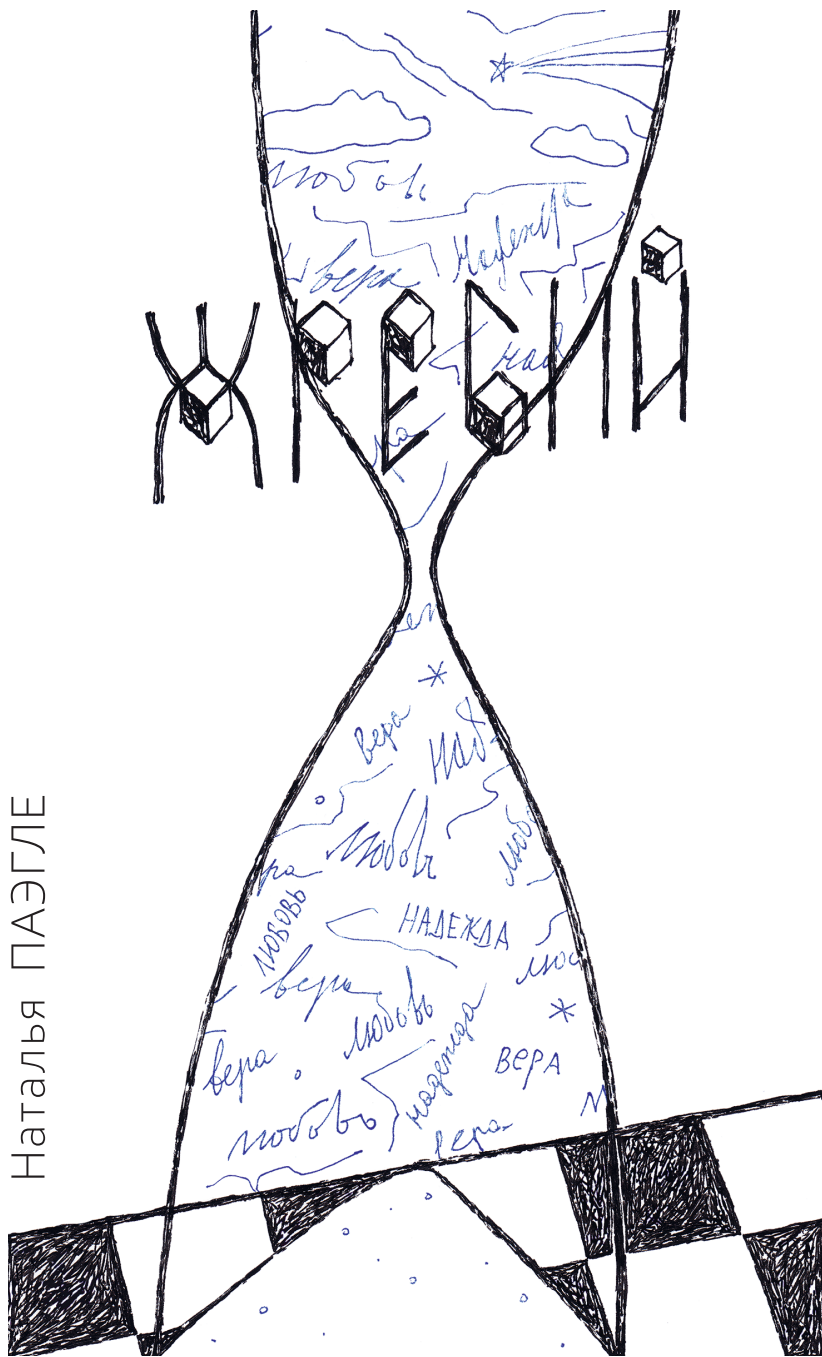


Наталья ПАЭГЛЕ





Наталья Паэгле

ЖРЕБИЙ

Екатеринбург 2020

УДК 821.161.1-32(Паэгле Н. М.)
ББК ШЗЗ(2Рос=Рус)64-8,444
П12

П12 **Паэгле, Н. М.**
Жребий / Н. М. Паэгле. – Екатеринбург : Альфа Принт, 2020. –
516 с. : ил. – Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-907297-15-9

Очередная книга Натальи Паэгле, лауреата нескольких литературных премий, о «лихих 90-х годах» XX века, которые еще не оценены новейшей историей, от которых мы еще не абстрагировались, не пережили эмоционально, не освоили в литературном пространстве.

Ее герои – представители поколения, выросшего и сформированного при социализме и с институтской скамьи шагнувшего в эпоху перемен, попавшего на самый исторический излом.

«Жребий» – это книга, составленная из отдельных историй, объединенных общей темой. Все герои и героини рассказов, несмотря на хаос безвременья, хотят любить и быть счастливыми. Время испытывает их на прочность, силу характера и силу чувств.

**УДК 821.161.1-32(Паэгле Н. М.)
ББК ШЗЗ(2Рос=Рус)64-8,444**

ISBN 978-5-907297-15-9

© Паэгле Н. М., текст, 2020
© Баканова Н., ил., 2020

ГЕРОИНИ СТРАШНОГО ВРЕМЕНИ (предисловие)

Первая половина двадцатого века вписала в историю России множество бурных событий, которые исправно служат ориентирами, отправными точками для описания человеческих судеб. «Он воевал на русско-японской, пережил две революции и гражданскую войну». «По ложному доносу арестован в 37-м, прошел лагеря, вышел в 1953-м». «Прошел всю войну и дошел до Берлина». Это уже практически готовые биографии, которые нужно только наполнить конкретными деталями.

Со второй половиной бурного века сложнее. Как-то в беседе с известным поэтом-диссидентом, пережившим в восьмидесятые высылку из тогда еще советской страны и эмиграцию, я услышал: «В общем-то, нам повезло. Даже в девяностые годы в России войны не было, такой, чтобы захватила весь народ». Разговор наш прервали, и я не успел ему возразить.

– А ведь он не прав, – подумалось мне позже. – Эти годы как раз прошли по всем, по всему, как он выразился, народу. Спросите любого, кто тогда был уже в сознательном возрасте, какое первое слово приходит на ум в связи с девяностыми? Наверняка прозвучит «лихие». Потом добавят «бандитские», а кто-то заговорит о времени новых возможностей и свободы. Так ведь и война, она кому-то «мать родна».

Именно из-за того, что тогда все было так неоднозначно, что мы еще не абстрагировались от этих лет новейшей истории, не пережили их эмоционально, эти самые «лихие» до сих пор так полностью и не освоены в литературном пространстве, и только теперь предпринимаются первые попытки. И сразу же вспоминается «Ёбург» Алексея Иванова как стремление объять необъятное, и при этом претендующее на некую объективность, отстраненность, на взгляд со стороны, отчего взгляд этот получился несколько односторонним.

Книга «Жребий» Натальи Паэгле построена с точностью до наоборот. За каждым из ее рассказов стоят судьбы вполне конкретных людей, уже затем складывающиеся в единую картину, в некий общий образ времени. Кстати, именно поэтому, «Жребий» – не сборник, а книга, составленная из отдельных историй.

Истории эти объединяет одно общее обстоятельство: поколение, к которому принадлежит автор, можно сказать, с институтской скамьи шагнуло в эпоху перемен. Герои «Жребия» молоды, сформированы на определенных ценностях, стремятся найти себя и профессионально состояться в условиях неопределенности, практически опровергающих те самые ценности. А еще им в этих непростых обстоятельствах хочется любить и быть счастливыми.

Если быть точным, то не герои, а героини, потому что Наталья Паэгле почти во всех сюжетах выводит на сцену в главной роли своих современниц, женщин, которым в девяностые было труднее вдвойне: найти свое место в новой стране, новой жизни и при этом сохранить свое главное предназначение – быть матерью и хранительницей очага.

Время испытывает героинь «Жребия» на прочность, силу характера, силу чувств – и при этом усмехается: «Историю никто не отменял. Все будет – и голод, пусть не смертельный, и подвиги, и предательство, и войны, хотя и локальные».

Что за слово такое – локальные? Дескать, где-то там война есть, а тут, у нас, ее совсем нет? Так она придет, просочится и сюда – цинковыми гробами, маршами солдатских матерей, ночными солдатскими кошмарами, которые стыдливо прячутся за словами «посттравматический синдром». Кого предадут? А тебя и предадут, ты получишь удар оттуда, откуда ждешь помощи и поддержки. Кому придется совершать подвиги? Тебе самой, если хочешь выжить.

За большинством героинь рассказов Натальи Паэгле угадывается человек, пишущий или связанный с литературой. Это и не удивительно, поскольку сама она выросла в писателя из журналистики, причем из журналистики советской школы – не бесстрашно отрабатывающей очередной «информационный повод», а претендующей на анализ, обобщение, осмысление событий с их нравственной оценкой. Отсюда и своеобразие ее письма, попытка соединить художественность с публицистичностью, и глубоко личное – с тем, что переживает общество в целом. Отсюда и огромный опыт встреч с людьми и ситуациями, заложенный в тексты.

Кто же она, героиня этого страшного времени? Образ собирательный и оттого, я думаю, пригодный на роль зеркала, в котором многие из читающих книгу наверняка узнают себя, свою жизнь, свою любовь.

Может ли хрупкая молодая женщина заставить повидавших виды и далеких от идеализированного образа «советского рабочего» мужиков поверить в то, что на пустом месте будет создано новое мебельное производство?

Сможет ли она помочь директору поднять с колен рушащееся на глазах хлопкопрядильное производство, которое советские умники, против всякой логики, загнали далеко на север? В общем, по-новому сыграть сюжет производственного жанра – «взять этот самый капитализм за рога и не остаться на свалке истории». А заняться политикой и насмерть схватиться с реальной системой, не знающей жалости в своей алчности и стремлении к власти? Насмерть – в прямом смысле слова.

И конечно, в это время женщине как никогда нужен тыл – любовь, надежная семья, то личное, без чего человек остается один на один с этими самыми вызовами.

Вот только с личным у сильных героинь Натальи Паэгле чаще всего, как поется в известной песне, «привет». Потому что для борьбы нужен один набор личных качеств, а для тихого и уютного семейного счастья – другой.

И раз за разом повторяется одна и та же печальная история: Юлька Чайкина, которой тесно было бы в золотой клетке; Анна Петровна, натура цельная и требующая цельности от любимого человека; Лариса, не допускающая и мысли о минутной слабости в отношениях между мужчиной и женщиной... Все они теряют возможность полного и безоговорочного счастья, потому что в какой-то момент оказываются сильнее своих мужчин или относятся к ним и себе категорично строго, до жестокости.

А что же мужчины? А мужчины здесь или, подчиняясь обстоятельствам, гибнут в столкновении с нарождающимся новым веком или побеждают в этой жизни – каждый по-своему, но поодиночке. И всегда остается при них первая любовь, как самая яркая звезда, как самое сильное чувство, готовое вспыхнуть вновь от первой же искры.

Если бы книга «Жребий» сводилась к подобным коллизиям, ее, пожалуй, можно было бы поставить на одну полку с модными женскими романами. Но она – полифонична, многотемна и многопланова, как и сам предмет ее литературного исследования – девяностые годы на постсоветском пространстве.

Здесь затронута и та самая «бандитская» тема, на глубоко личной, лирической волне любви «царевны Софьи» и Волка, вора в законе, которые символично погибают вместе во время бандитской «разборки» – их убивает само время. И вспоминается «Черный четверг» 1998 года, обвал курса рубля, от которого пострадали в то время слишком многие – хотя для сюжета «Гекаты» это всего лишь лакмусовая бумажка проверки чистоты дружеских отношений и намек на то, что «матери Терезы» в годы социальных потрясений страдают первыми. Не говоря уже, о занятии политикой, что оказалось самой жестокой проверкой на порядочность.

В нескольких рассказах затронута тема милиции-полиции, которая вдруг оказалась перед соблазном вседозволенности и безнаказанности. И в то же время «в органах» выявились люди, готовые стоять за закон, как герой повествования «Четыре дела Бахыта Калиева», а порой, отстаивая справедливость, идти до конца, иногда ценой жизни, как в рассказе с очень точным названием «...И звезда ты моя сумасшедшая».

Самым невероятным образом девяностые выявили в человеке дефицит веры, на чем сыграли религиозные секты, щупальцами вползавшие из-за границы в растерянную, разрушенную страну. И нередко эти секты вербовали в свои ряды молодежь, а с другой стороны ее одолевал неведомый до этого времени порок – наркомания. Борьбу за подростков, поддавшихся наркоте, стремление вырваться из сетей одурманивания в секте мы переживаем вместе с героиней рассказа «Явь и миражи Вероники Радужной».

Надо сказать, что автор книги большое внимание уделяет снам, видениям, предчувствиям – неким предвестникам событий, тем самым давая понять, что мир устроен гораздо сложнее, чем мы это себе представляем. Лишившись веры в идеологию, человек ищет веру в Бога или в себя самого. В случае Натальи Паэгле – это все-таки вера в собственное начало, которое надо уметь слушать, чувствовать и понимать.

И среди всего этого многообразия тем есть одна, которая для автора чрезвычайно важна, поскольку она выросла в той части огромной и многонациональной страны, которая неожиданно стала зарубежьем – это тема Родины. Тема эта, пожалуй, составляет самостоятельную часть книги.

Здесь Наталья Паэгле словно раздваивается. С одной стороны, ей бесконечно дороги воспоминания казахстанского детства, природа, где небо словно отражается всеми светилami в степях и озерах. Детства, к которому прикасаются бывшие одноклассники, собравшиеся через много лет вместе.

С другой – она далека от идеализации того, что сейчас представляет собой далекая и навсегда родная земля. И не случайно появляется в ее «Фамильной реликвии» символ бездорожья, бесхозяйственности и общей разрухи – черная клякса, которую не победил советский строй, с которой не может справиться и опьяневшая от свободы бывшая республика Советского Союза. Страшен и рассказ «Если б не источник, засохла бы река» о том, как в этом опьянении расправлялись казахи с самым дорогим для них – лошадьми, историческим символом кочевого уклада.

Тема Родины преломляется и через проблему эмиграции девяностых годов, и того, как приходит понимание, что без сохранения подлинного чувства любви к родине, в погоне «за колбасой», сьт-

ной жизнью люди порой становятся «народом в пути», перекасти-полем без корней. И тоской о бывшей общей родине – СССР, отзываются чувства тех, кто теперь живет в России, Германии и Украине.

Полифоничность книги проявляется и в попытках осмысления тем, обсуждение которых невозможно было в советское время – отношение к тем, кто был врагом во время Второй мировой войны или разрыв отношений между национальными республиками СССР, в частности Россией и Грузией. И это осмысление идет опять же через личные истории, людские судьбы и, казалось бы, случайные встречи.

Книга «Жребий» во многом исповедальна. Но исповедь эта – особая, автор словно совершает ее за всех тех, кто прошел через страшное время, и во имя их всех, укрепляя все-таки веру в то, что жизнь прожита не напрасно. Кажется, что девяностые годы не оставили им выбора, всем выпал один жребий. Но в то же время каждому из героев этой эпохи выпал и свой, личный жребий, и каждый распорядился им по-своему. Однако в книге ценно то, что из общего социального хаоса, из жестокой картины слома общественно-экономической формации всплывают лица тех, кто сумел не только сохранить себя, но и поднять других. Это – образ казахской бабушки, «аже», хранительницы древних традиций, на которые опирается возрождающий бывшее могущество земли казахский фермер Маратбек. И Инга – женщина-предприниматель, проявившая упорство и талант в борьбе за себя и свою семью. И героиня рассказа «Инициация», раскрывающая и поддерживающая в любимом мужчине творческое, художественное начало.

Символично, что книга заканчивается рассказом «Связующая нить», где Наталья Паэгле рассуждает о том, что «позволило выстоять» ее поколению: это – связующая нить между человеком и его родной землей, между теми, кто ему дорог.

«Почему мы в молодости так остро не испытывали необходимости в этих встречах, потребности друг в друге? Наверное, потому что молодость наша пришлась на девяностые, когда мы бились за существование и растили детей. И совсем не задумывались о стрелительности времени. А теперь откладывать некуда... „дальше“ и „потом“ уже может не случиться».

И очень важно эту нить не порвать.

Вадим Осипов

КЛЕТКА ДЛЯ ЧАЙКИ

Их встреча состоялась двадцать восьмого января две тысячи восемнадцатого года. Наверное, верь она во всякие нумерологические бредни, попыталась бы таким сочетанием цифр что-нибудь объяснить в их общей судьбе. Но она не верила ни в какие «хиромантии», а общей судьбы у них не было, кроме его немыслимой любви к ней. А как иначе назвать его преданную, с первого класса, влюбленность в девочку с косичками – строгую отличницу? Влюбленность, которую он пронес через всю жизнь?

Не виделись они более тридцати лет.

– Как ты меня узнаешь? – спросила она невидимого собеседника по телефону. – Я видела тебя на фотографиях у одноклассников, а ты меня нет.

– А ты губы ярче накрась, – засмеялся он.

И этот смех она узнала бы из тысячи. По-мальчишески задорный, искренний, раскрывающий душу нараспашку. Он такой и был, весь как на ладони: со своей бессильной любовью – отчаянием, злостью, слезами, готовностью пойти за ней хоть на край земли; а еще неудержимым стремлением всем и в любую минуту помочь. Заразительным весельем и абсолютной неспособностью к подлости.

– Я буду ждать тебя у кинотеатра «Заря», – уточнила она. – Иначе не найдемся.

– Не беспокойся, – ответил он весело, скрывая за бравадой подступившее волнение, – теперь найду точно.

Она готовилась к этой встрече. Думала, что на себя надеть. Перебирала вещи, украшения. И откладывала их в сторону. Все казалось не подходящим, не естественным для той девочки с косичками. Впрочем, косички она обрезала уже в шестом классе, после чего пошла в ателье и сфотогра-



фировалась в новом облике. Портрет получился удачным, и его в качестве образца выставили в витрине, мальчишки-одноклассники бегали на него смотреть. Ничего себе, ведь это их Чайкина! А однажды портрета на месте не нашли. Переглянулись.

– Ребята, а чего это сегодня с нами Ветров не пошел смотреть на Чайку? – с подозрением спросил Володька.

Тут на крыльцо ателье вышел знакомый всем фотограф дядя Вася и шугнул пацанов:

– Крутитесь здесь, а потом фотографии пропадают.

– Тю-тю, – недвусмысленно уточнил Серега, – ветром чайку унесло.

Потом они устроили Ветрову допрос с пристрастием, но он в ответ только улыбался, смотрел насмешливо на пацанов, понимая, что ни один из них из-за девчонки с ним драться не будет, а если попробует, то как следует получит в ответ, а потому играл в полную несознанку. Со временем история забылась. А через два года, когда они, повзрослевшие, пришли всем классом к Ветрову на день рождения, история продолжилась самым явным образом. Чайкина своим проникновенным взглядом, пробирающим мальчи-

шек до самых кишок, смотрела на них с портрета, установленного в раме на тумбочке рядом с кроватью Сашки.

– Ну ты и гад, – не сдержался Серега. – Я сразу тогда догадался, что это ты.

Ветров улыбался в ответ. А она, чуть смущенная ситуацией, попросила:

– Саш, отдай мне его, у меня даже фотографии такой не осталось.

Он отрицательно покачал головой и спокойно сказал:

– Нет.

Как воспитанная девочка она знала, что воровать нехорошо, но все же при прощании в общей суматохе незаметно прихватила портрет, оправдывая свой поступок тем, что, в конце концов, это ее собственный образ, а Сашка его тоже спер из ателье. На следующий день Ветер подошел к ней, пристально посмотрел в глаза своими большими и всегда влажными глазами, если он обращал их на нее, и тихо сказал:

– Зря ты это сделала.

Она почувствовала себя виноватой. Но в знак протеста против этого чувства гордо тряхнула головой, чтобы откинуть в сторону прядь волос, упрямо свисавших справа, и отошла в сторону, даже не удостоив Сашку ответа.

– Конечно, зря, он бы сохранил, а я со своими переездами все растеряла, – ответила она вслух своим мыслям. – И отложила в сторону очередное платье.

– Что-то ты долго собираешься на свидание, – с раздражением заметил муж.

Его раздражение уже давно ее не волновало. Наконец, она надела самый простой наряд из своего дизайнерского гардероба, слегка скрывающий ее полноту, правда, не отказавшись от любимого кулона – ручная роспись по перла – мутру, – что служил ей чем-то вроде талисмана.

Всего сто километров разделяло их в последние десять лет. И Александр Ветров, примерный семьянин и бесстрашный дальнбойщик, не мог себе объяснить, почему он не может преодолеть эту сотню, чтобы встретиться с той

далекой девочкой, что так долго сладостно и больно занимала все место в его мыслях и душе. Однажды, когда она была уже замужем, они случайно встретились в родном городке. Она шла по тротуару, а он ехал мимо по дороге на КАМАЗе. Увидел ее сквозь лобовое стекло, узнал и, с трудом затормозив, выскочил из кабины.

И снова смотрел и смотрел на нее повлажневшими глазами. И ждал, так ждал в них взаимного отклика. Юлька обрадовалась. Рассмеялась:

– Привет! Откуда ты взялся?

– А ты откуда? Говорят, ты замужем.

– Говорят.

– И где твой муж? – ревностно спросил он.

– Я без мужа приехала, – с удовольствием рассматривая возмужавшего Ветра, будто насмехалась она.

– А я бы тебя одну никуда и никогда не отпускал. Я бы тебя посадил в золотую клетку и ключи на груди носил. И только бы любовался тобой.

Она перестала смеяться и с вызовом, известным ему с самого детства, четко произнесла:

– Вот поэтому я и не твоя жена. Чайки в клетках не живут, даже в золотых. И собственностью ни твоей, никого другого никогда не буду, – и, засмеявшись, добавила, – чайки любят ветер, но свободу больше.

О том, что существует наука этимология, изучающая значение фамилий, она узнала гораздо позже. А в школьные годы Юлька совершенно естественным образом ощущала себя птицей, бесстрашно снующей между морскими волнами. Водная гладь ее не интересовала, только шторм и прибой. Ветер и свобода. Попробуй удержи такую, если не в клетке, то хотя бы в руках. У него не получилось, впрочем, как и у других местных пацанов, неоднозначно поглядывающих в Юлькину сторону.

– Ты специально выбрала «Зарю»? – спросил он ее.

Она не сразу поняла, о чем это он. Кинотеатр «Заря» находится рядом с метро, на котором удобнее всего передви-

гаться по большому городу. Но вдруг до нее стало доходить. Нет, не специально. И совсем не задумываясь. Видимо, для него это слово значило больше, чем для нее.

«Заря» – так назывался пионерский лагерь, куда они ездили каждое лето. Сашка – в составе спортивного отряда, а она отдыхала в одном из отрядов в зависимости от возраста. Он таскал ей букеты лесных гераней. И целые охапки белых кувшинок, которые они называли лилиями, за ними он плавал почти на середину озера. И нырял на самое дно за цветком с длинным стеблем, чтобы Юлька потом искусственным образом сделала из него подвеску с кулоном. Он собирал для нее самые большие и красивые шишки для поделок, которыми она очень увлекалась. Она все принимала как должное, а мальчишки подтрунивали над Сашкой, сами заглядываясь на Чайкину. Заведуя радиорубкой, спортсмены ставили пластинки с ее любимыми песнями, затирая их до хрипоты, и звали ее на дискотеку. А она оставалась снежной королевой из любимой ею сказки, где все ее симпатии, конечно же, были на стороне девочки Герды, отогревшей своей любовью Кая. Снежной Королевой прозвал ее Ветер, а она мечтала отогреть другое застывшее сердце, одноклассника Сережки, с которым иногда встречалась глазами и замирала от его насмешливо-пренебрежительного взгляда. В один из дискотечных вечеров Ветер подошел к Юльке:

- Пойдем на танцы вместе.
- Иди без меня.
- Я без тебя не пойду.
- А я с тобой, – отмахнулась Чайка, – чего пристаешь?

Огромные глаза Ветра повлажнели еще больше и налились такой болью, что Юлька смутилась и как-то растерянно промолвила:

- Ну чего ты?

Ветер резко повернулся и побежал в сторону леса. Его хватились после отбоя. Тренер провел расследование и вызвал Юльку из палаты:

- Где Ветров?
- Не знаю.

– Что ты ему сказала?
– Ничего, – она замкнулась и смотрела мимо тренера.
– У меня уже не спортивный отряд, а гусарский полк, где скоро начнутся дуэли. Не могла ты, Чайкина, в другую смену приехать?
– Это вы со своими гусарами приезжайте в другую, – пронзила его взглядом Юлька.

«Застрелишься из-за такой», – подумал тренер. А Чайка резко повернулась и пошла не в палату, а к озеру. И остановить ее в эту минуту никто бы не смог. Берег был хорошо освещен, да и в июне день долгий. Чайка прошла на деревянный пирс, села, опустив ноги в воду, и замерла в тишине. В этот час на водной глади уже не было ее подруг – озерных чаек, смелых и беспокойных птиц, с которыми она переговаривалась днем.

– Сашка, пожалуйста, вернись. Пожалуйста, – тихо обратилась она к воде, опасаясь самого страшного. – Сашка, вернись, – обратилась она к темному бору.

Именно сейчас, как никогда, она чувствовала себя одинокой, покинутой, потерявшей самого преданного и верного друга во всей ее такой короткой жизни.

Его нашли под утро. Он сидел у границы трясины Мертвого озера, куда им категорически запрещалось ходить, и плакал.

Ветер только себе мог признаться в том, что боится этой встречи. О чем он будет говорить с ней, тридцать лет спустя, она – такая, такая... ну красивая, умная, а он всего лишь дальнобойщик. Нашел он ее гораздо раньше, уже лет пятнадцать назад, звонил, поздравлял с праздниками и днем рождения. Обещал Чайке, что приедет, что вот уже скоро, что будет рейс в ее сторону... И не доезжал двадцать-тридцать километров. Опускал голову на баранку своей верной машины, уговаривал себя и... не мог. Начинала кружиться голова, подкашивались колени, как в детстве, когда он смотрел на нее. И повернув ключ зажигания, он ехал в обратную сторону. Подальше от нее. И теперь, когда в ответ на

очередное свое обещание он услышал ее грустный, неизвестный ему прежде, тихий голос: «Значит, никогда больше не увидимся», почувствовал неудобство, ну что же она меня, мужика, уговаривает, ободряюще ответил: «В следующее воскресенье». И это воскресенье наступило.

Дома он всем так и объявил, что едет на свидание со своей первой любовью. Жена, немало наслушавшись за долгую их семейную жизнь об этой любви, с уважением отнеслась к намерению мужа. Подала выходной пуловер, поправила ворот рубашки и больше для порядка, чем из ревности, предупредила:

– Ну, ты смотри там...

– На переправе коней не меняют, – он прямо посмотрел жене в глаза, и она узнала тот взгляд, который видела у него только тогда, когда он вспоминал эту свою незабывную любовь.

Дочь подала ключи от своего «кашкая»:

– Возьми мою машину, на твоей только по деревне гонять, а не в город на свидание ездить.

Он взял ключи и толкнул дверь:

– Пока.

Юлия Васильевна Чайкина, хозяйка центра промышленного дизайна, слабым человеком никогда не слыла. Ее слабостью было производство. В мутные девяностые годы она открыла экспериментальный цех по разработке дизайна и элементов интерьера из дерева на крупном лесопромышленном комбинате. Сегодня бы проекты, разработанные в те годы под ее руководством, назвали эксклюзивными, а тогда еще такого слова в обиходе не гуляло, как и не было еще подобных ее производству. В подчинении Юлии Васильевны находился коллектив из тридцати, старше ее по возрасту, мужиков. И она руководила ими, каждый месяц мучительно кумекая, как найти денег им на зарплату, чтобы они завтра не забастовали, а снова вышли на работу. Свой цех она строила с этими же мужиками, потом оснащала оборудованием. Подруги ей пеняли: «Не бабское это дело, станки на морозе ворочать», она только отмахивалась.

валась: был бы выбор, не ворочала. Муж – «интеллигент до мозга костей», коим он себя представлял Юле каждый день, переживал за процессы, происходящие в стране, и искал смысл жизни, чаще всего за бутылкой. Нет, он был умный и образованный, уже тогда, когда в стране еще не было компьютеров, знал, что это такое. Он хорошо пел и играл на гитаре – даже Баха. А она кормила семью, таская в свою отнюдь не золотую клетку тощие сумки с добытыми продуктами. И откуда тогда у нее, тридцатилетней, брались силы пахать среди контингента, который сидел, сидит или будет сидеть, она и сегодня не знает. Правда, ее мужики среди этих сидельцев были элитой, но другие запросто могли изнасиловать хорошенькую бабенку где-нибудь за штабелями пиломатериала или на отвалах щепы, что иногда и случалось.

Сейчас Юлия Васильевна стояла перед светофором, ожидая, когда загорится зеленый, чтобы перейти дорогу к «Заре», ощущая себя всего лишь Юлькой Чайкиной, и, кажется, чувствовала, как в волнении врассыпную разбегаются мысли: «Я-то его узнаю... И сто раз его предупреждала, что мне уже не семнадцать... А если не сможет скрыть удивление перед моей полнотой... Хотел посадить в клетку, никуда не пускать». Каким-то боковым или другим, неизвестным ей зрением чувствовала, что горит еще красный, бессвязно переводила взгляд по машинам, перекресток был сложный, утыканный дорожными знаками. Красный «каш-кай» в первом от нее ряду стоял вторым перед светофором. Скользнула взглядом по лобовому стеклу и... конечно, так бывает только в кино. Она узнала Сашку Ветрова. Без труда. Будто виделись вчера. Он поправил шапку и поднял глаза... на светофор, но в это мгновение успел заметить и узнать ее. И ничто не смогло скрыть его изумленного счастья. Они смотрели друг другу в глаза. И улыбались. Потом она перешла дорогу, а он развернулся. Вышел из машины и обнял ее, целуя куда-то в лоб и щеки. Достал из машины букет роз:

– Это тебе.

Дул пронзительный ветер. Она прижимала к себе розы.

– Ты совсем замерзла. Здесь рядом кафе. Пойдем.

Они были в зале одни и радовались этому. Препирались, будто в трамвае, уступая друг другу право что-нибудь заказать. Обоим было не до еды. Но все же ритуал стоило соблюсти.

– Я ведь даже не знаю, что ты любишь, – оправдывалась она.

– Все равно что. Ты совсем не изменилась.

Она с благодарностью посмотрела на него.

– Хорошо. Тогда салат с грибами и мясо.

– Как на той фотографии в шестом классе, что я утащил из ателье, – будто не слыша про грибы и мясо, говорил он. – Большой портрет ты у меня украла, а та маленькая фотография у меня есть до сих пор. Он открыл барсетку и достал ее фотографию.

– Откуда? – изумилась она. – Ее нет даже у меня.

– Потому что я вытащил ее из твоего портфеля, когда ты однажды принесла ее в школу.

– Боже мой, сплошное воровство, – рассмеялась она. И, чуть помедлив, – Расскажи о себе, ведь ты – дальнбойщик, добирался и до наших краев, когда я жила в краю нефтяников.

– Да, только меня интересовал лес, а не нефть. Будешь слушать?

– Да. Тем более что меня тоже интересовал лес. Как же мы тогда не встретились?

– Я не знал, что ты там живешь, – Сашка поднял на нее свои повлажневшие глаза, – наверное, правильно, что не знал, дети у меня уже были... А ты в разводе. Не устоял бы я... Теперь ты снова замужем, да?

Смотрела Чайка на преданного ей мужчину с любовью и благодарностью. Теперь-то, уже точно, прожив большую часть жизни на земле, она понимала, что любовь бывает разной. Это в пятнадцать тебя током бьет от одного прикосновения. А когда тебе за пятьдесят, хочется, подперев голову рукой, смотреть и слушать.

– Да зачем тебе нужны мои шоферские байки? – вдруг смутился он.

– Ты рассказывай, а не рассуждай, – повелительными нотками в голосе откликнулась Юлька.

«Байки» его были далеко не байками. Но рассказывал он свои истории с юмором, легко и с естественной простотой, будто бы они были неотъемлемой частью его жизни, которую прожить иначе было просто нельзя.

– Ты уехала из родного города сразу после школы, а мы в бывшей национальной республике все прелести девяностых годов ощутили по полной программе: и развал Союза, и разрушение экономических связей, и обнищание. В твой северный край я ездил с единственной целью: привезти комбикорм, а обратно увезти лес. Комбикорм на севере подороже продать, лес – у нас. Сутками, неделями за баранкой «камаза». Случалось всякое. И в твоём городишке я бегал по улицам с ведрами комбикорма от дома к дому: «Хозяин, возьми, поросеночка выкормишь!»

– Как в этом Таежном можно было не встретиться? Три улицы вдоль, три поперек. Где-то рядом мы с тобой ходили, но так и не пересеклись, – Юлька поддела вилкой грибы из салата, но вкуса их не почувствовала.

Сашка вообще к еде не прикасался.

– Значит, не судьба. Не стоило нам тогда встречаться. Не смог бы я... – каким-то извиняющимся тоном произнес он, и дальше о своем. – Однажды поехали на двух машинах, ты помнишь братьев Клепенят? Они наркотой уже тогда увлекались. Двенадцать часов проехали, остановились на ночлег, братаны эти ужинать с нами не стали, куда-то пропали. Нет и нет. К ночи вернулись с какой-то сумкой, набитой до отказа, и бросили эту сумку мне за сиденье. Я значения не придавал. А потом вообще забыл. Смотрелись уже в твой Таежный, едем обратно, а на трассе недалеко от города пост ГАИ был. Помнишь? Так вот, недалеко уже осталось до этого поста, чувствую, воняет чем-то в кабине. Ну невозможный запах. Остановился, давай искать. Нашел эту сумку, открываю, а там зеленые головки

мака. Я ее подальше от машины в кусты со всего размаху зашвырнул. Братаны во второй машине ехали. Только к посту подъехали, ОМОН нас тормозит. Руки на капот, нас раком поставили, всю машину обшмонали. У нас же номера республиканские. Стою я и думаю: это мне свыше кто-то подсказал от мака избавиться, найди его омонovsky, мне бы мало не показалось, упекли бы меня конкретно на лесоповал.

А в другой раз приехали с комбикормом, стали в километрах пятидесяти от Таежного в поселке Лобовом. Дожди идут, не переставая. Комбикорм промок, в кашу стал превращаться. Никто его не берет. Куда девать, что делать? Потом разными путями вышли на руководство местной птицефабрики и сдали его туда, а нам взамен вместо денег – несколько тысяч яиц. Куда теперь с этими яйцами? Время идет, дождь идет, солярка кончается, денег нет. Уехали из дома на две недели, хотели заработать. У меня сын первого сентября в школу идет, проводить его хотел. А с чем возвращаться домой, не с коробками же яиц. Помнишь, тогда бартер был – товарообмен, наличных денег не было. Да и коробки размокли, часть яиц побилась. Теперь вместо комбикормовой каши, каша из яиц. Куда деваться? Остановились на речке, стали все яйца перемывать и перекладывать. Ужас! С горем пополам удалось нам их сдать в поселковый магазин, а местный лесокombинат нам дал за это четыре кубометра леса. Мелочь, конечно, в общем, сплошной убыток. Домой бы ехать, а соляры нет. А со мной был Алик – азербайджанец. Встретил он на трассе своего земляка, перетер с ним «гыр-гыр» и говорит мне: «Надо ехать в Астрахань за арбузами. Тогда соляры дадут, домой сможем доехать». Я ему: «Как же с лесом быть?» Он отвечает: «Лес можно продать и в Астрахани». Ёмо-ё, поехали мы с севера на юг, за арбузами. Лес продали по дешевке, так как нужно было срочно грузиться арбузами. Загрузились и обратно на север. Денег за лес выручили мало, ровно столько, чтобы самим в рейсе существовать и машину поддерживать. А что такое «камаз» на российских дорогах? Это – остеохондроз,

геморрой и простатит у водителя. То машина сыпется, то – водитель.

Сдали в Лобовом арбузы. Домой надо возвращаться. Уже бумага, выданная на таможне, просрочена. Мы ведь рассчитывали за две недели с рейсом управиться. Пришлось местным ментам платить, чтобы они нам справку сделали, что мы сломались и ремонтировались. Конечно, не факт, что это спасет на таможне, но хоть что-то. Давать взятку на таможне совсем нечем. Конечно, я собирался объехать ее тайными тропами. Но не был уверен, насколько хорошо знаю эти тропы. Ехал по наитию. И ведь выехал! Когда понял, что уже в своей стране, от всех мест отлегло. Ну и что? Домой вернулся после полуторамесячного отсутствия, карман пустой. И это было со мной первый и единственный раз, когда вернулся из рейса и не мог купить детям по шоколадке. Сын пошел в первый класс. И никакого подарочка от папочки. Запомнил я тот рейс: и комбикорм, и арбузы, и тайные тропы.

– В каком году это было? – задумчиво спросила она.

– В девяносто третьем.

В том году ее цех уже работал. Финский ангар смонтировали за лето, тогда же провели отопление и забетонировали пол. Осенью установили станки и оборудовали лакокрасочную. В ее бредовую затею никто не верил. Кому нужны в таежном краю ее интерьеры и декоры авторской работы? Людям нечего есть, полки магазинов пусты, денег наличных в зарплату не выдают, вместо них консервы, мука и курицы суповые синеватого оттенка. А тут купите зеркало в резной раме, а к нему еще и бра за бешеные деньги. А она верила, как и прежде, упрямая максималистка, что не хлебом единым жив человек, и, проев директору комбината всю плешь и без того лысой головы, уговорила его сдать ей цех в аренду. Он, ругаясь, оптимистично напутствовал: «Прогоришь, по миру пойдешь, но комбинату все до копейки вернешь!» Еще один чокнутый, радеющий за государственное дело, в то время когда государство вместе с его фабриками и заводами растаскивалось по клочкам.

В общем, Чайка бросилась в пучину.

– Значит, говоришь, девяносто третий. И тогда ты был в моем Таежном?

– А что было с тобой в том году? – насторожился Ветер. Не так уж Юлька изменилась в его понимании, чтобы он не заметил знакомых интонаций в ее голосе.

– Ничего, – ушла она от ответа. – Жаль, что ты за рулем, а то бы выпили водки за встречу.

– Ты же никогда не пила! – удивился он.

– Я и сейчас не пью. Видишь, только чай, – улыбнулась она.

В девяносто третьем она чудом избежала «счетчика», и не с комбинатом бы она тогда выясняла отношения. С бритыми братанами в кожаных куртках. Дело ее все-таки развивалось. В их таежном захолустье ее авторские разработки по отделке коттеджей зарождающегося среднего буржуазного класса особым спросом не пользовались. Но с не женской настырностью проталкивала Юлька свои красивые идеи, органично воплощенные в проектах, насыщенных изделиями с легкой резьбой, витражами, балясинами, чугунным литьем и художественной ковкой, в областной центр. А там, как и везде в стране, заправляли братаны, служившие новым русским хозяевам, стремившимся жить китчево. Для этих и появился стиль китч. Вернее, появился он задолго до новорусских, еще в XIX веке, как раз для тех, кто, не отличаясь особым вкусом, сочетал в обустройстве своего жилья несочетаемое. Новорусские, демонстрируя свое неоспоримое преимущество над всеми прочими слоями человечества, редко дружили со стилем и вкусом, таща в свои навороченные особняки дорогущую мебель, ковры, картины и посуду, меньше всего задумываясь над сочетанием всего этого изобилия в одном пространстве. А Юлька в своих эскизах и изделиях ненавязчиво и тонко формировала совсем иное пространство – стильное и комфортное, наполняя воздухом и свободой их золотую клетку. О стиле и вкусе бритые братаны представления не имели, но что-то их цепляло в ее эскизах и декорах, представлен-

ных на очередной выставке в областном центре. «Ниче так, – крутились они вокруг ее павильона. – А для загородного поместья атмосферу слабаешь? – Отчего не слабая, – с вызовом ответила Юлька, устремив на крутых парней смелый взгляд. – Ну-ну, а знаешь, что тебе будет, если не слабаешь? – подошел тот, что, видимо, был главным. – А ты не пугай», – Юлька не отрывала от бандита глаз. И он не выдержал, отвернулся, но, бравируя перед братанами, хмыкнул: «Нарывается!»

Потом, когда они ушли, она унимала дрожь в коленках, пила горячий чай, чтобы унять тошноту и внутренний озноб. И ненавидела, ох, как ненавидела она этих стриженных мерзавцев. Заказ пришли оформлять другие. Вернее – другой. Она сразу поняла: не из бандитов, но у них на службе. Представился управляющим безымянной компании, с пониманием обсудил варианты, по цене не торговался, с да-той четко определился – к новому тысяча девятьсот девяно-сто третьему году.

– И ни днем позже, – подвел он итог, направляясь к вы-ходу, внезапно остановился: «Молодая вы, не знаю, сто-ит ли кто за вами, но заказ должен быть выполнен в срок. Иначе включаем счетчик. На следующий день», – и пошел не оглядываясь.

На Юльку внезапно навалилась тоска крошечная. Она отчетливо понимала, что значит «включаем счетчик», и то, что никого за ней не стояло, кроме идейного директора, ратующего за сохранение государственной собственности, и мужа, размышляющего о сущности бытия. Она была одна в этой крошечной тоске, не понимая, как вывезти, хоть на себе, на собственной шее, этот денежный, но такой слож-ный заказ.

А потом уволился художник, не поставили вовремя ма-териалы, начались морозы, и случилась авария на линии электропередач. И шли дни, дни, дни... Не оставляя шан-са, чтобы выполнить заказ в срок. Она видела перед со-бой лицо управляющего, бесстрастно предупредившего ее: «Иначе включаем счетчик. На следующий день». И, кутаясь

ото всех в глубокое молчание, скрывающее истинное ее состояние, искала выход. Счетчика она избежала. Успели. Какими усилиями, вспоминать не хотела.

– Юль, – услышала она тревожный голос Сашки, – давай я закажу тебе сто граммов водки, выпьешь, – с сочувствием предложил он.

Она отрицательно помотала головой:

– Ты почему дальше байки свои шоферские не рассказываешь? Я же слушаю. И почему не ешь?

– Я ем, – Ветров взял в руку вилку, но, так и не притронувшись к мясу, снова машинально опустил ее на салфетку.

– В девяносто первом в поисках заработка гонял в Чечню, в Сахавюрт. Поехал со знакомым чеченцем, он обещал: «Немного поработаешь, хорошо заработаешь». Ну и помчали мы на моем «камазе». И надо сказать, в первую ночь по приезде устроились хорошо. Меня в дом провели, вкусным ужином накормили, выпить дали, спать уложили на кровать. Уснул с усталости после дороги и ничего не слышал. А на следующую ночь попросили остаться в машине, объяснили, что племянник хозяина невесту воровать будет и привезет ее в этот дом. К тому времени мой знакомый, с которым приехали, куда-то исчез, а мне дали переводчика, а может, просто приставили ко мне человека, и мы с ним пошли в машину. Мне не привыкать спать в «камазе». Разложил постель, улегся, стал уже дремать, как слышу выстрелы из автоматов. Случайные очереди, которые раздаются в разных концах села. Мне не по себе, переводчик спокоен. Я спрашиваю, что это? Он невозмутимо: «Стреляют». Ну и как думаю, спать? А если шальная пуля пройдет сквозь обшивку? Для пули «камаз» – не преграда. А выстрелы не прекращаются. Переводчик невозмутим, для него, видимо, это дело привычное. А я напрягся и только прислушиваюсь, в какой стороне стреляют. Какой уж тут сон? Вдруг стрельба стала усиливаться и приближаться. Вскоре выстрелы превратились в сплошной поток автоматных очередей, которые точно приближались к нам. Смотрю в окно, по улице движется целый кортеж из джипов, из окон кото-

рых выставлены автоматы, и из них поливают в небо. Я охренел. Вся эта бешеная кавалькада движется прямо на нас. И сворачивает к дому, у которого мы стоим. Я спрашиваю у переводчика: «Это что?» А он опять так спокойно: «Невесту везут. Уже украли». И правда, из одной машины вышла, видимо, невеста, в парандже и вообще вся закутанная. Увели ее в дом. Я выдохнул, но какой уж тут сон?

На следующий день продолжали гулять, отмечали это событие. Нас тоже с переводчиком посадили за стол. Мяса много, овощей. Вкусно все приготовлено. Подают на стол и убирают со стола молодые мужчины, женщин не видно вообще. В какой-то момент снова подъехал джип, еще круче тех, что стояли у дома, оттуда вышел мужчина средних лет. Все встали, расступились перед ним, встречающие увели его в дом. Я спросил: «Кто это?» Переводчик ответил, что директор одного из крупнейших грозненских предприятий. «Почему не сел за стол?» – интересуюсь. «Ему накроют в отдельной комнате в доме. Нам нельзя рядом с ним сидеть. Если бы он сел за этот стол, нам бы пришлось всем уйти», – объяснил переводчик. В любопытных разговорах я и не заметил, как за столом появился дед, а может быть, его таким делала седая борода и нависшие густые брови. При его появлении все замолчали. Он подсел ко мне и налил стакан их водки – чачи из винограда: «Пей!» А я что, нацию что ли русскую посрамлю? Выпил. Мясо вкусное, закусил. Старик между своими: «Гыр, гыр», второй стакан наливает. Ну а я что, отступать что ли буду? Русские не отступают. Выпил второй стакан. Хорошо! И выстрелы уже далекие по барабану, и ночь теплая, и спать можно идти в свой «камаз». И я уже собрался, как старик поднимается: «Поехали». Это он мне после двух стаканов водки. Я говорю: «Ты что? Я не могу!» Он: «Можешь, поехали! Здесь все менты мои. Хорошо заплачу». А куда мне деваться? Вокруг его ирокезы с автоматами сидят. Я – в кабину. Чувствую, что в кузов кто-то сиганул, что-то тяжелое погрузили. Старик сел ко мне в кабину. Едем. Веду машину на автопилоте. Вдруг показалось, что в зеркале вижу искры. Постарался сосредоточиться,

приняв их за свои собственные. Нет, черт побери, сверкает что-то сбоку, как будто из-под колес искры летят. Остановился. Старик напрягся, я говорю: «Все спокойно. Выйти надо». Выхожу и вижу, что кузовом чью-то изгородь зацепил. И она тащится, искра об железо и дорогу. Кое-как снял ее, отцепил. Опять старика успокоил. Как ехал дальше, не знаю, не помню. Но вдруг старик приказал остановиться. Я затормозил. Вижу блокпост. К кабине их бородатые бандиты направляются. Старик приказал: «Сиди!» Сам вышел из машины, подошел к ним. Ирокезы перед ним вытянулись. Побежали к кузову моей машины, быстро выгрузили ту тяжесть, которую туда загрузили. Старик сел, и мы поехали обратно. Как только подъехали к воротам дома и остановились, он протянул мне пачку денег, а сам ушел в дом. Так ездили мы несколько раз, перед каждым выездом меня поили, но я, уже зная, что будет дальше, старался держаться, не расслаблялся. Старик платил исправно. Из рейса я вернулся с деньгами, полгода хватило семью кормить.

Юлька почувствовала, что отчего-то пересохло горло, пахнуло запахом костра и прелостью осенних листьев. Ветер нес запах костра той осенью, когда они с подружкой Гулей бежали по улицам Таежного в военкомат. Вряд ли это был девяносто первый, скорее уже девяносто четвертый, когда война в Чечне шла в полном разгаре. Гулиных двойняшек забрали в армию в один день. А теперь они пропали. Гуля все вечера проводила у телевизора, ожидая хоть что-то услышать о Чечне. «Они там, они там», – повторяла она с каким-то упорным спокойствием. А тут ночью ее позвал сын. Руслан. «Почему именно Руслан?» – думала Юлька, спеша рядом с ней, это мог быть и Артур. Они абсолютно одинаковые. «Нет, Руслан, – уверяла Гуля, – они совсем разные». В военкомате они долго стояли в коридоре, забитом людьми. Господи! Откуда в их Таежном столько людей, которым именно сейчас нужно быть в военкомате? Внезапно громко закричала женщина. Юлька глянула на Гулю. Та была бледнющая, что писчая бумага. Юлька твердо ей приказала: «Стой здесь! И не вздумай падать!», а сама,

пробиваясь сквозь толпу, рванула прямо к дверям военкома. Она не любила пользоваться услугами сильных мира сего, но военком был ей должен. Неплохо недавно ему обустроили загородный домик с сауной и парилкой по вполне приемлемой цене. Военком сначала сделал вид, что не узнал ее, но она быстро напомнила некоторые подробности из его биографии, случившиеся с ним в том самом загородном домике, чему она стала невольным свидетелем, согласовывая с ним последние детали обустройства усадьбы. Он тут же ее вспомнил: «Чего вы хотите?». Она, не отрывая пристального взгляда от военкома: «Мне надо знать все о братьях-близнецах Руслане и Артуре Юзовых, где они служат сейчас, живы ли, здоровы?» Военком замялся: «Междугородная связь отключена, у нас нет денег платить за междугород и телеграммы?» Юлька, не отрывая глаз и не повышая голоса, четко спросила: «Сколько денег вам надо, чтобы узнать судьбу этих и других детей, за которых вы в данный момент несете ответственность?» Военком взвизгнул: «Ни за кого я ответственности не несу! Не я их отправлял в Чечню!» Юлька усмехнулась: «Значит, все-таки в Чечню». «Нехорошо усмехается, – подумал военком, – лезет во все щели заступница народная, эх, смалодушничал прокурор». В это время Юлька достала из кошелька бумажные купюры и положила перед ним на стол. «Вот тебе на телефон и телеграмму. И отчитаешься перед матерями за их детей». Майор вскочил: «За взятку сядете, Юлия Васильевна!» Она усмехнулась еще хуже: «За такую взятку меня не посадят. А тебя есть за что посадить!» – и хлопнула дверью.

Через день Гуле сообщили, что мальчишки ее живы и здоровы, что находятся в командировке в Чечне и как только вернутся оттуда, сразу напишут родителям. Вернулись они не скоро. И не вдвоем. Вернее, вдвоем, только... Руслан привез Артура в цинковом гробу. И Гуля не пережила.

– Юль, давай, я тебе чаю налью, – тепло и заботливо предложил Сашка. Он привстал, поднял горячий чайник и налил ей в чашку пахучего настоя. – На травах, хорошо настоялся.

Она с благодарностью подняла на него глаза, и он смутился.

– Ты всю страну исколесил, и не одну. В девяностые такой рэкет на дорогах творился, такой разбой, предпринимателей семьями убивали. Как же ты уцелел?

– Надо уметь со всеми договариваться, – заявил Ветер, ранее не отличавшийся дипломатическим складом характера. – С ментами, с бандитами, с шушерой, которая собирала дань для хозяина. На ночевку мы, как правило, останавливались несколькими машинами, чтобы в случае чего помочь друг другу. Ночью, когда мы уже спали, стучали в окно. Называли сумму, которую мы должны были отстегнуть для общака. Я всегда торговался. Делал этим бритым пацанам полный расклад: вот столько-то у меня стоит соляра, вот столь я должен отстегнуть ментам и таможенникам, вот столько привезти домой, у меня трое детей, следовательно, вам я могу дать вот столько. Они с пониманием относились, знали, что пока мы проедем через две-три страны, дань надо всем заплатить. Я им отсчитывал деньги, они забирали и оставляли мне бумагу, я клеил ее на стекло, чтобы следующие сборщики этот документик видели и уже не подходили. Они соблюдали эти правила. А я спокойно спал дальше.

Постоять за себя Ветер умел всегда, слабого не обижал, перед сильным не пасовал. Был не подлым. Но очень верным. Положиться на него можно было во всем. Но вот эта способность к пониманию ситуации и выживанию, откуда она? «От жизни» – не сомневалась Юлька.

От жизни «хорошей» вляпывался порой Ветер и в различные дерьмовые ситуации. В поисках заработка приходилось иногда пить с кем попало. Пить он вообще не любил. Нет, в хорошей компании да под хорошую закусочку, почему бы и не выпить. Но нажираться до поросячьего визга, это – извините. И совсем уж не терпел, когда его пытались подпойть с определенными целями. Зверел. Так, однажды озверев, покалечил машину, а в то время она была еще не своя, и пришлось рассчитываться.

– Не деньгами, на БАМ отправили работать. Туда никто не хотел ехать. Далеко от дома. Командировка больше года длилась. Вот я и поехал отрабатывать свой косяк, правда, там же и заработал хорошо. А жена опять дома одна с детьми и хозяйством. Кто такого мужа терпеть будет?

– Терпит ведь, – с чуть уловимой завистью произнесла Чайка.

– Так столько вместе всего пережили. А тебя муж не обижает?

– Нет, не обижает. Я сама кого хочешь обижу.

– Неправда, ты – другая.

– Забыл, как бежал за мной со школы, когда пальто у меня отобрал?

Случилось это, кажется, в шестом классе. Ветер, как троечник, должен был после уроков оставаться на продленку. А Чайка, как отличница, уходила домой. В тот день, дойдя до гардероба, она не нашла там своего пальто. И вдруг услышала отчаянный шепот Ветра:

– Ты не пойдешь домой, останешься со мной на продленке, – он держал в руках ее пальто.

– Дай сюда! – протянула руку Чайка.

– Не дам! – Ветер прижимал к себе девчоночье пальто красного цвета и не собирался отступать.

Юлька посмотрела ему в глаза – упрямо, зло. Повернулась и пошла к выходу из школы. Светка, с которой ей было по пути, кинулась за ней. На улице стоял сырой, промозглый осенний день.

– Ты что? Ты ведь простынешь, – шагала она рядом с подружкой.

– Не простыну, – не своим голосом отозвалась Юлька.

Прохожие, кутаясь в шарфы от порывистого ветра, оглядывались на странную пару школьниц.

Наконец, до них донеслись крики Ветра:

– Подожди! Остановись!

Но Юлька только прибавила шагу. Он догнал их довольно далеко от школы, красный, запыхавшийся, в распахну-

той куртке, протянул ей пальто и вдруг совсем по-детски закричал:

– Дура! Дура – ты ненормальная! – повернулся и побежал в противоположную от школы сторону.

– Значит, говоришь, БАМ...

– Это был уже не тот БАМ, который мы с тобой собирались строить. Сколько было в нас тогда романтики! Комсомольско-молодежная стройка, песни под гитару, жизнь в палатках и бараках – Юлька, и об этом мы мечтали?!. Ты мечтала и всех в классе завела: поедemте все вместе строить Байкало-Амурскую магистраль!

– И ты первый согласился.

– Мне без разницы было, куда за тобой ехать – на БАМ или к черту на кулички.

И оба замолчали.

Предупредительная официантка спросила, не против ли они, чтобы она зажгла свечу? Они были не против. За окном опустились густые зимние сумерки, незамеченные ими. Пламя свечи беспомощно задрожало внутри стеклянного подсвечника, как золотая рыбка в аквариуме.

Никуда он за ней не поехал. Ведь она была «такая-такая», а он всего лишь троечник. После армии вернулся в родной городок и стал здесь вить свое семейное гнездо. Когда в союзной республике совсем уже ловить было нечего, тронулись в Россию. Земляки его позвали в Уральск, что в ста километрах от мегаполиса, куда она к тому времени переехала из ненавистного Таежного.

– Приехали мы в Уральск, жить негде. Домишко полуразваленный приобрели, стал я его поднимать. А быстро не получается. К тому времени у меня уже свой КАМАЗ был, в рейсы ходил, денег на стройку надо было много. Но, ничего, жили. Знаешь, никогда ни в какие гадания не верил, а тут так получилось, что поверил. Дом хороший подвернулся, на берегу пруда, понравился он нам с женой, да денег таких нет, чтобы купить. А перед этим нас обокрали,

из дома по тем временам дорогую видеокамеру вынесли. Жена хотела эту камеру, далась она ей. Купили. Только недолго она игрушкой этой баловалась. Залезли воры в дом и утащили. И пошла она к какой-то бабке на картах погадать, чтобы узнать, кто вор, и камеру найти. Бабка вора описала, и мы догадались, кто это был. Но сообразили: не пойдешь ведь просто так к человеку и не скажешь, что он тебя обокрал. Но что важнее, старуха сказала, что дом нам этот бросать надо, нехороший, нечистый он, а брать тот, который нам нравится у пруда. И послушал ведь я ее. В душе что-то подсказывало, что так и надо сделать. У одного земляка денег занял, у другого. Купил дом. После чего впрягся в свой «камаз», стал металл перевозить по заказам разных фирм и компаний, долги отрабатывать. И надо сказать, быстро расплатился. Потом надстроил второй этаж, теперь места и детям, и внукам хватает, – расплылся Ветер в довольной улыбке, – и будто спохватился, – а где твоя дочь, ты ведь рано родила.

Ну не в шестнадцать лет, конечно, но и в двадцать от принципиальной отличницы Чайкиной, у которой, казалось, вся жизнь была правильно распланирована на много лет вперед, такой прыти в замужестве и рождении ребенка никто не ожидал. Да и сама она не ожидала. Только пересказывать историю своего замужества Ветрову ей вовсе не хотелось.

– Дочка моя успешная и независимая. Живет отдельно, но рядом со мной.

Дочка ее родилась совсем маленькой, два с половиной килограмма. У нее были тоненькие ручки и ножки, махонькая головка, покрытая чешуйками, как рыбка. А еще у нее были большие круглые глаза, которыми она поводила вокруг, реагируя на любой звук смешной мимикой губ. Казалось, что глаза дочки были больше ее самой – крохотного тельца, ручек и ножек, чешуйчатой головки. Плакала она редко. Просыпалась часто, водила взглядом больших глаз и кряхтела, пытаясь высвободиться из туго замотанной пеленки. Это кряхтение не нравилось свекрови, и она

решила, что ее крохотную внучку мучает грыжа. Быстро была найдена старушка, которая хорошо умела заговаривать этот недуг. И Юлька вместе с дочкой была отправлена к знахарке. Она не верила никакому колдовству, никаким народным лечением, но спорить со свекровью боялась ровно так же, как и лечить ребенка у знахарки. Найдя нужный адрес, прижимая дочь, завернутую в белоснежные пеленки и белокипенный конверт, отороченный многослойными кружевами, Чайка замерла перед дверью избышки на курьих ножках, ехидно подмигивающей ей единственным окошком. Нет, ни за что она не переступит порог этой хиба-ры. Только она повернулась, чтобы положить дочку обратно в коляску, как дверь зевнула и со скрипом растворилась, скособочась на одной петле. Из темноты донесся голос, будто бы и не старухи: «Входи, дочка». Отступить было поздно. И, прижав к себе свою Белоснежку, Юлька переступила порог. Старуха, представшая из глубины комнаты, была истиной Ягой. Длинные седые волосы закрывали ей почти все лицо, вместо одной ноги у нее была деревяшка, которой она орудовала лучше, чем живой ногой. Под ногами у нее путался черный пушистый кот, единственным зеленым глазом метнувший на гостью презрительный взгляд. Под столом собирала зерна рябая курица, а рядом с ней что-то грыз крупный крол. Единственная комната этой лачуги была вся завешана пучками сухих трав и набитых полотняных мешочков. Юлька обомлела. Старуха, как ни в чем не бывало, указала на кровать, застеленную легким простым покрывалом. Чайка, словно заколдованная, прошла к кровати и положила на нее дочку. Старуха показала на ленту. Юлька дернула за нее и раскрыла одеяло. Дочка открыла глаза. Не заплакала, а только с любопытством уставилась своими круглыми блюдцами на странное существо, наклонившееся над нею. Старуха сняла белый чепчик и провела рукой по головке девочки, та молчала. Перестав дышать, молчала и Юлька. Старуха еще раз погладила ребенка, подняла куда-то вверх глаза и сказала: «Хорошая у тебя дочка. Грыжи у нее нет. Запомни, что скажу: будешь ты с ней не-

разрывной связью связана. И не рви эту связь сама». Юлька ничего не поняла, но, как велела свекровь, протянула Яге деньги, та отказалась. Выбежав из лачуги, боясь оглянуться на подмигивающее окно, она, не помня себя, покатила коляску подальше отсюда.

Не сразу, далеко не сразу поняла она смысл слов Яги. Дочка росла спокойной и болезненно к ней привязанной. Она не спала без нее, не оставалась в комнате, если не видела мать; в два-три года, прижавшись к ее юбке, ждала, когда та приготовит обед, помоем посуду; ползала за ней, когда та мыла пол. Куда бы Юлька ни шла, она брала дочь с собой. Разлучались они только тогда, когда Чайка перед работой оставляла в детском саду захлебывающуюся слезами дочь. Эта пытка продолжалась каждый день, пока дочка не пошла в школу. Однако весь смысл слов Яги Юлька поняла тогда, когда однажды, срочно уехав на неделю в командировку, оставила трехлетнюю дочку с мужем. Когда она вернулась, девочка лежала на кровати похудевшая, на лице остались одни глаза, но самое страшное – хорошо говорившая к тому времени, она замолчала. Совсем. При появлении матери она схватила ее за руку, пыталась что-то сказать, но не смогла. Заикание было таким невыносимым, что не позволяло ребенку вымолвить ни слова. Оправившись от потрясения, Юлька словно наяву увидела перед собой лачугу Яги и ее саму и услышала сказанные ею слова. «Быть может, еще жива. Быть может...», – думала она с надеждой, прижимая к себе спящую дочь. Старуха оказалась не только жива, но и встретила их так, будто только вчера проводила. Они сходили к ней несколько раз, и в эти визиты старуха колдовала над девочкой – выливала воск над ее головой и что-то шептала. Вскоре дочка вновь заговорила.

Сегодня в ее яркой, успешной дочери, имеющей два высших образования, хорошо владеющей музыкальными инструментами и не испытывающей никаких комплексов в общении, ни за что не узнать малышку, с трудом пытающуюся произнести слово «мама». Зато Юлия Васильевна

так и не изжила то страшное чувство вины, которое она испытала тогда, вернувшись из командировки. Больше Ягу – костяную ногу, она никогда не забывала. И сегодня каждый раз вспоминает о ней, когда взрослая дочь, не слыша в телефонной трубке голоса матери хотя бы один день, звонит на следующий и тревожно спрашивает: «Ты где?» Юлия Васильевна улыбается: «Тебе помахать с балкона?» Дочь соглашается: «Помаши». И они посылают друг другу привет с противоположных балконов.

– Юль, а твоя дочь похожа на тебя? – услышала она про-
рвавшийся сквозь наваждение голос Ветрова.

– Нет, она похожа на своего отца.

Пламя свечи вздрогнуло и погасло в склянке.

– Уже вечер. Тебе пора ехать, сто километров впереди. Хорошо, что мы встретились, – она понимала, что надо сказать какие-то слова, чтобы они оба поднялись из-за стола. Ветер ее не слышал. Тогда она сама подозвала предупредительную официантку и попросила счет. Сашка беспомощно усмехнулся и достал деньги из портмоне.



Они стояли у «кашкая» красного цвета, и из них двоих никто не решался первым сказать «до свидания».

Наконец, она приподнялась на носочки, поцеловала его в губы и, не оглядываясь, пошла к станции метро. А он смотрел ей вслед, растерянный и потрясенный от внезапно пронзившей его мысли: «Ей не клетку золотую надо было, а взлетную полосу, и обязательно созданную им, чтобы она просто всегда летала».

СКВЫРЛА

Солнечным летним утром Анна появилась на пороге приемной:

– Здравствуйте, я к вам на работу. К директору можно? Немолодая секретарша, не поднимая от бумаг глаз, сухо отрезала:

– Он занят.

«Сквырла», – подумала о ней Анна, а вслух спросила:

– Подождать можно? Он занят надолго?

– Ровно на столько, сколько ему понадобится, – все так же, не глядя на присутствующую, ответила секретарша.

«Сквырла, инфузория», – ругала ее про себя Анна. Как еще такую ископаемую держат? Она прошла и села на свободный стул. Секретарша энергично переключивала бума-



ги, подписывала конверты и что-то регистрировала в журнале.

Затарахтел телетайп. Анна от неожиданности вздрогнула и недоуменно пожала плечами: каменный век, может быть, они еще гусиными перьями пишут? Секретарша заспешила к аппарату. Анну она не замечала, всем своим видом показывая, что она – пустота, неразличимое белое пятно на белой стене. В приемную заходили и выходили работники управления предприятием, одним словом – конторские. Почтительно вежливо раскланивались с секретаршей:

– Доброе утро, Любовь Петровна. К директору можно?

– Занят! – отрезала она, не соизволив даже повернуть головы.

Особо подбострастные интересовались: «Петровна, как внученька?»

Но Петровну такими штучками не пробрать.

– Спасибо, директор занят.

Анна скучала и разглядывала «сквырлу». Красивой она была лет тридцать назад. И сейчас сохранила прежнюю привлекательность. Сколько ей? Лет пятьдесят. В сравнении с ее собственными двадцатью пятью – старуха. Но хороша. И фигура, и пышные до сей поры вьющиеся волосы, и серые, глубокие глаза под пушистыми, почти девичьими ресницами, и родинка у подкрашенных губ – все говорило об истинной красоте. А энергия, видимо, и по сей день бьет ключом.

Анна взглянула на часы. Еще нужно было устроиться с жильем. Узнать, как с работой у мужа и насчет мест в детском саду. Она уже хотела вновь побеспокоить сквырлу, как дверь в кабинет директора порывисто открылась, и на пороге появился, видимо, он сам.

– Вы ко мне? – спросил он, обращаясь к Анне.

Секретарша широко улыбнулась.

– К вам. А вы уже освободились?

– Проходите, – пригласил директор Анну. В кабинете было пусто. – Долго ждали? Что будете пить, чай или кофе? – и нажал кнопку звонка.

Секретарша не замедлила появиться на пороге.

Анна, не глядя на нее, обронила:

– Предпочла бы коньяк, но обойдусь и кофе. – Директор, усмехнувшись, проронил:

– Приготовьте кофе, Любовь Петровна, и подайте рюмки под коньяк.

Сквырла окатила Анну льдом своего взгляда, весь ее вид говорил: «Напрасно, девка, нарываешься, ведь вроде работать тебе у нас, если еще работать...»

– Секретарша у вас мрачновата, – пригубив коньяк, заметила Анна.

– Есть такое, но дело свое знает, да и до пенсии ей два года. Не выгонять же. Она здесь уже десятерых директоров пересидела, я – одиннадцатый. Со стажем секретарша. Надеюсь, вы не на ее место претендуете?

– Боже упаси! – вздрогнула Анна.

Директор Анне понравился. Лет сорока. Высокий, энергичный. Не красавец, но сила и воля чувствуются во взгляде и в словах, даже в том, как он держит сигарету. Они говорили долго. Имя, фамилия, другие анкетные данные значения как будто не имели. В основном говорили о начавшейся перестройке, о тенденциях в экономике, о новых понятиях маркетинга и рынка, которые и предстояло Анне внедрять в этом чужом для нее краю. Ну, разве это не экономический парадокс – строительство и эксплуатация хлопкопрядильной фабрики на севере страны, вдалеке и от сырья, и от потребителя полуфабриката, который здесь производили. Во времена СССР все оправдывали социалистической операцией и интеграцией, а теперь, когда хлопок рос за границей, а полуфабрикат невыгодно было везти далеко на ткацкие фабрики, нужно было думать, как выжить в такой ситуации, как спасти предприятие, работающее в три смены, и рабочие места для нескольких тысяч женщин. Этим и должна была заняться Анна.

Уже не по одной чашке выпит кофе, директор одну за другой закуривает сигареты. А темы для беседы не кончаются.

Секретарша, в очередной раз положив на стол документы, сдержанно замечает:

– К вам люди.

– Ну, хорошо, Анна Николаевна, проходите в отдел, знакомьтесь. Будем работать, – директор поднялся первым.

– Спасибо! – искренне поблагодарила Анна и вышла вслед за Петровной.

В приемной стоял конторский с бумагами. Петровна протянула руку:

– Сама подпишу, – и вернулась в кабинет.

Анна усмехнулась и пошла искать отдел, в котором ей предстояло осесть.

Знать бы ей в ту минуту, на что она себя обрекает, бежать бы тогда из конторы без оглядки. А может быть, и, зная, не побежала бы, может быть, добровольно решила бы пройти через это испытание. Ведь каждая мука человеку зачем-то и за что-то посылается.

Уже на следующий день Анна поняла, что никогда ни в отделе, ни в конторе своей не станет. Молодая, интересная, а самое неприятное – умная, она не могла вписаться в неизменно привычный, трясинный мир конторы. Она сама была как эта непонятная перестройка, нарушившая привычный обывательский мир, в котором все было понятно и спокойно. Пусть не очень сытно, но изо дня в день стабильно. С молодости до старости корпели ее новые коллеги в своем отделе, до них стучали косточками счет и заполняли накладные их отцы и матери, из поколения в поколение в одном и том же отделе, со дня основания предприятия. А тут возьми и появишься какая-то варяжка. А виноват во всем директор. На редкость вышедший не из своих, а тоже пришлый. С ним как будто бы смирились, но не с этой же звездой. Одно ее присутствие в отделе отвлекало всех от привычно-рутинных дел. А с некоторых пор и просто будоражило. С тех самых, как только по конторе пополз слухок о романе Анны и директора.

Что было в этих слухах правдой, а что ложью, не знал никто. В том-то и дело, что не знал. Знали бы, другой раз-

говор. Анна же ничем себя не выдавала. Работала за троих, общалась со всеми предельно вежливо и предупредительно. Ни с кем никогда не обсуждала своих личных дел, что было просто вопиюще. Никогда не плакала и ни с кем не скандалила, что было просто неприлично и непростительно, по мнению тех, кто сто лет назад установил здесь свои правила игры.

Пытались навести справки у Петровны. Закидывали удочки, наводили мосты. Но не тут-то было. Петровна, казалось, ненавидя Анну, держала оборону крепко.

Сквырла. Разве такой она была? Да на красавицу Любашу бегали смотреть с других предприятий, чужие директора завидовали тем, кто сидел за этой дверью, черной завистью, а свои сдували пылинки с красавицы-секретарши. Как устоять было ей перед таким соблазном? Как сохранить себя для пьяницы-мужа и двоих детей? Как пройти по жизни так, чтобы другие оглядывались, не запятнав себя и сохранив видное место? Как? Науку эту Любаша познавала сама. На собственной жизни ее проверяла и в душу свою никого не пускала. Вот и дослужилась до Любви Петровны. Уж и директора ее кто в отставке, а кто на погосте. Только тайны их остались с Любашей-красавицей, а с Любовью Петровной теперь – закон и порядок. А вот как увидела она эту девку распроклятую в первый раз тогда в приемной, так и закололо сердце, беду предвещая. Это Анна думала, что сквырла ее не замечает, что она для нее пустое место. А у сквырлы сердце ныло, занесла же тебя нелегкая, девахал!

А уж как директора увидела в минуту изменившегося, коньяк тот с усмешкой пропустившего, разве мог кто другой позволить себе так с ним вести?! Всю контору в страхе держал. А она посмела. Просто и непринужденно, чем и подкупила с первого раза. Это она, Любушка-Любаша, знала, что самые сильные и строгие мужики в прах рассыпаются вот перед такой женской непосредственностью, а ему откуда это знать? Поймался, как пацан.

– Ох, – вздохнет Петровна нечаянно на своем посту, и тут же поплатится за неосторожность.

– Любовь Петровна, что так тяжело? – обязательно найдется рядом доброжелатель.

– Работа у меня вредная, – огрызнется, отмахнется.

Хуже, когда в приемную приходит Галька. Не кто иная, как супруга директорская, располагающаяся в конторе ниже этажом. В деле своем, да и в любом другом, она ни черта не понимала. Поэтому абсолютно неважно, куда ее было расположить. Любовь Петровна и ранее-то визиты ее с трудом выносила, а теперь и подавно.

Галька терлась в приемной, вечно какая-то нечесаная, одетая не по моде и не по сезону в дорогое, импортное барахло, которое директор ей откуда-то доставал. Пережидала, когда разойдутся служащие, а они, как будто бы специально, терлись вокруг да около, пока, наконец, всемогущая Петровна не разгоняла всех по углам. Тогда Галька начинала скулить:

– Любовь Петровна, а где директор, у себя?

– Нет, Галочка, отбыл на совет директоров в администрацию города, – говорила с ней, как с больной, Петровна.

– Один?

– С Семенычем, – ломала комедию Петровна, что и дураку было понятно, раз Семеныч – водитель директорской машины.

Галька мялась, не уходила. Смотрела в окно. Обрывала листки у только что расцветшей бегонии. Петровна метала в нее невидимые искры, готовая на месте испепелить.

– А где у нас Анна Николаевна? – не умея придумать ничего оригинальнее, мямлила директорша.

– В отделе, наверное, где ей еще быть? – со стуком обрушивала папки на стол Петровна.

– Я заходила, ее там нет.

– Так пописать, может, пошла, – в тон ей отвечала Петровна.

Тут распахивалась дверь, и откуда ни возьмись на пороге появлялась Анна.

– Вот и Анна Николаевна, – с облегчением констатировала очевидный факт Петровна. – Где же вы, душечка, шляетесь в рабочее время?

Анна протянула секретарше почту для регистрации:

– Это лично вас интересует или директора? – спросила невозмутимо.

– Это интересует Галину Ивановну, – ответила Петровна ледяным тоном, подумав про себя: «Паршивка чертова, и до чего хороша! Галька рядом с ней что кошка бездомная».

Анна повернулась к директорше, у которой запотели очки под ее взглядом:

– Галина Ивановна, я не в вашем отделе работаю, а следовательно, подчиняюсь другому руководству, – и вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь.

– Галь, ты б пошла к себе, там девчата уж чай пьют, пока директора нет.

– Как он приедет, позвоните мне, – уже психуя, сказала Галька.

– Обязательно, – а в закрытую от нервного толчка дверь, – сейчас, разбежалась.

Впрочем, были и другие моменты в их конторской жизни, когда Галька вдруг набивалась в подружки к Анне. Просила решить задачи перед экзаменами старшему сыну или уравнения для младшего, сетуя при этом, что дети растут при живом отце без отца, так как он занят все время на работе. А то сама предлагала Анне «дружбу домами», как в известном кинофильме, и обещала испечь к приходу гостя пирог. Дескать, всем в таком случае будет хорошо, только что не договаривая: «И директор тогда будет при мне и при тебе». Анна страдала от этой карикатурности взаимоотношений, задачки детям еще решала, а пить чай с пирогами отказывалась, насквозь понимая все подоплеку Галькиных предложений, и намеренно отдалялась от директорши.

Первым в приемную поднялся Семеныч.

Петровна поливала цветы:

– Где сам?

Семеныч кивнул в сторону отдела, где работала Анна, а затем посмотрел на Петровну. Она молчала. Семеныч пом-

нит, какой красавицей была Люба-голуба. Он и сейчас бы ее ни на кого не променял, коль не хотелось бы ему иногда с молодежью побаловаться. А зачем отказывать себе в удовольствии, если девки перед шофером директорским безотказные. Зря вот только Петровна сердится и девок тех взащей гоняет. Ей ли мало радости он в жизни подарил? От директора иного пьяного уводил, сам слезы ей вытирал, красотой ее довольствовался и любовью горячее за все платил. Молодые что? Это ж так, утеха, дело несерьезное. А Петровна все – душа, подруга верная.

– Жалко мне Анютку-стерву, – проронила она.

– Не жалея, – усмехнулся Семеныч, – она умна, да и строга не по годам.

Директор вошел, улыбаясь. Гаркнул:

– Чаю, Петровна, – и рассмеялся на весь кабинет.

– Увидит только ее, что мальчишка радуется, – заваривая чай, проговорила секретарша.

– Да не переживай ты так. Уладится все. Первые они, что ли, или последние? – откусывая кусочек рафинада, утешал ее Семеныч.

– Семеныч, – выглянул из кабинета сам, – допьешь чай, отвези в промзону Анну Николавну.

– Королева, и пешком бы дошла, – проворчала Петровна.

– Ох, Люба, и не зря же тебя змеюкой кличут, – подмигнул ей, смеясь, Семеныч и направился к двери.

Анна молодая и красивая. Но ей Петровна могла Семеныча доверить. Нрава она была порядочного, даже серьезного слишком. А потому и ныло за нее у Петровны сердце. Эта по мелочам размениваться не станет, а полюбит, что в омут с головой.

Предчувствие ее не обмануло.

Роман Анны с директором затянулся на года. Объединило их дело, которому они отдавались всецело. Новые методики и разработки Анны внедрялись на производстве и давали немалый экономический эффект. Директор, будучи исто-

рически «красным», шел в ногу со временем. И порой, задыхаясь как руководитель в капканах перестроечных реформ, он неистово верил в будущее предприятия и российской экономики. Анна поддерживала его начинания, помогала теорией и на практике. В институте она училась блестяще и сегодня могла бы смело приступить к кандидатской. Но все, что касалось лично ее успехов, ушло на потом. Она служила человеку и его делу, искренне и предано его любя.

Два года назад она ушла от мужа. Ей казалось, что так будет честнее. Моталась с ребенком по квартирам, таская за собой вытянутый в отделе по жребию среди распределяемого дефицита диван и огромную кучу книг. Сейчас, наконец, определилась с жильем, и очень удачно, рядом со школой, куда в первый класс пошел ребенок. Она ни на что не надеялась со стороны директора, просто поступала так, как не могла иначе.

А он умолял не бросать его. Обещал, что вот-вот объяснится с женой и определится с детьми. Отношения с Анной стали для него потрясением. Открытием, чудом, неизведанным до сих пор. Она не была похожа ни на одну из женщин, многократно встречаемых им в жизни для легкого флирта или, что там греха таить, на случайную ночь. Но с Анной все было по-другому.

Петровна не раз выгораживала их перед Галькой. Заметала следы и играла комедию, когда наверняка знала, что Семеныч пьет чай дома, а директор сам за рулем, и Анна Николаевна в промзоне. И как было понять сквырлу, если при появлении Анны она тут же вся важно надувалась и особо не жаловала ее своим вниманием. Одним словом, инфузория.

Анна подошла к столу секретарши и положила бумаги:

- Это директору на подпись.
- Сама занеси, – тоном, не терпящим возражения, заявила та.
- Насколько мне известно, это входит в ваши обязанности.
- А мне известно много чего другого, – эта фраза настигла Анну у двери.

Она обернулась и посмотрела на сквырлу так, что та внутренне содрогнулась. Столько было в этом взгляде тоски и боли! Петровна уткнулась в бумаги. «Поругались, наверное, сколько, дьявол, может девку мучить», – чертыхалась она про себя.

Анна заканчивала последний экономический анализ, когда услышала стальной голос завши:

- Анна Николаевна, вас вызывает Любовь Петровна.
- А дворник меня к себе не приглашает?
- Это вы сможете узнать у Любви Петровны, – невозмутимо ответила завша.

А когда Анна вышла, прошипела:

- Что себе позволяет? Слышала бы Петровна.

Это означало, что обязательно услышит.

- Вызывали? – Анна стала перед сквырлой.

– Анна Николавна, к нам едут турки, – не замечая ее иронии, проговорила Петровна.

- Почти по Николаю Васильевичу Гоголю.

- Не умничай, – оборвала Петровна.

Анна пожалала плечами, дескать, а что тут умного? Любому бы это пришло в голову, кто проходил в школе «Ревизора».

- Какие турки?

- Самые настоящие, из Стамбула.

– Каким ветром их в нашу тьму-таракань? И я тут при чем?

– Директор дал мне задание подготовить все для встречи на высшем уровне, – четко проговорила Петровна, тем самым давая понять, что она, в свою очередь, тоже дает задание.

– Вот и готовьте, – Анна не понимала, какого черта сквырла к ней привязалась.

– Анна Николавна, – заговорила та примирительно, – я никогда не встречала никого на высшем уровне. Я не знаю, что это такое и как это делать.

- Главное, не перепутать нож и вилку, – сострила Анна.



Но сквырла от волнения отказывалась понимать юмор.

– А что выставлять на стол – водку, пиво?

– Ну, ну, уймись со своим русским гостеприимством. Турки ведь по делу, наверное, едут. А ваше дело – бумага, подточенные карандаши и минеральная вода. Не забудьте стаканы поприличнее поставить. – Анна направилась к двери, как вдруг услышала по селектору голос директора:

– Любовь Петровна, пригласите ко мне Анну Николавну.

– Приглашаю, – сквырла сочувственно взглянула на Анну.

Та, чуть-чуть помедлив, открыла дверь кабинета.

– Вызывали? – она стояла у двери.

– Проходите, – директор виновато поднял на нее глаза.

Начал неуверенно:

– Анна Николавна, к нам едут турки.

Она не произнесла ни слова.

– С очень интересным предложением. Если контракт будет подписан, то в будущем – это создание совместного предприятия, это дополнительные инвестиции, перепрофилирование производства на пошив из турецких тканей. Это – современное высокопроизводительное оборудование и технологические линии. Это – расширение производ-

ства, увеличение объемов и выход на международный рынок! Ты понимаешь?

– Да, – эхом ответила она.

Создание совместных предприятий было модным веянием. Анна об этом знала. В пореформенную Россию заходил международный капитал, совместное предприятие стало одной из форм международной собственности. Увы, сделки по созданию таковых часто срывались из-за новорусского подхода, когда обязательно находился какой-нибудь посредник, желающий быстро отжать свою долю, а там трава не расти.

– Я не хочу работать через посредников. Надо заключать договор самим. Мне сообщили, что турки говорят по-английски. С ними переводчик из Москвы, из той самой фирмы, которая хочет выступить посредником. А турки еще не определились, с кем иметь дело. Понимаешь?

Анна уже давно все поняла.

– Нам нужно очень тонко провести переговоры. Английским владеешь только ты.

– Я не владею, я только понимаю. И немного говорю.

– Аня, ты мне нужна на переговорах. Вечером нужно ехать к соседям на родственное предприятие и вести переговоры там. Возможно, мы задержимся. Но – это важное дело!

– Мне не с кем вечером оставить ребенка, я не могу.

– Я знаю, но попроси кого-нибудь посидеть, найди какой-нибудь выход. Давай, заключим этот контракт, а потом все образуется. Я обещаю тебе. Аня, ты нужна мне.

Сколько раз за эти годы слышала она эти слова!

– Я постараюсь, – и вышла в приемную.

Сквырла опять с сочувствием посмотрела на нее. Она не подслушивала и не подсматривала, но она точно знала, что в очередной раз Анна ему нужна. Она нужна была ему в каждый ответственный момент.

Анну туркам представили как маркетолога, кем она собственно и была. Но главной ее задачей было слушать пере-

вод. То, что он был далек от совершенства, она поняла сразу. Когда же переводчик стал откровенно врать, она ему об этом заметила.

– Вы говорите по-английски? – удивился он.

– Нет, только понимаю.

– Это уже немало.

– Для вас?

Переводчик посмотрел на нее пристально. И стал держаться ближе к тексту.

Самый главный турок удовлетворенно кивал головой.

– Fine...

Казалось, что к некоторым договоренностям удалось подойти. Окончательный результат зависел от переговоров на родственном предприятии. Они вышли в приемную, и Анна тут же заметила тревогу в глазах Петровны.

– Семенычу плохо стало, домой его отвезли. Как вы поедете?

– Сам поведу, – отрезал директор.

– Ну, ни пуха, – благословила Петровна и, когда все вышли, перевела дух.

Ей еще предстояло держать оборону. Галья, узнав, что Семеныч заболел, теперь весь вечер будет висеть на телефоне и мучить ее дурацкими вопросами: «Как вы думаете, Петровна, турки уже уехали или нет?» Откуда ей знать дома у плиты, уехали турки или нет? Но Петровна будет улаживать и уговаривать ее, желать приятных снов и спокойной ночи. Какой уж тут покой, когда с Семенычем плохо?

Соседи встречали по-русски. На столе стояли бутылка водки и литровая банка с черной икрой. Директор говорил со своим коллегой, турки ели икру, передавая ложку из рук в руки, второй ложки, как и хлеба, почему-то не было. Анна, расслабившись в кресле, думала о ребенке. Сердце щемило от тоски по нему. Потом стали снова договариваться, обращая особое внимание на спорные пункты контракта. Переводчик теперь поглядывал на Анну, она внимательно слушала его.

Возвращались поздно. Свет от фар сливался с падающим снегом в какие-то фантастические завихрения. Анна прикрыла глаза.

– Устала?

– Очень.

– Как ты думаешь, удача улыбнется нам?

– Не знаю. Все очень сложно.

У ее подъезда директор затормозил:

– Аня...

Она подняла уставший взгляд.

– Я пойду, спокойной ночи!

– Спасибо тебе.

Ребенок, не раздевшись, разметался на диване. Ждал ее. Она опустилась рядом на колени, даже заплакать не было сил.

Семеныч умер. Уснул и не проснулся.

Утром весть облетела контору. Анна смотрела в окно. Вокруг охали и ахали коллеги. Умирая сами от любопытства, по очереди бегали смотреть на Петровну, слухи о давнем романе директорской секретарши с водителем, конечно, долетали до каждого. Возвращались разочарованные. Петровна должного впечатления не производила.

Работа в голову не шла. Анна корила себя за малодушие. Наконец, когда все уgomонились, с какой-то бумагой вошла в приемную. Петровна заполняла журналы. Ее пышные волосы крепче обычного были стянуты на затылке. Лицо было бледным. И все. Больше никаких признаков переживаний.

– Любовь Петровна, я могу вам чем-то помочь?

– Мне уже ничем помочь нельзя.

Такой ее Анна не знала. Раздался телефонный звонок. Петровна машинально подняла трубку и не успела отключить громкую связь.

– Здравствуй, Люба. Семеныча завтра привезут, приходи посидеть у гроба. Делить нам с тобой больше некого. Людей смешить не будем, и друг друга мучить тоже. Старые мы уже, Люба. Царство небесное Семенычу, умел любить нас обеих.

Петровна положила трубку и заплакала.

– Это жена Семеныча. Значит, знала. И всю жизнь виду не показывала.

В приемной нарисовался очередной служащий. Анна закрыла собой Петровну и протянула руку за бумагами. Конторский замялся:

– Мне бы к директору.

– Он занят, зайдите позже, – Анна не двинулась с места. Конторщик помялся еще и вышел.

Петровна уже справилась с собой.

– Спасибо, Аня, – выпила воды и, словно ни к кому не обращаясь, проговорила:

– Жизнь гораздо короче, чем мы думаем.

Директор был потрясен внезапной смертью водителя. Он еще никого, кроме пожилых родственников, не хоронил в своей жизни. После похорон о чем-то все думал и думал.

– Любовь Петровна, вызовите мне Анну Николавну, – голос директора показался ей странным.

– Ее сегодня нет. Она заболела.

– Что с ней?

– Все люди когда-нибудь болеют.

Он оборвал связь. А через секунду стоял в приемной.

– Меня сегодня не будет.

Не было его и завтра. Позвонил откуда-то.

– Петровна, у меня отгул, – и бросил трубку.

Никогда до этого отгулов у директора не было. Сердце Петровны сжалось в комок. Галька уже не раз приходила в приемную вся отекая и зареванная:

– Где он, Петровна?

– Он директор, ему виднее, где быть.

Галька снова ревела:

– Он у нее, я знаю.

– А что тогда ты меня пытаешь?

– Петровна, я пропаду без него, я ведь ничего в жизни не умею.

– Это ты верно заметила. И где только директора таких жен находят? Или вы такие со временем становитесь? – Петровна не скрывала уже своей неприязни.

Но Гальке идти было некуда. Подруг в конторе у нее не было. И плакала она перед Петровной.

А контора гудела. Работа вся остановилась. Такого шикарного повода «помыть кости» не было давно.

На третий день Анна не выдержала:

– Глупо так отсиживаться. Ты должен пойти и объясниться с женой. У меня – дите. Я должна в первую очередь для него создать покой в доме. Я не могу спокойно смотреть на маленького любимого человечка, не определившись в жизни. Мне стыдно перед ним, перед людьми. Меня же шлюхой называют. И я должна с этим жить?! И с этим должен жить мой ребенок?!. И твои, уже взрослые дети, тоже живут с таким отношением ко мне.

– Да, я пойду. Конечно, надо расставить все точки над і. Я вернусь, обязательно вернусь.

Уже в дверях вдруг обернулся и опустил пред ней на колени:

– Аня, если я не вернусь, не бросай меня, умоляю. Ты мне так нужна.

...Анна знала, что он не вернется.

На третий день Галька закатила истерику прямо на рабочем месте. Она кричала, стучалась головой об стенку и клацала зубами. Срочно вызвали Петровну. Та пыталась привести ее в чувство. Ничего не получалось. Вызвали «скорую» и увезли директоршу в больницу. Петровна уже в сотый раз набирала номер Аниного телефона, но он по-прежнему молчал. Тогда она решилась.

На входной звонок Анна открыла с радостью, думала, что из школы вернулось дите. На пороге же стояла запыхавшаяся Петровна.

– Где он? Вы что, хотите бабу в психушке сгноить? Вы чего добиваетесь? Галька же сегодня чуть богу душу не отдала, – сквырла себя чувствовала как на собственной кухне. – Вы бабу пожалеть можете с любовью своею? – И вдруг, встретившись с глазами Анны, осеклась.

– А кто меня пожалеет? – Анна уронила голову на руки и заплакала горько-горько.

Петровна сама захлюпала.

– Анечка, солнышко, ты же умница. Красавица, ты наша! Ты же сильная девочка! А она-то ведь баба никчемная. Плюнь ты на него. Ты – молодая, все у тебя в жизни еще сложится. Анечка, ну, не плачь, не рви ты мне душу, милая.

Анна вытерла слезы.

– Любовь Петровна, он ушел домой. Я думаю, что больше не вернется. И вы идите тоже.

– Думаешь, я тебя не понимаю? Да что делать, если жизнь такая распроклятая? – в дверях остановилась, – хорошая ты, все будет у тебя еще складно.

Анна осмотрела квартиру с кучей книг и единственным диваном у стены. Но для них с дитем она была просто роскошной. И вдруг ей захотелось вымыть пол. Неважно, что квартира и так блестела. Одолевало такое чувство, что из дома вынесли покойника. Да, надо обязательно все помыть. Прямо сейчас, немедленно. Потом она наполнила ванну водой и легла туда сама. В душе было пусто. В голове тоже, до оглушительного звона, сквозь который прорвались откуда-то строки:

Мещане, они не знали,
Что может, такой и бывает –
Истинная любовь...

Когда она вошла в отдел, все дружно повернули головы.

– Приветствую коллеги, что новенького в мире? – она так же, как всегда снимала пальто, причесывалась у зеркала и улыбалась своей милой улыбкой.

Коллеги остолбенели. Какая наглость? Что еще новенького в мире? Единственной новостью и сенсацией для них была она сама.

Завша съехидничала:

– А мы думали, что вы нам расскажите последние известия, Анна Николаевна.

– Отнюдь, смотрите телевизор, – и прошла на свое место.

Общее разочарование было очевидным.

Как оказалось, Галька тоже осталась жива. Правда, по конторе передвигалась показательно-скорбно. При людях хваталась за сердце или некстати стонала. Больше же частью сидела в приемной, карауля своего директора.

Анна увлеклась новыми трудами по рыночной экономике, пила в перекурах чай с любимыми карамельками и звонила дитю:

– Зайка, как дела?

Петровна несла службу, как всегда, в соответствии с должностной инструкцией.

– Любовь Петровна, – директор выдержал паузу, – приглашите ко мне Анну Николавну.

– А стоит ли? – она посмела возразить.

– Не могу я без нее, – словно не сказал, а простонал он.

Анна замерла у дверей:

– Вызывали?

Он поднял глаза. Милая. Любимая. Сердце его зашло от счастья и тоски. Анна оглянулась на какую-то возню за закрытыми дверями. Галька прорвалась сквозь все преграды. Возмущенный вид Петровны, выпавшей следом, говорил о том, что она очень старалась, но на этот раз не удержала натиск ревнивой бабы. Галька, визжа, бросилась к Анне:

– Сука, сука проклятая!

Не встань перед ней Петровна, вцепилась бы Анне в лицо.

Анна во все глаза смотрела на директора. Он стонал, как больной:

– Прекрати это, Галя!

Спокойный, какой-то до жути спокойный голос Анны раздался посреди этого содома:

– Я выхожу замуж. Будьте счастливы!

– Аня, ты нужна мне, Аня!..

Анна шагала по улице. Радуюсь свежему воздуху, солнцу, искристому снегу. Вдруг до боли, сопротивляясь слезам, зажмурила глаза. И подумала о том, за кого бы ей выйти замуж.

Она гуляла с коляской по парку. Малыш спал, сердце ее ликовало.

– Анна Николаевна, добрый день!

– Не узнала вас, Любовь Петровна, будете богатой.

– Богатство мне не нужно. У вас-то вот радость какая.

И выглядишь хорошо. И муж, говорят, тебя обожает, я же говорила, все будет у тебя замечательно.

И, сменив тему, без остановки продолжала:

– Я не работаю. Новый директор меня отфутболил на пенсию. А прежний-то уехал. Гальку свою бросил. Спился, говорят, совсем.

Анна смотрела куда-то вдаль сквозь Петровну:

– Как вы сами, Петровна?

– Я ничего. С кладбища иду. Семеныча провела. Жена-то уехала жить к детям, а я за могилкой хожу. Вот так-то и так, Аннушка, жизнь такую распроклятую.

Анна улыбнулась. Сквырла и есть сквырла. А вслух сказала:

– Здоровья вам! Ну, я пошла! – и покатила свое сокровище.

«Вот только куда ты идешь?» – подумала ей вслед Любовь Петровна.

ИСПОВЕДЬ УМЕРШЕГО МУЖА

Вы тут все про девяностые годы говорите. Кто и как их пережил. А я не пережил. Убили меня двадцать пятого августа девяносто девятого года, когда мне было тридцать шесть лет. Правда, жене сказали, что я умер от кровоизлияния в мозг. Да и не жена она мне тогда уже была. Во второй раз замуж вышла. Зря, конечно, он и ногтя ее не стоил. Но мне похмелиться давал, не отказывал. Его, кстати, тоже смертельная участь постигла, только пятнадцатью годами позже. И ему она уже тогда была не жена. Но на похороны приезжала, вместе с сыном. Его сына она вырастила хорошим, так же, как и мою дочь.

Знаю еще с юности, что она иногда видела пророческие сны. Особенно перед бедой. Не всегда умела их понять, потому что видела образы. Когда же беда приходила в дом, она вспоминала сон: вот же, предупреждение ей было. Потом и я буду приходиться к ней во снах и предупреждать ее. Но насчет второго мужа не я жену предупредил. Без меня успели. Прямо в новогоднюю ночь увидела она во сне, что надевают на нее черную фату, из двух накидок. Сначала накинули одну, потом – вторую. А в венке фаты алые-алые розы. Как всегда в таких случаях с ней бывает: проснулась, а на сердце тоска. И поняла, что опять в ее жизни беда случится. Первая мысль о сыне и страх за него, он в армии служит. Нет бы над образом задуматься – черная фата, две накидки, а она о сыне. Ладно бы фуражку военную увидела, а то фату, при чем тут сын? Но что поделаешь с материнским сердцем. Вскоре известие пришло. Она не удивилась. Десять лет как не жила уже со вторым мужем, но знала, все эти десять лет он пил, не переставая. Я видел, он умер один, сидя на диване, держа перед собой фотографию жены. Она

опять же о сыне: как ему сообщить? И лучше бы из армии ему не ехать. Но он одно: я должен отца похоронить. Говорю же: воспитала. А потом в ее жизни было дежавю. Только на русский манер, без всякого французского романтизма, и вместо конца лета, когда хоронили меня, середина зимы с тридцатиградусным морозом. Заснеженное поле с ослепительным солнцем и торчащими из снега крестами, потрясенный горем сын, с замерзшими на форме слезами. Жена, поддерживающая его под руку, и алые-алые розы на холме промерзшей земли. Алые розы на могиле ее судьбы. Но я тороплюсь. До этих роз еще было много других, хотя я ей цветов никогда не дарил. В пору нашей юности цветов не продавали. Можно было с трудом букет гвоздик найти, но не до них как-то было.

Жена бы лучше нашу историю рассказала, но ей некогда, правда, некогда. Она постоянно занята, всегда крутилась на основной работе и разных подработках, чтобы детей поднять. И сейчас вся в трудах и заботах, я ведь вижу, но не беспокою ее. И так ей со мной досталось. А с дочкой говорю, и во снах к ней прихожу. Она не боится, радуется мне. Взрослая стала, самостоятельная. В прошлом году памятник мне поставила вместо прогнившего креста. Красивая очень. Любил я ее, котенком всегда называл, и причиной тому было не имя ее Ксюша, а весь облик – мягкий, ласко-



вый. Помню, как-то концерт я давал, на сцене под гитару пел, полный зал притихшего народа, а она встала, через весь зал бесстрашно прошла и поднялась ко мне на сцену, прижалась... Ну разве не котенок?

Жена бы лучше все рассказала, я знаю, она помнит, но у нее теперь совсем другая жизнь. Прежней осталась только школа. Учитель она по русскому языку и литературе. Познакомились мы в студенческие годы. На вечеринке в общежитии педагогического института. Я учился в политехническом и пел в городском КСП. Вы теперь, наверное, не знаете, что такое КСП. Это – клуб самодеятельной песни. В восьмидесятых годах в КСП собиралась самая прогрессивная молодежь. И двери для нас во все студенческие общежития были открыты. Ну если не двери, то окна. Подумаешь, на второй или пятый этаж по простыням подняться, а потом спуститься обратно. Только вы не думайте, ничего такого не было. Песни пели ночи напролет, иногда могли выпить немного дешевого вина. Дорогого тогда не было, и денег у нас тоже. И пить я стал позже. А тогда, как увидел ее, сразу влюбился. Маленькая, хорошенькая, быстрая. И я хоть тоже не отличался богатырским телосложением, но сразу стал ее воробышком называть, а она в ответ плечом недовольно дергала. Я не нравился ей, знаю. Но решил: буду ходить к педагогиням, девчонок здесь много, будто бы и не к ней вовсе хожу. Вдруг да и обратит на меня внимание. А она на песни обратила. Стоило мне начать перебирать струны и запеть первые строчки:

«Мне звезда упала на ладошку.

Я ее спросил – Откуда ты?

– Дайте мне передохнуть немножко,
я с такой летела высоты.

А потом добавила сверкая,
словно колокольчик прозвенел:

– Не смотрите, что невелика я...

Может быть великим мой удел...» –

как она тут же становилась мне ближе. Значит, и я – ей. Но завоевать ее было не просто. При всей отзывчивости она была

очень замкнутой. Легко общалась в компании, но никого не пускала в свой собственный мир. А то, что у нее был богат и наполнен собственными переживаниями, я не сомневался. В ее серых бархатных глазах все отражалось, как в зеркале. И на каждую мою песню она реагировала тонкими движениями души и взглядом. О ее прошлом я ничего не знал. Да и какое прошлое могло быть тогда у нас, восемнадцатилетних? Только настоящее. Лично у меня вполне благополучное. Я окончил школу с золотой медалью, в институте с учебой не упирался, единственный сын обеспеченных родителей, знал, что и дальше буду иметь все. Нет, вы не подумайте, это не имеет ничего общего с той золотой молодежью, что по полной отрывается в вашем веке. Мой отец руководил небольшим заводом в провинциальном городке, по направлению которого я учился, и обязан был туда же вернуться на работу. Был уверен, что со временем у меня будет квартира, машина, но только не дача. Копаться в земле я терпеть не могу. По натуре я – не крестьянин, деревня – не мое призвание. А она была родом из села и мечтала вернуться туда сельской учительницей. Сумасшедшая: весной – копать огород, зимой – топить печь. С какой романтикой она об этом говорила. Думаю, что она кого-то любила в школьные годы, и даже серьезно, она все в жизни делала серьезно. Ей часто приходили письма. Но она об этом со мной не говорила. А потом письма приходят перестали, девчонки из комнаты об этом проболтались, и она сникла. Когда я пел:

«Милая моя,
Солнышко лесное,
Где, в каких краях
Встретишься со мною?» –

она вообще исчезала, ее не было рядом. Оставалась только телесная оболочка. То, что называется душой, было не со мной.

И вдруг она меня заметила. Не песни, а меня – тогда живого человека. И по тому, как она это сделала в один миг, я понял, что какое-то решение она приняла раньше. Мне

бы тогда не радоваться, а трезво оценить, что решение, принятое в одночасье, не может привести к полноценному счастью. Но до того ли мне было, когда однажды она предложила: «Пойдем в кино». Не шел, летел, подбострastically заглядывая ей в глаза, напевая:

«Шесть коней разгорячённых,
В шляпах алых и зеленых
Над землей несутся вскачь,
На запятках черный грач.
Не угнаться за каретой,
Ведь весна в карете этой,
Ведь весна в карете этой...»

И вокруг была весна, и она улыбалась.

Из кинотеатра шли по темным улицам, она смотрела на освещенные окна многоэтажных домов и вдруг с грустью произнесла: «У всех есть свой дом, а мне опять идти в общагу». И тогда я решился: «Выходи за меня замуж. Поедем в мой город. Отец нам сделает квартиру. И у тебя будет свой дом». Она подняла на меня свои бархатные серые глаза: «Я хочу настоящий дом, с землей, с цветником под окнами, чтобы дети бегали по земле, и я могла ходить по траве босыми ногами... ну, ладно, я согласна». Вот так все оказалось просто. Ей было тогда девятнадцать, мне двадцать один. Шли к концу восьмидесятые годы двадцатого века.

Свадьба была студенческой, хорошо придуманная моими родителями. Первой брачной ночи в прямом смысле не получилось. Жена сослалась на усталость и головную боль, тогда я еще не знал этой женской хитрости. Но все же дочь у нас как-то через девять месяцев на свет появилась. Теперь думаю, знай тогда жена, как можно избежать скоропалительной беременности, наверняка к какому-то из способов бы прибегла, но она не знала. Не удивляйтесь вы, живущие в новом веке, мы тогда любили целомудренно.

Мы оба не были готовы к семейной жизни. Рождение дочери стало первым испытанием. Я растерялся. Жена собралась и взвалила все заботы о девочке на свои маленькие плечики, став еще, кажется, быстрее, выносливее и упремере.

Судите сами, ведь можно было пойти в академку, взять отпуск, а потом продолжить учиться. Нет, ей надо было все делать одновременно – заканчивать институт, растить ребенка, готовить обед, стирать, в общежитии одна стиральная машинка в общей прачечной на первом этаже, а жили мы на четвертом. И заметьте, машинка самая примитивная, барабан крутился, спасибо и на том, а полоскать, отжимать извольте ручками. У жены все ловко как-то получалось. А я уставал от однообразия общажного быта, где в одной комнате приходилось сушить пеленки, – о памперсах мы тогда понятия не имели, – варить обед, укачивать малышку, каким-то образом заканчивать мне дипломный проект, а ей готовиться к сессии. Другая бы не выдержала. Но только не жена. Ко мне относилась с пониманием, с легкостью отпуская на концерты, фестивали и заседания КСП. И там я отходил душой. Особенно, если удавалось достать пива.

А потом в автокатастрофе погибли мои родители. И вместе с ними мой привычный надежный мир. Жена почти в то же самое время блестяще окончила институт, и ей как красnodипломнице вместе с направлением в школу моего родного города дали ордер на квартиру. Надо ли говорить о том, как она меня поддерживала в те дни? А я стал пить. Так было легче. Жить, думать, петь...

В горисполкоме жену уговорили от квартиры отказаться. Объяснили, что дом только сдан, однокомнатных квартир мало, а именно эта квартира очень нужна инвалиду Великой Отечественной войны. Ну, как вы думаете она поступила? Конечно, тут же ордер положила на стол. Потом, через несколько лет, уже в девяностых, в местной газете всплыла скандальная история про председателя горисполкома, про его неллицеприятные делишки, в том числе про эту квартиру, от которой он обманом уговорил отказаться молодую учительницу и передал ее своей секретарше-любовнице, куда и ходил к ней тайком на свидания. Да разве может быть что-то тайным в провинциальном городишке? Все дело во времени: в какой момент все станет явным. Председателю не повезло, кто-то против него затеял игру,

и все тайное на поверхность всплыло слишком рьяно. Также рьяно его сняли с должности.

После моих родителей остался коттедж. Нет, не думайте, это не тот коттедж, который в вашем веке строят себе обеспеченные люди. У моих родителей был старый дом с тремя небольшими комнатами, построенный еще в пятидесятые годы двадцатого столетия, с подведенной водой и канализацией. И, конечно, с шестью законными сотками земли, чему страшно была рада жена. На этой земле и в этом доме мы и стали жить после смерти родителей. Наступало последнее десятилетие двадцатого века. Кто сегодня любит вспоминать то время? Мне-то теперь все равно, а вам, живущим в новом тысячелетии?..

Жена не любит вспоминать. И в смерти моей себя винит. Я знаю. Не докучаю ей, но все о ней знаю, не спрашивайте как. Все равно не расскажу. Не позволительно нам. А я жалел ее тогда. Как она работала! Наверное, так умеют только деревенские женщины. Уроки в школе в две смены, вечером – подработка в техникуме, быт, который она полностью вела сама, маленькая дочь, до поздней ночи – проверка тетрадей. С ранней весны начинала сеять рассаду, потом высаживать ее в теплицу, потом растить урожай. До глубокой осени в огороде, не разгибая спины. Я помогал, когда без меня уже никак. Картошку посадить и выкопать. Тяжесть помочь перенести. А большего толку на земле от меня не было. Я объяснял жене: «Ты – крестьянка, а меня этому не учили». Она соглашалась. И молча одна шла в огород. А мы с дочкой песни учили, она музыкальной росла:

«По роще калиновой,
По роще осиновой,
На именины к щенку,
В шляпке малиновой
Шел ёжик резиновый
С дырочкой в правом боку».

По этой же причине не сложились у меня отношения и с родителями жены. Ее отец, строгий деревенский мужик, любивший в доме порядок и приучавший к труду детей с

раннего возраста, в первый наш приезд в деревню, когда я оказался несостоятельным помощником при вспашке огорода, вынес мне презрительный вердикт: «Вшивый интеллигентишко». И выше этого в его глазах я больше не поднялся. Слышал, как он выговаривал дочери: «Нашла ты себе мужика, только книжки читать способен. Посмотрю я, как он тебя этими книжками кормить будет». Жена молчала. Думаю, она соглашалась с отцом. Но мне обидно было даже не это, а то, что она со временем все реже и реже слушала, как я пел. Конечно, она уставала, выматывалась и... молчала. Я от этого раздражался, а лучше всего раздражение снимала водка. Помните, в магазинах полки тогда были пустые, немногие из имеющихся в ассортименте продуктов давали по талонам, водку тоже. Непьющие меняли ее на продукты, называя «валютой». И мне удавалось «валюту» легко доставать. Я мог починить любую бытовую технику, что при дефиците товаров пользовалось большим спросом. Брал водкой, так как денег все равно ни у кого не было.

Буылки прятал от жены, а потом, тайно наливая по стопашку, расслаблялся. Честно говоря, пить я не умел. Пьянел быстро и терял контроль над собой. Нет, никогда не ругался, упаси Бог, не трогал ее, да и как можно было ее такую маленькую бить, хоть и раздражала она меня своей бесконечной работой, занятостью, усталостью, беганием по каким-то митингам, сбором гуманитарной помощи для солдат, служивших в Чечне. До всего ей было дело, только не до мужа, между прочим, любившего ее. Что теперь обижаться? Дело прошлое. Для меня прошлое, как сама жизнь... Брал я в руки тогда гитару и пел, посвящая песню жене:

«Белый снег, он как подарок для людей,
С этим снегом мы становимся добрей,
Мы становимся немножечко детьми,
Хотя нет нам в наше прошлое пути.
Снег, снег идет по всей большой земле,
Он укрывает ветви тополей,
Он разрисовывает белизной дома,
И в город входит сказка и зима».

С песнями и водкой я забывался, только иногда встречался с тоскующими глазами жены. Она меня не упрекала, не призывала к совести, не плакала. Просто тосковала. И эта тоска убивала меня. Как-то мы снова поехали к ее родителям. Дочке лет пять уже было. А в деревне знаете как: все – родственники и друзья. Вот и к ней зашли ее одноклассники, чего плохого, кажется? Только вся она напряглась, внутренне сжалась. А они стоят, два таких верзилы, кулаки с килограмм у каждого. Высокие, смазливые, девчонки-дуры таких любят. Давай нас с собой на гулянку приглашать. Жена отказывается, глаза отводит, особенно от одного из них, который ее просто ест своим взглядом. И мне бы послушаться ее, не нарываться, да нет же, самолюбие одолело, вот я им деревенским покажу, как городские могут на гитаре исполнять: хотите Баха или Моцарта вам подавай? Они подали раньше. Выставили на стол сначала пол-литру, потом еще одну. Жена ни жива, ни мертва. Я ведь чувствовал, что с ней не ладное творится, но остановиться уже не мог. Пил – запевая, и пел – запиная. Будто сквозь стекло видел, как тот смазливый верзила, от которого она глаза все это время отводила, подкатил к жене. Она встала. Такая маленькая перед ним, только бархатные глаза лучатся, и увидел я в них то, чего раньше никогда не знал – свет, замешанный на невыносимой боли. Другой в тот момент мне вновь подал наполненный стакан, жена качнулась в мою сторону: «Прекратите! Не смейте его спаивать!» Но тот, что стоял рядом с ней, сжал ее руку чуть выше локтя и стал ей что-то говорить. Он говорил, а я пел и пел, не слушая и не слыша. А потом как будто бы и совсем оглох, даже собственных слов и струн не слышал. И все происходящее вокруг было словно в немом кино. Жену никто не тронул. О том, какой разговор проходил между ней и тем смазливим можно было догадаться, но догадываться я не хотел. Очнулся тогда, когда жена, с трудом подняв меня, буквально потащила к родительскому дому, а вслед доносилось презрительное и злое: «Вот твое счастье! Живи с ним!» Последнее, о чем я успел

подумать, валясь на тещин диван: «Кажется, Моцарта и Баха они не оценили».

Больше я в эту деревню ни ногой. Жена тоже не ездила. А в середине девяностых, когда в деревне нищета наступила и перестали пенсию выплачивать, ее родители переехали в наш город. Правда, тогда они мне тестем и тещей уже не были, как, впрочем, и жена – женой. Но и других у меня не было тоже. Им досталось меня хоронить, тестю гроб самому колотить, жене подушечку и покрывало для гроба готовить, денег на погребение не было ни у кого. Жену мне было жаль. Потухшая в те дни ходила, совсем не похожая на быструю птичку. Ее пригласили в прокуратуру, потому что считали моей женой. В паспорте печать о разводе я принципиально не ставил. Показали посмертную мою фотографию, с ранами и кровью на голове. Она облегченно вздохнула: это не он. Следователь с сочувствием посмотрел на нее: «Он. Уже установлено, можете сами сходить на опознание в морг. Он уже неделю там лежит. Его нашли мертвого, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг». Жена молчала. Следователь сжалился над ней и с пониманием продолжил: «Раз были в разводе, значит, хоронить не



будете, тогда мы напишем официальное письмо в городские службы, чтобы его похоронили, как бездомного». Она ужаснулась: «Не надо никуда писать, я сама его похороню». Следователь пожал плечами: «Тогда подпишите бумагу, и мы дело на этом закроем». Жена сказала: «Не подпишу, он ведь весь избит, ищите убийцу». Следователь был разочарован: «Зачем вам это?»

Опознавала меня теща, жена не смогла. Не смогла подойти и к гробу, хотя всю одежду мне приготовила и подушечку сшила. Мне было ее очень жаль. У могилы стояли всего несколько человек: мой друг детства, плачущая дочка, теща с тестем и жена. Когда стали гроб опускать, закапал дождь, сорвавшийся с березы лист желтым парашютиком полетел вслед за мной. Жена горько зарыдала, я рыдал вместе с ней. Мы хоронили нашу юность, неповторимое состояние веры, полета и беспечности. И чтобы хоть как-то ее утешить я запел ее любимую песню:

«Занавешен занавес струнами дождя,
И в театре года – новая премьера,
На спектакль «Осень» не пойти нельзя,
Третье место, первый ряд партера.
Но однажды утром на афишной тумбе,
Вдруг увижу новый лист, белого белей,
Нам самих себя играть в том театре, люди,
С каждым годом становясь чуточку мудрей»

Мне было жалко с ней расставаться. И я к ней пришел на следующий день. Пока еще мог управлять своей сущностью, пока оставался еще здесь, среди живых, я встретил ее у булочной, когда она выходила из магазина, купив черного хлеба и сдобную булочку для дочки. Я заговорил с ней, но она не услышала. Тогда я просто стал перед ней и попросил хлеба. Она остановилась и пообещала: «Приходи к сороковому дню, я все приготовлю». И я пришел, она не обманула. Да и разве могла она обмануть?...

Но все же, куда я тороплюсь? Ведь теперь мне абсолютно торопиться некуда. И ведь была еще жизнь.

С женой было жить удобно. Она умела найти выход из любой ситуации. Мало спала, быстро все делала, и дом в порядок успевала приводить, и дочка у нее всегда ухоженная, и мне к работе рубашки наглажены, галстуки приготовлены. И будь он неладен, огород обихожен. А еще помните, большой проблемой тогда было продукты достать. А жена умудрялась. По выходным, рано утром, пока мы с дочерью спали, торопилась на рынок. Она, выросшая в деревне, могла и ливер купить на пирожки, и грудинку выбрать потоньше, чтобы потом яичницу на ней золотистую поджарить, и яичек успеет прикупить, и масла деревенского разыщет. Я вставать рано не любил, да и на базаре чувствовал себя неуютно. Жена тоже торговаться не умела, но в практическом подходе ей было не отказать. Честно вам скажу, не очень я понимал, как мы выживали. Хуже всего было тогда, когда перестали платить зарплату в школе и на заводе, где я работал. Промышленные предприятия стали бартером заниматься, раз на счетах пусто, устраивали натуральный товарообмен. Наш завод чем только не брал за производственные станки: посудой, стиральным порошком, мукой, мебелью, одеждой и обувью. Ассортимент бартера был небогатый, размеры одежды и обуви однотипные, среди них нам с женой из-за невысокого роста трудно было что-то подобрать. А муку мешками брали, жена пекла пироги, блины и оладьи, в общем – сытную пищу, чтобы нас с дочкой накормить. Сама ела мало. И много работала. Помню, как-то и с бартером на заводе стало плохо. В школьной столовой учителей и учеников кормили скудно. Но все же хлеб на столах оставался. И жена эти кусочки собирала, чтобы дома дочку накормить. Не она одна. Все учителя собирали.

Помню, несколько раз начинала она со мной разговор о том, чтобы открыть кооператив. Самые ушлые в те годы, когда рынок в стране объявили, открывали. До полного капитализма еще дело не дошло, но и от социализма последнее оставалось. Форма собственности становилась половинчатой. Началась приватизация заводов. И наш главный инженер известной предприимчивой национальности

вдруг стал владельцем всего предприятия, вытеснив из руководства бывшего директора и не угодившего ему главного бухгалтера. Это место занял его собственный не менее сметливый сынок, мой ровесник. Но я такой практичностью не отличался. А жена все одно: «Ты же все умеешь, разбираешься во всей бытовой технике, владеешь навыком фотографии и печати. Откроем кооператив, услуги будут востребованы, я тебе помогать буду во всем. Все равно обратного хода в экономике не будет». Но я гордо отказывался: «Все умею, но не хочу». Спросите: гордость в чем? Да не принимал я все эти перемены, творящиеся вокруг. Противостоял собственным «я» тому беспределу, что творился в экономике. Отец мой на этот завод пацаном еще пришел работать, директором был более двадцати лет, а теперь, видите ли, приватизация, акционирование. Бандитизм это был в неприкрытом виде! И я этому всему еще потакай – кооператив собственный открывай! Другие открывали, закладывая начало частного бизнеса, торопились урвать, словить рыбку в мутной воде нарождающегося капитализма. Одним словом – акулы. Но я был не такой.

И в этой ситуации мы с женой все больше и больше отдалялись друг от друга. И жизни интимной между нами уже не было давно. А что для мужика это значит? Или на сторону иди, или водку пей. Я пил, а изменить ей не мог. Но однажды случилось, встретил свою первую любовь, возомнил, размечтался. А она юбку поправила, гордо на меня посмотрела и со смехом выпалила: «Ну что, теперь понял, кого потерял, я не училка твоя заморышная, у меня свой бизнес в столице, и мужиков разных – пальцев на руках и ногах не хватит сосчитать. А с тобой для души получилось, в кайф обоим, ведь так? Только на этом и „пока“. Бизнес у меня, понимаешь». Я не понимал. И кайфа, честно говоря, не почувствовал. Я хотел этот кайф испытывать с женой, а она мягко, но настойчиво от меня уходила, как в нашу первую с ней не брачную ночь. И обманывать ее я не умел. А потому, возвратившись впервые в жизни под утро домой, тут же рассказал ей про измену. Думаете, она была

посуду или собрала мои вещи? Она как-то мучительно посмотрела на меня и тихо сказала: «Это – не измена, измена – это, когда каждый день живешь в душе с другим человеком». И добавила: «Обед и ужин в холодильнике, у меня сегодня родительское собрание». Это значило, что она прочит в своей школе до позднего вечера.

Я не знал, откуда появляются у дома дрова и уголь, учителям, конечно, они полагались. Кроме угля, иногда появлялся на столе и увесистый свежий кусок говядины. Жена с юности страдала язвой, могла есть только постное мясо, а чаще у нас не было никакого. На заводе до меня доходили слухи, что у жены есть любовник, попробуйте скрыть что-нибудь в этом городишке. В мою сторону усмехались. Я не оглядывался. Я ничего не хотел слышать и знать. Я только пил...

Вы когда-нибудь испытывали, как вас закручивает в воронку, когда центрифуга собирает тебя растекшегося, размазанного по собственным стенкам, как сливает в узкую воронку, проталкивая сначала вытянувшиеся ноги, потом растекшееся в веревку тело и наконец-то сжатую со всех сторон узкую голову. Тут я закричал. Смеющийся черт из одного угла перебежал в другой и стал крутить мне у виска пальцем. Я уже почти ушел в воронку, как снова истошно заорал, не подозревая, что жена уже давно трясет меня, бьет по щекам, трет нашатырным спиртом виски. Узнав ее размытый, будто за дождливым окном, образ, я схватился за нее как за спасательный круг, воронка стала ослабевать, но ноги еще были зажаты в ее узком горлышке.

Когда меня отвезли в больницу, где лечили сумасшедших и алкоголиков, жена не плакала. Она как всегда тосковала. Вот есть же женщины, подумал я, орут, плачут, ругаются. А эта все время молчит и тоскует. И нет ничего больнее этой ее непроходящей тоски.

Говорят, что в вашем веке от алкоголизма исцеляют. Не знаю, не верится мне. Это болезнь непреодолимой силы. На какое-то время я пить перестал. Недели две, кажется, водку не трогал. Жена молчала. А однажды посадила меня

рядом с собой на диван и просто сказала: «Я уйду. Белье перестирано и отутюжено, холодильник помыт, обед приготовлен. Быть может, ты встретишь другую женщину, с которой тебе будет лучше жить, ты еще молодой». Будто бы она была старой. Я не удерживал. Не было сил. Да и кто мог ее удержать? Она с виду только маленькая. Помню я сказал: «Ты самая загадочная женщина на земле, я так тебя и не узнал». Она забрала дочку и книги. И ушла в никуда.

Не знаю, был ли у нее любовник, но года три, в течение которых я валялся пьяный под всеми дверями ее съемных квартир, к ней никто не приходил. Во второй раз жена вышла замуж года через три. И его она не любила. Теперь я это знаю. Отсюда я знаю все.

Воронке я больше не сопротивлялся. С регулярной настойчивостью центрифуга меня размягчала, размазывала и опускала в узкое горло. Черти потешались и потирали руки. Лететь в бездну оказалось легко.

Меня убивали двое. Поздним августовским вечером. На берегу реки, недалеко от завода, на котором я уже давно не работал. Убивали за бутылку, которую я им задолжал. Когда на грудь со всей силы навалили огромный валун, я стал задыхаться и звать жену. Звал, как тогда, когда меня первый раз закручивала центрифуга. Я тянул к ней руки, цеплялся за нее, умоляя меня удержать. Она держала, извиваясь в холодном поту на постели, вскакивая, снова падая, теряя сознание, снова приходя в себя, измученная, избитая не меньше, чем я, она снова и снова пыталась тащить нас наверх из воронки, а когда, изнемогая от жуткой борьбы, она стала расставаться с собственной плотью, меня всего охватила горячая любовная истома, безграничная нежность к ней, растекшаяся по всему моему избитому телу, и я с легкостью и благодарностью отпустил ее и полетел в привычное горлышко. Один и теперь уже навсегда.

ГЕКАТА

Говорят, что худшие человеческие качества проявляются на войне. Утверждать не буду, на войне не была. А вот то, что девяностые обнажили в человеке гнилую сердцевину – это факт, с которым мне пришлось встретиться не однажды. Сейчас я даже не о бандитах, что безнаказанно грабили и убивали. Не о рэкетирах, которые в порядке вещей на рынке дань собирали, я о тех, кто жил рядом с нами и среди нас. Судите сами: две подружки вместе с детства росли, жили рядом, кукол одних спать укладывали, в магазин и школу – вдвоем, повзрослевшие на дискотеку вместе бегали, а потом...

Наверное, надо все по порядку. О дружбе этой неземной мы знали от коллеги Светки. Она, как очумелая, всегда за свою подружку Нинку стояла горой. У Нинки этой бесконечно какие-то проблемы в жизни случались, а Светка, будто Чип и Дейл – бурундучки-спасатели из известного мультика – спешила на помощь, в сотый раз напоминая нам про их давнишних кукол. Мы сердились: сколько можно этих кукол вспоминать, ладно бы сама в шоколаде жила, а то вечно в долгах, как в шелках, а Нинке последний кусок оттащит. Жалели мы ее, дуреху. А Нинку эту загадочную, честно говоря, никогда не лицезрели. Была она каким-то мифическим существом, боготворимым Светкой.

Стоило этой мифообразной Нинке залечь в очередной раз в больничку, что делала она с постоянной регулярностью, как Светка тут же поднимала на уши всех знакомых и незнакомых в округе врачей, тряся по поводу ее драгоценного здоровья всех вместе и каждого в отдельности, и неслась по пустым магазинам в поисках хоть какого-нибудь не просто съестного, а лакомого кусочка. И мы уже не знали,

кто из них больной, во всяком случае, Светка точно – на голову, что позже и нашло свое подтверждение.

Не знаю, как ее мифическая подружка, которая ни много ни мало ходила на службу в какое-то государственное учреждение, чем, судя по фразам, доносившимся из телефонной трубки, страшно гордилась, а Светка наша – простая смертная бухгалтерша захолустного главпочтамта, была насквозь больной. Ее бы только в анатомический театр препарировать и изучать студентам медицинского, как подопытную лягушку, отвечая на один вопрос: как можно оставаться живой, будучи нафаршированной сплошными камнями – в почках, печени, желчном пузыре?

Она была очень терпеливой и только тогда морщилась от боли, когда терпеть уже совсем не могла. Но о себе и больнице думала в последнюю очередь, всегда ей было не до того: то мужа надо было поддерживать во время нервного срыва, то мифическую подружку сопровождать в очередную клинику. Но жертвой себя не считала, во всем и всегда жалея свою Нинку. Дескать, она без родителей росла, у дедушки с бабушкой, ей в детстве ласки материнской не хватило. Мы язвили: «Ты что, в матери к ней записалась? Да ее дед с бабкой больше любили, чем тебя отец-пьяница!» Но для Светки это был не аргумент. Она считала свою подругу судьбой обиженной и возносила ей за судьбу. Жалела, что та в тридцать пять лет одинока, на что мы также язвили: «Не родился еще тот Ален Делон». Не любили мы эту заочную Нинку, не на шутку присосавшуюся к нашей безотказной Светке.

Всерьез мы встревожились о Светке, не психопатка ли она совсем, когда, наконец-то, наш профком за многолетний и добросовестный труд наградил ее курсовкой на курорт Трускавец, в Львовскую область на Украину, где как раз ей могли подлечить ее внутренности, распираемые камнями. А она возьми и немислимыми усилиями эту курсовку Нинке передай. До сих пор не могу понять, как ей удалось обойти все бюрократические препоны и отправить на такой завидный курорт, куда мечтал попасть не только



каждый советский, но и перестроечный гражданин, свою Нинку. Вот тогда, наконец-то, мы и увидели ее живьем. Высокая, черноволосая, холеная – не чета нашей замученной камнями, неврастеником мужем и детьми-погодками Светке. Они что-то решали, о чем-то договаривались в дальнем углу бухгалтерии, а мы без всякого стеснения рассматривали новоявленную Гекату. Это имя мы только вчера прочитали в новом глянцево-м журнале, будто бы так звали богиню мрака в греческой мифологии. Особенно мы содрогнулись, прочитав, что Геката, «воплощая собой ужас ночи, представляет собою бледную женщину с чёрными, как смоль, волосами, которая выходит по ночам на охоту в сопровождении адских псов». Почти такой нам представлялась и эта Нинка. Наконец, подруги все решили, и Нинка с победоносным видом вынесла себя мимо нас из бухгалтерии. Мы у Светки поинтересовались, чем обязаны такому визиту, сама Геката навестила нас? «Кто?» – удивилась Светка. Мы ей обещали позже объяснить, а пока потребовали полного отчета о том, что обсуждалось в дальнем углу. И по-

скольку у нее от нас тайн быть не могло, она, хоть и нехотя, но призналась, что пожертвовала своей курсовкой, ведь Нинке надо устраивать судьбу, а у Светки в Трускавце живет хороший знакомый, ну, в общем, даже близкий, когда-то они вместе были в комсомольском лагере, а теперь он овдовел, а Нинка увидела его на фотографии у Светки в альбоме и решила, что звезды совпали, а потому Светка должна пожертвовать ей курсовку и написать своему хорошему другу, чтобы он встретил Нинку, а дальше она сама. Светка выдохнула и замолчала, как-то болезненно посмотрев на нас, потому что в бухгалтерии воцарилась тишина, которую спустя мгновение нарушила Лилька, самая молодая из нас, иногда позволявшая себе непечатные выражения, которые сейчас пришлось очень к месту.

Может быть, мы бы еще и успели наставить эту дуреху на путь истинный, может быть, даже помчались бы в профком и жалобу накатали, но тут же выяснилось, что Нинка уже санаторную карту оформила и билеты на поезд взяла. А у Светки денег на поездку все равно нет, а значит, и карту оформлять было незачем. Да и на кого она оставит мужа и детей. «Вот на Нинку бы свою и оставила», – завопила Лилька и еще раз допустила в выражении свободу слова. У других слов не было вообще.

Ровно через три недели Нинка вернулась с курорта и не одна. Вместе с ней явился Светкин хороший, близкий знакомый-вдовец. Светка растерялась – такой прыти от подруги она не ожидала. Но смирилась и с этим: подруге надо устраивать судьбу. По коротким обрывкам фраз мы понимали, что вдовец у Нинки завис, видимо, надолго, а Светку подруга в гости не торопится звать. Но все-таки они встретились. Бывшие активисты-комсомольцы посмотрели друг другу в глаза, после чего наша Светка изменилась. Забросив освоение компьютера, задумчиво сидела над своими грессбухами. Из забытья ее выводил телефон, в трубку хныкал муж или визжали дети. А однажды из сомнамбулического состояния ее вывела наша профкомша. Отругав Светку за сплавленную на сторону курсовку, она сообщила, что

при распределении путевок в детский санаторий одну выделили ее ребенку. Поэтому больше глупить нельзя, необходимо срочно собрать все документы и отправить одного из сыновей на оздоровление. Светка, хоть и была бухгалтером, но в семейном бюджете, где зияли одни прорехи, кредит с дебетом свести не могла. На своё здоровье она могла наплевать, но детей берегла. А тут случай такой, когда сына, измученного хронической ангиной, которого сам Бог велел на море отправить, предлагает за свой счет пролечить профком. Ей только надо оплатить билет на самолет до Сочи и обратно. Но срочно оплатить.

Снова и снова Светка давила кнопки калькулятора, а он упрямо выдавал ей минус. Первой не выдержала Лилька: «Позвони своей Нинке, пусть выручит тебя, займет до зарплаты. Неделя до получки осталась, сразу отдашь, чтобы не зависеть от своей Гекаты». Светка не ответила, и мы поняли, что денег у подружки занимать она не хочет. Промучившись в сомнениях до конца рабочего дня, она все-таки решилась и позвонила Нинке. Особой радости от этого звонка не испытала, но, видимо, все же договорилась. Под конец она обреченно проговорила: «Доллары так доллары. Верну рубли по курсу, как скажешь».

Мы выдохнули всей бухгалтерией: «Ничего себе – доллары!» С объявлением рыночной экономики в стране началось и хождение валюты. Мы об этом слышали, но на практике не знали, тихо радуясь тому, что при полном безденежье нашего провинциального городка, хоть и с поддержкой на два месяца, еще получаем зарплату, разумеется, в рублях. Кажется, к тому моменту, когда Светка на следующее утро пришла, вооруженная сотней долларов, мы эти иностранные бумажки видели в первый раз. И стали считать все вместе, если курс сейчас один к шести, то есть один доллар стоит шесть рублей, то по курсу Светке придется отдать шестьсот, а зарплата у нее семьсот. Еще сто рублей на жизнь остается, совсем, конечно, не комильфо, но все же не в минус, а пацан ее полечится в сочинском санатории, что уж полное комильфо. Светке не привыкать тянуть ляжку,

а мальчишка, глядишь, от ангины избавится. Короче, закрутилось все у нас в тот день. Стали мы Светке помогать: кто бежит за билетами на самолет, кто в больницу санаторную карту оформляет, кто в бухгалтерии видимость работы создавать. Все успели к концу рабочего дня, а на следующий уже детей в дорогу проводили.

За этими переживаниями мы совсем не заметили других. Да и в нашем провинциальном городе, где было всего два банка – государственный и коммерческий, они еще не проявились так очевидно, как в крупных городах, где люди стояли в очередь за своими сбережениями, желая получить их наличными. Но денег не было. Их не хватало на всех. О чем мы узнавали по вечерам, после ужина в новостной программе «Время». В бухгалтерии мы, конечно, обсуждали возможный дефолт и девальвацию рубля, но больше теоретически, надеясь, что правительство не допустит такой финансовой катастрофы. К тому же терпеть постоянные лишения было нашей национальной чертой, наверное, поэтому мы не придавали значения устрашающим экономическим прогнозам. Куда еще хуже? Но хуже наступило после семнадцатого августа, когда практически официально был объявлен дефолт и окончательно признан двадцатого – в четверг, запомнившийся нам как «черный». Шел август девяносто восьмого года.

Тем не менее, зарплату нам выдали вовремя, восемнадцатого числа, но теперь это не имело никакого значения. Зарплата не отвечала тем ценам, которые просто космическим образом взлетели в магазинах и на рынке в течение считанных дней, и тем более не соответствовала курсу доллара, который бешено лихорадило в эти дни. Обесценивались вклады, собираемые людьми годами; та сумма, что еще вчера позволяла купить «Жигули», сегодня – только две пары джинсов и пуловер. С долларом творился ужас. С утра он взлетал до неведомых в те дни высот, к обеду снижался, через день взлетал вновь. За динамикой было не угнаться: девять, двенадцать, шестнадцать, восемнадцать, двадцать четыре рубля за доллар! Светка вошла в ступор. Мы тормо-

шили ее, искренне убеждая: «Да ведь нормальная твоя Нинка, по шесть взяла, по шесть и вернешь! С детства в куклы вместе играли, ты что?» Но, видимо, Светка лучше нас знала свою подругу. Геката проявилась в телефонной трубке ровно тогда, когда курс сравнялся с двадцатью четырьмя рублями за доллар, и мирным голосом предложила вернуть ей валюту именно сегодня по действующему курсу. Светка попросила: «Ну хотя бы не сегодня. Нет у меня сейчас такой суммы». Нинка, наверное, спокойно пожала плечами: «Это дело не мое. У меня теперь муж, ему может не понравиться такое положение вещей».

Деньги мы собирали всей бухгалтерией, но беда в том, что состоятельных среди нас не было. При том, что каждой тоже надо было как-то дальше выживать. Скребли-скребли, ничего не наскребли. Светку схватил приступ холецистита, вся зеленая она свалилась на составленные стулья, зажав руками правый бок. Лилька, израсходовав весь запас непечатных слов, приняла решение: «Сидите и ждите меня. Я скоро вернусь». Пришла обратно часа через два с нужной суммой в руках. Мы посмотрели на Лильку с уважением, невольно вспомнив, что болтали, будто друг у нее рэкетир. «Отдашь, когда сможешь, – протянула она Светке рубли, – к сожалению, долларов не было. Собирайся, в коммерческом банке дикая очередь, пойдем вместе с тобой, может быть, пробьемся к обменнику». Светка шаталась от боли, но молча поплелась за Лилькой. Был прохладный августовский день. И Лилька, затянув на себе плащ, запахнула на Светке легкое кашемировое пальто, единственную роскошь из ее гардероба, что она себе как-то позволила, и за которую рассчитывалась целый год.

Как они пробивались к обменнику, мы узнали потом в свободном Лилькином изложении. Люди не просто толкали и отпихивали друг друга в разъярённой очереди, они действовали локтями и кулаками. От элегантного пальто Светки в разные стороны летели пуговицы, надорван был рукав. В какой-то момент измотанная приступом и выбившаяся из сил, Светка стала терять сознание. Хватило сове-

сти у какого-то мужика подхватить ее и даже протолкнуть вперед. Как они остались с Лилькой живы, остается загадкой. Но как только они получили злополучные доллары на руки, и очередь их выплнула на крыльцо банка, желто-зеленая Светка предложила Лильке: «Пойдем со мной». И Лилька поняла куда.

Нинка пила чай с шоколадом, когда они подошли к ее столу в кабинете на три чиновничьих стола. Светка молча протянула ей валюту. Она томно подняла на подругу глаза и с улыбкой протянула: «Я передумала. Верни мне долг в рублях. А то доллары сейчас сложно поменять». Лилька открыла рот, точно зная, что надо сказать в такую минуту, но Светка молча повернулась и потянула Лильку за собой к двери, успевшую злобно прошипеть в адрес ее подруги: «Гекката!» Видимо Нинке это шипение не понравилось, и она, хоть и не поняла смысла слова, огрызнулась: «Сама такая».

Когда коллеги вышли на улицу, Лилька не выдержала: «Ты не права. Таких надо наказывать. Хочешь, я шепну пацанам?» Светка ответила: «Нет, не хочу быть Гекатой. Ее нажмут без нас. Есть такое слово – судьба».

Через два года, когда Светка из нашего заштатного городишки уехала жить в областной центр, мы узнали, что Нинка, желая быстро разбогатеть, вложила все свои средства в финансовую пирамиду. В те годы немало народу велось на обещания о быстрых и легких доходах. В итоге – теряли многое или последнее. Нинка исключением не стала. Все-таки настоящая Геката нашла и ее.

ЧЕТЫРЕ ДЕЛА БАХЫТА КАЛИЕВА

Привычно звякнул вотсап, пришло сообщение. Бахыт Калиев, подтянутый, молодежавый, пятидесятилетний топ-менеджер самой крупной компании Казахстана в области информационных технологий, стоял у окна своего кабинета в одной из высоток Астаны и почти не замечал уже ставшую привычной картину современного города, словно мираж, поднявшегося над ровной казахстанской степью. Он думал о внедрении нового перспективного проекта.

Вотсап нетерпеливо звякнул во второй раз. Бахыт открыл приложение. «С профессиональным праздником, дорогой! С днем следователя! Выпьем за те дни, вспомним!» – писал Серега из Тюмени. «Бахыт, за наших оперов! Будь!» – не от-



ставал Саня из Калининграда. «Ребята! – тут же набил в общем чате Бахыт, – как я рад! Те годы были лучшими в моей судьбе!»

Когда-то давно он слышал от сидельца, разговарившего с ним по душам, что ему хочется вернуться в то место, где он сидел, где был его лагерь. Тянуло. Будто там что-то оставил. Вот так тянуло Бахыта в его кабинет старшего следователя по особо важным делам. Тянуло в свой «лагерь», в то время, когда он со своими операми мотался по области на раскрытие убийств, выезжал по ночам на задержание особо опасных преступников, а потом до утра допрашивал их и составлял протоколы. Он и сейчас слышал стук печатной машинки, бесконечные телефонные звонки, уставшие, с хрипотцой голоса Еркена и Сереги.

Опять звякнул вотсап. Опять поздравление. От студенческого друга по юрфаку из Алма-Аты. Однокурсники пророчили ему высший прокурорский пост, он единственный с курса в двадцать восемь лет был уже прокурором района, в тридцать с небольшим – области. Казалось, что тогда, в девяностые годы, такое было невозможно, но Калиев стал исключением из общего правила.

Дело первое. Киднеппинг. 1993 год

Сообщение о происшествии всегда неожиданно, но вся работа следователя – сплошная неожиданность. Как только оно поступает, Бахыт забывает о жизни за окном кабинета, если только эта жизнь не подчинена расследованию. Коллектив его отдела в полном составе включили в следственно-оперативную группу, куда вошли работники всех силовых структур. Ничего подобного в области никогда не случалось. Людей грабили, убивали, но не похищали. А потому не было и практики по раскрытию таких преступлений.

Бахыт понятие «киднеппинг» изучал на лекциях юрфака, сплошная теория. Похищение человека – малоизвестный вид преступления в его бывшей стране, СССР. Кому

в голову придет похищать человека? А вот надо же, пришло, и не где-то, а рядом с ним.

– Итак, что мы имеем? – задал он вопрос оперативникам, собравшимся в его кабинете.

– Похищен подросток шестнадцати лет немецкой национальности, Андрей Штейн, – докладывал Серега. – Судя по всему, был похищен по пути из техникума домой, живет у бабушки. Неизвестные позвонили бабушке, потребовали с отца паренька выкуп – тридцать тысяч долларов.

– Неплохо. Кто отец, где он?

– Директор совхоза, мать – главный врач больницы. Во время похищения сына находились в аэропорту Алматы, собирались лететь в гости в Германию, – добавил Еркен.

– Скорее всего, похитители знали об этом факте, – выстраивал версию Бахыт, – время удобное, родители не сразу кинутся в органы, а раз улетают в Германию, значит, деньги есть. Ответим на вопрос: кому это выгодно, узнаем, кто похитил, – уверенно сказал Бахыт. – Пробыли телефон, с которого звонили? Скорее всего, из автомата.

– Да, – подтвердил Еркен.

– Ну сколько у нас в городе телефонов-автоматов? Двадцать? Двадцать пять? В центре и в микрорайонах на окраине, – рассуждал Бахыт. – Надо все отключить, оставить несколько штук и установить за ними наблюдение.

– Все отключать нельзя, это противозаконно, – возразил Серега, – вдруг какое-то ЧП, пожар, инсульт или инфаркт – скорую надо срочно вызвать. И так теперь работающий телефон-автомат – редкость.

– Значит, отключенные не вызовут подозрения. Да знаю я, Серега, что нельзя. Но может быть, ЧП и не случится, и инфаркт с инсультом нас минуют, парня-заложника тоже могут убить или пытать, надо рисковать. Чем дольше время тянем, тем больше возрастает цена риска.

«Наверное, плохо, что я так и не научился курить, – подумал Бахыт, глядя на ребят, потянувших за пачками сигарет. – Пока они сигарету достанут, пока закурят, заты-

нутя, время есть подумать, а мне надо сразу решение принимать». И он принял.

– Все, отключаем автоматы! Даем команду участковым! Обсуждение окончено, – и в ту же секунду все разом поднялись. Ребята выдохнули. Когда решение принято, остается только действовать.

Расчет Бахыта оказался верен. Преступники увлеклись, не подозревая, что охота на них уже началась, и продолжали звонить из телефонов-автоматов бабушке заложника. А за всеми рабочими автоматами уже наблюдали, следили и за кафе «Обжорка» на улице имени революционера Володарского, где телефон-автомат находился рядом с входом. Потому заметили, как подъехало частное такси. Оперативники напряглись: такси позволяли себе не все, а если позволяли, то в неотложных случаях. Из такси вышли двое, оглянулись и вошли в будку, где висел телефон. Ловушка захлопнулась. Задержанных вежливо попросили пройти в автомобиль, но не такси, а другого назначения. Держа крепко под руки, также вежливо объяснили, что может случиться, если предпринять попытку к бегству. Они не стали предпринимать.

С момента похищения подростка прошло два дня и две ночи. Прежде, чем приступить к допросу, Бахыт потребовал указать место, где они держат заложника. Указали. Подростка держали в студенческом общежитии на выезде из города, которое находилось почти в степи, но прикрытое сопками. Свободных мест в общежитии не было, похитители спортивного телосложения, представившись спортсменами, впрочем, коими и были на самом деле, попросили разрешения пожить временно в подвальном помещении и заплатили коменданту. А комендант что? Он же человек. Деньги в карман – пусть себе поживут, тем более что жили они тихо, никого не водили, спиртные напитки не распивали. Когда опера вошли в подвал, заложник сидел на матраце, пристёгнутый наручниками к батарее.

– Американского кино насмотрелись? – спросил Бахыт похитителей, явно не ожидавших такой быстрой и бесславной развязки.

И своим операм:

- Мальчика врачи пусть осмотрят, а этих ко мне.
- У меня мама – врач, – разнял спекшиеся губы подросток.
- Мы в курсе, – объяснил Бахыт.
- Следов побоев нет, – доложили ему.
- Меня не били, – опять сказал Андрей, – зачем меня здесь держали?
- Дорого стоишь, – чтобы разрядить обстановку улыбнулся Бахыт.

А потом шел допрос. И он сразу стучал протокол на машинке. Сначала анкетные данные: национальность? Один ответил: казах, второй – чеченец. «Тоже мне, интернационал», – усмехнулся мысленно Бахыт. И по чистосердечным признаниям составил всю картину похищения.

Организаторы – два брата-чеченца, вхожие в семью Штейнов, судя по всему, мутили с директором совхоза какие-то дела, называя это совместным бизнесом. Какие конкретно, допрашиваемый не уточнил, но объяснил, что «директор их кинул», поэтому они хотели вернуть свои деньги и наказать старшего Штейна. Придумали похитить Андрея и потребовать выкуп. А поскольку парень их знал в лицо, то наняли исполнителей – спортсменов-казахов, борцов, из дальнего района. Уговор с ними был такой, что по пути из техникума они садят Андрея в машину и увозят в общагу, где у коменданта к тому времени уже снят был подвал. Парня трогать запретили, чтобы ни-ни! Не думали, что директор обратится в милицию, знали, что рыльце у него в пушку, на что бабушке и намекнули. И меньше всего рассчитывали, что она проявит такую прыть и сама позвонит в милицию. Исполнителям братья обещали денег и выдали аванс. Сами они в подвал не заходили, чтобы не встречаться с Андреем, но требовали от борцов точного выполнения указаний, без всякой самостоятельности.

Бахыт, учитывая общественный резонанс, вызванный киднеппингом, доложил по кабельному телевидению всю

ситуацию с раскрытием преступления, проведенного в течение трех суток, убеждая, что правоохранительные органы стоят на страже спокойствия жителей области. Он обязан был так говорить, чтобы вселять уверенность в напуганных граждан. Хотя его собственная уверенность была поколеблена.

Конечно, преступники понесли наказание: и братья-чеченцы, и борцы были осуждены на предусмотренные уголовным кодексом сроки. Однако во всей этой ситуации больше всего не давал покоя Бахыту отец Андрея, директор совхоза, который, несомненно, был замешан в какой-то теневой экономической схеме. Этим видом преступлений занималось управление по экономическим преступлениям, куда и была передана информация на Штейна. Но Калиев сомневался, что делу будет дан ход. «Откупится», – не без основания думал он. И это его мучило.

Мучило то, что бизнес беззащитно сливался с преступным сообществом, а правоохранители закрывали на это глаза, разумеется, небескорыстно. Внутри криминальных сообществ действовали свои законы, основанные на «понятиях», где за обман и «кидалово» наказывали отнюдь не в соответствии с установленным кодексом судопроизводства. Там суд был свой, где наказанием служила жестокость, нередко возведённая в десятую степень. Бахыт понимал, что в современном обществе действуют две системы «судопроизводства», и которая из них больше соответствует нравственным принципам человека, потерявшего всякую мораль, оставалось для него большим вопросом. Но он не мог изменить ни своим принципам, ни закону.

Через три года Андрей Штейн женился, и его отец пригласил на свадьбу Бахыта, Еркена и Серегу. Бахыт приехал только на часок, работа не отпускала, но тут же был посажен на самое почетное место и назван вторым отцом Андрея. На немецкой свадьбе его чествовали по самым что ни на есть казахским законам.

Если призвание у него и было, то Бахыт его угадал, еще в школе хотел быть следователем. Но поступить в юриди-

ческий можно было только после службы в армии. И он правильно понимал это условие: какой следователь может получиться из пацана, вот после армии уже можно воспитывать юриста.

В армию Бахыта призывали весной, к великому счастью, еще с двумя одноклассниками – соседом по парте Витькой Теминым и Колькой Евстеевым. Областной военком документы их сложил в одну папку: «Ждите, дня через два в Германию отправитесь». Парни повеселели, такая везуха, вместе служить будут. Но два оставшихся дня на призывном пункте надо было чем-то заполнить, а тут стали к ним цепляться такие же бритые наголо юнцы из другого района. Ну, а они-то что, свой район опозорят что ли?

В драке они взяли вверх над «другими», но попали в ряд штрафников и, конечно, под хороший разнос военкома. Услышали они тогда весь армейский непечатный лексический запас и вместо двух дней просидели в военкомате пять. А потому плакала по ним Германия, отправили туда служить более морально устойчивых призывников. Вся устойчивость которых заключалась в том, что они еще не успели подраться, так как биться район на район на призывном пункте было делом обычным.

И когда они в очередной раз предстали перед военкомом, документы их уже лежали в разных папках. Витька с Колькой, быстро сообразив, а может быть, договорившись раньше, честно глядя в глаза военкому, стали доказывать, что они двоюродные братья, потому должны служить вместе. Бахыт, тут же поняв всю свою трагедию, но, не желая мириться с поражением, присоединился к родственникам:

– Я тоже их двоюродный брат, я тоже должен служить вместе с ними.

Колька с Витькой поразились такой находчивости Бахыта, но родственные связи отрицать не стали.

– Ты в зеркало себя видел, брат ты хренов? – на чисто русском выразительном спросил Бахыта казах военком.

Видел, конечно, не раз сражаясь со смолисто-густыми волосами, красивой черной волной закрывавшими поло-

вину лба, спадающими на черные глаза, имеющие не привычный казахский разрез, а широкие, больше похожие на узбекские. Ну какая разница? Сейчас они все трое стояли с голыми черепами и одинаково подбитыми глазами, а то, что они у него черные, а у пацанов – голубые, еще ни о чем не говорит. Ну подумаешь, казахская фамилия.

– Хватит трепаться, – оборвал его военком. – Вы двое – братья, в Зайсан, на восток Казахстана, ты – родственничек, в Капчагай, ближе к Китайской границе.

Прощаясь с Колькой и Витькой, Бахыт прослезился. Они его утешали, но чувствовали себя неловко, дрались ведь вместе. Вот так, нарушителем, Бахыт и начал свой армейский путь. Ирония судьбы заключалась в том, что именно он и приведет его к вожденной профессии. Правда, замполит уговаривал его поступать в военное училище, убеждал, что именно такие люди нужны армии – ответственные, исполнительные, умные. «До генерала дойдешь!» – не без основания обещал он Бахыту. Но не уговорил. Бахыт остался верен мечте.

Дело второе. Убийство неизвестного. 1993 год

Бахыт был занят расследованием тяжкого убийства в одном из районов области, когда ему сообщили, что в лесу, недалеко от его родного села, нашли привязанный к дереву скелетированный труп. И как ни велико было искушение рвануть в родные пенаты, но долг был превыше. А потому для первичного сбора информации в его родное село выехала другая следственно-оперативная группа. «Я подключусь на этапе следствия», – пообещал он коллегам и себе. И подключился.

Изучал материалы. Смотрел фотографии. Снимок скелета у дерева имел пояснения: «На местности найден скелетированный труп, кожа осталась только сзади, где тело соприкасалось со стволом дерева. Других останков не обнаружено. Возможно, они разложились под воздействием природ-



ных явлений, выедены дикими животными или птицами. По предварительным данным, труп находился в лесу месяца три-четыре: с середины лета до глубокой осени».

Уголовное дело заведено по статье «Убийство неустановленного лица». «Значит, не установили. Был человек, и нет человека. И никому до него дела нет», – изучая дальше материалы, констатировал факт для себя Бахыт. «Протокол допроса подозреваемых лиц...» – он ухватил глазами знакомые фамилии: «Виктор Николаевич Темин, Жанболат Аязович Аязов» и отложил документ. Витька – сосед по парте, Жанболат – сосед по улице, дома рядом стояли, друг детства. Судьба его отвела от расследования дела на месте, а теперь что делать? Отказываться или дальше вести? Не может он быть объективным, когда дело касается тех, с кем он вместе рос, с кем гонял футбол, с кем в армию вместе призывался и мечтал рядом служить. Вот так, значит, жизнь их развела по разные стороны баррикады. Оттягивая время и еще на что-то надеясь, он отодвинул дело, поднял трубку телефона и пригласил оперативника – старшего выезжавшей группы.

– Товарищ старший лейтенант, давайте лучше поговорим. Доложите, что удалось узнать, как я понял, убитый не опознан.

– Нет, товарищ капитан. Предполагаемый человек установлен, но кто он – неизвестно.

– Как такое может быть? – удивился Бахыт.

– Предполагаемый убитый – лицо узбекской национальности, сожительствовал в селе с русской женщиной, которая не знала его имени. Он ей деньги какие-то давал. Документов никаких не осталось. И вообще ничего. Он при базаре больше ошивался. Кличка у него была Бич. И жил, как бич. На подхвате то у одного, то у другого. Небольшие деньги ему за услуги платили.

– Как вышли на его личность?

– Местных рэкетиров закрыли и взяли в разработку, они торговцев, хоть и обирают, но и крышуют, вы же знаете: на базаре свои законы.

«Значит, Витька и Жанболат и есть местная крыша на рынке», – понял Бахыт и слегка расслабился.

– Темин и Аязов их фамилии, – продолжал оперативник, – они и рассказали про этого Бича и подтвердили, что он с середины лета пропал. И сожительница это показала. Возможно, убийство – дело рук заезжих казахов, привозивших фрукты из южных областей Казахстана.

– Какой резон им было его убивать? – искренне недоумевал Бахыт. – Что с него взять?

– В том-то и дело, что нечего. Они оставили ему несколько ящичков фруктов под реализацию за комиссионные, а сами поехали дальше, пообещав вернуться через две недели. Вернулись, а у него ни товара, ни денег. Да еще начал на них наезжать, угрожать, прикрываясь местными ребятами, теми самыми, что всех крышуют.

– За несколько ящичков убивать – не те деньги, чтобы за них под статью идти? – включился тут же в расследование Бахыт. – И как они могли доверить товар бичу?

– Бахыт Берикович, Темин и Аязов показали, что эти южные казахи к ним обращались, раз Бич хотел местной

крышей прикрыться. И южане пришли на разборки к Темину с Аязовым, а те решили вопрос по понятиям: «Раз он перед вами косячный, что хотите, то с ним и делайте», говорят, не думали, что они его в расход пустят за какие-то фрукты.

– Слишком ничтожен повод, – сомневался Бахыт, – и потом, как они могли ему доверить товар? А если не они? Есть еще подозреваемые?

– Работали совместно с районной прокуратурой, они нам еще одного «глухаря» подкинули, полгода висит, дескать, может, есть взаимосвязь? У них ни одно из своих предположений об убийце «глухаря» не подтвердилось.

Старлей, пролистав дело, нашел необходимую страницу и протянул ее Бахыту. На снимке на каком-то полу в луже крови лежал мужчина. Бахыт бы второй раз на фотографию и не взглянул, но что-то его задержало. Пригляделся. С трудом, но узнать можно... Колька Евстеев.

– Некий Евстеев был убит при невыясненных обстоятельствах. Жил один, жена давно от него ушла, пил, к нему разные бичи с бутылками захаживали.

Несмотря на позднюю осень и унылый дождь за окном, Бахыт приоткрыл фрамугу и стал вдыхать влажный, холодный воздух. Его уже давно ничего не удивляло, всякого повидал, но сегодняшний день был лишним в его жизни.

– Спасибо, Азат Азатович, вы можете идти.

Жизнь шла на выживание. В том числе, и его собственное. Занимая высокую должность в прокуратуре и всецело отдавая себя работе, он ютился с женой и дочкой на чужих квартирах. И мечтал в один прекрасный момент искоренить всех бандитов, а со временем стал понимать, что мечта его утопическая, как коммунизм, к которому шли его родители, но так и не дошли. Теперь он ясно осознал, что реальность сильнее его. Раньше у него не было времени вспомнить про Витьку с Колькой, как и про других пацанов из своего детства, и взамен реальность с ним сыграла злую шутку.

Бахыт машинально стал листать дело неустановленного убитого лица. Не может такого быть, чтобы человек пропал

безымянным. Не война ведь. Показания сожительницы: «Вроде, есть у него престарелая мать в Училилимском районе, но он связь с ней не поддерживал, и его никто не искал». «Надо ехать в Училилим», – решил Бахыт.

Дался ему этот неизвестный узбек, не ищет его никто, а ему-то что больше всех надо? Но что-то казалось ему противоестественным в том, что человек никому не нужен. А может быть, и правда, престарелая мать слезы льет по нему и ждет его где-нибудь в своей глинобитной мазанке. А может быть, установление личности поможет выйти на реальных убийц, а вдруг и на убийцу Кольки. Колька, Колька... Как сейчас он видел их троих, бритоголовых, с подбитыми глазами, перед военкомом, «я тоже их двоюродный брат», – сказал он тогда. А вот, не уберегли они брата...

Перед тем как уехать в Училилим (по имеющимся описаниям сожительницы, Темина и Аязова) оформили розыск Бича по Казахстану и Узбекистану, сделали запрос в Москву.

Училилимский район Бахыт объехал весь. Встречался с прокурором и начальником милиции. Никакой информации. Никто в розыск не подавал и о пропавшем жителе этих мест не заявлял. Запросы в Москву и Ташкент тоже ничего не дали. Так и остался Бич в их деле неустановленным лицом.

Однако поездка в Училилим на юг Казахстана, кроме отрицательного результата, открыла Бахыту одну особенность в понимании этнической схожести южных казахов и узбеков. Южные казахи ближе к узбекам, нежели к своим северным братьям. У них и диалект схож с узбекским. Отсюда следует, что поставщики фруктов могли повестись на эти факторы и довериться Бичу. Надо самому ехать в Чимкент и Ташкент.

Дело это он все-таки раскрыл. Личность узбека не установили, но убийц нашли. Вообще-то, это нонсенс, но из дела факты не выкинешь. Ими действительно оказались поставщики фруктов, казахи из южного Сарагача. На следствии и на суде они утверждали, что, кроме прозвища Бича, ни-

чего о нем не знали. Доверились ему, потому что был узбеком, почти им братом. А когда он товар продал, а деньги не вернул, то хотели просто проучить, увезли в лес, избили и привязали проволокой к березе. Вот эта проволока их и погубила, стала единственным и неопровержимым доказательством, железным в прямом смысле слова. Проволоку эту они срезали со своего КАМАЗа, и почти через год, когда их и КАМАЗ нашли, ее оставшаяся часть была на грузовике. Экспертиза идентичность подтвердила. После этого возражать и отрицать убийство не имело смысла.

Развозили фрукты на КАМАЗе трое человек, но всю вину на себя взял один, и двое других на него показали. Видимо, так они договорились, чтобы не пойти под групповое убийство, где сроки гораздо выше. А в ходе расследования уже было не установить: кто в лес привез, кто избивал, кто к дереву привязал, доказательств тому не было никаких.

На суде убийце дали девять лет строго режима. В последнем слове он еще раз сказал: «Убивать не хотел. Надеялся проучить за обман и воровство. Думал, что узбек сможет справиться с проволокой, привязал его некрепко».

Казалось бы, правосудие восторжествовало, но Бахыт не испытал удовлетворения от профессионально выполненной работы. Его собственная Фемида, закрыв глаза, взвешивала чашу весов: равнозначна ли жизнь никому не нужного узбека-Бича и ограничение свободы предпринимателя? Любая жизнь всегда и всего дороже, а за лишение жизни положено наказание. А потому чаша с жизнью должна справедливо подняться вверх, но весы колебались.

После суда он случайно, а возможно, и нет, но встретил Жанболата Аязова. Обнялись. Решили вместе пообедать, сели в кафе за столик в углу. Не виделись много лет, почти со школьного выпуска. Перекинулись о том, о сем. Жанболат не выдержал первый. Стал жаловаться на правоохранителей, на то, что закрыли и держали его ни за что.

– Ты бы дело себе подстойнее выбрал, не закрывали бы, – спокойно возразил Бахыт.

– У меня не достойное, что ли? Если бы я порядок на рынке не держал, твоим ментам умереть – не переловить всю шуштуру. А так, у тебя свой закон, у меня – свой, и держава процветает. За нарушение любого закона полагается наказание. Только у тебя наказание выносится в соответствии с уголовным кодексом, а у меня – в соответствии с кодексом понятий. Все справедливо.

Фемида улыбалась. Чаша весов колебалась.

– Жанболат, Витька где? – не вдаваясь в рассуждения, спросил Бахыт.

– Витьку твои опера испугали. Решил парень покинуть родную деревню и податься в Россию. Тебе, говорит, казаху, с рук сойдет, а меня упрячут в отдаленные места.

– Как видишь, казахам тоже не сошло. Если не виновен, кто его упрячет?

– Бахыт, это ты с детства порядочный такой, а среди вашего брата тоже гадов хватает.

– Что ты про Кольку Евстеева знал? Почему с ним такое случилось?

– Ты, Бахыт, не терзай себя его убийством. Колька – пропащий был человек, не просто пьянь подзаборная, последние годы со швалью всякой, бичурой якшался. Человеческого в нем мало осталось. Он бы все равно этим кончил. Не его бы убили, так он бы убил. Бутылку с кем-нибудь не поделил. Каких-то принципов или понятий у него задолго до смерти уже не наблюдалось. Скурвился он как-то, не нашел себе места под солнцем в нашем светлом настоящем, – съязвил Жанболат.

– Как же так? Вместе росли, в одной школе учились, на одном футбольном поле мяч гоняли, на одной пионерской линейке салют отдавали, – с горечью произнес Бахыт.

– А потом нас мордой об асфальт, – без церемоний продолжил Жанболат. – Вы – отличники – в институты пошли, хотя, много ты имеешь после своего института, а мы – троечники, после профессиональных шараг, работы лишились. Работы нет, денег нет, как жить? Одни спились, другие воровать пошли трети...

– ...рэклетом занялись, – горько усмехнулся Бахыт.
– Бахыт, мы первый, хоть и низший слой «законодательный» системы! Пойми ты это! Вам без нас никак не справиться.

«Все-таки, я не могу судить своих, – будто заглянув внутрь себя, решил Бахыт, – не могу! Прошлое крепко связывает с пацанами. Кусок хлеба, намазанный маслом, на троих делили, последний баурсак из дома на улицу несли. Роднее родных, свои в доску были...», – он взглянул на часы, пора было идти.

Жанболат понял и попросил счет:

- Бахыт, я заплачу.
- Нет. За свой обед я заплачу сам.

На прощанье крепко обнялись. И пошли каждый своей дорогой.

Следуя мечте, Бахыт на юрфаке университета выбрал следственно-криминалистическую специализацию. И с упоеанием окунулся в учебу. Он не просто слушал теорию, но, отталкиваясь от понятий «состав преступления», «субъект и объект преступления», мысленно прорабатывал логические ходы и аналитические причинно-следственные цепи в исследовании заданного преступления. Штудировал теорию и серьезно готовился к семинарским занятиям.

На четвертом курсе, на производственной практике в городе металлургов Темиртау, наставник спросил откровенно:

– У тебя какие планы на жизнь, будешь работать в профессии или только высшее образование получаешь?
– Хочу быть следователем, – также откровенно ответил Бахыт.

– В таком случае приступай к исполнению обязанностей, будешь вести реальные дела. Учись! Возможность есть, вплоть до печатной машинки. Осваивай! Без этого следователь никуда.

Он работал ответственно и с удовольствием. Этот запал не потерял и распределившись после окончания юрфака в милицию, он в первый же год был замечен и отмечен.

Постоянно находясь в тонусе, испытывая настоящий кайф от работы, он расследовал одно дело за другим, и начальство не скупилось на поощрения, награждая молодого специалиста не только грамотами, но и денежными премиями. Пятнадцать рублей – серьезная поддержка для молодой семьи. Окончив юридический, Бахыт женился по любви – чистой и светлой – на своей однокурснице, красавице с романтическим именем Ассоль. И через девять месяцев, как и положено, у них родилась красавица-дочь.

Отработав положенный срок по направлению, он вернулся в свой областной центр, считая, что в жутко-криминальные девяностые годы должен родину расчищать от бандитов. В девяносто третьем возглавил следственную группу по расследованию особо тяжких преступлений областной прокуратуры.

Особо тяжким не было конца. Мир будто сошел с ума, выворачивая не человеческую, а какую-то изуверскую изнанку.

Дело третье. Убийство с похищением оружия.

1994 год

Первый час ночи. Бахыт, наконец-то, собрался идти домой. Но тут зазвонил дежурный телефон, и он понял, что ночь в домашней постели отменяется. Так и есть, оперативники – срочно на выезд!

Помощника начальника караула ВОХР убили прямо на посту при несении службы по охране оружейного склада. Двадцать одно ножевое ранение, вся стена с первого по второй этаж административного здания ВОХР – в крови. Зрелище – не для слабых. Все пистолеты и патроны из оружейного склада похищены.

– Вызывайте криминалистов, – еще раз глянув на лежащий на улице труп, распорядился Бахыт. А сам уже разрабатывал версию: «Убийство совершено внутри здания. Значит, убитый сам открыл дверь. Мог открыть только тому, кого

знал. Берем в разработку всех коллег-сослуживцев, друзей и знакомых».

Несколькими днями позже Бахыт напишет в протоколе: «В результате следственно-оперативных мероприятий в качестве подозреваемого назван один из старших смены по фамилии Ноготь». Если без протокола, то «раскололи» они этого старшего, с такой вроде бы смешной фамилией, а оказалось – украинской, быстро. Это только кажется, что продать за деньги коллегу легко, что никто ничего не узнает. Но, когда профессиональный следователь задает тебе вопрос: кому и за что продал, если ты не профессиональный преступник, то сдуваешься быстро, давая трусоватый, но чистосердечный ответ:

– Ингушам, братьям Бутоевым за десять тысяч долларов.

«И тут интернационал», – отметил мысленно Бахыт.

– Как вы проникли в здание ВОХР? – на самом деле ему уже все было ясно, но протокол требовал подробностей.

– Мы пришли вместе. Я позвонил. Начальник увидел меня. Открыл дверь... Они его и завалили.

– С какой целью похищено оружие?

– Не знаю. Они со мной об этом не говорили.

«Еще бы с тобой – такой сволочью, говорить», – подумал Бахыт, занеся в протокол ответ подозреваемого.

– Деньги получили? Какую сумму?

– Аванс три тысячи долларов. Остальные не успел.

– Разбогател?.. – не выдержал работавший за соседним столом Саня.

Бахыт понимающе, но укоризненно посмотрел на него, они не имели права комментировать допрос.

Старший брат Бутоев был задержан. Все патроны и револьверы, кроме двух, были возвращены. Младшего брата привлечь за соучастие не удалось. Не было доказательств тому, что в момент кровавой резни он был на месте преступления. Но было известно, что, прихватив с собой ту самую недостающую пару пистолетов, он ударился в бег.

– Ведите старшего, – распорядился Бахыт.

И когда тот сел перед ним, он ему очень вежливо и без протокола произнес:

– Передай своим, если твой брат не явится с повинной и оружием, то мы его завалим в любом месте, где найдем, так же, как завалили вы человека при исполнении служебных обязанностей. Только нам за это ничего не будет, мы всегда сможем инкриминировать ему побег или сопротивление. Ты все понял?

Он все понял. И здесь расчет Бахыта оказался верен. Даже из следственного изолятора старший Бутоев смог все передать своим и обеспечить младшему брату явку с повинной. Оружие тоже было возвращено.

Дело было раскрыто и передано в суд. А Бахыт, нет-нет, да и возвращался к нему в собственных мыслях. По информации, собранной в ходе следствия, оперативники поняли, что оружие предназначалось для отправки на Кавказ, где продолжались конфликты между ингушами и осетинами, порожденные вооружённым столкновением осенью девятносто второго года и повлекшие многочисленные жертвы с обеих сторон. Это косвенно подтвердил и старший Бутоев. Видимо, до сих пор там шли кровавые разборки, перешедшие в кровную месть, раз оружие готовы везти отовсюду.

«Дошло и до нас, – вздохнул Бахыт, – сколько тысяч километров отделяет Казахстан от Кавказа, а дошло. И наш человек стал жертвой этого межэтнического конфликта. Без политиков там, конечно, не обошлось, за деньги любой конфликт можно раздуть. А поднеси сегодня спичку к нашему интернационалу, вспыхнет дружба народов, как пороховая бочка», – думал Бахыт, поднимаясь по ступенькам лестницы к пешеходному мосту, перекинутому над всеми железнодорожными путями, в том числе над проходящим здесь Транссибом.

Служебную машину для посещения следственного изолятора, находившегося в одном из самых интернациональных, густонаселенном, неблагоустроенном и криминальном районе города, известном всем под народным на-

званием Шанхай, не выдавали. Машина предназначалась только для срочных вызовов. Бахыт нес в руке портфель с уголовными делами, рассуждал о конфликтах, возникающих на национальной почве, совсем не задумываясь в этот момент о своей личной безопасности. Кажется, он совсем лишен был чувства страха, приверженность делу была выше всего.

Правда, иногда, после раскрытия очередного преступления, когда самому в интересах дела приходилось переступать какие-то нравственные ориентиры, он мучился потом сомнениями: был ли прав, стоила ли игра свеч? И представив себя в который раз Фемидой с закрытыми глазами, пытался понять, какая чаша весов перетянет: «имел право» или «так поступать нельзя». Весы, покачавшись, уравновесивали чаши, и они так застывали, предлагая опять делать выбор ему самому. Он и сделал, а вчера прибежала к прокурору мамаша той молоденькой медсестры, которую он привлек к опознанию убийцы, устроила истерику и жалобу на него накатала. Прокурор вынужден был принять меры: сделать выговор, хотя сам понимал, что иного выхода у Бахыта не было.

Будь неладен этот Шанхай, где в очередной раз произошла серия тяжких убийств, и никаких зацепок. Вся надежда была на случайно выжившего свидетеля, с тяжелыми ранениями пребывавшего в реанимации. Но врачи обещали: будет жить. И Бахыт ждал, когда он оживет, чтобы с ним начать говорить. Но в первую же ночь, когда свидетель пришел в себя, его застрелили из обрезка. Прямо на глазах у молоденькой медсестры. Почему убийца оставил ее в живых, Бахыт так и не понял. Хотя живой она была относительно. После перенесенного стресса девушка с трудом шла на любой контакт. Ну а Бахыту куда деваться? Надо бандитов искать. Людей по городу, как куропаток, стреляют. А тут в одни силки уже не куропатки, а, по всей видимости, и охотники попались. Вот и пришлось с медсестрой говорить, просить, объяснять, увещевать, что надо опознать убийцу. Она смотрит на него глазами, где кроме страха

ничего нет, и только головой отрицательно мотает. Опять просил, уговаривал, убеждал: «Помоги нам, сколько людей еще может невинных погибнуть». В общем, спроси сегодня у него, как он с ней все же справился, сам не скажет, но девушку на опознание привели.

Четыре человека перед ней стояли в одинаковой одежде, в спортивных шапочках, натянутых на лицо, только с прорезью для глаз, как и выглядел убийца, расстрелявший при ней раненого. И она среди четырех пар глаз узнала его глаза. Бахыт это понял. И понял, кто убийца. Но девушка должна была довести все дело до конца, громко назвав его, ведь процесс опознания камеры пишут, и никакой осечки тут быть не должно. А девушка в ужасе отвернулась от четверых мужчин, от камеры тоже и шепчет Бахыту: «Вот он, вот!» И он, стараясь ее поддержать и в то же время принудить все сделать правильно, спокойно и властно несколько раз повторил: «Повернитесь лицом к опознаваемым, укажите какой по счету слева или справа знакомый вам человек». Она повернулась, а потом опять от ужаса замолчала. И Бахыт видел и чувствовал, как убийца гипнотизирует ее своим взглядом. И поэтому пытался отвлечь медсестру от него: «Укажите слева или справа, какой по счету». Наконец, она выдавила из себя: «Второй справа». Бахыт внутренне выдохнул. Он получил важное доказательство. Медсестру проводили домой. Но потом с ней случилась истерика, и мать побежала к прокурору. «Правильно, она ребенка своего защищает. А мне всех людей положено защищать».

Родные Бахыту часто говорили, что похож он на своего деда Абильмажина – фронтовика, сапера-минера 3-го Белорусского фронта, прошедшего войну и ушедшего из жизни недавно. Бахыт соглашался, что похож, и любил деда за честность и мудрость. А смелость, видимо, досталась им на двоих. У Бахыта фронт был свой, где враги прятались среди своих, своих продавали, предавали и убивали. И этих врагов он обязан был найти и обезвредить. И он обезвреживал.

Дело четвертое. Убийство жены агронома. 1994 год

Редкие преступления в его профессиональной судьбе остались нераскрытыми. К ним он возвращался даже в современной жизни, как говорится, «руки чесались». Одним из них было убийство жены главного агронома в совхозе Новопахненском дальнего от областного центра района. Известно было немного: женщину казахской национальности зарубили топором прямо на пороге собственного дома. Дверь она открыла сама и получила удар по голове. Первыми место происшествия осматривали работники районной прокуратуры. Улик никаких. На вторые сутки из области выехала следственно-оперативная группа под руководством Бахыта Калиева. Вместе с ним водитель служебной машины и два оперативных работника.

Не сказать, что таким гостям обрадовались в селе, где все друг друга знали и вели свою жизнь, преимущественно скрытую от правоохранительных органов. Поводов к тому было предостаточно. Совхоз находился на границе с Россией: Тюменской, Челябинской и Курганской областями, куда, минуя таможню, очень выгодно продавали зерно.

Гостей не ждали, но в приеме не отказали, выделив в совхозной конторе одну комнату под жилье, вторую – для работы. Центральное отопление давно в селе вышло из строя, электричества на всех не хватало, поэтому ближе к вечеру все село погружалось во тьму. На дворе стоял февраль, и морозы ниже тридцати. Столовой в населенном пункте не было, в гости оперов не звали. Каждый вечер затемно заходил участковый, приносил литр водки, буханку хлеба, каких-нибудь домашних солений и холодный кусок мяса. Оперативникам сил доставало только наспех оприходовать принесённые продукты и упасть на холодную постель. А утром снова за работу.

Еркен с Сергеем уезжали на обыски, на следственные мероприятия, подозреваемых привозили к Бахыту в кабинет, где он с утра до вечера допрашивал и стучал на печатной машинке протоколы. Пока расследовали это убийство,

несколько других преступлений раскрыли: хулиганство, кражи разного масштаба, а до истины в убийстве жены агронома так и не дошли. Народ безмолвствовал, выгораживая и прикрывая друг друга. Несколько человек арестовали. Привлекли их к ответственности по другим делам, а по убийству не смогли. Спустя две недели после изматывающего расследования, с перерывами только на сон в холодном помещении, областные оперативники покинули Новопапенский.

Но Бахыт успокоиться не мог, интуитивно чувствуя, что веревочка, за которую можно потянуть, где-то рядом, а нет, ухватиться не удалось. Говорил с главным агрономом, мужем убитой, он глаз не отводил, но и правды не сказал, в чем Бахыт не сомневался. По его собственной версии, убийство жены и стало расплатой в каких-то делах агронома с россиянами. Скорее всего, он им что-то задолжал или не выполнил обещаний в поставке зерна – так многие кидали новоявленных партнеров. «Как же дальше ему с этим жить? Мстить... Опять самосуд, опять „именем собственного закона“ или перешагнуть и забыть, но ведь это не в традициях моего народа, – мучился, казалось бы, чужой болью Бахыт, а на самом деле своей собственной. – Или продажность и страсть к обогащению сильнее любви, превыше закона и традиций, сложившихся веками?.. Что же за время нам выпало такое, когда вдребезги разносятся скрепы, попираются каноны, и жизнь человека, самого близкого, используется в качестве разменной монеты. А он сам смешон перед злом со своей верой в утопическую победу закона над насилием, но без веры – зло не победить...»

Как только столица Казахстана в девяносто седьмом была перенесена из Алма-Аты в Астану, Бахыта Калиева, младшего советника юстиции, назначили начальником следственного отдела города Астаны. Позже он переквалифицировался на антикоррупционные дела, превышение служебных полномочий, должностные и хозяйственные преступления. И, как всегда, работал самозабвенно. До самого выхода на

заслуженный отдых, наступивший для него после двадцати лет службы в органах. Но «отдых и пенсия» для Калиева были не приемлемы. И тогда он стал учиться новому делу, а со временем возглавил перспективную бизнес-компанию, теперь думая о новом проекте. Опять зазвонил телефон:

– Привет, господин «генерал»! Омск на проводе! С праздником, Бахыт! Помнишь, какими мы были операми? Теперь таких нет, а мы еще повоюем, да, товарищ начальник?

– И не только. Мы еще поживем.

КАССЕТА

Людмила с тревогой посмотрела в темноту окна. Ноябрьские вечера черные, хоть глаз выколи, на удивление, и снег еще не выпал в их северных краях. Сергей давно уже должен быть дома, пора купать малыша. Он только сегодня забрал их из роддома и, бесконечно радуясь рождению сына, весь день не отходил от него, заглядывал в кроватку, осторожно дотрагиваясь до крохотных ручек и ножек, вдыхая молочный запах сына, первого и единственного в его тридцать лет. А к вечеру позвонила доктор, принимавшая роды у Людмилы, большой друг их семьи, и весело сообщила:

– Сергей, можешь за кассетой прийти, мы все для вас записали!

Момент появления их малыша и все последующие пять дней его пребывания в роддоме удалось снять на видеокассету. Конечно, Сергею хотелось посмотреть рождение сына. Поцеловав жену, он схватил куртку:

– Я быстро, туда и обратно. Ты без меня Алешку не купай, я лично хочу сына держать на руках!

..Алешка спал и просыпался, его давно уже надо было и купать, и кормить, и укладывать на ночь, а муж все не возвращался. Окончательно Людмила потеряла покой, когда позвонила друзьям: «Был, но давно ушел...»

Очнулся Сергей в дежурном отделении милиции, ничего не понимая и почти ничего не помня. Шел по улице, рядом остановился милицейский «уазик», к нему кто-то подошел, он в темноте не рассмотрел. Потом вспышка в глазах. И все.

В помещении царил полумрак, но глаза резало, словно от яркого света. За решеткой «обезьянника» кричал пьяный мужик:

– Зачем баллончиком-то в глаза?

Дежурный невозмутимо что-то писал в журнал:

– Ну что? Очухался?

– Сколько времени? – взволнованно спросил Сергей. И тут же вспомнил: – Мне надо сына купать!

– Выкупаешь! – не меняя интонации, ответил дежурный. – Через пятнадцать суток!

– Да вы что?! Мне надо домой, – Сергей тер глаза, все происходящее казалось ему нелепостью. – Как я у вас-то оказался?

– Очень просто, – вытянув ноги и откинувшись в кресле, произнес дежурный. – Шел пьяный по улице, нарушал правила общественного порядка.

– Кто пьяный? Какие правила? – возмутился Сергей. – Я шел домой. У меня сын родился!

В дежурку вошел дознаватель, не глядя на Сергея, протянул бумагу:

– Подписывай протокол!

– Какой протокол, что за бред?

– О нарушении общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения и последовавшем за это наказании – заключении на пятнадцать суток.

– Парень, ты подписывай, – вдруг раздался из «обезьянника» почти трезвый голос, – а то бить будут. У них сегодня плановый рейд по отлову нарушителей, план выполняют.

Дежурный встал, подошел к клетке и нагло спросил:

– А тебе мало досталось? Получишь еще.

– Мужики! У меня сын родился, пятого ноября девяносто шестого года, а сегодня я забрал их с женой из роддома. Мне домой надо Алешу купать! Жена переживает, она же молоко потеряет! Мужики, отпустите меня! – почти умоляюще произнес Сергей.

Дознаватель пожал плечами и даже как-то сочувственно произнес:

– Не повезло тебе. Подписывай!

Сергей рванулся со стула прямо в дверь, но за порогом уже стояли два амбала в камуфляже с дубинками в руках. Бить стали сразу.

– Парень, я же тебе говорил! – кричал мужик за решеткой.

С виду Сергей был невысокий, но драться умел, армия научила. Одного повалил сразу, но тут же на помощь прибежали еще.

– Снимите с него все, снимите! – закричал дежурный.

На стол легла норковая шапка, часы, обручальное кольцо, вырвали сумку, которую Сергей даже в драке прижимал к себе.

– Посмотри, что там? Может деньги? – спросил боец в камуфляже.

– Нет, кассета только, – ответил дежурный. – Сейчас проверим, может, порнушка, будем всю ночь развлекаться. А этого – в подвал.

В подвале, где были камеры предварительного заключения, Сергея снова долго били. Он сопротивлялся, пока мог. На «дыбе» сознание потерял. Он висел на выкрученных руках, а его били по лицу, животу, спине... Потом бросили в камеру к уголовнику-рецидивисту:

– Твой!

– Шакалы! – сплюнул тот, наклонившись над телом.

Убийца, всего повидавший, сидевший не первый срок, смочил полотенце мочой и стал прикладывать к лицу Сергея. Да какое лицо? Сплошное месиво...

Когда Сергей очнулся, заварил ему крепкий чифир. И стал потихоньку поить.

– За что тебя? – спросил зэк.

– За сына, – еле прошептал Сергей.

С трудом дождавшись утра, Людмила стала звонить всем, кому можно и нельзя, друзей просила посидеть с малышом. Ей срочно надо в милицию! Но тут на пороге квартиры милиция появилась сама. Вошли двое. Видимо, в одиночку боялись не справиться с женщиной, вчера выписанной из роддома.

– Паспорт супруга предоставьте, пожалуйста.

– Зачем? – с вызовом спросила Людмила.

– Затем, что вам он больше не понадобится, – хладнокровно ответил один.

– Вы свой поберегите, – ответила Людмила. В таких случаях она никого не боялась.

– Паспорт я вам не отдам, а для обыска ордер представьте!

Менты переглянулись:

– Пошли отсюда, сама принесет! – они даже не прикрыли за собой дверь.

Через полчаса Людмила сидела перед следователем прокуратуры, уверенно и аргументировано обещая ему и всей милиции большие неприятности.

– Вряд ли вам удастся их избежать, я напишу в область, подключу областных журналистов и прямо здесь, в этом кабинете, объявлю голодовку!

Следователь чувствовал себя неуверенно. На столе лежало явно сфабрикованное за ночь дело «об избииении сотрудника милиции при выполнении им служебных обязанностей». А женщина, сидевшая перед ним, была полна решимости и уверенности в своей правоте. И этим следователя смущала. От ее разбухшей груди пахло молоком, она была бледна, но не плакала. Следователь таких женщин не любил. Она, действительно, могла доставить много неприятностей.

– Идите домой, вам надо кормить ребенка, – наконец сказал он.

– Я без мужа не уйду!

– Идите. Его отпустят.

И тут на пороге кабинета появился знакомый Людмилы, известный в городе человек, поднятый ею рано утром, как по тревоге.

– Иди, пожалуйста, домой, – обратился он к Людмиле. – Я заберу Сергея сам. Но сначала свожу в больницу на свидетелствоование. Они ответят за все.

Сергея привезли только вечером, с трудом завели на третий этаж, уложили в постель, рядом с кроваткой новорожденного Алешки.

Никто ни за что не ответил. Людмиле пришлось выхаживать мужа и заботиться о сыне, на разбирательства и суды сил не оставалось. Но за вещами в милицию она пришла сама. Ей протянули норковую шапку и часы.

– Кольцо, обручальное кольцо и кассету верните! – потребовала она.

Дежурный, нехотя, достал из сейфа кольцо. Кассеты не было.

Они долго жалели и сокрушались по поводу утерянной видеозаписи. Не особо надеясь на успех, дали объявление в городскую газету. Вдруг где-то обнаружится? Время шло, Сергей поправлялся, Алешка рос. А кассеты так и не было.

Однажды утром Людмила рассказала мужу, что ей приснился сон, будто ей кто-то сказал, что кассету они найдут, что она находится рядом с ними! Сергей с сочувствием посмотрел на измученную от переживаний жену. А через два дня им позвонила женщина и сообщила, что они могут забрать свою кассету, назвав адрес, – дом находился почти рядом с их домом.

Они пришли вместе. Миловидная молодая женщина протянула им пакет. Рядом с ней стояли дети.

– Вы извините, но мы посмотрели. Я вас узнаю! У меня своих детей трое...

– Мы что-то должны? – Сергей смотрел на женщину вопросительно.

– Ну что вы?! – возразила она и тут же протянула руки за предложенными ими коробкой конфет и коньяком. Оглянувшись на детей, повторила: «У меня своих трое».

– А где вы взяли кассету? – спросила Людмила.

– На улице рядом с домом нашла! – бойко ответила женщина. – А потом случайно ваше объявление в газете прочитала.

Людмила переглянулась с мужем, несурaziца какая-то. Задержали Сергея совсем в другом районе, объявление в га-

зете давали довольно давно. Но вслух она искренне произнесла:

– Спасибо вам большое! Пойдем мы, у нас ведь маленький.

Они уже открыли входную дверь и почти вышли на лестничную площадку, когда осмелевший малыш лет пяти, прятаясь до этого за спину матери, выступил вперед и торжествующе сообщил:

– А кассету папа с работы принес! Он у нас – милиционер!

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОСЕНИ

Они стояли, обнявшись, в тамбуре и смотрели в окно на пробегающую осень. Поезд мчал их на юг. Бархатный сезон на море – время любовников. Впрочем, любовниками они еще не были. Они вместе работали. Взаимная симпатия возникла внезапно, а обстоятельства сложились так, что они вместе поехали на юг. Женщина прижалась к мужчине. От его объятий исходило нежное спокойствие. Она улыбалась своей тихой радостью и не желала ни бурной страсти, ни сильных переживаний.

За окном пробежала осень. А страсть и любовь, которую она считала в своей жизни единственно настоящей, остались в начале лета. Муж, активно занявшийся бизнесом, ушел от нее, увлекшись молодой помощницей или, как он ее называл, «мой референт». Состоялся тяжелый, изматывающий душу разговор. Он упрекал жену в том, что она в эпоху перемен, когда ценится только предприимчивость, никому со своей мягкостью и нежностью не нужна. Она надеялась хоть на какое-то снисхождение. Он оставался тверд, как и полагалось человеку новой формации – новому русскому. Потом она оказалась в больнице, неделю провела под капельницами, и ощутила выжженную пустыню внутри себя.

Теперь она ехала на юг с другим мужчиной, испытывая к нему чувство нежности и благодарности.

Они прожили в пансионате уже несколько дней, когда их пригласили в гости в украинскую деревню. Утром они сошли с автобуса. Хозяин хаты встретил их на улице и пригласил во двор. Здесь все было залито солнцем. Женщина радовалась теплу. Она очень устала от холодного лета, от долгой и темной зимы. Теперь она наслаждалась теплом, светом и нежностью.

Под окнами беленой известью хаты рос столетний каштан. За ним шли деревья грецкого ореха. Гроздья винограда оплетали террасу, женщина срывала их, чувствуя тяжесть ягод, спелый аромат и жизненную силу. Она любила виноград и ела его сейчас, сколько хотела, не думая о том, сколько стоит килограмм в их северном городе, когда осенью спелые грозди выкладывали на базарные прилавки, и что лучшую гроздь надо оставить дочери. Дочь она любила неистово. Даже на время расставалась с ней тяжело и сейчас уехала ради нее. Привести чувства и мысли в порядок, ощутить тепло и, возможно, залечить измученную душу. Она должна быть счастливой в глазах своего ребенка.

Пляжа в деревне не было. Морской залив, на берегу которого раскинулась деревня, для местных жителей – не роскошь, а возможность заработать. По утрам рыбаки через лиман уходили на баркасах в море.

Мужчина и женщина шли к берегу вдвоем. Она была ниже его почти на голову. Он держал ее за руку, и ощущение его сильной ладони придавало ей уверенность.

Песок был мелкий и горячий. Она с наслаждением ступала по нему босыми ногами. Мужчина плавал, а она собирала в песке ракушки. В ней проснулся ребенок. В детстве она любила собирать красивые камушки и стеклышки. Очищая ракушки от песка, она увидела мужчину. Он шел к ней навстречу и улыбался. Она любовалась его высокой и стройной фигурой. Капельки воды блестели на его гладкой и смуглой коже. А глаза, как две черносливины, смотрели на нее с нескрываемой радостью и нежностью. Он обнял ее, она прикоснулась губами к его прохладной груди, ей было приятно ощущать свою невесомость. Теперь ракушки они собирали вместе. Он старался найти крупную и красивую, а найдя, радовался вместе с ней ее детскому восторгу.

О Боже! Сколько же может быть солнца! Они валялись на песке, блаженствуя под мягкими лучами, ели виноград, грызли орехи и целовались, пока хозяин хаты не позвал их чистить рыбу:

– Скоро жинка с работы придет, юшку варить будем.

Крупные лещи, судак и тараньки плавали в большом тазу, иногда рыба с силой ударяла хвостом, окатывая женщину брызгами. Она с трудом удерживала рыбу своими маленькими руками, но чистить ее доставляло ей удовольствие. Запах водорослей и рыбацких сетей был знаком ей с детства, когда отец брал ее с собой рыбачить на озера.

Мужчина помогал ей чистить рыбу. Он стоял босиком, от его смуглого тела веяло теплом, а она, разгоряченная на солнце, прятала свои плечи под его легкой рубашкой. Она не осмеливалась снять обувь, завидуя тому, как он смело ступает на горячую землю. Их руки иногда соприкасались в воде, и она в сотый раз испытывала тихую радость.

Вечером прямо во дворе накрыли стол. Ели рыбу и овощи, хозяин разливал горилку, хозяйка подавала обжигашую, наваристую юшку. Приходили и уходили соседи. Мужчины пили горилку, говорили о своих делах с хозяином. Женщины, перебросившись парой фраз с хозяйкой и поинтересовавшись, откуда гости, тут же зацеплялись языками, с любопытством слушали, что такое север, и уточняли: а белые медведи есть? Вспомнив, что надо управлять хозяйством, неохотно отрывались от стола. Чьи-то босоногие дети тут же грызли орехи, а множество котят разных мастей таскали из-под стола объедки.

Когда стемнело, пришла Марусиха – дальняя родственница хозяина. Крепкая и жилистая рыбацка приглашала хозяйского сына идти утром с ней на лодке за бычками. Говорят, в удаче она не уступала мужикам, сама справляясь с лодкой и снастями. Тараторя без умолку на украинском, она предложила женщине пойти к ней в сад и набрать персиков. Но женщина убирала посуду, и за персиками ушел мужчина.

Персики еще не дозрели, но были наполнены солнцем и хранили его тепло. Она любила персики, и он принес их ей.

Внезапно наступила ночь. Купол неба распахнулся черным велюром, щедро посыпанным звездами, которые отражались в светлячках, рассыпанных в траве и темноте садов.



Они вновь пошли к заливу. Теперь мужчина не держал ее за руку, а, крепко обнимая, прижимал к себе, словно боясь, что она может исчезнуть, улетучиться, как южный воздух, в этой глубокой, пронзенной треском цикад темноте.

Они сели на опрокинутую лодку. Здесь, у воды, звуки садов погасли, приглушенные тихим плеском лениво набегающих волн. Темная гладь лимана слилась со звездной глубиной, и самой крупной звездой в этой вселенной был свет маяка, мигающего вдали. Вселенское спокойствие. Ей хотелось слиться с темнотой, со звездной бесконечностью, раствориться в тишине и ни о чем не думать. Она долго сомневалась, прежде чем решилась ехать на юг. О таком отдыхе она мечтала с мужем, а он, увлекшись бизнесом, забыл, что она – женщина.

Песок еще не остыл. Ощущая его бархатистость, она тонула в звездной бездне. Нежность и ласки мужчины увлекали в пропасть, а очнувшись, она снова видела распростертое над собой небо. Но вдруг небо стало высоким, песок сырым, а с залива потянуло свежестью. Он торопливо говорил о том, что со временем он объяснится с женой и подаст на развод. Но это больше напоминало оправдание.

Она поежилась. Звезды одна за другой сыпались с осеннего неба, не считаясь с желаниями людей:

– Пойдем, – она хотела приподняться с песка.

Он снова крепко сжал ее в объятиях и зарылся лицом в ее пышных волосах каштанового цвета.

Хозяйка не ложилась в ожидании их. В отдельной горнице – чисто выбеленной, с прохладным глиняным полом, расшитыми занавесками и большой кроватью была приготовлена постель. Женщина легла первой и мгновенно уснула.

Ее разбудили его руки. И вновь она проваливалась в звёздное небо; ее полет, наполняя ароматом терпких южных трав, сопровождали светлячки, она взлетала на неведомую высоту и поднимала его за собой. Они спали совсем немного, но и во сне мужчина не отпускал ее. Утром он ушел с хозяином на лодке в море. Женщина проснулась поздно. Разморенная вчерашним солнцем и горячей ночью, она не сопротивлялась неге. Не открывая глаз, протянула руку, но постель рядом с ней была пуста...

Хозяйка хлопотала на кухне. Женщина стала ей помогать.

– Детей-то у вас сколько?

– Как вам сказать...

– Как есть, так и говори.

– Он не муж мне. У него свои дети, у меня дочь.

– Я поняла, что он тебе не муж, – сказала хозяйка, просто, без упреков и осуждения. А помолчав, добавила: – Мой Василь в Отечественную войну сыном полка был, после ранения его отправили далеко в тыл, там он и увидел север, где я жила в детском доме, эвакуированная из блокадного Ленинграда. Родные все умерли от голода. Познакомились мы с ним, полюбили друг друга, поженились, жили хорошо. А его все на родную Украину тянуло. Уехали сюда. Теперь уж и я украинка, – улыбнулась она. Потом вздохнула, – а в сердце всегда Ленинград. – И без перехода, как будто бы отвечая только своим мыслям, – вещи, смотрю, на

тебе простые и элегантные, в магазине таких нет. В Ленинграде женщины ходили в похожих.

– Я сама модели придумываю и шью, – призналась женщина.

– Тебе салон моды надо открыть и на Невском продавать, – со знанием дела предложила хозяйка.

От Невского она жила далеко, но русский север был большой.

Незадолго до отъезда мужчина подарил ей хризантемы. Она любила их полынный аромат.

Поезд мчал их домой. За окном пробегали неубранные поля бахчи и подсолнечника. Они ехали в город, где бесконечно длится зима и так мало бывает солнца. Женщина вдыхала горький запах хризантем, покачивающихся в бутылке на купейном столике, и со спокойствием думала о будущем. Теперь она знала, чем займется в ближайшее время, и была уверена, что не станет ничьим «референтом».

Три года спустя мужчина купил в киоске «Роспечать» журнал с яркой глянцевой обложкой. Прочел анонс и открыл первый разворот, откуда на него смотрела милая хозяйка модного салона, его далекая женщина-осень.

БЕДНАЯ ЛИЗА, ЦАРЕВНА СОФЬЯ И ВОР В ЗАКОНЕ

– Петров, научи меня читать, – Лиза стояла перед прокурором Петровым, вытянувшись на деревенской кровати во весь свой недюжинный рост, протолкнувшим ступни ног между металлическими перегородками спинки.

Прокурор опустил на живот книжку, которую держал в тот момент перед собой, и лениво посмотрел на дочку председателя. Она упрямо повторила:

– Петров, научи меня читать.

– Мала еще, – ответил Петров.

– Мне уже пять лет, – не отступала девчонка. – Научи, научи!

– Вот прищепка. Ну, иди сюда, – и он приподнялся на кровати.

Елизавета Павловна проснулась. Она всегда просыпалась именно тогда, когда прокурор приподнимался на кровати. Видимо, не хотела дальше видеть Петрова. Она вообще не любила этот сон, хотя, что греха таить, именно прокурор Петров, приезжавший с проверками в колхоз, где был председателем отец Лизы, научил ее читать. В председательской семье Петрова не любили все, особенно бабушка, она называла его дармоедом. Сначала Лиза по своему малолетству не понимала этого слова, а позже не раз размышляла, почему это районный прокурор, приезжая с проверкой, не просто останавливался в доме председателя колхоза, но и не выходил из него во все дни командировки, при этом строго по графику поглощая вкусный борщ и пироги, приготовленные бабушкой, и читая книги. Когда командиров-

ка завершалась, он, взяв с собой пирогов в дорогу, прощался с бабушкой, так как отец и мать всегда в это время были заняты на работах в колхозе:

– Ну давай, Лукинична, будь здорова! До следующего раза.

– И вам не хворать, Арсений Борисович, – в тон ему отвечала бабушка, никогда не сгибая перед прокурором спины. И, глянув в окно, ставила точку в прощании, – бричка подана.

А когда Петров выходил за двери, обзывала его «негожим дармоедом».

– Баба, – лезла с расспросами любопытная Лиза, – а почему Петров всегда на кровати лежит, а ничего не проверяет, он же с проверкой приезжал.

– А ты бы меньше слушала, так оно лучше было бы, – вразумляла внучку Лукинична, но не удерживалась, и добавляла, – а что ему проверять у твоего отца, он и так знает, что у него все по чести: зернышко к зернышку.

– Баба, давай я тебе почитаю, – стояла перед ней Лиза с очередной книжкой, привезенной Петровым из райцентра.

– А читай, – соглашалась Лукинична, – пока я пироги ставлю, оно и время быстрее пройдет, хоть одна польза от этого дармоеда, тебя грамоте выучил, отцу-то совсем не до вас.

После уроков Петрова Лиза бегала еще к соседям, где квартировали эвакуированные из Ленинграда мать и дочь. Обе были очень красивые, и книжка у них была толстая с картинками «Сказки Пушкина». По ней Лиза совсем бегло научилась читать.

Когда Лиза окончила седьмой класс, отец строгим голосом объявил: «Поедешь на сенокос вместе с колхозниками, на джайляу к берегам Ишима, будешь учетчицей работать». Лиза запротестовала: «Не хочу учетчицей, не могу, не знаю, что это такое!» На что отец резонно заметил: «А где я тебе еще грамотных найду? Ты одна в деревне такая». И потом всю жизнь она вспоминала то лето, проведенное на джайляу: запах разнотравья, вид на Ишим с высокого холма,

парящую реку, звездные ночи, песни уставших косцов у костра, сон в мягкой и пахучей траве, набросанной в березовый шалаш. Может быть, потому навсегда она сохранила ощущение того лета, что было оно последним в ее детской жизни.

Осенью пятьдесят четвертого года колхозный мерин, подгоняемый возницей, отвез ее в Петропавловск учиться в восьмом классе, где после десятого она поступила в педагогический институт на историко-филологический факультет, а потом всю жизнь проработала в школе. Своих детей у Лизы не было, поэтому всю себя она посвятила чужим.

Окончательно проснувшись после очередной встречи с Петровым, Елизавета Павловна взглянула на часы: пять тридцать. Зачем, казалось бы, ей, заслуженной пенсионерке, вставать в такую рань, но многолетняя привычка давала о себе знать. Заварила чай, взяла с полки первую попавшуюся книгу и, налив в чашку горячего напитка, села одна за стол. Погрузившись в чтение, не заметила, как наступил рассвет, как прозвенел мимо окон первый трамвай, увозивший рабочих на завод. В Нижнем Тагане Елизавета Павловна жила с тех самых пор, как приехала сюда по распределению после окончания педагогического. Оторвавшись от страниц, опять вспомнила сон с Петровым, а от него цепь ассоциаций, как химическая реакция, вызвала в памяти другие лица – ее учеников. Ну кто мог ассоциативно встать рядом с прокурором, конечно, преступник. Юра Волков. Ее Волчонок.

Ее дети, ее ученики, зачем им выпало жить в эти страшные девяностые? И что они могли противопоставить эпохе, сломавшей и перемоловшей их жизнь безжалостно и хладнокровно, если она учила их жизни на лучших примерах классической литературы? Елизавета Павловна взяла с полки, где размещались фотографии учеников, одну, запечатлевшую ее 1 сентября, когда она, с трудом сдерживая охапку цветов, отвечает что-то улыбающейся Соне, а Юрка за спиной у той гримасничает и ставит рожки. Они пошли

тогда в десятый класс. И Юрка позже умолял ее убрать этот снимок с общей «витрины», а она не соглашалась, любя его за непосредственность момента, а потом за то.., что все тогда еще были живы. Она жива и теперь, за что чувствует вину перед ними – Соней и ее пятерыми одноклассниками, ушедшими из жизни в девяностых. Не много ли для одного класса? Она чувствует вину даже перед Юркой.

Елизавета Павловна взяла их класс в восьмидесятом году, когда они пришли в восьмой. Она слыла в школе строгим педагогом, по определению детей, «повернутой на своей литературе». И была не только строга, но и честна, что дети чувствовали сразу. Не умела лицемерить и лебезить, поэтому редко покидала класс в перемены, дабы меньше попадаться на глаза начальству, перед которым не умела вовремя снять шляпу. И с коллегами не любила тратить время на пустую болтовню. За что, понятно, и те ее не очень-то любили.

От седьмого «А» предыдущий классный руководитель отказался именно из-за Юрки Волкова. «Он ее довел», – равнодушно констатировали семиклассники, будучи сами от этого факта не в восторге, понимая, что с Волком не справится никто, а им менять классную на такую строгую – в восьмом, когда надо сдавать экзамены, вовсе не хотелось.

Елизавета Павловна – стройная, с интеллигентными манерами, не похожая на других учителей, поздоровалась и представилась.

Восьмиклассники заерзали. Будто они не знали, кто она такая.

– Бедная Лиза, – тут же съязвил Волк с последней парты. И добавил, – лучше Лизонька.

– Волков, ты так хорошо знаешь Карамзина? Мы можем с тобой на эту тему поговорить после уроков, а пока займемся «Словом о полку Игореве».

Волков не понял, почему обычный прием не сработал. Лизонька вообще его не замечала, как он не выворачивался наизнанку до половины урока, а потом и сам увлекся ее рассказом про древнюю Русь и борьбу с половцами. Когда

прозвенел звонок, Елизавета Павловна записала на доске домашнее задание, затем подошла к парте Волкова и спокойно сказала:

– Ну что, Волчонок, поговорим о Карамзине и его повести «Бедная Лиза». Кто будет рассказывать, я или ты?

Юрка был повержен. Он был, конечно, пакостником, двоечником и хулиганом, но таких приемов – прямо под дых, он, конечно, не знал. Это потом, гораздо позже, урок Лизоньки вырубать противника внезапным выпадом, неожиданным действием он возьмет себе на вооружение, а тогда он потерял дар речи – «волчонок», как учительница посмела его так назвать? И что теперь ему делать? Жаловаться директору школы или еще кому-либо, – значит, опустить себя перед всеми. Нет, он этого себе позволить не мог. Он ей отомстит. Потом. Он злющим взглядом впился в нее, а она, будто бы не замечая его реакции, стала рассказывать о том, кто был такой Николай Михайлович Карамзин, незаметно перейдя к истории любви Эраста и бедной Лизы. И Волк в очередной раз попался, не поняв, в какой момент заслушался. Но Елизавета Павловна неожиданно остановилась:

- А теперь домой! Учить уроки!
- Не буду я их учить. А что было дальше?
- Может быть, сам прочитаешь?
- Да не буду я читать!

Она не стала препираться. Она была вообще не такая, как все другие взрослые. Она была полна внутреннего достоинства и независимости. И в то же время снисходительна, умея чувствовать ту дистанцию, которую необходимо держать учителю с учеником. Конечно, Юрка тогда этого не понимал и слов таких не знал, он просто почувствовал, что Лизонька – его человек. И навсегда приклеил ей это имя.

Конечно, Волка она кардинально не перевоспитала, но Юрка ходил на все ее уроки, не пропуская ни одного. И то ли учил задания дома, то ли схватывал все в классе, но был в курсе всех тем, которые проходили по литературе. С русским дело было хуже, но к концу учебного года твердая тройка по языку ему была обеспечена. Самое удивительное,

что и по другим предметам он подтянулся. И после того, как все учителя во главе с директором школы ждали, что он уйдет после восьмого в училище, Волков решил идти в девятый класс.

– Волков, ты же обещал! – впадала в истерику директриса, отчитывая его в учительской.

– Обещал, базару нет, но передумал, решил поступать в институт.

– Нет, вы посмотрите, он над нами глумится, – закатывала глаза директриса.

– Советского ученика из советской школы не имеете права выгнать, вы – коммунистка, а коммунистки не имеют права так поступать, – победно цокнул языком Юрка.

– Вон отсюда! Вон! Тюрьма по тебе плачет! – уже не сдерживалась директриса.

– И я тюрьму не подведу, но позже, – Юрка, усмехаясь, вышел из учительской и пошел в класс. Лизонька сидела за столом и проверяла тетради.

Он сел за парту напротив нее.

– Меня в очередной раз выгоняли из школы.

– Выгнали? – спросила та спокойно, не поднимая глаз от тетради.

– Не-е-а, не имеют права, в девятый пойду. Тюрьма еще не готова меня встречать.

– Это не смешно, – Лизонька закрыла тетрадь.

– Базару нет, не смешно, – очень серьезно ответил Юрка.

В девятый класс он пришел как ни в чем не бывало. С гордостью доложив Лизоньке, что за лето имел восемь приводов в милицию, где ему четко и в очередной раз объяснили, что по нему плачет тюрьма.

– Тюрьма по школьникам не плачет, только по преступникам, – Лизонька пристально посмотрела на него.

– Елизавет Пална, кому что в жизни дано, – серьезно ответил он.

В этот момент в класс вошла новенькая. Юрка повернул в сторону девчонки голову и встретился с ее взглядом. И так

и остался в этих глазах, не поняв, что с ним произошло. Он даже не слышал, как Лизонька говорила с новенькой, как определила ей место за партой, параллельно Юркиной, на втором ряду. Он видел, что происходит перед ним, но ничего не понимал. Наконец, очнулся от учительского возгласа:

– Волков! Звонок!

И чтобы как-то скрыть свое смущение тут же стал юроствовать:

– А у новенькой имя есть? Или...

Он не договорил. Новенькая повернулась к нему, и снова он провалился в ее глаза, в то время как она, не отрывая взгляда, с вызовом произнесла.

– Есть. Софья.

– Царевна, что ли? – ошеломленный до одури, не сдавался Юрка.

– Для тебя да!

Сбежавшиеся после звонка к своим местам одноклассники хихикали. А самый смелый прокомментировал:

– Ну что Волк? Это нокаут.

Вмешалась Лизонька, приказав всем сесть и начать урок.

Да, это был нокаут. До появления царевны Софьи Волков вообще девчонок не замечал. Он был вожакom уличных пацанов и жил по законам улицы промышленного города, где всегда район бился на район. Его стая охраняла свои границы, подкарауливала чужих на своих улицах и била. Над ними стояли старшие парни, вернувшиеся с зоны и обещавшие Волку свое покровительство, так как пацан он был шустрый и с пониманием. Волк знал, что будущее его – в этой стае, среди этих откинувшихся с зоны воров, так как другого мира он не принимал. Отца своего не помнил. Мать их с младшим братом поднимала одна, вкалывая на заводе без выходных, и при этом они с трудом сводили концы с концами. Волк ненавидел завод, социалистические соревнования, коммунистические субботники, видя во всем этом сплошную фальшь. Жалел измотанную мать и вечно беспризорного младшего брата и не собирался свою жизнь уподоблять советскому образу жизни. Его манила воров-

ская романтика, в которой места не было ни одной девчонке. И царевне Софье тоже. Он это знал и сопротивлялся ее глазам, пронзающим его насквозь.

– А теперь составляем цитатный план, – пробился до его сознания голос Лизоньки.

Новенькая подняла руку:

– Елизавета Павловна, в моем классе такой формой не пользовались. Я не знаю, что такое цитатный план.

– А поди еще отличница! У нас ты просто так пятерочки получать не будешь, у нас, царевна, надо учиться, – наконец-то, попытался отыгаться Волк.

– Вот ты и покажешь мне, как это надо делать, – в очередной раз с вызовом бросила Софья.

Класс засмеялся. Лизонька улыбнулась.

– А что, Волков, ты хорошо составляешь цитатные планы, научишь Соню.

– Я?! – большего оскорбления, чем возиться с девчонкой, для Волка быть не могло.

Но тут он снова налетел на ее взгляд и замолчал. Он злился на себя и неподвластную ему ситуацию.

Юрка Волков был красив. Высокий, широкоплечий, с правильными чертами лица и шевелюрой темных волнистых волос, всегда чистых и уложенных, никак не олицетворял собою отъявленного мерзавца, да собственно мерзавцем он не был, скорее типичным представителем безотцовщины заводского района, когда пацан считает себя главным в семье и пытается решать свои проблемы самостоятельно, всеми возможными ему способами. Несмотря на скромные условия жизни, Юрка всегда был одет с иголки: его школьный костюм был отутюжен и вычищен, будто приготовленный для подиума. В средних классах пионерского галстука он не носил, вернее, носил его в кармане, доставал при необходимости и повязывал измятый красный треугольник, резко контрастирующий со стрелками его брюк. Это вызывало гнев педагогов и особенно директрисы школы. Не умея справиться с Волковым, она с четвертого класса

обещала ему тюрьму, которая по нему плачет. Сверстники же с Волком общались на равных, он защищал «своих» от «чужих», разводил дравшихся, когда, по его мнению, уже пора было разводить, решал проблемы двора, а став старше, – и района. Девчонки на него засматривались, пытались перехватить взгляд зеленых глаз, с маленькой родинкой у нижнего правого века. Но еще никому из представительниц слабого пола не удалось привлечь к себе внимание Волка. У него были другие интересы до самого того момента, пока в класс не вошла царевна Софья.

Она была совсем не такая, как все остальные девчонки. Училась хорошо, но при этом не была любимицей учителей, скорее наоборот, они ее побаивались за то, что она на все имела свое мнение. И только Лизонька ценила в Соне это качество. А еще она была отчаянной, смелой, иногда до безумства, чем доводила Волка до иступления. Пропав раз и навсегда в ее глазах, Волк не понимал, какое воздействие на него имела эта девчонка. Невысокого роста, с модной стрижкой «сессон», всегда в форменном коричневом платье с белым воротничком и манжетами, она обладала такой внутренней силой, перед которой Волк терялся. Однажды на перемене в конце девятого класса он достал перочинный ножичек, стал его крутить в руках, напевая блатную песенку:

Сколько я зарезал, сколько перерезал!
Сколько душ невинных загубил!
С бандой мы гуляли, десам помогали,
Пока Истрия нас не отловил...

Царевна подошла к нему, в мгновение просверлив его взглядом своих серых матовых глаз.

Волк перестал петь.

– Ну и сколько ты зарезал? – протянула раскрытую ладонь, положила руку на парту, смело произнесла, – режь.

Волк стрельнул испуганным взглядом, но отступить было некуда. Он стал давить острием ножа в центр ладони девочки. Вокруг собралась публика.

Царевна Софья руку не отнимала. Кто-то предложил на этом разойтись, ибо оба – дураки. Но они, вцепившись взглядами друг в друга, не могли прекратить эту схватку. На ладони царевны появилась кровь, в этот момент в класс вошла Лизонька. И, охнув, силой своего авторитета прекратила кровавое противостояние. После уроков, оставив их вдвоем, о чем-то долго говорила.

Могла ли она вспомнить теперь о чем? Она хотела помочь им справиться с оглушившим их обоих чувством. Она не говорила о них. Только о примерах из книг, только о героях классики, о том, что любовь возвышает, делает чище и сильнее.

– Но вы оба сильны, – что сегодня и продемонстрировали, и не надо больше это доказывать друг другу.

– Соня, ты бы могла помочь Юре с сочинениями. В десятом классе вам писать сочинение на выпускном экзамене.

– Еще чего не хватало! – пробурчал Юрка. – Она сама недавно только научилась писать цитатный план.

Царевна молчала. И чтобы доказать, что он – главный среди них, что последнее слово за ним, мужчиной, он открыто глянул в глаза Елизаветы Павловны и язвительно произнес:

– Бедная Лиза.

Лизонька молча вышла. Также молча следом за ней ушла царевна.

Елизавета Павловна отложила книжку, подошла к окну. Она наизусть, до миллиметра, знала крыши всех домов, стоящих ниже ее пятиэтажки, на которые она смотрела именно со своего пятого. Знала трубы завода и валившие из них дымы, легко определяла кроны выросших за ее долгую жизнь деревьев, среди которых без труда узнавала сквер напротив школы, куда со скучных уроков сбегали ее дети. Она знала, что мальчишки там втихушку курили, а девчонки жевали пирожки с повидлом за пять копеек. Знала, что Соня обожала качели. Старые, скрипучие, летящие ввысь

над осенними кленами и акациями, где дух захватывало в голубом поднебесье. Юрка раскачивал ее, а потом, боясь, что она улетит, растворится в небе, притормаживал качели, готовый поймать ее в свои руки, если она вдруг вздумает птицей вспорхнуть. И в этот миг для него существовали только небо и царевна Софья.

Когда они пришли в десятый, осень воистину стояла золотая. Безветренная, с серебряными нитями паутин. И старшекласников каждый день отправляли на картошку убирать с полей урожай. Основной рабочей силой в совхозах были, конечно, студенты, но и школьников использовали, торопясь закончить уборку до наступления дождей. Вместе с Лизонькой ездил и десятый «А». В перерыве между сбором картофеля девчонки дремали на еще теплой земле, мальчишки жгли костер, пекли картошку. Лизонька читала стихи, и Соня, закрыв глаза, повинуюсь поэтическому слогу, улетала куда-то ввысь – туда, где плыли белые облака. Какая-то мелкая букашка, наверное, спустившись по пау-



тине, щекотала ей лоб, щеку, губы. Соня смахивала ее, но букашка настойчиво ползла по ее лицу. Тогда она открыла глаза и увидела Юрку, который водил по ее лицу сухой былинкой и беззвучно смеялся. Соня улыбнулась ему в ответ.

А вечером, наспех помывшись после поля и завив кудри, она вместе с подружками отправилась в соседний парк на танцы, где местный вокально-инструментальный ансамбль играл танцевальную музыку, а они тайком от комсомольского патруля отводили душу в ритмичном шейке. Но как только зазвучали первые ноты медленного танца, откуда-то из темноты к разгоряченным девчонкам подошел Волк, взял за руку царевну Софью и потянул за собой с танцплощадки.

– Что случилось? – взволновалась Соня.

– Ничего. Там шумно, давай пройдемся вдвоем. Я провожу тебя до дома. – Волк был непривычно серьезен.

Они шли и молчали. За время этого недолгого пути черная бездна над ними разверзлась, выпустив на волю круглолицую луну, и тут же, будто кто-то из лукошка, начал пригоршнями разбрасывать звезды. Соня засмотрелась на вспыхивающие в темноте искры, споткнулась, и в ту же секунду Волк подхватил ее и крепко прижал к себе. Их глаза, в которых отражался свет луны, были близко-близко. Еще ближе оказались губы. Небо кружилось вокруг них, луна смеялась во весь рот, швыряя в них охапки звезд. Осенний звездопад просто засыпал землю. Оглушенная первым поцелуем, Соня чувствовала только сильные руки Юры, которые так крепко держали ее, что кажется, никогда из них было не вырваться. На ее глазах почему-то навернулись слезы.

– Только не плачь, пожалуйста, не плачь, – прошептал Юрка, ни на секунду не выпуская из объятий свою царевну.

Он вырослел и жил своей жизнью, в которой не было место для нее. Но и без нее он не мог. Они по-прежнему на уроках сцеплялись взглядами и сидели так, глядя друг на друга, не замечая никого вокруг. Лизонька, проходя мимо, кор-

ректно трогала Соню за плечо, та смущенно краснела и возвращалась к литературе, где все так же было пронизано любовью, как и в ее душе, и о которой Елизавета Павловна умела говорить возвышенно и чисто. А на другие уроки Юрка почти не ходил. Редкими вечерами, когда он неожиданно появлялся у окон ее дома и резким свистом вызывал царевну на улицу, она пыталась говорить с ним об учебе.

– Ты бы ведь мог, мог нормально окончить школу! Ты ведь умный! И мы бы вместе с тобой поехали в Разборск, учились бы в одном городе, – шептала она, прижавшись к его груди, а, почувствовав сивушный запах дешевого вина, тут же отталкивалась, но он держал крепко, целовал, улыбался, а в глазах, словно слезы, отсвечивала луна:

– Нет, царевна, нам с тобою в жизни не по пути.

Отшумел напутственными словами выпускной, откружился летящим школьным вальсом, какой-то славный в своей доброте и взаимном понимании. Елизавета Павловна смотрела на своих повзрослевших детей. Грустила, понимая то, чего еще не осознавали они. Разве думали эти разгоряченные сейчас от эмоций девчонки и мальчишки, что могут расстаться навсегда? Играли в зале, как дети; девчонки, сбросив с ног первые в своей жизни туфли на каблуках, танцевали до боли в ногах. А ближе к трем часам ночи сбились, словно воробьи в стайку, вокруг Лизоньки, стали просить:

– Елизавета Павловна, пойдем на пруд встречать рассвет.

Городской пруд, имеющийся почти в каждом уральском городе по причине строительства заводских плотин, был в то же время и живописным местом, куда Елизавета Павловна и повела своих выпускников. День зарождался медленно. Они притихли. От усталости. А быть может, от пришедшего осознания того, что этот наступающий день навсегда отделяет их от них же прежних. Вместе с ожидаемым солнцем наступали перемены в их жизни, но разве могли они предположить, что это будут за перемены! В какую пучину страстей и раздрая попадут они с наступлени-

ем следующего десятилетия, какую цену заплатят за жизнь в конце двадцатого века! Каждый – свою. Но сейчас они были уверены в себе и в светлом будущем, о котором им не уставали говорить в школе и дома. Только Лизонька почему-то никогда не обещала им этого будущего, тем более светлого. А убеждала в том, что каждый человек должен создать свое будущее сам. «Вы еще скажите, что мы – кузнецы своего счастья», – беззлобно всегда в такой момент вставлял Волк. Но Лизонька была убеждена, что «счастье» – понятие относительное, и призывала жить не ради себя, а ради других, обязательно следуя принципу справедливости и делая этот мир хоть чуточку добрее. Они же подсмеивались над ней. И были уверены в том, что это только в кино бывают убийства, спившиеся неудачники, разводы, повторные браки, несостоявшиеся таланты, разбитые сердца и судьбы. В кино и в любимых Лизонькой книжках. А у них все будет иначе – правильно, как полагается. Ничего дурного ни с кем из них произойти не может. Так думалось, так верилось им в те минуты, когда проснувшееся солнце, плескаясь в малиновой воде пруда, поднималось над городом.

Утро наступило. И они вернулись в новый день.

Звоном трамваев большого города пронеслось абитуриентское лето. Фамилия Сони значилась в списках зачисленных на филологический факультет педагогического института с лучшими оценками и повышенным проходным баллом. Они обе были счастливы – Соня и Лизонька. Соня станет как Лизонька.

А пока царевна уезжала учиться. Из Тагана до Разборска ходит электричка. Но почему-то билет был взят на проходящий скорый поезд, который стоял на станции всего три минуты. Соню провожали друзья и одноклассники – те, кто оставался учиться в Тагане или завтра сами разъезжались в разные города. Смеялись, шутили, желали друг другу «ни пуха, ни пера», посылали «к черту». Ждали поезда с минуты на минуту. И никто не заметил, как появился Юрка. Как всегда, откуда-то из темноты. Все расступились, пропуская

его к Соне, и замолчали. Свет фонаря осветил его лицо и глаза, во взгляде которых творилось черт знает что. Соня почувствовала, что падает в колодец, что небо над ней высоко-высоко, но и земля тоже высоко – между ней и небом. Очнулась от свиста и света приближающегося тепловоза, ребята суетились вокруг, хватая сумки, считая вагоны.

Юрка крепко держал ее за плечи и что-то говорил, но она ничего не слышала, не чувствуя, что плачет, и твердя свое:

– Поедем со мной. Пожалуйста, поедем.

И только тогда, когда он прикоснулся своей холодной щекой к ее щеке, она услышала:

– Пожалуйста, не плачь, никогда не плачь, ты же – царевна.

Состав дернулся. Кто-то подхватил Соню и затолкнул в тамбур уже трогающегося вагона, кто-то запихнул следом сумки. Ей что-то кричали вослед и махали руками. А она сквозь слезы видела только размытую фигуру Юрки, и он смотрела только на нее.

Соне часто приходили письма от Лизоньки. Им было о чем поговорить и на расстоянии. Соня училась, и ей все хотелось обсуждать с Елизаветой Павловной. Как-то в сентябре следующего года она получила от нее очередное послание. Раскрыла конверт и неожиданно почувствовала слабость, опустилась на кровать и отложила листочки, исписанные аккуратным, почти каллиграфическим почерком учительницы.

– Сонь, ты чего? – окликнула ее подруга. – Письмо ведь. Писем они все ждали и с нетерпением их читали.

Соня боялась читать письмо. Она не могла объяснить ни внутреннего озноба, ни ослабевших рук и ног, ни накатившей тошноты. Беспомощно оглянувшись вокруг, будто ища у кого-то защиты, она холодными пальцами вновь взяла тетрадные листочки. Лизонька писала какие-то малозначительные вещи об общих знакомых, о какой-то синей импортной кофте, которую удалось достать соседке

по лестничной площадке... И по мере того, как росло недоумение Сони по поводу всего написанного, внутри нее расплзалась та, неизвестно откуда появившаяся тревога. Она прочитала уже одну страницу, вторую, ощущая, что за всеми этими строчками следует что-то главное, ради чего Лизонька писала это письмо и чего не решалась ей сказать. «Девочка моя, несмотря ни на что, ты должна учиться...», – Соня скользнула глазами ниже, да где же, где? Вот... «Соня, ты же понимаешь, как могли, мы его удерживали, мы боролись за него: мама, ты и я. Я понимаю, тебе это трудно читать, мне писать...» У нее кружилась голова, только бы живой: «...Пять лет тюрьмы. Зона общего режима. Вот адрес исправительного учреждения в Сибири...» Соня застонала...

Потом она писала Юрке письмо, подробно описывая уральскую осень, на удивление солнечную, тихую, заброшенную город раскрашенной листвой; описывала тяжелые грозди рябины, оттягивающие ветви до самой земли; облака, бегущие куда-то на восток и, быть может, проплывающие в эту минуту над ним. Соня писала так, чтобы он дальше жил, верил и надеялся. Она боялась за него. И мысленно часто с ним говорила. Он не отвечал. И она писала снова.

Волк стоял на вершине сопки и смотрел на облака, которые плыли на запад, туда, где жила царевна, которая так любила взлетать к облакам. Внизу, словно слоеный пирог, у его ног лежала тайга. Лизонька пришла бы в восторг, какой образ. Первый слой зеленый – густой ельник, второй – сладкий багрянец – осины и рябины, третий – лимонный с ярко-рыжеватой примесью лиственницы и березы. В лагере Волк устроился клево, все случилось так, как Прыщ обещал. Бугор – известный вор в законе, прочитав маляву от Прыща, снисходительно кивнул: «Пойдешь на пихтоварку».

Волк варил пихтовое масло и много пил. Водка на пихтоварке была всегда. Бугор был правильный блатной: зорко следил за тем, чтобы зона грелась, то есть по своим каналам получала чай, продукты, табак, водку, траву и одежду. Волк пил и не пьянел. Его уже давно прощупали, он знал, что по

заданию Бугра. И провоцировали его не раз, но школа Прыща даром не прошла. Бугор, конечно, был в авторитете, но он Прыщу был должен. По какому случаю – история умалчивала, но они были воры в законе и законы чтили. А Волк, по просьбе Прыща, «взял на себя квартиру», нераскрытую кражу, и на зону «канал паровозом», прихватив себе вину трех малолеток, которых Прыщ воспитывать будет дальше, а Волку надо было набираться опыта посерьезнее. На киче.

Когда ему передали первое письмо с красиво выведенным адресом исправительного учреждения, он, не дрогнув ни одним мускулом, небрежно сунул его в карман телогрейки, что не ускользнуло от пристального взгляда Бугра, и пошел на пихтоварку. Он пил и варил масло. Варил масло и пил. И не пьянел. Под вечер промасленными руками достал из кармана помявшийся конверт, распечатал. Письмо начиналось так: «А на Урале осень...», «написано, как будто в никуда», – подумал Волк. Он сразу его запомнил от начала и до конца, и второе, и третье... Он прятал письма от эков и при шмонах, когда в камеру врывались «вертухай» и и, переворачивая всё вверх дном, откуда-то извлекали закладки сигарет, чая и травы. Бугор не вмешивался в процесс, обещая сидельцам, что еще поквитается с гражданином начальником.

Соня писала еще и еще. Но словно в никуда. Ни единого слова в ответ, ни даже намек на то, доходят ли эти письма до него.

Время шло, складываясь сначала в недели ожидания, потом в тягучие месяцы, затем в годы, которые шли своей чередой. Соня больше не писала писем в неизвестное ей даже теоретически исправительное учреждение, затерянное где-то в сибирской тайге. Юрку же часто видела во сне. Тоскливым взглядом он смотрел на нее издалека, никогда не подходя ближе, словно не в силах преодолеть невидимую черту, разделяющую его с царевной. После этих сновидений Соня не могла отделаться от горестного чувства и снова просила его жить. Только один раз за все эти годы

она увидела светлый сон. Светлый – по краскам и настроению. Они были с Юркой в каком-то деревянном доме, недостроенном, а потому светлом от свежеструганных досок и бревен, от еще неокрашенного пола. Дом был без крыши, и солнце заливало пространство, пахнущее свежим деревом. Царевна в легком ситцевом платье кружилась в струящихся лучах, а он восхищенно смотрел на нее и смеялся.

Дерева и деревьев вокруг ему хватало. Волк уже давно привык к смолистому запаху пихтового масла, к лагерю. К чему привыкнуть не мог – к лаю овчарок. Ему хотелось их заткнуть, порвать им глотки. Ибо, в его понимании, травить собаками людей было западно. Иногда он заходил в клуб, где была библиотека, брал книжки и листал. Конечно, не читал. Сидел, перелистывая страницы. И молчал. В самый первый раз, когда пришел сюда, спросил «Бедную Лизу» писателя Карамзина, но бывалый зэк-библиотекарь ему ответил, что «такого чтива тут нету». Потом просто заходил, брал любую книжку. И листал.

Наступала зима. Его третья зима в лагере. Бугор пару раз передал маляву на волю Прыщу, где молвил слово и за Волка. Впрочем, Прыщ, как порядочный вор в законе, Волка не забывал, регулярно пересылая ему с воли деньги, сигареты, траву и продукты. Траву Волк отдавал Бугру. Сдавал в общак продукты и часть денег. Но всегда держался независимо, и Бугор ему позволял. От его зоркого взгляда не могло укрыться и то, что Волк изредка достает по ночам затертые и промасленные страницы и читает их.

Волк листал книгу, чутко ловя все звуки зоны, доносившиеся в клуб. Быть чутким он научился еще до зоны. Он видел в темноте, как волк. Звуки, запахи и ощущение улицы он чувствовал инстинктивно, как животное, как у животного со временем у него развился инстинкт самосохранения, так пригодившийся на зоне. Сейчас он слышал музыку, что играли в соседнем зале. Лагерная художественная самодеятельность готовилась к ежегодному песенному конкурсу

«Красная калина». Пели шансон. В лагере всегда пели шансон – Круга, Новикова, Кучина, пели блатные песни. Сейчас он слышал лагерного солиста Толика-певуна. И незнакомую песню:

На Колыме, где тундра и тайга кругом,
Среди замерзших елей и болот
Тебя я встретил с твоей подругою,
Сидевших у костра вдвоем.

Шел крупный снег и падал на ресницы вам,
Вы северным сияньем увлеклись.
Я подошел к вам и руку подал,
Вы встрепенулись, поднялись...

Он был настоящим волком – осторожным, смелым, готовым броситься на противника, превосходящего его в силе, и до последнего удара не отводить взгляд; он был неприручаемым, как дикое животное, но он не мог до конца справиться с человеческим чувством, которое вытравливал из себя всеми способами, и звериными тоже. Он готов был отгрызть себе кисть руки, как попавший в капкан волк отгрызает себе лапу, чтобы освободиться от боли, но его боль была слишком глубоко внутри, и ее было ни вынуть, ни отгрызть, ни отрубить. Подавляя эту боль, он подавлял в себе и то непреодолимое желание, которое человека превращает в животного, в особь мужского пола с единственно свойственным ему инстинктом к размножению. С этим желанием проще было справиться самому, чем заглушить совсем. А он, как человек, не смея надеяться, не имея для этого ни одного шанса из ста, берег себя именно для того мгновения, когда войдет в царевну и сольется с ней в едином экстазе:

Так, здравствуй, поседевшая любовь моя!
Пусть кружится и падает снежок...

Волк вышел из клуба. И уверенным шагом пошел сквозь метель и мимо барака – одного, второго, третьего... Он знал,

куда ходят те зэки, которые предпочитают «петухам» – женщину. Сам он там никогда не был, но знал дорогу к бараку, отличающемуся от других небольшим размером, стоящему почти у забора зоны. Там был склад. А в одной из кладовок были нары с грязным матрацем, куда с поселухи – колонии поселения, находящейся сразу за лагерным забором, по сговору блатных с начальником отряда приходила Люд-ка-леди, немолодая, потрёпанная женщина, позволявшая себя пользоваться за определенную плату. Брала деньгами, водкой, продуктами. Никем и ничем не брезговала. Впрочем, Людку не зря прозвали Леди, она приносила с собой обязательно простынь и два полотенца – для себя и клиента. Несмотря на количество клиентов, полотенце для них все равно было одно. Для нее тоже. Обо всем этом Волк знал. И не мог – брезговал. А сейчас шел – злой, неудовлетворенный, желая только одного, чтобы сегодня у Леди он был первым. И ему подфартило. Людка только устраивалась в кладовке, стелила простынь на засаленный и заерзанный матрац. Дружелюбно кивнула:

– Проходи, боец! Первый раз, что ли? Не видела тебя раньше.

Волк кинул ей деньги прямо на матрац.

Она деловито их сосчитала:

– Многовато будет. На сколько актов рассчитываешь?

Волк молча расстегнул брюки, его хозяйство на Людку произвело впечатление:

– Ого!

Сквозь животный инстинкт, сквозь ритмичные толчки в женской теплой плоти, сквозь горячее биение крови в висках, словно музыка доносилось: «Царевна! Моя царевна! Пусть кружится и падает снежок...» И когда он дернулся в последнем, облегчающем все его тело порыве, застонав и обмякнув на женском теле, то прошептал: «Соня, царевна».

Открыл помутневшие глаза, осознание произошедшего пришло мгновенно, как у волка пред опасностью. Поднялся, взял полотенце, вытерся, застегнул штаны, потянулся к робе. Разомлевшая Людка приподнялась на нарах:

– А ты оставайся, боец. Я с начальником договарюсь.
И очереди сегодня нет.

Волк натянул на себя робу.

Людка вздохнула:

– Сдачу тогда забери.

Все-таки она была леди, а потому честная проститутка.

– Оставь себе. – И Волк вышел в метель. Нагреб охапку снега, стал мыть руки, потом разгоряченное лицо. Метель выла, он тоже готов был выть, потому что был волк.

А на следующий день во время работы он повредил ладонь и средний палец. Распорол вдоль до самой кости, раздробив одну фалангу. Лагерный врач остановил кровь, перевязал и сказал, что может начаться гангрена, но он бессилен. Надо бы его, Волка, отправить в районную больницу, но машины нет. Метель к утру улеглась. А потому Волк сказал:

– Я пешком пойду.

Его иногда по сговору блатных и начальника отряда отпускали за забор. Да и куда зимой бежать? Если даже очень захочешь, не убежишь. В тайге пропадешь, а по дороге до райцентра ходили только лагерные машины.

– Пятнадцать километров? Сегодня сорок два градуса мороза. Без пальца проживешь, а на морозе дуба дашь, – пытался убедить лагерный врач.

Но он был бесстрашным Волком. И он хотел изжить свою боль. Дорога в районный центр – деревянный барачный поселок, где ему в больнице могли зашить палец и ладонь, предупредить гангрену, лежала через тайгу и перевал. После вчерашней метели дорогу уже расчистил трактор, раскидав снег по бокам. Волк шел быстрым шагом, спрятав в карман поврежденную руку, которая неприятно ныла и токала, будто внутри всей кисти собирался прорваться нарыв. Сначала он отмечал живописные природные картины, написанные вчерашней метелью, потом снежная белизна стала резать глаза, а мороз пробираться тюремную робу. Рука уже не ныла, а дергала так, что боль отдавала в локтевой

сустав. В какой-то момент он увидел перед глазами вместо белого снега красные, кровавые пятна, чтобы избавиться от наваждения, крепко зажмурил глаза, а открыв их вновь, прямо перед собой на дороге увидел медвежий след. Он тянулся с противоположной стороны дороги, медведь всей своей тушей перевалил через наброшенный вал снега, потом пошел вдоль дороги, ровно так же, как шел Волк, шел и медведь: Волк видел его тощий зад, метров за сто впереди себя. «Откуда он?» – подумал Волк, не сразу сообразив, что это – шатун, а когда понял, то стал оценивать свои шансы на победу в борьбе с очень опасным зверем. Оценил правильно, лучше сейчас было не нарываться. Видимо, медведь тоже так решил и, навалившись худой тушей на снежный вал, теперь с другой стороны дороги, не спеша уходил в лесную чащу.

Волк не знал, сколько времени он шел. Не знал, сколько километров прошел. Чувствовал, что замерз. Очень замерз. Особенно подводили ноги, мороз пробирал ступни сквозь валенки. Руку он больше не чувствовал. Ему захотелось присесть и немного отдохнуть, прикрыть чуть-чуть глаза и посидеть так всего несколько минут. Долго нельзя, он знал. Всего несколько... И он опустил на снежный вал. Ему казалось, что прошло всего несколько секунд, коротких снежных мгновений. Стало легко, холод отступил, спасительная дремота наполняла все тело ленивой истомой. «А на Урале осень, тяжелые грозди рябины тянут ветви до самой земли...», – царевна сидела рядом с ним и читала вслух свое письмо, написанное будто в никуда. И он замер, слушая ее голос. Когда она дошла до конца, то понизила голос и просяще произнесла: «Юрка, живи, пожалуйста... И возвращайся». Волк с трудом разнял смерзшиеся ресницы, медленно поднялся, сделал первый шаг, потом второй, третий... Он шел, переставляя ничего не чувствующие ноги, и только слыша настойчивое: «Юрка, живи, пожалуйста... И возвращайся».

Когда навстречу ему показался лагерный газик, он даже не очень понял, откуда он тут на дороге взялся. И только

когда услышал отборный мат гражданина начальника, почувствовал себя живым. В больнице палец ему сохранили.

Осенью девяносто четвертого Волк откинулся с зоны и вернулся в Нижний Таган к братве. К этому времени Прыщ как раз отбыл в обратном направлении, приказав бригаде ходить теперь под Волком: «Он теперь вам авторитет». Волк недолго входил в курс дела. В девяностых все дела были на поверхности. Главное свою территорию держать – рынок, вокзал, ресторан, где сходняк собирается, при возможности отжать чужое. А также мальчиков, занимающихся рэкетом, в узде держать, дабы знали, кто здесь хозяин.

Волк быстро всех подмял и выстроил свою бригадную иерархию. И держал ее крепко. Родной город знал с закрытыми глазами, зорким взглядом отмечал обветшалость домов и строений, унылость и серость улиц, обреченность на лицах людей. «Значит, капитализм, – констатировал для себя, – хрен редьки не слаще. Но воры во все времена вне общественной формации». Про общественную формацию он помнил, Лизонька часто на уроках повторяла. Лапу свою, попавшую в капкан, он, конечно, давно откусил. Но школа-то стоит на месте, и парк, и сквер, давно не убиравшиеся никем, а через сквер лежит путь к дому Лизоньки. Машину с братами-охранниками оставил, что было не по закону, а законом он пренебрегать не смел. Пренебрег. Вошел в знакомый подъезд, изрядно обшарпанный и холодный. Поднялся на пятый этаж к знакомой двери и нажал звонок.

– Юра! – Лизонька стояла в прихожей перед открытой дверью, в накинутой на плечи вязаной шали, в брючках и светлом джемпере, как всегда элегантная, но чуть уставшая, постаревшая. – Пожалуйста, проходи! – закашляла, – извини, я приболела.

Потом он пил у нее чай. Она опять извинялась, – прости, к чаю нет ничего, ты знаешь – все по талонам, а мне одной много не надо, я ребятам талоны отдаю, чьи родители зарплату давно не получают, на заводе тоже не платят. Конечно, мои талоны – это малость, но все же.

Волк молчал. Смотрел на общую витрину, где стояли фотографии учеников, их класса тоже, и та, где он гримасничал за спиной царевны. И продолжал молчать. А Лизонька говорила, будто спешила сказать все, о чем он не знал все эти пять лет, что мучило ее и чем непременно она должна была поделиться.

– Юра, понимаешь, вся сфера образования сведена на нет. В школах холод, нет никаких пособий, учебников. Мы отстаем по всем направлениям. Меняется власть, меняется время, но еще никому не удалось уничтожить науку, литературу, искусство. Понятия любви, добра, чести, верности – вечные. Надо только им следовать и поступать в соответствии со своей совестью. Понимаешь, власть, деньги, накопительство, произвол, беззаконие – это временное, преходящее. А Пушкин, Достоевский, Толстой – это вечное. А знаешь, сколько моих учеников в прошлом году поступило в вузы?.. Среди них есть очень интересные личности с хорошими способностями, талантливые ребята! – она торопилась, будто чувствовала, что сейчас он встанет и уйдет. И она не успеет сказать самого важного.

– Елизавета Павловна, мне пора. – Он поднялся, у двери обернулся и пристально посмотрел ей в глаза.

Она выдержала этот взгляд и медленно произнесла.

– Соня окончила институт, работает учителем литературы и русского языка в нашей школе. Вместе со мной, – и после короткой паузы, – вышла замуж.

– Вот за это ее надо убить, – ухмыльнулся Волк.

– Юра! Что ты говоришь! – Лизонька опять закашлялась.

– Ну, что вы так испугались, Елизавета Павловна? Я – вор в законе, а не мокрушник. Слышите, в законе! Будьте здоровы! А продуктов вам завтра привезут.

Он сбегал по лестнице, не обращая внимания на ее интеллигентные отказы от продуктов, и слышал только «вышла замуж». Его откушенная лапа снова заболела.

Он пошел пешком. Братаны двигались чуть поодаль. Он сделал знак: «Оставьте». Они переглянулись, не по закону

все выходило. Но не ослушались. Волк вошел в запущенный парк и сел на скамейку. Рядом из высокой травы торчали остовы ржавых качелей. Значит, вышла замуж. Он ведь знал, что это когда-нибудь случится. Ведь намеренно сделал все, чтобы вычеркнуть ее из жизни, из памяти, вынуть из всех своих внутренностей, из каждой клеточки своего тела. Ведь он не собирался, не имел права связывать свою жизнь с ее жизнью, как и с жизнью любой другой женщины. Он – вор в законе, и будущее его среди воров. Отчего же тогда вновь так хочется распороть себе руку до кости, замерзнуть на дороге, не видеть этот запущенный парк, эти ржавые качели... как высоко царевна летела на них к облакам.

Волк застонал, а может быть, зарычал. И пошел по той аллее парка, где когда-то шел с ней с танцплощадки. Он знал, что скоро справится с нахлынувшим чувством, с этой слабостью, на которую, как предводитель стаи, он права не имел. Но пока еще немного хотел побыть человеком. Он шел по аллее, а навстречу ему шла царевна. Конечно, так бывает только в кино. Но она шла ему навстречу. Скорее всего, со школы, с работы, держа в руках портфель с тетрадками. Он узнал бы ее, если бы не видел еще сто лет. Она шла медленно, играючи шурша опавшей листвой. Одна в заброшенном парке, как будто отстраненная от всего внешнего мира. «Тоже мне царевна без царства», – усмехнулся про себя Волк, любуясь ею, освещенной лимонной листвой кленов и лучами солнца.

И тут глаза их встретились. Он попытался съязвить:

– Какие люди в Голливуде! И без охраны!

Соня вскрикнула, потом закричала громче и бросилась к нему. Она плакала, прижавшись к Волку всем телом. Оглушенный ее реакцией, он гладил ее по волосам, целовал в губы, глаза, щеки и шептал:

– Только не плачь, пожалуйста, не плачь. Ты ведь – царевна.

Она не плакала. Она, все плотнее прижимаясь к нему, все сильнее вдавливаясь в его тело, выла на весь осенний,

светлый день, на весь затянутый бурьяном парк. Проваливалась в глубину его зеленых глаз и взлетала на качелях к синему небу. Он прижимал к себе ее вздрагивающее тело, не в силах справиться с восставшей своей плотью, с бушующей в висках кровью. «На Колыме, где тундра и тайга кругом, Среди замерзших елей и болот, Тебя я встретил...», кем он был в это мгновение – зверем или человеком?

– Юра, я не хочу так! Я не хочу здесь! – задыхаясь в его объятиях, шептала она.

Он отстранился. Мутным взглядом посмотрел на нее, схватил за руку и, не говоря ни слова, повел за собой. Сразу за парком была гостиница, где он занимал отдельный номер. Портье без слов подал ключ. В номере он сорвал с нее пальто, взял на руки, зацепив часами за колготки, и она почувствовала, как под юбкой поползла стрелка.

Они упали на широкую кровать. Внезапными порывами Волк поворачивал ее к себе, и тогда они улетали в поцелуе, не в силах разнять губ. Он готов был задушить ее в объятиях, его руки блуждали по женскому телу, словно знакомясь с ним, изучая его. И она в такт ему извивалась в сладостной истоме...

– Юрочка, Юра...

– Как я хотел, чтобы это впервые случилось у меня с тобой. Как хотел...

Они были так близки, что, задыхаясь от счастья, растаяв от нежностей и падая куда-то в пропасть от взаимной страсти, готовы были... как вдруг она опомнилась, «стрелка, она не может предстать перед ним в рваных колготках, не может». Он, почувствовав ее отстранение, пробормотал: «Ну что ты?.. Что?» Его рука скользила по ее ноге, поднимаясь выше колена. «Стрелка. Нет, она не может». Перед глазами возник образ мужа, с которым она спала на разных кроватях, и она холодно произнесла:

– Это не самое лучшее, что придумали люди.

Он как-то сразу весь обмяк, навалившись на нее тяжестью своего тела, еще секунду назад легкого, гибкого, готово слиться с ней в едином экстазе. Он медленно отвалился

на подушку. Провел рукой по лицу, словно оглушенный, возвращался к реальности. И хрипло, зло произнес:

– Просто ты не с тем мужчиной спишь.

Она ответила про себя: «Я с ним вообще не сплю. Чертова стрелка, но у нас ведь все еще получится». Волк остался человеком, хотя так хотел, став зверем, достать до самого сердца царевны.

...На улице было темно.

Осенний ветер пронизывал, скулил, запутавшись в голых кустах сирени. Соня поеживалась то ли от ветра, то ли от внутренней дрожи. Волк шел рядом, обняв, но уже отстранившись от нее. Вдруг где-то высоко в черном небе раздалось прощальное курлыканье журавлей. Птиц не было видно, но отчетливо слышно. Щемящие душу крики вывели Соню из оцепенения, и она заговорила быстро-быстро:

– Юра, я пойду с тобой хоть на край света. Возьму только сына и теплое пальто, а то ведь – впереди зима.

– А как же он, твой муж? – спросил он трезво.

– Возможность выбора есть всегда, – почти по-книжному ответила она.

– Нет. Не всегда. У нас с тобой нет! – жестко поставил точку Волк.

Соне нравилось вести уроки в старших классах. В девятом изучали «Грозу» Островского. Она вела урок, рассказывая про Катерину, которая была лучом света в темном царстве, подошла к окну. После дождей клены печально сникли оставшейся листвой. Соня вспомнила, как Лизонька пыталась растормошить их класс при обсуждении образа Катерины. Но класс тогда безмолвствовал. Лизонька обратилась к Соне: «Ну, а ты что думаешь?» Соня ничего не думала, потому что не любила Катерину как литературного героя. А с точки зрения юношеского максимализма вообще не принимала ее самоубийства. О чем и заявила на уроке. Дескать, не топиться надо было в Волге, а сбежать с любимым человеком. Лизонька сказала, что мнение ее уважает, но тут же объяснила, что в середине девятнадцатого века,

когда была написана пьеса, условия на Руси были другими, и убежать с любимым человеком было не просто.

Теперь Софья Андреевна понимала, что убежать с любимым не просто во все времена.

На очередном сходняке в Нижнем Тагане воры в законе, справедливо считая себя высшей ступенью иерархии преступного сообщества, решали непростые вопросы. В Разборске шла нешуточная война между группировками «Центральные» и «Тяжмаш». Казалось бы, эти разборки напрямую не касались третьей группировки, «синих», которые уже давно подмяли под себя два больших рабочих района города. Но «синих» раздражала война «Центральных» и «Тяжмаша», много было шума от их разборок, а главное, они распространяли свое влияние на те сферы, где «синие» укрепились раньше, а теперь вынуждены были сдавать позиции.

Тревога воров была понятна. Задолго до девяностых они по всей стране объединились в воровское братство «синих», жившее по установленным в криминальном мире законам. Поскольку в братство входили бывшие зеки, то, само собой, оно крышевало северные районы страны, Нижний Таган был одной из крупных точек в географии воровского мира. Интересен он был тем, что здесь находилась воровская перевалка из Европы в Азию и обратно. До девяностых «синие» в Разборске были хозяевами, имея мощный денежный общак и «крышу» в государственных и правоохранительных органах. Кроме обычного преступного набора – грабежей, разбоя и убийств – «синие» не чурались заниматься незаконным оборотом драгоценных камней. В девяностые к этому обороту добавились алкоголь и наркотики. Пытались «синие» контролировать и рынок нефтепродуктов. Девяностые стали самой что ни на есть благодатной почвой для дальнейшего разбоя и обогащения воровского мира, когда можно было и территорию, и заводик красиво отжать в рамках закона, не воровского, а самого что ни на есть государственного. И также краси-

во идти в ногу со временем и всей страной. Но появились конкуренты.

«Центральные» и «Тяжмаш» были в чистом виде порождением девяностых годов. Обе эти группировки формировались не из закоренелых преступников, а изначально вполне даже благополучных лиц. Более того, многие бойцы «центральных» вышли из интеллигентных семей, живших во дворах, расположенных в самом центре города, у стен городской власти. Будучи пацанами, они любили футбол и хоккей, бегали играть на корт и создали свою команду. По принципу этой команды они создадут в девяностых и центральную группировку. Будущий лидер бойцов «центральных» вырос во дворе драмтеатра и знал по афишам весь драматический репертуар. Позже за особую жестокость он получит кличку «Вурдалак» и составит свой собственный репертуар, где комедии не будет места. Его самый близкий сподвижник загремел на скамью подсудимых в подростковом возрасте за убийство человека. Правда, убийство было непреднамеренным: он защищал от нападения девочку-одноклассницу, с которой шел по улице вечером. А так как был классным боксером, то удар не рассчитал. Его тогда оправдали. Но то ли судебный опыт, пусть и не самый плачевный, то ли располагающая к тому атмосфера девяностых, юноша из вполне благополучной семьи, успешный в музыке и спорте, стал одним из лидеров «центральных». Порождение девяностых. Мальчишки из благополучных семей, ставшие на путь бандитизма. Чем и как объяснить это социальное явление? Только ли стремлением к лидерству и обогащению, когда все стало разрешено? Или они хотели установить свой порядок в новой России и остаться бессмертными?..

В середине девяностых «центральные» поднялись на волне экономических преступлений. Организаторы и лидеры группы брали умом, многоходовыми комбинациями, так как среди прочих видов спорта выделяли шахматы. И свой человек в управлении внешнеэкономических связей областной администрации, который отстаивал интересы

сообщества не только на уровне области, но и на международном уровне – это тоже результат интеллектуальной игры. «Центральные» открыто демонстрировали, что центр города вместе с рынком и вокзалом контролируется ими, да и все предприниматели города тоже. Экономисты «центральных» были классными спецами, а в городской думе работал их представитель. Они первые открыли в городе казино и один за другим открывали рестораны. Да что там в городе! Разборские «центральные» со временем подмяли под себя столичный аэропорт Домодедово. Разумеется, лидер «Центра» не якшался с «синими» и, подчеркивая свою элитарность, жил в самом центре города, где однажды и был расстрелян вместе со своими охранниками. И не «синими», а бойцами набирающей обороты преступной группировки «Тяжмаш», организованной в промышленном районе Разборска, где находился завод-гигант с одноименным названием.

Будущие участники группировки в восьмидесятых были хорошими спортсменами. Чемпионы разного уровня, вплоть до европейского, в разных видах спорта, в девяностые они подадутся в рэкетеры, оттуда прямой дорогой к рейдерским захватам предприятий и на основе всего награбленного и отжатого – к созданию синдикатного бизнеса. Бандитский произвол несколько ослабнет с убийством и побегом из страны первых лидеров группировки и с приходом к власти нового авторитета, поднявшегося из самой группы Алекса Вораба. По своему происхождению он был близок к «центровым». Выходец из семьи партийного лидера, окончивший один из вузов Разборска, призванный учить и воспитывать подрастающего человека и защитивший кандидатскую диссертацию, Алекс начал с воспитания тяжмашевских бандитов, организовав их в общественно-политический союз (ОПС) «Тяжмаш», где каждый более чем из двадцати учредителей представлял спортивную федерацию. Сокращенное название – ОПС – тут же стало притчей во языцех, и толковалось жителями города как «организованное преступное сообщество».

В общем, в конце девяностых Разборск представлял собой Чикаго, а порой был и круче американского бандитского центра. Разборск был одним из первых в России городов, отличившийся заказными убийствами, где постоянно шли разборки, перестрелки, взрывы в подъездах и на улицах города. Криминальные группировки, стараясь сохранить собственное влияние, в прямом смысле с оружием в руках отстаивали каждую пядь «своей земли», при этом гибли простые жители города, не имеющие никакого отношения к разборкам, оказавшиеся не в том месте и не в то время. Бандиты с этим не считались, полагая, что в каждом деле есть излишки производства.

Поэтому было о чем задуматься ворами в законе на сходняке в Нижнем Тагане. А именно – об укреплении собственных позиций, для чего привычную тактику, определенную воровскими законами, надо было менять. Пробовать наладить мосты и договориться с «центральными» и «тяжмашевцами» о честном разделе сфер влияния. Воры понимали, что «уладить базар» могут только выдвинутые сходняком авторитеты, не лишённые, по их понятиям, хитрости и проницательности. Одним из них был Волк, которому предстояло договориться с «Тяжмашем».

Волк никогда не был гопником. Он умел держать марку. И даже внешне отличался в воровской среде неким налетом интеллектуального флера. Девяностые этот образ подкорректировали. Волку очень шла униформа бандитского мира – черный костюм, белая сорочка с черным галстуком, черные очки. В Разборске он возглавил бригаду «синих», умея четко расставить бойцов по точкам, сам занялся дипломатией. Найти подходы к «тяжмашевской» семье большого труда не составило. Законы воровского мира тому стали порукой. Волк давно усвоил, что в подобных кругах нельзя врать, особенно в отношении собственной персоны, вор так вор; нельзя лебезить и прогибаться; нельзя ничего просить – будешь должен, и во сколько твой долг оценят и когда попросят его вежливо вернуть, одному дьяволу известно.

Среди подобных тебе братанов надо держаться естественно и в меру, не перегибая палку, достойно, что Волку труда не составляло. Он вел себя так всегда и в любой среде.

Своим волчьим чутьем и невероятной проницательностью он быстро оценил ситуацию, поняв, что «тяжмашевцы» хорошо организованы. Резиденции их братанов располагались в лучших номерах гостиниц в центре города, а Алекс Вороба занимал один из этажей государственного учреждения. Бойцов они растили в спортивных клубах и на кой-то черт выпускали собственную газету, видимо, чтобы запудрить лохам мозги о собственной значимости. Лохам же воры считали всех, кто не относился к преступному миру. И Волк считал бы тоже так, если бы однажды не попался в ласковые сети хрупкой учительницы, а годом позже не нарвался на взгляд царевны. Они существовали в другом – параллельном с ним мире, но они существовали, и не были лохами, о чем он помнил всегда.

Чтобы вести переговоры на уровне выше бригадиров, ему нужно было войти в доверие, а его тщательно проверяли, он это чувствовал. Провоцировали – реагировать правильно умел. Подставляли телок – справлялся, не велика наука. Забывали «стрелку», с теми же телками выезжая на природу. Даже среди сосен у мангала они соблюдали дресскод – люди в черном. Круг был узким и проверенным под увеличительным стеклом. Телки-модели – часть сообщества и собственность братанов, случайной шлюхе сюда вход закрыт.

Договориться группировкам было нелегко, каждая из трех не желала уступать. Положение усложнялось тем, что вести открытые боевые действия на улицах города было все же неудобно. Люди-лохи мешали. Потому, например, рынки, как многолюдные места, старались отжимать без стрельбы, толкаясь толпа на толпу. Люди в черном с двух сторон шли друг на друга и давили, одни держали «фронт», другие должны были его прорвать. А между ними двигался длинный красно-белый поворотный шлагбаум, своеобразный пограничный знак, открывавший въезд на ры-

нок и сейчас отмечавший своим положением успех той или другой стороны. Покупатели с рынка разбежались в страхе, словно куры. Торговцы мрачно наблюдали это блядство, мало их рэкетом чмырили, сейчас еще постреляют к чертям собачьим. По рассказам знали, что бандиты только в начале разборок толкаются, потом убивать начинают, и не только друг друга, но и тех, кто под руку попадет.

Дипломатия двигалась медленно, что Волка не смущало: он знал, что ему уготовано пройти несколько ступеней чистилища. Зато среди «синих» он был в авторитете и решал вопросы. Жил безбедно, строго контролируя бухгалтерию общака. Иногда в голодный Таган по известному адресу без всякой записки отправлял коробки с продуктами, только свою долю, не обкрадывая воров.

А в Тагане было не только голодно, но и холодно. Регулярно получаемые продукты Лизонька делила между особо нуждающимися учителями и детьми. Передавала тушенку, масло и сахар Соне. Та сначала отказывалась, потом, когда дело в семье с деньгами стало совсем плохо, брала. И не говорила Лизоньке, что подрабатывает официанткой на свадьбах новых русских.

Ей было стыдно не только об этом говорить, но даже думать. И только полное безденежье в семье, так как зарплату ни ей, ни мужу не платили по несколько месяцев, вынуждало ее один-два раза в неделю надевать на себя последнее из ее гардероба стильное платье, выгодно представляющее ее фигуру, и отправляться подрабатывать на свадьбы. Ее это мучило, каждый раз превращая путь до ресторана в пытку горьких рассуждений. Она не понимала, почему именно она, окончившая с красным дипломом институт и, как высокопарно выражается Лизонька, призванная служить самой благородной профессии, вынуждена таскать подносы среди пьяных, обжираться новых русских, похабно хватяющих ее за грудь и омерзительно пристраивающихся к ее задку. Соня выворачивалась, стараясь не нахамить и со

всего маху не опустить поднос на очередную свинью в человеческом облике, и наконец, проскользнув среди этих рыл на кухню, прижималась к стене, чтобы справиться с клокочущем в ней негодованием. Но повара подгоняли, распорядитель банкета торопил. И она, схватив очередной поднос и вымучив улыбку на лице, выходила в зал. Ближе к ночи, когда более устойчивая публика сразу после отъезда молодоженов тоже разъезжалась, а отъявленная пьянь расползалась по углам, а еще несколько самых стойких и тоже смертельно пьяных еще что-то доказывали друг друга, раскинувшись на стульях перед недопитыми рюмками, в расстегнутых до пупа рубахах, Соня уносила со столов грязную посуду. Она уже не так быстро бегала, как в начале вечера, отяжелевшие ноги выделяли странные движения, будто бы она на лыжах то спускалась с кручи, то поднималась вверх. А может быть, ей просто так казалось. И лыж никаких не было. Повар по имени Лейла, большая черноволосая женщина, туго убирающая свои локоны под колпак, жалевучи, приговаривала:

– Ничего, дорогуша, потерпи. Скоро этот бардак закончится. Я тебе мякоти говяжьей припасла, антрекотов отложила, маслица брикетик сберегла. Так что не с пустыми руками домой пойдешь. Да еще по тарифу получишь.

– Спасибо, тетя Лейла, – Соня присела на минуту, чтобы обрести ноги и отделаться от лыж, – господи, как стыдно, как стыдно! – проговорила она едва ворочающимся во рту языком.

– Э, дорогуша, это ты брось! – громыхая кастрюлями, сказала Лейла. – Стыдно должно быть им. У них брать не стыдно. У них не стыдно все наворованное отобрать. Давай, поднимайся, дорогуша! Закончим уж на сегодня этот шабаш.

Соня с трудом оторвала свое тело от стула и опять на тяжелых лыжах поскользился в зал. Второй официант, молодой человек, завершал уборку на своих столах. Распорядитель вежливо выпроваживал особо стойких. Тех, что лежали по углам, не тревожили. Очнутся – сами расползутся

по норам. Распорядитель подошел к Соне и протянул ей деньги. Она кивнула и взяла купюры.

Лейла приготовила каждому из них по сумке с продуктами. После каждого банкета за ней заезжал муж, такой же крупный, чернявый и молчаливый мужчина. Они всегда подвозили к дому и Соню: было по пути.

– Пойдем, дорогуша, такси прибыло, – позвала она Соню. На сегодня финита ля комедия.

Осторожно повернула ключ в замочной скважине. Ребенок, научившись с ранних лет быть самостоятельным, спал. Муж работал в ночную смену на заводе. Соня, разложив продукты в холодильник, на тех же тяжелых лыжах добралась до кровати и прилегла, в надежде, что через минуту встанет, чтобы снять платье и забраться под одеяло. И полетела на качелях к самому синему небу. Там, где они были вместе с Юркой. Только почему-то она его не видела. А поэтому по нему тосковала. И эта дикая тоска наваливалась на нее иногда с такой силой, что она, не верящая ни в Бога, ни в черта, просила все сверхъестественные силы вернуть ее только на один, нет, пожалуйста, на два дня в прошлую жизнь. Только на два дня... и тогда, ну хорошо, тогда она точно запретит себе думать о нем, совершенно не достойным того, чтобы о нем думать. Ну ведь всего два дня. «Ну хорошо, на один вечер, – торговалась она с невидимой сверхъестественной силой, – всего один, когда они шли с танцплощадки и целовались».

Тот, кто назывался сверхъестественной силой, не внимал ее просьбам, не слышал ее мольбы и не собирался возвращать ее в прошлое – ни на один, ни на два вечера; ни даже на один час, ни на одну минуту.

Эта ночь принадлежала Волку, ему шла карта, не ему лично, а казино, но это то же самое, что ему. Казино, спрятавшееся во дворах на окраине, согласно всем законам – воровским и государственным – принадлежало «синим». Странное, одноэтажное здание из панелей, покрытых мелкими

камушками, и снаружи напоминающее совдеповскую столовую, фасадом располагалось на некоторой возвышенности, в то время как задняя его часть, не имеющая окон, будто присела на хвост. Волк входил в здание и, несмотря на все поглощающую здесь темноту, легко ориентировался. Сквозь мрак проступали игровые поверхности столов, ярко высвеченные зелено-красным направленным светом, перерезанным белыми линиями. Контрастная ирреальность действовала на психологическое состояние игроков. Но не Волка. Его состояние подчинялось только ему. Он наблюдал со стороны, оценивая действия рук девушки-крупье, эффектно высвеченные из мрака. Начиная от кистей рук, он охватывал взглядом и всю девушку. В этом освещении она была выразительна: одетая в черную жилетку, из-под которой выделялись белые рукава рубашки; большие красивые глаза, подведенные не броско, но четко, выигрышно выделились на ее светлом лице. Только снимать портрет на темном фоне.

Волку шла карта, то есть карта шла казино, когда у стола появились двое новых игроков. Он их раньше не знал, и это его насторожило. Раскинули покер. Играл один из них, и ему поперло сразу. Поперло крупно. Волк ждал. Карта шла. Эти двое пили коньяк. И заведение их угощало. Но, расслабляясь, они не теряли контроль над игрой. Волк пересекся взглядом с девушкой крупье. Чуть заметно кивнул. И везунчиков тут же пригласили в вип-зал, где игра шла по-крупному. Волк прикинул: фраерок выигрывал крутую сумму, уже тянуло на стоимость трех нехилых квартир, чего казино не могло допустить. И в другой бы ситуации об этой игре никто никогда не узнал. Но Волк, наблюдавший за всем из тени, по базару понял, что друг фраерка кантовался с «тяжмашевцами». В преддверии мирных переговоров между группировками, которые затевал Алекс Вораба, инцидент был некстати.

Оставалось одно – вывести фраерка из игры. Подставить. Дилер, тусуя, выравнивая и подрезая колоду карт, незаметно для других переглянулся с Волком, поймав в его

взгляде подтверждение своим действиям. После очередной сдачи незнакомцу подфартило так, что он перестал дышать. Ему выпала самая редкая и самая сильная комбинация в покере – Флеш Рояль, которая никогда не проигрывает. Фраерок, потеряв рассудок, смотрел на пять карт одной масти и шептал: «Десять, валет, дама, король, туз...», – тут же протягивая куда-то в пустоту руку, в которую ему незамедлительно подали бокал, на треть заполненный коньяком. Он был классным игроком и понимал, что королевский флеш не перебить. Во всяком случае, в его ситуации. И, глубоко вздохнув, отпил коньяк, потом опрокинул в себя остатки. Он поставил на кон все деньги, заторговался и тогда... его партию перебили, а деньги забрали. Фраерок стал шуметь: «Шулеры, подстава!» Волк понял: теперь его выход. Он толкнул невидимую дверь и оказался в соседнем помещении, еще более глубоко погруженном в темноту, чем первое. Туда же вывели не фраерка, а его спутника.

- Ты все видел? – холодно спросил Волк.
- Да, – неуверенно ответил тот.
- Он сам сюда пришел? – рубил воздух Волк, которого из тени не видел его собеседник.
- Сам.
- Вопросы есть?
- Нет.
- Тогда забирай его и уходите.

И они ушли. С ними поступили гуманно. Выпустили. Не убили.

Алекс Вороба, как человек, понимающий значение политической силы, старался вывести свою группировку из тени, придать ей статус не только общественной, но и политической организации и таким путем пройти во власть. К концу девяностых он уже был депутатом городской думы, что не являлось пределом его мечтаний. На городских выборах промышленный район «Тяжмаш» криминального авторитета поддержал. И не только пьяный народ, готовый за ящик

водки, который братва щедро выставяла во дворах старых домов района, продать душу дьяволу, но и народ несчастный, загнанный безденежьем и безработицей в угол и вынужденный обращаться к Алексу, а по паспорту Алексею Алексеевичу, за деньгами, необходимыми, как правило, на лечение близких. Помогал наместник и в судебных процессах адвокатами, что тоже было недешевым удовольствием, в особых случаях перетирал с ментами и решал проблемы своих «тяжмашевских» подданных. Стал не только грабить коммерсантов, но и помогать им в решении общих проблем.

В общем, тяжмашевские жители считали его всамделишной народной властью, а потому и пошли голосовать за него, нередко рассуждая на избирательных участках так: что все одно, везде у власти – бандиты, этот – хоть свой. Алекс, конечно, на Робин Гуда не тянул, но видимость народного заступника создать мог. Однако, чтобы подняться выше, только народной любви было недостаточно. Нужен был козырь. Настоящий – не карточный. И таким козырем могло стать прекращение войны между группировками, превратившей город в Техас. Правда, техасские ковбойцы в американском кино выглядели более романтично, чем черноокая братва Разборска, а о том, что в том же 1997 году в штате Техас действовала вооруженная группировка, против которой проводилась спецоперация полиции, в далеком от Америки Разборске никто не знал. Алекс знал и понимал, что за разоружение бандитов в политике полагается преференция. Областная власть с ним уже считалась, а потому он мог торговаться. Но сначала нужно было договориться с «центральными» и «синими». И вот это-то было сложнее, чем прорваться во власть.

Накануне большой сходки представителей трех группировок, которая должна была состояться в одном из скверов в центре города, Волку нужно было решить важный вопрос со своими. И он успевал.

Соня только что отвела урок, когда ей позвонили. Первый сотовый телефон в ее жизни – не роскошь, а необходи-

мость, особенно, когда у тебя ребенок-первоклассник. Но звонил не ребенок. Ее приглашали поработать официанткой завтра на банкете. Она отказалась:

– Будничный день, середина недели. Нет, я не могу.

В трубке стали просить более настойчиво, объясняя настойчивость тем, что этот банкет готовится для очень достойных людей и обслуживать его должна достойная женщина. Хорошенькая и шустрая, а значит, она. Но увещевания о достоинствах не прельстили Соню, а вот обещание трехкратной оплаты в пору безденежья поколебало ее уверенность.

– Ну ладно, – нехотя согласилась она. – И добавила, – разве я когда подводила?

В ресторане гостиницы, которую она про себя так и называла, Юркиной, затевалось нечто необычное. Распорядитель приказал столы накрывать стильно, но не кичливо, что так любят новые русские. Из спиртного – только коньяк и водка, и не в изобилии, как любят новые русские. И блюд немного, и не изысканные, как любят новые русские, больше основательные, чтобы хорошо поесть, а не покочевряться. Мясо в основном. На удивленные вопросы Сони о предполагаемой публике распорядитель, надувшись, отвечал, что соберутся человек двадцать достойных людей, чтобы решить свои важные вопросы.

– А на своей кухне они их решить не могут? – устало заметила Соня.

– Нет, не могут. А вы, между прочим, Софья Андреевна, не забесплатно спинку свою изящную гнете, за денежку приличную, которую вам и заплатят эти достойные люди.

Соня промолчала и удалилась на кухню к Лейле, где тут же тяжело вздохнула.

– Не печалься, дорогушка, – заметила та, – мяса сегодня вволюшку. Я тебя не обижу.

– Тетя Лейла, когда же это все закончится?! Когда мне – учителю – будут платить нормальную зарплату и просто

будут ее платить? Когда мой муж на заводе будет деньги вовремя получать?

– О, дорогушка, это ты замахнулась! Люди жизнь проживают и просвета не видят, а ты возмечтала.

Достойные люди стали подъезжать ровно в назначенное время. Как только Соня увидела первого в черном костюме и черных очках, то сразу оценила всю степень его достоинства. Правда, он был только частью охранной свиты. Тот, кого они охраняли, был проще. В синем костюме и белой рубашке, с галстуком. И внешне смахивал на депутата государственной думы. Правда, принадлежность к истинному сообществу выдавали кисти рук – в синих наколках с большим перстнем-печаткой на безымянном пальце.

– Еще воров мы не обслуживали, – возмутилась Соня, поднимая очередную поднос.

– Э, дорогушка, а ты покажи мне сегодня не воров, – икнула громко Лейла, – сверху донизу и снизу доверху – сплошные воровы.

Достойные люди – исключительно одни мужчины, все под стать друг другу, не шумели, не просили громкой музыки, как новые русские, много курили и негромко говорили. Соня подносила, уносила, стараясь двигаться бесшумно, не нарываясь на взгляды, но все равно нарывалась, кто-нибудь из достойных совсем не достойно обязательно всю ее прощупывал взглядом, и она, внутренне съежившись, старалась легкой и свободной походкой быстрее удалиться с глаз долой, под крыло необъятной Лейлы. В свободные минутки брала телефон и с тревогой звонила ребенку. Услышав родной голос, несколько успокоенная, снова хваталась за подносы. «Все пройдет, и этот вечер пройдет. И я больше не буду таскать эти подносы. Обещают зарплату платить вовремя», – успевала она подумать, пока изящно двигалась между залом и кухней. В кухне хваталась за поясицу, болезненно морщилась, ноги тяжелели и помимо ее воли становились на неподъемные лыжи, которые вязли в снегу.

Она научилась чувствовать время, в течение которого могла перевести дух, тем более что сегодня ее попросили часто не мелькать, не раздражать достойных людей, не мешать им обсуждать свои дела. Ей, переводя дух, удалось даже прикрыть глаза, когда на кухню вбежал распорядитель: «Соня, бегом! Там еще подъехали. Очень важный человек! Неси приборы! Лейла, блюда!» Соня подскочила, не успев сбросить лыжи с ног, так и металась по кухне, вязнув в снегу. Наконец, полный поднос, что игрушку – легко и красиво, подняла на уровне груди и двинулась в зал. Наметанным взглядом быстро увидела только что усевшегося за стол мужчину, лыжи совсем завязли, сделались неповоротливыми. Она с трудом ими ворочала, в то время как на самом деле летела по залу, словно бабочка, и будто в невесомости расставляла приборы, тарелки с блюдами. Половинки ее спелой груди, словно два матовых персика, уютно уложенные в декольте, соблазнительно мелькали перед взглядом вновь прибывшего гостя. И он видел только эти половинки. Не поднимая выше глаз, не веря своему ощущению, боясь и желая ошибиться, он смотрел только на эти половинки. Соня отпорхнула. Он не обернулся. Не было в этом необходимости. «Она же – царевна! А царевна не может быть официанткой!»



Со стороны кухни она его не видела. И хорошо, что не видела. Боясь и желая ошибиться, она верила, что это не он. Юрки здесь быть не могло. Почему не могло? Он ведь тоже – вор. Не могло! Она не хотела, чтобы это был он. Она уже смирилась с мыслью, что его больше никогда не будет в ее жизни, которая давно шла без него.

Соня не знала, сколько прошло времени с той минуты, когда она отчетливо поняла, что лыж больше на ногах нет, что она бодра и готова бегать в три раза быстрее, только чтобы этот чертов вечер, наконец-то, закончился. Она устала и хотела домой. А воровская сходка все не завершалась.

Часть посуды уже была перемыта и убрана, когда она в очередной раз вышла из-за портъеры в зал и встретилась с ним глазами. Он стоял у окна рядом с двумя собеседниками, но так, чтобы взглядом контролировать портъеру. Как и подобает Волку, он все правильно рассчитал. Сделав шаг из-за портъеры, она не могла не наткнуться на его взгляд. Жесткий, пронзающий до самого сердца... Соня на мгновение взлетела на качелях в синее небо, но тут же была поглощена набежавшей морской волной, с силой трепавшей ее между береговой галькой и морем. Она не умела плавать, а потому панически пыталась схватиться за гальку, за что-то твердое, что бы удержало ее на земле, но волна безжалостно отшвыривала ее обратно в море, а потом, словно играючи, вновь проносила над берегом. Из-за этой борьбы с волной она, видимо, что-то пропустила. Какой-то миг, в который Волк прыжком дикого зверя метнулся от окна, схватил ее и, больно повалив на пол, вместе с ней откатился к стене. В это же мгновение раздались беспорядочные автоматные очереди. Посыпалось разбитое стекло. Ворвавшиеся в зал люди были в масках, они стреляли сначала хаотично, потом четко – по целям. Нагло и бескомпромиссно, как любые бандиты. В ответ по ним тоже повели стрельбу.

Волк вжался в Соню, закрывая ее собой, перекрестный огонь был беспощадным. Люди в масках торопились; уходя, они последними очередями прошивали зал сверху до низу. Соня задыхалась от ужаса, вдруг Юрку толкнули,

один раз, второй. Она почувствовала на себе его обмякшее тело, что-то липкое промочило ей платье, и над ней раздался страшный треск. А потом она полетела в небо. А может быть, бездну... Черную-черную, наполненную оранжевыми шарами – большими, поменьше и совсем маленькими. И эти шары увлекали ее за собой, кружились вокруг нее и неслись, неслись мимо на огромной скорости со страшным свистящим звуком, сквозь который она успела подумать: «Я умираю...»

А потом были похороны. Убитые воры, одетые в торжественные черные костюмы, лежали в дорогих гробах, покрытые темно-бордовыми розами. Живые воры в траурных черных костюмах и темных очках шли за катафалками и сыпали за ними красные розы. Процессия растянулась на всю главную улицу города. Прохожие останавливались и с любопытством смотрели на этот карнавал смерти. Милиция тоже сопровождала его со стороны.

Соню похоронили днем позже. Тихо. Скромно, как хоронили тогда всех учителей.

Елизавета Павловна надела теплый платок и пальто. Она давно не была на кладбище. Все труднее стало ей добираться до конечной остановки на трамвае, а потом еще далеко идти пешком. Но если не она, то кто же навестит ее детей и тех учителей, что подорвали здоровье в девяностые и ушли из жизни раньше времени. Она шла по осеннему кладбищу, дочка председателя, отличник просвещения СССР – постаревшая, больная учительница, ничего не понимающая в этой жизни. А перед глазами вставала родная деревенская околица, откуда провожали на фронт мужиков и куда они больше не вернулись. «Но ведь была война, была война, – шептала Лизонька, – а эти за что перестреляли друг друга в мирное время?» Над могилами бандитов возвышались памятники в рост, а в датах рождения и смерти значились – шестидесятые и девяностые годы. «Ну здравствуй, Волчонок!» – она положила на гранитную плиту несколько

конфет и печенье. Постояла, всматриваясь в Юркино лицо, выгравированное на черном мраморе, будто пытаюсь найти ответ на тот самый вопрос: «За что... в мирное время?» Но так и не найдя, двинулась по дорожке дальше, мимо бандитской аллеи в дальний угол кладбища, где покоились под скромными памятниками учителя.

У Сони она задерживалась дольше, чем у других. Сидела на скамейке, читала ей любимые стихи и бесконечно спрашивала пустоту: «За что?..»

«И ЗВЕЗДА ТЫ МОЯ СУМАСШЕДШАЯ...»

Что испытывает человек, дни которого сочтены и спрессованы онкологией в лучшем случае до двух месяцев? Раньше Павел Алексеевич Соснин об этом не думал, некогда было, да и онкология была не про него. С детства крепкий паренек, коренной поморец и потомственный лесозаготовитель, он и не болел-то никогда. Ну, читал, слышал по телевизору, что у человека перед смертью вся его жизнь перед глазами пролетает. У него не пролетала. Его жизнь была недолгой, что такое для мужчины шестьдесят шесть лет? Как минимум, живи еще десяток в свое удовольствие. Но в свое – он не умел, о народе беспокоился да работал как сумасшедший. С его энергией турбины бы только запускать. И, кажется, совсем недавно это было, а теперь у него не только энергии, сил нет, чтобы встать и дойти до туалета, а у постели никого – ни одного из тех, о ком так болела душа. Теперь болит плоть. Где-то глубоко внутри, в животе горит огнем, требуя холодной воды или лучше мороженого, от которого пожар чуть-чуть отступает. Все силы теперь уходило на борьбу с этим огнем, какой там жизнь осмысливать, дай Бог отделить прошлое от настоящего, галлюцинации от яви. На морфий он еще не перешел, сопротивлялся. Загадал: если не перейду, то выкарабкаюсь, выживу. Вот и держался. Мужик он крепкий был, несмотря на невысокий рост, с юности умел себя защитить, а потом и вовсе заматерел, и в прорубь зимой нырял, и в мороз ушанку не опускал. Да и вообще не любил всякие застежки – пуговицы, молнии, крючки. Предпочитал ходить нараспашку. Хотелось свободы, быстрого движения, торопился жить и работать. Видимо, не зря торопился.

Всю жизнь вспоминать сил не было, вместе с подступающей болью он входил в горящий лес, где было очень жарко и пахло гарью. Он задыхался и чувствовал, что горит вместе с лесом, огонь почему-то перебрасывался сразу на живот, было очень больно, гораздо больнее того зуба, который долго мучил его, а потом он взял плоскогубцы и выдернул его наживую. Теперь он горел вместе с лесом, а его никто не спасал. Просвет появлялся сам собой, в это время ему ставили укол, и на мгновение он выходил из пожара, и эти мгновения становились все короче и короче. Наконец, он согласился на морфий, и даже подумал: «Может быть, врачи ошиблись, и все это закончится раньше». После морфия опять стали появляться просветы. Он уже давно ничего не ел, кроме мороженого, рак желудка обрекал на голодную смерть.

Часто рядом видел плачущую жену. Жалел ее. Лена была женщиной безвольной, не приспособленной к жизни, как останется без него?

– Паша, может быть, ты хочешь чего-нибудь? – в который раз спрашивала она его слабым голосом.

И в очередной раз он только делал слабый отрицательный жест головой.

На самом деле он хотел. Это желание преследовало его все время, когда сознание не было угнетено пожаром, но даже тогда сквозь боль, дым и гарь проступало между горящих деревьев, а то вспыхивало и в самом очаге лицо Нади. Удивительно, что огонь его не искажал, даже в пламени она оставалась невредимой и такой же притягательной и желанной, как много лет назад. «Увидеть бы ее перед смертью, увидеть бы...», – кто-то с тоской и нежностью подумал вместо него, сам он думать уже не мог. Но ведь кто-то другой ничего не знал о них с Надей, почему он думал за него.

Павел Алексеевич попросил пить. Жена склонилась над ним с поильником и, приподняв его голову, приложила поильник к губам. Потом также бережно опустила ее обратно на подушку. Голова уже почти ничего не весила, и сам Паша стал прозрачный, легкий, совсем не похожий на прежнего

коренастого, крепкого Пашу. Несколько раз в забытьи он звал сегодня Надю. Лена ревновала и страдала. И не знала, как ей быть. Найти Надю и позвать, чтобы муж простился с ней, не хватало смелости, как и прежде, ей всегда ее не хватало; ничего не предпринять – значит, не выполнить волю умирающего. То, что это была его воля, Лена не сомневалась.

– Надя, не ходи в лес, там пожар, – еле слышно про-
бормотал Павел Алексеевич и как будто бы позвал, – Надя,
Надя...

Жена заплакала. Даже теперь Надя стояла между ними.

Надя появилась их в северном городе Кременске в конце восьмидесятых. Она только окончила журфак и распределилась в городскую газету «Лесной рабочий». Вакансия была только одна – начальник экономического отдела, на это предложение редактора Надя замахала руками:

– Нет, что вы! Я могу только в отдел писем, я ничего в экономике не понимаю!

– В экономике никто ничего не понимает, – серьезно ответил редактор и подписал приказ, – ты – молодая, вот и учись понимать.

– Я – не коммунист, – схватилась за соломинку Надя, – начальником отдела может быть только член коммунистической партии, – отчеканила она усвоенное в университете.

– Вступишь в члены КПСС, – равнодушно ответил редактор и протянул ей документы, – иди, работай.

Так неожиданно плохо для Надежды Луговой началась редакционная карьера. Вернее, карьера началась с высокого старта, сразу с начальника отдела, но какого: возглавлять экономику в редакции не брались даже взрослые мужики-журналисты. А тут пигалица двадцати двух лет отроду, рост – метр с кепкой, если быть точнее, до ста шестидесяти сантиметров не дотягивает, хрупка, бледна, привлекательна – с такими-то данными возглавлять экономический отдел и курировать все промышленные предприятия в городе, а руководят ими, как известно, серьезные директора.

Оплакав свою судьбу, Надежда решила расставить точки над «и»: с экономикой у нее ничего не получится, а поэтому ее быстро переведут в другой отдел, а пока надо посмотреть, что собой представляют промышленные предприятия. Интересно ведь. В школе и университете она прочно усвоила, что живет в самой большой, благополучной и великой стране. Заводов ей раньше видеть не доводилось, а в Кременске их несколько. Но начать пришлось не с завода, а со строительного треста. Приближался профессиональный праздник строителей, и в газете надо было выпустить разворот, ему посвященный. Прежде чем идти в стройтрест, Надежда начиталась про новые веяния в экономике. «Ага, бригадный подряд. Говорят, и наши строители его внедряют. Вот и спрошу директора о новой форме организации труда», – повеселела Надежда. Встречу директор назначил на десять часов. В приемной она сидела долго. Секретарь объяснила:

– Планерка идет. Как закончится, директор вас пригласит.

Планерка была бесконечной. Из-за глухих дверей доносилась отборная брань. Иногда оттуда вылетали, будто ужаленные, люди, и с такой же скоростью влетали другие. Секретарь хоть и сочувственно, но привычно смотрела им вслед. Часам к двенадцати летание окончилось. Из кабинета вышли уже, кажется, все ужаленные – красные и потные. Тут же вошла секретарша с документами на подпись, а выйдя, обратилась к Надежде:

– Подойдите после обеда, директор сейчас уезжает.

– Как уезжает? – удивилась Надежда. – Он же назначил время, нам же номер надо готовить.

Секретарь на нее тоже посмотрела сочувственно и пожала плечами.

Надя никуда не пошла. Директор судя по всему не уехал. Из кабинета не выходил. Ближе к часу, то есть к началу обеденного перерыва, вышел в приемную и наткнулся взглядом на Надю и, будто увидев неведомую зверюшку, бесцеремонно спросил:

– Ты кто?

– Журналистка, из редакции, Надежда Луговая, – представилась она.

– А-а-а..., – разочарованно протянул директор и направился обратно в свой кабинет, не приглашая ее за собой.

Надя рванулась за ним. И просочилась в закрываемую перед ней дверь.

– А ты шустрая, – заметил директор.

– Мне разворот надо готовить, – серьезно сказала Надежда, – в воскресенье ваш профессиональный праздник. Предлагаю тему гвоздевого номера – внедрение бригадного подряда. Это – злободневно и...

Она не закончила фразу, как директор подскочил в кресле как ужаленный:

– И ты туда же! Какой бригадный подряд! Развалили всю отрасль, а теперь подряд, да пошла ты, – и он, ничуть не смущаясь, назвал точный, хоть и знакомый, но все же неприличный адрес, куда Надежда должна была пойти.

Она поднялась и дерзко ответила ему:

– Значит, ваши рабочие не получают праздничной газеты, – хлопнула дверью и вышла.

Она слышала, что директор заорал, требуя, чтобы она вернулась обратно. В приемной подпрыгнула на стуле секретарша:

– Вернитесь! – он просто вспыльчивый человек.

– Вот пусть себе и пылит, – ответила Надя и вышла из приемной.

На улице она выдохнула. Как любой маленькой девочке, ей хотелось заплакать, а как начальник отдела она подумала: «Что же теперь делать с разворотом? Зарисовки о рабочих есть, фотографии есть, какие-то письма с благодарностями строителям в папке лежат. Ну а директора, значит, не будет. Надо таких хамов учить».

Не успела она появиться на пороге редакции, как ее пригласил шеф – так все называли редактора, Игоря Витальевича, человека не старого, но какого-то уставшего от профессии, будто он давно уже постиг истину и теперь его ничего не интересовало.



– Надежда, ты что за демарш устроила в стройуправлении?

– Уже доложили?

– Между прочим, директор – заслуженный строитель СССР, коммунист с большим стажем, в директора поднялся из рабочих, награды имеет, – уныло перечисляя заслуги директора стройуправления, выполнял свою работу редактор.

– И поэтому ему можно унижать людей? – спокойно спросила Луговая.

Редактор оторвал глаза от читаемого им текста, пристально посмотрел на Надежду, попытался продолжить перечислять аргументы, но у него получалось это как-то вяло, без энтузиазма:

– У него большой груз ответственности, большой коллектив, отрасль не в лучшем состоянии.

– И это дает право унижать людей? – настойчиво переформатировала вопрос журналистка.

Редактор встал и внятно произнес:

– Сейчас из управления привезут доклад, написанный директором к торжественному собранию, ты сделаешь из него праздничное интервью.

– Но это не интервью! – возмутилась Надежда.

– А ты сделай интервью, учили же тебя этому в университете.

– В университете меня не учили врать, – с вызовом ответила Надежда и вышла из кабинета редактора.

Как оказалось, ее вообще учили плохо, научив все в жизни принимать за чистую монету. А в работе она встретилась со сплошным лицемерием. Каждый день в редакции – очередной урок. Подводя итоги за первые полгода, Надежда с горечью думала: «Сколько раз была бита! Сколько испытала разочарований! Самое страшное состоит в том, что никому нельзя доверять. И даже тем, кому хочется верить. Все вокруг играют. Обманывают друг друга, обещают и не выполняют обещанного, изворачиваются, льстят. Такое впечатление, что каждый расплачивается за ошибки, но не свои, а совершенные кем-то до него. И журналистика – это не профессия, это – роль, каждый день – разная».

Перестали удивлять «интервью», подготовленные по торжественным докладам или годовым отчетам. И вроде каждый руководитель сам по себе неплохой человек, но встроенный в общую систему, объединенную единой линией коммунистической партии, он тут же терял все человеческие признаки и оставался только функционером. Ну возьмите главного врача больницы, в общем милая тетка, и с Надеждой накануне Дня медика говорила толково и переживательно, со вздохами и охами, как любая женщина, обремененная заботами, а после того, как наговорились и у Надежды сформировалась в голове корреспонденция на злобу дня, тетка уже стала не теткой, а системным работником с высокой прической и подкрашенными губами.

– Вот, я вам тут все приготовила, – протянула она журналистке чисто отпечатанные странички: «Это интервью для праздничного номера. Как и полагается, то, что вы у меня спрашиваете, подчеркнуто, ниже – я вам отвечаю». Никакой злобы дня, разумеется, в этих вопросах и ответах не было.

Но все же иногда Надежде удавалось прорваться сквозь торжество мундиров. И тогда она писала легко, хлестко, выдавая такую злобу дня, что «Леснушку» передавали из рук

в руки, даже на автобусных остановках и удивлялись: «Во, девка, дает!» Имя Надежды Луговой вскоре стало известно в городе как символ свежего порыва ветра, случайно заблудившегося в их лесном краю. «Надолго ли?» – с сомнением перешептывались жители Кременска, будто сами становясь выше в этот момент.

А Надя высокой не была. А потому нередко вокруг нее случались курьезы. Пришла как-то на машиностроительный завод писать зарисовку о токаре-орденоносце и, столкнувшись в цехе с этим самым токарем, фигурой схожим с Кинг-Конгом из известного американского фильма, чуть не была вдавлена им в бетонный пол.

– Ты кто, девчонка, тут по цеху бегаешь? – оглядев желтое платье в черный горошек, с рюшами и рукавами-фонариками, грозно спросил он ее.

Надя уже научилась отвечать на такие вопросы.

– Я – журналистка, начальник экономического отдела редакции.

– А под носом у тебя сухо, журналистка? – не поверил Кинг-Конг.

Надя обиделась:

– Я – Надежда Луговая, – с напором заявила она.

– Во дает! – усмехнулся передовик Кинг-Конг. – Да ты знаешь, какая Луговая из себя? Она – смелая и такая, такая, – не найдя подходящего слова, он сжал над Надеей кулаки, чтобы показать всю мощь Луговой.

– Мамочки, – непроизвольно присела Надя.

И тут, на ее счастье, к ним подбежал секретарь парткома завода:

– Извините, Надежда Николаевна, опоздал.

В другой раз в редакцию пришла староста одного двора и стала требовать Луговую, чтобы та пошла к ней во двор и собственными глазами увидела, какое безобразие там натворили коммунальщики. Надежда согласилась идти, но староста тут же подняла шум, дескать, ей надо саму Луговую, которая все честно напишет, а не эту выпускницу детского сада, которую ей подсовывают в редакции. Ника-

кие уверения в том, что это и есть сама Луговая, на нее не подействовали. На шум пришел редактор. Но и он не мог убедить старосту.

– Да что вы мне говорите? Луговая пишет для народа, она все знает о простых людях, а это кто передо мной?

Надя не выдержала, покопалась в столе, нашла паспорт и протянула старосте:

– Смотрите!

– Не может быть! Не может быть! Дочка, ты меня извини, мы ведь думали, народ ведь говорит, что ты наша заступница.

Редакция сотрясалась от хохота журналистов, присутствующих при этой сцене.

– Пойдите уже, – улыбнулась Надежда старосте.

Слово «народ» было для нее священо. Народ притеснять нельзя. Она за народ. По другую сторону баррикады она определила для себя городскую власть: горком партии и исполком, руководителей предприятий и парторгов. И объявила им войну, борясь за честность во всех возможных ее проявлениях. И это на исходе восьмидесятих годов двадцатого века, накануне девяностых.

Павла Алексеевича Соснина, директора лесопромышленного комбината – градообразующего предприятия Кременска, Надежда узнала в первый год работы в редакции. На семинар по бригадному подряду ее пригласил парторг. С директором она тогда еще была не знакома, но заочно, как и ко всем другим, относилась к нему предвзято: и этот сейчас будет подсовывать ей готовое интервью, а сам эксплуатирует народ на своем предприятии. А потом прислушалась. Заинтересовалась. Соснин отличался от всех других, с кем ей уже пришлось познакомиться. Он говорил без бумажки. И говорил о том, что, видимо, знал хорошо – эмоционально, но четко и ясно. Идею раскладывал на содержательные блоки, делал экономический анализ и предлагал конкретные решения. После этого семинара Надежда долго не видела Соснина, но хорошо его запомнила.

А потом ей пришлось готовить очередной разворот к профессиональному празднику. И брать у Соснина интервью. И это было первое настоящее, интересное интервью с руководителем в ее короткой журналисткой биографии. О встрече с Сосниным, которая должна была состояться в пятнадцать часов следующего дня, опять договорился парторг. И в кабинет директора Надежда вошла, когда били куранты.

Соснин поднялся из-за стола, улыбнулся:

– Здравствуйте, Павел Алексеевич! Я – журналистка Надежда Луговая.

– Наслышан о вас, наслышан, – закурил с ее разрешения, – точность – вежливость королей. Могу уделить вам полтора часа. Устроит?

Полтора часа – это просто шикарно. Надежда обрадовалась. И опять, как в первый раз, он говорил с ней четко и ясно. На школьной доске, висевшей в его кабинете, мелом чертил схемы и тут же делал экономические расчеты, все цифры показателей по комбинату он держал в голове, не заглядывая ни в какие бумаги. И вдруг Надежда поймала себя на мысли, что и для ее гуманитарного склада мышления экономика может быть понятной и увлекательной.

Потом она не раз обращалась к Соснину по разным экономическим вопросам. Он объяснял ей и помогал. Павел Алексеевич слыл несистемным руководителем, по любому вопросу имел собственное мнение, без оглядки на горком и исполком самостоятельно принимал решения, умел рисковать, идти ва-банк и был до неприличия честным человеком. Городской комитет партии, а в общепринятом звучании горком, его не любил, боялся, с трудом терпел на своих заседаниях, иногда грозил партийными взысканиями, но время было уже не то, сверху объявили перестройку, поговаривали о гласности и демократии. Пока шумели в Москве, но и до их лесной глуши могла беда докатиться. Взять эту Луговую: молодая, а ничего не боится, пишет обо всем напролом. И ведь после каждого газетного материала вызывали ее в горком и исполком: стращали, уговарива-

ли, пытались задарить. Второй секретарь, умеющий найти подход к людям, смотрел на Надежду, как кот на сметану, квартиру обещал, машину, безбедное существование и личное свое покровительство, только бы она партийную верхушку не трогала, угомонилась и писала там про всякие цветочки-василечки.

– Я в ботанике не сильна, – ответила ему насчет цветочков Надежда и невольно одернула черный жилет строгого костюма, который специально купила для походов в горном. «Уже скоро глазами под юбку залезет», – с отвращением глядя на второго, подумала она.

И была права. В голове второго мысли бродили вполне определенные. Да разве церемонился он сейчас бы с журналисткой, если бы не это непонятное время за окном? Давно бы уже баловал себя с ней в своем загородном доме, как аппетитна чертовка, а если бы упрямилась, как сейчас, не задумываясь, упрятал бы в психушку. Да что-то все гласностью пугают и даже роспуском КПСС. До этого, конечно, не дойдет, но все же лучше выждать, не рисковать.

– Так я пойду? – смело посмотрев на него, спросила Луговая.

– Так, значит, мы не договорились? – постукал второй карандашом по столу.

– Значит, нет, – подтвердила Надежда и поднялась.

Атмосфера в стране и обществе менялась. И до их лесной глухомани долетел ветер перемен, о котором пела в известном фильме Мэри Поппинс. Ожил, казалось, уже постаревший редактор, требовал творческой инициативы, новых рубрик в газете, актуальных корреспонденций о ходе перестройки и внедрении хозрасчета.

Иногда спрашивал больше для порядка:

– Луговая, ты когда будешь в партию вступать?

– Я недостойна высокого звания коммуниста, – тут же отвечала отточенную фразу Надежда.

– Все еще недостойна? – как будто бы удивлялся редактор.

– И чем дальше, тем больше, – обреченно подтвержда-
ла Надежда.

– Тогда она недостойна и возглавлять отдел, – тут же
вступала в разговор рьяная коммунистка Октябрина Вла-
димировна, сотрудник партийного отдела.

На что у редактора всегда было железное алиби:

– А кто его будет возглавлять и заниматься современ-
ной экономкой, вы что ли? Вы только про Ленина можете
хорошо писать.

– Да, и горжусь этим, – тут же поднимала надменно го-
лову Октябрина. – История у нас одна, перестройки и хоз-
расчеты закончатся, это – явление временное, а Ленин –
навсегда.

– Кстати, приближается коммунистический субботник,
пора начинать кампанию. Луговая, за тобой лесопромыш-
ленный комбинат, машиностроительный завод и дальше
по списку промышленные предприятия.

– А нельзя меня освободить от этого счастья? – осмеле-
ла Надежда.

За что Октябрина просверлила ее ненавистным взгля-
дом.

– Нет, нельзя. Субботник – это святое, как и Ленин, –
поставил точку редактор.

– И такая чепухень – целый день, – протянула Надежда
и отправилась в свой кабинет.

Две эпохи столкнулись в историческом пространстве,
и ни одна по доброй воле не уступала место другой.

В лесопромышленном комбинате Ленинский субботник
начинался в марте. График составляли так, чтобы весь боль-
шой коллектив успел к двадцать второму апреля отработать
бесплатные смены.

Поэтому, услышав в телефонной трубке голос парторга
лесопромышленного комбината, Надежда ничуть не уди-
вилась:

– Есть первый передовик! Водитель лесовоза Иван Глу-
хоманин к девятнадцатому апреля выполнил норму суб-

ботника, – рапортовал парторг. – Надежда Николаевна, могу прислать для интервью в редакцию.

– Присылайте, – вздохнула Надежда, а положив трубку, буркнула, – ну и фамилия у передовика.

Человеком он оказался шустрым и через несколько минут приехал в редакцию. Однако, увидев его в своем кабинете, Луговая невольно содрогнулась: внешность у Глухоманина тоже была далеко не передовая. Передние зубы отсутствовали, маленькие, глубоко посаженные глазки бегали хитро и скрытно, но самое неприятное впечатление производили руки, которые он положил на стол журнальщики. И за время беседы ее взгляд невольно падал на тяжелые кулаки с безобразными пальцами, разрисованными татуировками.

Передовик-лесовозник не скромничал, расточая похвалу в свой адрес, зато товарищей по экипажу выставлял в самом неприглядном свете. Потом дошел до личности директора. Надежда насторожилась, стараясь ничего не пропустить. Теперь ее интересовал не передовик, а человек, к которому она прониклась доверием и уважением. И ей нужно было понять, кто он есть на самом деле. Она была еще слишком молодой и со свойственным молодости максимализмом, не признавая полутонов, делила мир на белое и черное, а людей – только на плохих и хороших. И если человек вызвал симпатии у нее, то он должен был вызывать такие же симпатии исключительно у всех. Но передовик не желал считаться с ее отношением к директору комбината.

– Соснина необходимо уволить, – ставил он ей условие. – Дороги в поселках и делянках находятся в ужасном состоянии, мостики через реки не строятся, а главное – сколько остается брошенного леса? И это называется экономикой? Поедьте со мной в лес, я вам покажу. – Он схватил Надежду за руку, – поедемте, хоть сейчас, хоть вечером, хоть завтра.

Надежда с внутренней дрожью вырвала руку.

– Никуда я с вами не поеду.

Он настаивал, она отказывалась. Наконец, удалось распрощаться с навязчивым передовиком. И как только он покинул ее кабинет, она тут же набрала номер Соснина:

– Павел Алексеевич, мне необходимо с вами срочно встретиться.

– Что случилось, Надежда Николаевна? – он чувствовал тревогу в ее голосе.

– Мне необходимо с вами срочно встретиться, – настойчиво повторила она.

– Приходите к шестнадцати часам.

Надежда положила трубку. Было наивно предполагать, что малознакомый ей человек, директор крупного комбината, начнет каяться перед ней в своих грехах. Но ей хотелось увидеть его реакцию. И понять этого человека. Понять не для газеты, для себя.

Она вошла в его кабинет, ужасно волнуясь, но на лицо надела маску серьезности и отчужденности. Он тут же ее разгадал, но лицо его не дрогнуло, только взгляд прищуренных глаз мгновенно стал цепким и пронзительным. Соснин спокойно закурил и слишком спокойно сказал:

– Я слушаю вас, Надежда Николаевна.

И она, горячась и не сдерживаясь, предъявила ему и мостики, и дороги, и брошенный лес. Он ее не перебивал, а когда она закончила, спокойно сказал:

– Я не буду убеждать вас в том, что я – хороший директор, а то, что вам рассказали, – неправда. Завтра утром я приглашу сюда специалистов, приглашу и того человека, который вам все это рассказал. Я знаю, кто он. Приходите и вы, и мы открыто обо всем поговорим. Договорились? – он встал напротив Надежды и посмотрел ей в глаза. Она выдержала его взгляд, и отныне знала, что будет всегда и во всем ему верить. Не верить ему было нельзя. – А в лес вы с ним не ездите, – продолжил Соснин, – он отбыл срок за то, что сбил человека в лесу и оставил его там умирать. Если вам необходимо посмотреть брошенные, по его мнению, штабеля, поезжайте в делянку с нашим мастером. Этот лес не брошен, он будет вывезен.

На следующее утро, как директор и обещал, в его кабинете собрались специалисты. Глухоманин лисил вокруг своими отвратительными глазками и извивался, как уж, под градом фактов и доказательств.

Так Надежда первый раз в своей журналистской работе столкнулась с намеренной клеветой. Пройдет еще немного времени, и она, как говорится, на собственной шкуре испытает всю омерзительную силу навета и поймет, что нередко наговор является самым действенным средством борьбы негодяев против порядочных людей. И, конечно, она не могла предполагать, что их первая встреча с Глухоманиным станет не последней. Он ее запомнит и будет мстить.

И уж точно не могла тогда разглядеть, что в передовике Глухоманине к ней явился образ беспардонного, циничного и алчного персонажа наступающей эпохи.

Как-то Надежду Луговую пригласили в милицию. Она не удивилась. Приятный мужской баритон назвал ей номер кабинета, где ее будут ждать. На вопрос «Кто?» обладатель баритона ответил, что лично он. Тему предстоящего разговора опустил: «Узнаете на месте». Надежда перебрала в голове все свои последние публикации, за что можно было бы прицепиться, поняла, что хоть за что, и в назначенный день достала из гардероба черный костюм.

Баритон оказался молодым человеком лет тридцати. Объяснил, что недавно еще работал первым секретарем комсомола в соседнем городе. Теперь вот здесь. Надежда слушала, молчала. Баритон выдавал информацию порциями. И как будто бы настроен был доброжелательно.

– Вы тоже не так давно живете в Кременске, окончили факультет журналистики, идеологический факультет, где вас научили поддерживать государственный строй.

– Строй в меньшей степени, в основном линию коммунистической партии, – иронично заметила Надежда, будто кто-то тянул ее за язык именно в этом кабинете.

Баритон помолчал. Кстати, надо сказать, что он сразу же представился ей Юрием Васильевичем.

– Я заметил по вашим публикациям, что вы не лишены сарказма. И что входи в самые разные слои населения города.

– Я людей на касты не делю.

– Это я тоже заметил, – Юрий Васильевич постучал по столу карандашом, – со школьных лет не делите, одинаково дружили и с двоечником Скуловым, и с отличником Черемуховым, с которым сидели за одной партой в десятом классе.

Надежда почувствовала, как у нее обожгло ступни ног. Таких подробностей о ее жизни в Кременске не знал никто, даже ее собственный муж. Мысли крутились в голове быстро. Юрий Васильевич дал ей время, уверенный в том, что она все поймет сама. Поймет, кто перед ней и что от нее требуется.

– А в университете дружили с Мариной Савеловой, – поставил он точку.

И Надежда мысленно продолжила: «А Марину вербовал КГБ, и подруга, будучи не в силах справиться с этим гнетом, как-то выведя ее на улицу, где не могло быть встроено в розетки жучков и подслушек, сообщила ей о страшной тайне, которую выдавать нельзя. Никому! Никогда! И как это ужасно, когда тебя постоянно контролируют и давят на тебя, давят».

Она встретила взглядом с баритоном.

– Что вы от меня хотите?

– Чтобы вы делились со мной информацией. Вы часто бываете на предприятиях, участвуете в политической жизни, слышите, что говорят люди. Вам все доверяют.

– И поэтому я должна стать стукачкой, да?

– Вы должны понимать, что государство нуждается в вашей помощи, сейчас не время препираться. – Баритон еще раз постучал карандашом по столу. Не нервно, просто выжидая время, когда и без его убеждений до Луговой все дойдет. А дойти должно. Не зря ведь он столько времени посвятил сбору и изучению ее досье.

– А если я откажусь?

– Мне не хочется вас пугать, не хочется на вас давить. Вы этого не любите. Я предлагаю в следующий раз встретиться через неделю в гостинице, рядом с редакцией. Я сообщу вам, в каком номере, и просто сверим часы, поговорим о том, что произошло за прошедшую неделю. Как вы понимаете, об этой и последующей встрече никто не должен знать. Никто! Ни один человек!

Надежда шла по городу и думала. Оценивала шансы на то, как можно выпутаться из этой скверной истории. И понимала, что шансов нет. Она откуда-то знала, что журналистов вербуют часто. И этот первый разговор – только начало, в нее вцепятся, не отпустят, капкан откроется и захлопнется в нужную минуту. У нее ребенок. Начнут шантажировать. Значит, выход один – на встречи ходить. А уж что я буду говорить этому Васильевичу – мое дело. Ступни противно жгло. Она чувствовала гулкое одиночество.

А потом, где-то с июля восемьдесят девятого, ознаменованного эрой заходящего социализма, началась эпопея с домом лесопромышленного комбината. Жилья в те годы строилось мало – каждому дому, заложенному стройуправлением, радовались всем городом. Потом ждали, когда его построят. Те, кто стоял десятилетиями в очереди на квартиру, ходили смотреть, как поднимается коробка дома, как потом в оконные проемы вставляли деревянные рамы, как стелили такие же деревянные полы. Сердце радовалось каждому новому шагу в строительстве, а когда на площадке случалось затишье, все с горечью отмечали, что опять нет денег. И хотя дом комбината строился на средства самого предприятия, по закону десять процентов жилья полагалось передать исполкому для инвалидов Великой Отечественной войны и семей погибших, у которых была своя очередь. Правда, по нелепой случайности, и, как правило, в большинстве своем эти квартиры занимали работники исполкома и горкома партии.

В советском государстве новые дома чаще всего сдавали к концу года. В подарок гражданам, чтобы они новый

год отмечали вместе с новосельем. От подарка этого всем было хорошо: новоселам торжественно вручали ключи от квартиры, строителям – приличную премию, журналистам – повод для красивого репортажа в новогодний номер. А Соснин уперся и нарушил устоявшийся порядок. Отказался подписывать акт в конце декабря, потому что выявил множество строительных недоделок. Что тут в городе началось!

Двадцать девятого декабря редактор вызвал к себе Луговую.

– Надежда, едешь в комбинат и ведешь прямой репортаж для газеты, докладываешь все события, – приказал он ей.

Надежда и сама собиралась. Между прочим, напомнила редактору:

– Соснину сегодня сорок лет.

– Передай поздравление. Не знаю, чем он отделается в этот раз, из партии исключат или все-таки посадят.

– За что? – с тревогой обернулась Надежда от двери.

– Таких сажают ни за что. Иди, машина ждет. На улице мороз под тридцать.

Соснин был очень уставший: целый день его бомбили телефонными звонками из строительного главка, министерства лесной промышленности, горкома и обкома. Когда Надежда вошла в его кабинет, в нем стоял густой табачный дым: сколько людей здесь сегодня перебивало – посланников от тех же ведомств, сколько стаканов чая выпито, сколько крепких слов сказано.

Надежда задыхнулась от повисшего в воздухе табака.

Соснин поднялся из-за стола, открыл форточку и взял у нее пальто.

– С днем рождения, Павел Алексеевич!

– Извини, сегодня здесь не до праздника. Замерзла? Чай будешь? – Надя не помнила, когда он перешел с ней на «ты», но не обиделась ни тогда, ни потом. Семнадцать лет разницы между ними вполне определяли обращения «вы» и «ты».

Он налил ей из термоса в стакан чаю и поставил перед ней на стол подстаканник.

– Редактор ждет материал, – обхватила Надя стакан обеими руками. – Я напишу завтра. Вы бы шли домой. Все-таки день рождения, юбилей.

Он внимательно посмотрел на нее воспаленными глазами.

– Если напишешь в мою защиту, – опять будут у тебя неприятности, опять вызовут в горком, исполком.

– А вы думаете, что я могу поступить иначе? – Надя отхлебнула чай. – К тому же, думаю, что лучше дежурить в доме завтра и послезавтра, могут быть провокации. Я готова.

И она дежурила, и он держал оборону еще два дня уходящего года. А с началом нового в подвале газеты появилась корреспонденция под заголовком-метафорой «В карете прошлого...». В прошлое Надежда отправила строителей и городскую власть, а в настоящем и будущем отвела место Соснину. И этим всех довела до ручки.

Утром следующего дня она достала из гардероба черный строгий костюм для похода в горком; в том, что он неизбежен, она не сомневалась. В большом кабинете первого секретаря горкома партии сидели второй секретарь, руководитель стройуправления, председатель исполкома. Знакомые до боли лица. Как бы потом она ни пересказывала их негодование, это все было слабое подобие происходящего. Больше других свирепствовали начальник стройуправления и второй секретарь. Первый секретарь был мягкотелый, председатель исполкома не обладал качествами дипломата. Говорят, что лучше всего у него получалось играть на баяне, но Надежде слышать не довелось. Кульминацией разноса стало предложение строителя:

– Предлагаю выселить ее в двадцать четыре часа из города! А Соснина исключить из партии!

От такой лихости даже секретари втянули головы в плечи. Одно дело говорить, другое – действовать.

– Права не имеете, – парировала Надежда.

– Вот! Она все права знает! – заорал строитель. – А мы перед ней бесправные! Давно надо было ее в психушку упечь, – сказал и осекся.

– А вы попробуйте! – поднялась она со стула и добавила, – ни в двадцать четыре часа, ни в двадцать четыре месяца я не уеду.

Взглядом до двери ее провожал только председатель исполкома. Каким-то болезненным взглядом.

Соснина из партии не исключили, обошлись строгим выговором. Он не уступал до марта, вынудив строителей устранить большую часть недостатков. А потом администрация стройтреста зашла в тыл и стала склонять будущих жильцов – работников комбината – к тому, чтобы они выступили против директора, сломили его и заставили принять дом. И люди, уставшие от ожидания, согласились.

Надежда с Сосниным шли по вечернему городу. Павел Алексеевич был подавлен и расстроен.

– Скажи, как можно дальше работать с этими людьми, как верить?

Надежда бодрым голосом убеждала его в том, во что не верила сама.

– Не требуйте от обыкновенных советских людей того же, что и от себя. Им нужны квартиры, а не ваши принципы. Вы должны их понять и простить. Они – измотанные, уставшие люди, которые хотят жить в своей квартире, а что касается недоделок, то из них состоит вся наша жизнь. Мы к ним привыкли.

Сказав это, Надежда вдруг открыла истину и для себя, что было тождественно тому, что она расставалась со своим максимализмом, нехотя, медленно, еще не навсегда, но понимание определенных аксиом меняло созданную ранее ею самой картину мира. «Нельзя свои принципы, как одежду, примерять к другим, какими бы правильными ни были мои истины, никто другой не обязан им следовать». Вслух она этого не сказала. Но Соснин произнес:

– Наверное, ты права...

Прав был он. Но его правда никому не была нужна.

Телефон в кабинете Луговой не умолкал целыми днями. И если Надежда была на рабочем месте, а не на предприятии, то писать все равно не получалось. Постоянно прерывая стук пишущей машинки, поднимала трубку, записывала очередную жалобу или информацию, заочно знакомилась с будущим героем новой зарисовки или прямо по телефону проводила блиц-интервью. И такая карусель – целый день. В то утро материал не клеился, поэтому на очередной звонок она отвечала, плохо скрывая раздражение.

– Слушаю вас.

– Надежда Николаевна, – услышала знакомый голос. – Можно вас украсть из редакции и увезти в лес?

Она уже давно поняла, что голос Соснина вызывал в ней волнение, а каждая встреча с ним – радовала.

– А обратно вернете? – улыбнулась она.

– Это уж как получится, – засмеялся он.

Лесопромышленный комбинат имел большое и разбросанное хозяйство. Вахты лесозаготовителей находились далеко – в тайге и горах. С трудом преодолевая очередной крутой подъем, они ползли на узике по снежным перевалам. Водитель, часто навещая вахты, хорошо знал дорогу, а Надежда, глядя в лобовое окно, вообще не понимала, как можно здесь ориентироваться среди сплошных елей, накрытых тяжелым снегом. Соснин всю дорогу шутил, рассказывал приличные для женского уха анекдоты, вспоминал детство, когда отец-лесозаготовитель не раз снимал с себя ремень, чтобы пройтись по упругому заду сына-сорванца.

Они поднялись уже так высоко в горы, что, как в самолете, стало закладывать уши. Остановились. Надежда вышла из машины. И задохнулась от раскаленного, настоящего на морозе воздуха. Вокруг было, как в сказках, показанных по черно-белому телевизору в ее детстве. Из-под ослепительно белого снега слегка показывались темные кончики еловых лап. И кроме этих черных штрихов на белом – во-

круг не было другого цвета. Небо тоже было белым, и вся вокруг вселенная – холодно-белая.

– Ну, как вам, Надежда Николаевна? – спросил, счастливо улыбаясь, Соснин, вышедший первым из машины, чтобы размяться. Он был в унтах, в толстом свитере с высоким воротником, укрывающем горло, в полушубке нараспашку и сдвинутой набок ондатровой шапке.

– Я такого не видела никогда, – восторженно произнесла Надя, выросшая на равнинной местности.

– Пойдем! – Соснин взял ее за руку. – Что-то покажу.

Привыкнув к окружающей белизне, журналистка стала различать тени и следы на дороге. След от грейдера сворачивал вправо от нее. Туда же за собой и повел ее директор. Они вышли на расчищенную лесную дорогу. По обе стороны от нее сплошной стеной стояла рябина. Ягод было так много, что деревья, припорошенные снегом, склонялись под их тяжестью. Не пуганные здесь никем снегири, сами похожие на ягоды рябины, крупными комочками облепили гроздья. Очарованная увиденным, Надя остановилась и немо стояла, словно заколдованная.

Соснин сорвал крупную, тяжелую гроздь рябины, подошел к ней и протянул ягоды. Они не отводили глаз друг от друга.

– Надя..., – он мог бы ничего больше не говорить.

Чтобы скрыть волнение, она взяла в рот пару алых ягод, горько-сладкий вкус мороженой рябины растекся по всему телу и тонкой красной струйкой проявился у губ и подбородка. Он наклонился к этой струйке, прижался к ней губами, притянул Надежду к себе и запахнул полами полушубка. Она, как птичка, с бьющимся сердцем прижалась к крепкой мужской груди и затихла. Сколько времени они так стояли? Минуту, две, десять?.. Надежда первой оторвалась от его мягкого свитера, подняла на него глаза и впервые увидела Соснина вовсе не Сосниным, а каким-то легким, растекшимся человеком. И, спасая себя и его, спросила:

– А где лесозаготовители?

Он снова прижал ее к себе и, собираясь снова в Соснина, где-то у самого уха произнес:

– Трусиха. Моя маленькая трусиха.

Конечно, трусиха. Сердце чуть не вылетело и не повисло среди гроздьев рябины и снегирей. Не успев прорваться наружу, оно колотилось в висках и ушах. Надя раздумянулась, глаза ее блстели. Соснин не мог оторвать от нее глаз и губ. Она, оглушенная обрушившимся на нее чувством взрослого мужчины, то, поддаваясь его силе, приникала к нему всем телом, то, спохватившись, что этого делать нельзя, пыталась высвободиться, но делала это ненастойчиво, и он снова привлекал ее к себе. Не умея справиться с собой и с ним в этой чувственной борьбе, Надя каким-то севшим голосом, не похожим на ее собственный опять спросила:

– Ну, где же лесозаготовители?

– Зачем они тебе? – засмеялся Соснин, наконец, выпустив ее из своих объятий и любуясь ее смущением со стороны.

– А ягоды-то горько-сладкие, – вдруг серьезно произнесла Надежда, будто тем самым угадав их с ним будущее.

Соснин прищурил глаза, помолчал. Сорвал рябиновую гроздь, отщипнул губами пару ягод, раздавил их во рту, чтобы тоже почувствовать и разделить с Надеждой горько-сладкую терпкость вкуса. Взял ее за руку, и они медленно пошли к машине.

Водитель в ожидании их пил чай из термоса и аппетитно жевал ломоть хлеба с копченым салом. Вкусный дух стоял в машине.

– А что, может быть, и мы по маленькой, Надежда Николаевна, – предложил Соснин, налил ей в кружку чая и протянул кусок хлеба с салом. Она не отказалась, хотя есть совсем не хотелось. Отпила несколько глотков и, не почувствовав их согревающего действия, лениво жевала хлеб, мечтая только об одном – чтобы сердце успокоилось и вернулось на место, а водитель ни о чем не догадался.

Когда горячий чай был допит, уазик вздрогнул от повернувшегося ключа зажигания, чихнул и, недовольно за-

кряхтев, снова полез по заснеженной дороге. «Как же так? У него – жена, у меня – муж. У меня – ребенок, у него – два. А мы целуемся. Значит, изменяем и обманываем. Так нельзя. Это неправильно. Это – аморально», – обличала себя Надежда, и не могла избавиться от горько-сладкого вкуса и необъяснимого с точки зрения ее собственной морали влечения к Соснину.

В борьбе с собственными ощущениями она не заметила, что они приехали, уазик заурчал и остановился. Она подняла глаза на Соснина, он курил и, кажется, понимал ее внутреннее несогласие с собой, ободряюще подмигнул и нарочито бодро произнес:

– Приехали, Надежда Николаевна! Доставайте ручку и блокнот.

Они вышли и пошли в лес, откуда слышались звуки пил и топоров, доносился запах дыма. На их глазах огромная ель, от роду которой лет восемьдесят, подминая под себя рядом стоящие деревья, роняя хвою, ломая ветки и издавая какой-то болезненный стон, стала валиться в противоположную от них сторону. Крепкий вальщик, в рабочей ватной куртке и валенках, довольный своей ювелирной работой, радостно сматерился, но, обернувшись, увидел явно непрошенных гостей, опустил пилу на снег и пошел навстречу прибывшим. Пожал руку директору:

– Приветствую, Павел Алексеевич! По такому морозу не страшно в горы ползти? – по-пролетарски, смачно сплюнул в сторону. От него пахло свежей хвоей и опилками, гарью и бензином, которым заправляли пилы. Недоуменно посмотрел на Надежду.

– Кто это с вами?

– Знакомься, бригадир. Это журналистка. Надежда Луговая. Слышал о такой?

– А кто о ней не слышал, – ответил бригадир, – только я думал она покрупнее будет, ну в теле деваха, – ничуть не смущаясь, будто рассматривая лошадь на базаре, продолжал скалиться вальщик.

– Вот напишет про тебя, как ты не хочешь механизацию внедрять, тогда почувствуешь ее силу, – закурил Соснин сам и дал прикурить бригадиру.

– Опять ты за свое, Павел Алексеевич, – на равных заговорил с директором бригадир. – На хрена мне твоя механизация, мы и так в передовиках по всему комбинату. Пошли в вагончик, чаем напою.

Они пошли к вагончику. Надежда понимала, что сейчас завяжется тяжелый мужской разговор, но ей все равно придется слушать, иначе корреспонденцию не написать. Пока они выбирались из делянки, она увидела, как по пояс в снегу к поваленной ели откуда-то со стороны пробиралась женщина в ватнике, в валенках, в теплой шали. Она держала в руках топор. Добравшись до ели, устроившись поудобнее в снегу, стала обрубать сучья. Они звенели на морозе и не сразу поддавались рубщице. В Надежде все запротестовало. Двадцатый век на исходе, а тут женщины в мороз в тайге топором машут. И ведь это не ГУЛАГ.

Труд лесозаготовителей был тяжел во все времена. И потому Соснин пытался перевести лесозаготовительные бригады на механизированный способ заготовки. Чтобы не люди по пояс в снегу, а машины валили лес и рубили сучки, и трелевочные трактора их потом вытаскивали из деляны на так называемый верхний склад – площадку вблизи дороги, откуда их потом на нижний склад, то есть на промплощадку комбината, вывозили бы лесовозами. Замечательную технику Соснин присмотрел в Финляндии, куда съездил в прошлом году на родственное предприятие. С тех пор спать не мог, требуя у главка машины для лесозаготовителей. Думал, его рабочие обрадуются, когда он им расскажет о механизации. Не тут-то было. Опытные мужики-лесозаготовители, на собственной шкуре испытывавшие все тяготы работы в лесу, встали против механизации. И вот этот самый бригадир Немятов, который сейчас курил перед ним в вагончике, больше всех сопротивлялся и мутил воду в бригаде и на участке. В который раз Соснин пытался прорваться сквозь его упрямство и дремучесть. И экономи-

ческим расчетом доказывал эффективность механизации, и выигрышными условиями труда. Немятов кивал головой, как будто бы соглашаясь с директором, а в итоге опять:

– Это ты все хорошо говоришь, Пал Алексееич, но мы привыкли работать по-старому, так оно сподручнее.

– А ты отвыкни! – поднял голос Соснин. – Я тебе сучкорезку предлагаю...

Но Немятов его перебил:

– А бабы зачем тогда нужны?

– Бабы, – прищурил глаза директор, – бабы должны детей рожать, а вы их здесь мордуете, а потом еще дома.

– А ты думаешь, они обрадуются твоей сучкорезке? Они работу потеряют, и что, спасибо тебе скажут?

Зимние солнце пробилось сквозь закопченное стекло оконца вагончика. Золотистым бликом упало на лицо Соснина, на его зеленые глаза – умные, пронизывающие и сейчас колкие. Надежда с тревогой смотрела на него. А он доказывал, что за механизацией будущее, что нельзя отсидеться в горах, пребывая в каменном веке, что самому Немятову только сорок, и у него вся жизнь впереди, а ему бы все «по старинке».

– На этих горизонтах вырубки заканчиваются, в следующем году опустимся ниже, выписывая деляны, мы бы уже сейчас могли присмотреть лес, который эффективнее заготавливать механизированным способом, – втолковывал он Немятову. – И хватит выезжать на женщинах, освободим их от каторжного труда, закупим сучкорезки, а они пусть дома воспитывают детей. Вы прилично зарабатываете, чтобы содержать семьи, меньше пропьете, – жестко убеждал он бригадира. И, наконец, подвел итог: ручной труд будет заменен техникой, нравится это тебе, товарищ бригадир, или нет.

– Ну-ну, – промычал тот и поднялся, – мне надо норму выполнять, товарищ директор, так что бывайте.

На обратном пути они долго молчали. Надежда пыталась понять и не понимала. Спросила:

– Почему он так против? Преимущества ведь очевидны.

– Преимуществ и боится. Сейчас он – вальщик, в лесу – король, а потом кем будет?

– Освоит технику и будет королем дальше, – рассуждала вслух Надежда.

– Вот этого он и боится. А вдруг не освоит? Человек боится любых перемен, боится расстаться с тем, что укоренилось годами, десятилетиями.

В восемьдесят девятом проходили первые частично свободные выборы народных депутатов СССР в высший орган власти – Верховный совет. «Частично свободные выборы» – это звучит, как осетрина первой свежести у Булгакова. Кризис политической власти вынудил КПСС – партию власти, пойти на игру-иллюзион, то есть создание у народа, вдруг осознавшего, что такое социальная несправедливость, иллюзию свободных выборов. Впервые за все годы советской власти и гегемонии коммунистической партии на выборах, кроме одного кандидата-коммуниста, появились два и больше. Более того, эти кандидаты могли представлять избирателям свои программы, а на избирательных участках голосование стало тайным. И что превзошло все ожидания, так это – отмена разнарядок при выдвижении кандидатур в депутаты, ранее требовалось соблюдать пропорциональное представительство всех классов. Вместе с тем все было сделано для того, чтобы сохранить власть по-прежнему в руках КПСС.

Иллюзион был запущен по всей стране и с воодушевлением встречен всеми трудящимися.

Надежда ко второму году работы в редакции поостыла в оценках трудящихся, а вернее пролетариата, гегемона социалистической революции, о чем ей внушалось на уроках истории в школе и на лекциях в университете. Лично ее гегемон не вдохновлял. Что и говорить, теперь она нередко соглашалась в оценке происходящих событий с руководителями предприятий, еще чаще с людьми из интеллигенции, во все времена ищущей смысл жизни. В это время Надежда зачитывалась прорвавшимися на свет про-

изведениями о советском ГУЛАГе, политических репрессиях и отнюдь неоднозначной роли Ленина в истории: «Значит, эксперимент был проведен над Россией в семнадцатом году», – рассуждала она, перелистывая страницу за страницей очередного толстого журнала, которые один за другим поглощала в это время, а они, натерпевшись цензуры в советское время, в конце восьмидесятых выдавали на-гора одно произведение хлеще другого.

В ряды КПСС она так и не вступила, и редактор от нее отстал, видимо, понимая, что не то сейчас время, чтобы равняться на коммунистов. Тем не менее, как журналист и начальник отдела Надежда была обязана участвовать в иллюзионе «частично свободные выборы». На планерке в редакции распределяли избирательные участки, откуда каждый журналист должен был написать репортаж. В городе все участки распределили. Оставались лесные поселки.

– Луговая, ты едешь на Какурские печи, – сказал редактор. – Самый дальний участок. Машину надо?

– Ее доvezут, – недвусмысленно съязвила Октябрина.

Остальные промолчали, будто не понимая, о чем идет речь, Надежда покраснела и ответила:

– Узнаю и скажу позже.

Машина ей не понадобилась. Соснин решил проконтролировать голосование на одном из участков комбината в Какурских печах. И обещал заехать за Надеждой в четыре часа утра, чтобы к шести доехать до поселка. И как только они отъехали от ее дома, он, не выпуская руль, наклонился и поцеловал ее. Надя смутилась и спросила:

– Почему вы без водителя?

– У него сегодня выходной, – лукаво улыбнулся директор.

Всю дорогу обсуждали выборы. И как же может быть так, что одни депутаты пройдут, а другие нет? Прежде в Советском союзе такого никогда не бывало.

В поселок с таким странным названием – Какурские печи, названный так по названию реки Какуры, на берегу кото-

рой когда-то давно существовали печи для углежжения, приехали, когда еще только в немногих окнах деревянных двухквартирных домов-бараков горел свет. Проехали сразу к конторе участка лесокомбината, где уже все было приготовлено к голосованию: столы, застеленные, как и полагается, красной тканью; кабины со шторками, тоже красными, и деревянные урны красного цвета с гербом СССР. В конторе толклись первые посетители, Соснин поздоровался со всеми и прошел в кабинет начальника участка. Надежда осталась с голосующим народом.

Первыми пришли голосовать ветераны Великой Отечественной войны. Для них, как и в прежние времена, это был праздник советской власти. Вот только нынче их советская власть озадачила, в бюллетени несколько фамилий.

– За кого голосовать? – обратился старший из ветеранов к заседавшим в комиссии.

– Сами выбирайте! Нам подсказывать нельзя, – ответила за всех Тося Умникова – директор школы.

– Так одного выберем, другим обидно будет. Лучше уж всех оставим, – совместно решили ветераны.

– Всех нельзя, – возмутилась Тося, – выборы альтернативные.

Такого слова старики не знали, поэтому, снова посоветовавшись, оставили всех, дабы никого не обидеть, и бросили бюллетени в урну. Потом закурили, сели на лавку и стали говорить о том, как жили раньше, а как теперь, и выходило, что раньше жили лучше. Когда раньше – не уточнялось, но было понятно, когда они были молодыми.

Хлопнула дверь, вошла банщица, трудившаяся в общей рабочей бане. От нее разило кислым спиртным: то ли не выветрилось еще вчерашнее, то ли уже намахнула с утра. А тут из кабинета начальника вышел Соснин. Она к нему потянулась и ультимативно заявила, что не будет голосовать, если не привезут пива.

– Будет тебе пиво! Будет! – пообещал директор.

– Вот это хорошо! – отозвалось она, но на слово не поверила и стала ждать буфета. Вскоре к поселковой столовой,

что находилась недалеко от конторы, подъехала машина с пивом, пирожками и бутербродами. Там и расположился буфет. Банщица тут же рванула в столовую. А сполна отоварившись, повернула в сторону дома. Вернулась скоро. С накрашенными губами, в цветастом платке, в кримпленовом пальто – с одеждой у лесников проблем не было. Нередко женщины в лесных поселках с обветренными и огрубевшими лицами щеголяли в импортных вещах – страшном дефиците. Объяснялось все просто: комбинат получал импорт в счет пиломатериала, нулевого, самого высшего сорта, который шел на экспорт. Государство получало за этот пиломатериал валюту, комбинат – импортные вещи, которые распределялись среди своих по талонам, впрочем, хватало всем, еще городским перепало. В общем, банщица нарисовалась и громко объяснила свое появление:

– Праздник ведь, а я с пивом, что ли, приду? Разве можно с пивом голосовать? Стыда во мне, что ли, нет?

А глянув в бюллетень и увидев несколько фамилий кандидатов, заволновалась:

– Зачем так много? Голосовать за кого?

И так же, как ветераны, пожалев всех кандидатов, проголосовала за них скопом.

Надежда смотрела на эти «частично свободные выборы» и думала, что свободу, как и все остальное в жизни, всяк понимает в меру своей испорченности. В Кремле испорченность проявилась в частичности свободы, в Какурских печах – в полном ее непонимании. Однако компромисс был найден, выборы были назначены и проходили по всей стране. Надежда понимала, что от ее репортажа горьком опять в восторге не будет, но, что делать, если репортаж создавался у нее на глазах, и действительность раскрывалась во всей своей красе.

Из кабинета начальника вышла секретарша, толстая тетка, которую здесь все звали просто Ньюрой, также без заτης обратилась к журналистке:

– Иди чаю выпей, чё на этих дураков пялиться? Поди не емшая с утра.

И при этих ее словах Надежда вдруг почувствовала голод.

– Иди, я пирогов из дома принесла.

Надя пошла за ней. В кабинете начальника было тепло от горевшей печи и накурено так, будто табачного дыма специально сюда напустили. Она закашлялась, Нюра заорала на мужиков, несмотря на то, что среди них за столом сидел директор. Увидев Надежду, он улыбнулся:

– Хватит, мужики, дымить, а то девушка у нас совсем угорит.

Нюра налила Надежде чаю и придвинула огромную чашку со свежееиспеченными пирожками. Она с удовольствием ела еще теплую сдобу, а мужики продолжили прерванный разговор. Местный тракторист Ваня со смешной фамилией Конторский, пьяница и дебошир, но сегодня на редкость трезвый, говорил:

– Ты, Павел Алексеевич, меня голосовать не заставляй. Я все равно не буду.

– Почему? – с любопытством спросил директор.

– Я их не знаю. Кто они мне? Что хорошего сделали?

– Может быть, еще сделают, – парировал Соснин.

– Этого я не знаю. Обещать все можно. За тебя я бы стал голосовать, за них – не буду. Павел Алексеевич, назначь меня начальником участка, знаешь, как мы с тобой работать будем.

– Как? – прищурившись, спросил директор.

– Сначала мы с тобой съездим в Японию, поучимся на этих, как их? Менеджеристов, кажется. И сделаем вот что...

И Ваня стал излагать свое программное видение развития поселка вместе с подсобным хозяйством, где откармливали бы свиней для рабочей столовой в ту пору, когда он здесь будет главным менеджеристом.

Он так увлекся, что обиделся на директора, когда тот его перебил и предложил ему бросить пить.

– Зачем? – искренне удивился Ваня.

– Затем, что говоришь ты правильные вещи, но со своей пьянкой менеджеристом, а вернее менеджером, не станешь.

– Жаль, – загрустил Ваня, – не пить я не могу. Давай, Алексеевич, хоть тебе тогда свои идеи подарю, как надо правильно поселком управлять.

– Давай, – улыбнувшись, согласился Соснин.

Поселок отголосовал быстро. Пиво возымело свою волшебную силу. Поскольку далеко не все были обременены такими нравственными принципами, как банщица, то голосовать шли прямо из буфета, с полными сетками бутылок и пачками «Примы». К пятнадцати часам участок уже был пустым. Тося Умникова скучала и напускала на себя важность только в том случае, когда члены комиссии предлагали пораньше посчитать бюллетени и разойтись по домам – выходной ведь, а голосовать все равно уже никто не придет. Тогда Тося строгим голосом говорила, что нельзя.

Соснин вместе с Луговой откланялись комиссии, пожелали удачи Нюре, которая по совместительству с должностью секретаря еще мыла в конторе полы и сейчас как раз собиралась заняться выполнением обязанностей по совместительству, пошли к машине.

– Устала? – сочувственно спросил Соснин Надю, когда они отъехали от конторы.

– Вся пропиталась табаком, – и Надя стала стряхивать с себя что-то, как будто бы могла и на самом деле стряхнуть дым. – Пора вам бросать курить, Пал Алексеич, это вредно для здоровья, – обратила она лицо к Соснину.

– Надюша, жить вообще вредно, – ответил он серьезно.

– Что же тогда не вредно? – без всякого подвоха спросила Надя.

– Тебя любить, – Соснин говорил серьезно. – Я, засыпая, думаю о тебе и просыпаюсь вместе с тобой. Я на совещаниях думаю о тебе. На совещаниях! – он сказал это так, что любой бы понял, как это недопустимо – думать на совещаниях о ней, а вот он думает. И святотатством для него является не то, что он желает Надю, лежа рядом с женой в постели, а думая о ней на совещании.

Вдруг он резко остановил машину. С силой притянул ее к себе, припал губами к ее губам, целовал взахлеб, неистово. Остановился, посмотрел на нее мутными глазами, прохрипел:

– Пойдем на заднее сиденье.

И она повиновалась, пошла – растерянная, смущенная, не сумевшая противостоять поглотившей ее страсти. Соснин, словно зверь, накинулся на нее, неистово стягивал и рвал свою и ее одежду, стремясь в порыве наивысшего возбуждения поглотить ее всю целиком, проникнуть в каждую ее клеточку и достать до самой уязвимой, чтобы она, издав короткий, всхлипывающий стон, забилась под ним, а потом беспомощно затихла.

Потом они долго ехали молча. Соснин курил, где-то на полпути включил радио, дребезжа и пробиваясь сквозь лес, на какой-то частоте испуганно зашипела встрепенувшаяся волна. А вслед за шипением раздался проникновенный голос Александра Малинина:

Очарована, околдована,
С ветром в поле когда-то обвенчана,
Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная ты моя женщина!

Ни веселая, ни печальная.
Словно с темного неба сошедшая,
Ты и песнь моя обручальная,
И звезда ты моя сумасшедшая.

Надя стала смотреть в окно, чтобы Соснин не заметил слезы, которые она пыталась также незаметно смахнуть. Но Соснину не надо было ее видеть, он ее чувствовал и понимал, что творится с ней, такой ранимой и невозможно сильной.

– Надя..., – стал он медленно говорить, – я старше тебя на много лет...

– Разве это имеет значение, если люди любят друг друга? – как всегда прямо спросила она.

– Имеет. Ты будешь оставаться еще долго молодой, а я уже не очень долго. Я не имею права быть до такой степени эгоистом. Женщины у меня были. Но никогда и ни к одной из них я не испытывал таких чувств, что испытываю к тебе. Ты искренняя, умная, смелая. Впрочем, какое это все имеет значение, если я просто всегда хочу тебя, каждую минуту. Ты – моя женщина, та, которая мне нужна, вот и все.

– Действительно, все, – ровно, без всяких эмоций произнесла Надя. – Дело только в том, что вы женаты, а я – замужем.

– У тебя есть какие-то предложения? – жестко спросил Соснин и опять резко остановил машину.

– Ни-ка-ких, – нараспев произнесла она и повернулась к нему, они споткнулись о взгляды друг друга.

– Тогда иди сюда! – и он снова властно и крепко прижал ее к себе.

Частично свободные выборы затянулись. Депутатов то местных, то каких-то вышестоящих советов выбирали круглый год. Такое завидное постоянство, казалось бы, неукоснительно приближало вождевленную демократию и свободу, свободу кого от кого, Надя еще не поняла, но приближала вместе со всеми. И даже не вместе, а во главе. На волне своей журналисткой популярности оказалась лидером оппозиционной общественной организации «Альтернатива», которая боролась не только против горкома партии, но главное – против социальной несправедливости. Ее собственная квартира превратилась в штаб, где никогда не умолкал телефон, приходили и уходили какие-то люди, большей частью из народа. Особенно активна была татарка Алина, лет сорока, из отдела контроля городских электросетей. Алина ходила по домам и квартирам с проверкой электросчетчиков, а потому ее знали все. Алина без всякого штаба знала, как действовать. И докладывала вечером Надежде.

– У меня со всеми разговор короткий, за кого скажу голосовать, за того и будут. Нет, значит, счетчик у вас не в порядке.

– Как же так? – удивлялась Надежда. – А если в порядке? И на тебя напишут жалобу? – смотрела она с тревогой на Алину.

– Покажи мне хоть одного, у кого в порядке! – счастливо смеялась Алина. – Ты думаешь, в этом городе кто-нибудь платит за электроэнергию?

– Я плачу, – как-то уже с чувством вины за собственный поступок ответила Надя.

– Потому что ты, Надежда, дура, – ничуть не смущаясь, проговорила Алина. – У первого секретаря горкома партии в коттедже – электрокотел, у второго тоже. Председатель исполкома живет в квартире, врать не буду, котла у него нет, но и счетчик не работает. Его заместитель Гринин целую поросячью ферму отапливает электрокотлом, ты думаешь, платит за это? А ты думаешь, я в норковой шубе хожу, потому что у контролера электросетей высокая зарплата?

Надежда растерялась, что-то она ничего не понимала в этой арифметике.

– Ты ведь думаешь, почему за тобой люди пошли? Я тебе скажу. Потому что ты белая ворона. И я за тобой пошла, потому что ты воровать до сих пор не научилась. Я тоже не ворую, но, если дают, не отказываюсь. Дают те, у кого всего полно. Поэтому составляй список, за кого надо голосовать, а кого надо провалить, все сделаем как надо. У меня еще в подчинении есть пара-тройка контролеров. Весь город охватим.

– Ты что, Гринина будешь стращать счетчиком? – язвительно спросила Надежда.

– По Гринину давно уже Колыма плачет. На хрена он мне нужен, – не стеснялась в выражениях Алина. – Его без меня возьмут. Я среди пенсионеров работу проведу. У них хоть ферм нет, но счетчики крутятся в обратную сторону. Их я не трогаю и ничего с них не беру, теперь пусть послужат благому делу.

– Пенсионеры все за коммунистов голосовать будут, – вздохнула Надя, – а не за нашу «Альтернативу».

– Ты меня еще учить будешь, – сорвалась Алина, которая, в принципе, не терпела никаких сомнений и возражений. – Давай, руководи, ты – наш лидер, составляем список «за» и «против». Ночью листовки будем писать, я фломастеров две пачки достала и бумагу, правда, оберточную, но другой не было. Ничего, и на оберточной все, что надо, напишем, ночью листовок наштампует, я сейчас девок запрягу писать – дочку свою с подружками, рано утром на заборах и столбах расклеим. Давай текст пиши – мы его переписывать будем.

Надежда на Алину за резкость не обижалась. Алина была настоящей революционеркой, и с ней можно было идти на баррикады. Она привязалась к Надежде всей душой; как золотая рыбка, служила ей на посылках, обладая неженским напором и природным даром говорить без умолку, любого убалтывала за пять минут, втюхивая в мозги собеседника любую политическую программу. Быстро она нашла подход и к пенсионерам, которые по-прежнему были верны коммунистической партии.

– А сейчас надо голосовать за тех, кто в демократическом блоке, – беседовала она с очередными старичками, которые, как известно, послушно ходят на выборы, обеспечивая высокий уровень явки избирателей.

– Так они же не коммунисты? – возразил ей какой-нибудь приверженец большевиков.

– И што? – тут же, руки в боки, вставала в воинствующую стойку Алина. – Луговая тоже не коммунист, а вы что, против нее?

– Нет, не против. Она же за народ, – соглашался приверженец большевиков.

– Вот она за весь этот демократический блок, то есть «Альтернативу», и отвечает. Ну чего упираться-то, – теряла терпение Алина, – мне еще полгорода прошагать надо. И кто там среди ваших коммунистов? Опять первый и второй секретарь горкома?

– Так без горкома-то как? – искренне недоумевал приверженец.

– Так, все, разговор окончен, коммунистов ваших все равно к едрене фене свергнем, а пойдете против Луговой, за все электричество заплатите с момента постройки дома.

При этих словах тут же подпрыгивала с табуретки молчавшая старушка – жена приверженца.

– Да ты што, Алиночка, он же – дурак старый! Напиши на бумажке, за кого голосовать, мы так и проголосуем. Может, чайку выпьешь? Обедать-то не успеваешь, – сокрушалась бабуля.

– Чай я дома попью, а вы фамилии наизусть учите.

– Выучим, выучим, Алиночка, – провожала ее до ворот бабуля и, открывая одну за другой, гремела задвижками.

– И на кой черт вам столько запоров? – не могла дождаться Алина.

– Да как же, как же, Алиночка? От людей недобрых, – приговаривала бабуля, снимая последний крюк.

Сложнее было с интеллигентной публикой: учителями, врачами, библиотекарями, работниками дома культуры. С ними заседали по вечерам в одном из залов ДК и бесконечно говорили, рассуждая о новых публикациях в толстых журналах, о том, что творится в Москве, почему у государства кончились деньги на зарплату работникам бюджетной сферы. А потом опять по кругу: про новые публикации, новые песни и группу «Кино». На этих вечерних заседаниях неожиданно проявился директор музыкальной школы Игорь Львович Коник. Интеллигентной внешности, с бородкой, как у молодого Ульянова-Ленина, с тонкими белыми пальцами, которыми хорошо играл на фортепиано, с красиво уложенными волосами и умением выступать на публике, – артист, ему положено, – он как-то быстро нашел свое место рядом с Луговой, а потом часто говорил уже от их совместного имени: «Мы тут с Надеждой Николаевной» – и смотрел на нее преданными собачьими глазами. Надежда сначала смущалась, потом подумала, а почему бы и нет? Вот пусть он и будет ее заместителем и вместе с ней идет на баррикады.

Однако появление такого Санчо Панса рядом с Надеждой совсем не обрадовало Соснина, который в полити-

ческих коллизиях не участвовал, по вечерам с «Альтернативой» в клубе не сидел, но по-прежнему крепко держал Надежду в своих коготках. А тут новый воздыхатель. Что именно воздыхатель, Соснин ни минуты не сомневался, это разношерстное воронье просто кружило вокруг молодой журналистки. Другое дело, что музыкант хотел воспользоваться ее популярностью в своих личных интересах. В чем Соснин тоже ничуть не сомневался.

– Ну и почему мы такие мрачные? – спросила Надя, устраиваясь на свое любимое место у окна в кабинете Соснина.

Он прищурил глаза, затянулся сигаретой, молчал, подписывая документы. Потом спросил:

– Как твоя «Альтернатива» поживает?

– Она не поживает, она борется с несправедливостью, – категорично заявила Надежда.

Вошла секретарь, забрала бумаги, привычно скользнула взглядом по журналистке, часто появляющейся в кабинете директора, что, однако, не смущало ни его, ни ее. Протянула на подпись новые бумаги, спросила:

– Павел Алексеевич, вы поедете на собрание в Кедровку? Васильич вас ждет.

– Да, конечно. Выезжаем через десять минут.

Надежда поднялась:

– Какое собрание?

– Встреча с избирателями, отчитываться буду о проделанной работе.

Как и все руководители при советском режиме, Соснин был депутатом городского Совета.

– Почему я не в курсе? – Надежда внимательно посмотрела на директора.

Он молчал.

– Я еду с вами.

– А как же «Альтернатива»?

Она почувствовала в его голосе нотки ревности и холодного спокойствия:

– Сегодня в качестве альтернативы я буду с вами.

Кедровка – это сплошное убожество. Десятка три домов. Женщины в бедных одеждах. Грязные, заросшие щетиной мужики. Дети в большей степени умственно отстающие. Почти все жители поселка собрались в старой избе, которая служит то ли клубом, то ли конторой. Тусклая лампочка Ильича плохо освещает помещение, зато жарко натопленная печь хорошо обогревает. Но все равно неуютно. Мужики дымят сигаретами, бабы беззлобно ругаются. Секретарь парткома, представляющий партию, которая за семьдесят лет так никуда и не ушла от лампочки Ильича, открыл собрание. Потом выступил Соснин. Когда он говорил, в избе стояла тишина. А говорил он коротко, но по каждому вопросу конкретно. Из тринадцати наказов избирателей он, как депутат этого избирательного участка, выполнил двенадцать. Когда закончил отчитываться, со всех сторон посыпались просьбы, вопросы, претензии. Как будто бы только он один отвечал за эту несуразную жизнь. Он слушал, смотрел, потом спросил:

– А что вы сами сделали для того, чтобы жить стало лучше? Заготовили для школы дров? Отремонтировали крыльцо в магазине или меньше стали пить? Сколько человек бросило пить за последний год?

В избе воцарилась тишина. Потом откуда-то из середины зала раздался голос:

– А ты нас на понт не бери! Пили и будем пить.

– Тогда не ждите, что вам кто-то чего-то должен.

Парторг забеспокоился. Собрание поворачивало в непредусмотренное им русло. И он объявил о том, что нужно снова выдвинуть кандидата в депутаты от Кедровки. Помолчали. Потом встала Малевиха, могучая баба, знатный сучкоруб. И сказала, как отрезала.

– Хватит лясы точить. Выдвигаем снова Соснина, поднимаем руки и расходимся по домам. Утром в деляну рано выезжать.

Как по команде подняли и разошлись.

Соснин с Надеждой возвращались в город, когда было совсем темно. Водитель Васильич знал характер директо-

ра и тонко чувствовал, когда надо молчать, а когда можно и шутку безобидную подпустить. Сегодня все молчали. Соснин курил.

– Ну и о чем будете писать, Надежда Николаевна, о народе, строящем демократическое общество? – спросил он без всякого намека на юмор. – Какую вы им альтернативу хотите предложить?

Надежда молчала. Она всем своим существом ощущала усталость и спокойное раздражение Соснина, и то, как он, впервые за последний год, от нее далек. Почему-то она зажмурила глаза, как-то беспомощно, по-детски, будто надеясь, что когда их откроет, Соснин будет смотреть на нее, как прежде. Но он не смотрел. Он щелчком выбил в открытое окно недокуренную сигарету и попросил Васильича высадить его у дома, а Надежду Николаевну добросить до ее подъезда.

– Поздно уже. Спокойной ночи, – бросил в салон машины и хлопнул дверью.

Надя смотрела ему вслед. На уходящего в свою семью мужчину и почему-то видела пропасть среди скал, наверное, из какого-то фильма про индейцев. «Откуда еще взяться пропасти? – думала она. – И причем тут какая-то пропасть, если Соснин ушел от меня».

Дома ее встретил муж. Нельзя сказать, что он смирился с работой жены, поздними собраниями и конференциями, командировками, а тут еще заседания «Альтернативы», которые его абсолютно не вдохновляли, но на конфликт с Надеждой не шел. Любил ее, такую, какая она есть, а еще больше боялся в этом хаосе, обрушившемся на людей, потерять семью. Он понимал, что Надежда с некоторых пор отдалась от него, и отношения их близкими давно уже не были, но все же женой он дорожил и жизни без нее не представлял.

– Очередное собрание?

– Да, – отрешенно ответила она.

– Ты по сыну не скучаешь? Ты его не видела уже два дня, – не удержался от упрека.

– Я завтра отведу его в садик. Иди спать. Мне еще надо писать отчет о собрании, – Надежда чувствовала себя виноватой, но не могла никаким усилием воли заставить себя лечь в одну постель с мужем. Ей казалось это обманом, предательством по отношению к нему и... Соснину. Муж глянул на нее глазами больного спаниеля и ушел в спальню.

Оставшись одна, Надежда облегченно вздохнула и почувствовала боль в груди. «Что там может болеть?» – не в первый раз задала она себе этот вопрос и налила в чашку только что вскипевшего кипятку. Хотела дотянуться до заварника, в груди что-то остро кольнуло. Присела на табурет, отпила пустого кипятка. «Почему он так ушел? За что он злится на меня? За „Альтернативу“? Но ведь в жизни надо все менять, мы построим справедливое и свободное общество, где будут ценить таких, как он. Я ведь ради него...»

И тут Надежда поняла, что должна ему все объяснить, она взяла ручку, вырвала из какой-то тетради в клеточку двойной листок и стала писать. Ей хотелось сказать обо всем: как она его любит, как уважает, как многому он ее научил, какой он умный и не такой, как все. Она писала, пока не закончилась последняя страница из четырех, а ей казалось, что она еще не все сказала. Но начинать следующий лист не стала. И не стала подписывать написанное. Что-то удержало.

На следующее утро, запечатав свою исповедь в редакционный конверт, она передала его водителю, который развозил почту по предприятиям. А сама позвонила Соснину и, волнуясь, попросила:

– Павел Алексеевич, я передала с водителем для вас письмо. Вы бы могли его лично получить?

– Конечно, мог, – ответил он уже прежним голосом, в котором ничего не осталось от вчерашней суровости.

Решение общего собрания жителей Кедровки по выдвижению Соснина Павла Алексеевича кандидатом в депутаты городского совета избирательная комиссия признала не-

действительным. И таким образом вывела его из предвыборной борьбы. Горком тут же подсуетился с очередным выговором, а прокуратура завела уголовное дело по жалобе передовика производства Глухоманина о разбазаривании директором лесопромышленного комбината государственных средств.

– А я всегда говорила, что этот Соснин – подозрительный тип, – внесла свои пять копеек на редакционной планерке Октябрина.

– Плохи дела, – подтвердил старый журналист Петров. – Пока буду разбираться, пока вести следствие, выборы уже закончатся. И если такой человек, как Соснин, не будет депутатом, то на кого надеяться в том совете? Не на твоего же музыканта, Надежда, вот ты выбрала себе компаньона.

– Луговая, ты чего молчишь? – обратился к ней редактор. – На тебя это не похоже.

У Надежды давило в груди. К тому же она боялась, что если заговорит, то расплачется.

Она страшно переживала за Соснина и, кажется, первый раз не знала, что делать. Но тут в кабинет редактора заглянула Алина: нет таких дверей, которые бы не открылись перед ней.

Журналисты засмеялись:

– Во, Алина пришла, счетчики проверять будет.

– И чего вы тут заседаете? – встала она в боевую стойку – руки в боки, – весь город на ушах, а они заседают, – для Алины авторитетов не существовало.

– Что она себе позволяет? – возмутилась Октябрина.

– Ой, Октябрина, иди своего Ленина на площади спасай, а то памятник сегодня снесут, – не растерялась Алина. – Надежда, пошли, дела есть.

Редактор усмехнулся:

– Ну, иди, Луговая, раз главный начальник пришел.

Они зашли в кабинет Надежды.

– Ну, ты чего раскисла? – угадала состояние лидера оппозиции Алина. – Еще не все потеряно. На всех участках тьма кандидатов, будет второй тур. Мы свое возьмем. Ком-

мунистов прокатим в первом и в первом своих протолкнем. Соснин на второй круг пойдет.

– Куда он пойдет с уголовным делом? – упавшим голосом сказала Луговая.

– Вот, если ты будешь здесь хныкать, то никуда.

Все чаще Надя задумывалась над понятием «народ» и пыталась каким-нибудь образом его для себя определить. Вот Алина – это народ? А сучкоруб Малевича или тракторист Ваня Конторский? Бригадир лесозаготовителей Немятов и передовик производства, он же подлец Глухоманин – тоже народ? А еще музыкант Игорь Коник и врачи, которые лечат их всех в больнице, они – народ или интеллигенция, которая под это понятие не подпадает? Надя запуталась. Народ оказался не однородной причесанной массой, а разношерстной толпой, и в этой толпе были те, за кого ей совсем не хотелось идти на баррикады.

И в то же время все тот же народ неоднократно выдвигал ее кандидатом в депутаты, обещая, что за нее проголосуют все, а она отказывалась от оказанного доверия и уступала свое место другим: власть не была для нее пределом мечтаний. Она хотела оставаться журналистом. А поэтому искренне поддерживала Коника, видя в нем будущего председателя совета – интеллигентного и умного, конечно, не такого умного, как Соснин, но в целом образованного человека, поддерживала, а потому нередко слышала сказанное им с Коником прямо в глаза: «Если Луговая ручается за вас, то проголосуем».

И вот опять же он, народ, после травли Соснина со стороны власти собрал поселковый сход Какурских печей, где Павла Алексеевича выдвинули кандидатом в депутаты на второй тур. Что тут началось! Горком тут же выдвинул на этом участке еще пять кандидатов – все видные общественники и коммунисты. А поэтому шансы Соснина были сведены к нулю. Уголовное дело расследовалось, Глухоманин каждый день давал показания. В каждый дом были разосланы гонцы с клеветой на директора лесопромышленного

комбината. Против них высадила свой десант Алина. Надежда не выходила из редакционного кабинета, из первых рук получая информацию и готовя новые агитки за Соснина. В целом первый тур «Альтернатива» прошла успешно, были выбиты многие сильные кандидаты, поддерживающие блок коммунистов. А главное – заместитель председателя горисполкома Гринин. На волоске висели секретари горкома, оставшиеся на второй тур; с первого раза прошел Игорь Коник и еще пять человек из оппозиции. И Надежда поверила, что не все еще потеряно, что можно бороться и за Соснина. В эти дни она, как никогда, убедилась в популярности дорогого ей человека. О нем говорили, спорили, его отвергали и принимали.

Задержавшись допоздна в редакции, Надежда печатала на машинке программу Соснина, сам он участие в предвыборной гонке не принимал, и она только согласовывала с ним его мысли, написанные ею. Тихонько говорило в кабинете радио, которое она давно не замечала. Просто звуковой фон. И вдруг, словно обожгло ступни. Незнакомый голос с издевкой читал: «Мой дорогой человек, вы так много для меня значите, что вся вселенная не в состоянии вместить мое чувство к вам...» В груди заболело. Это были строки письма, адресованного Соснину, это были ее слова, ее чувства и мысли. И их читали вслух по городскому радио. Дочитали до конца. И тогда заговорил другой голос, она узнала Гринина: «И вот эти двое, Соснин и Луговая, люди, порочащие мораль советского человека, рвутся к власти и хотят нами управлять». Надежда прилипла к стулу. Грудь разрывала колющая боль: «Что там может так болеть?» Посмотрела на часы, поздно, но наудачу набрала телефон кабинета Соснина. И он ответил.

- Павел Алексеевич, – она задохнулась.
- Надя, что с тобой? Где ты? – он испугался ее голоса.
- Павел Алексеевич, где мое письмо?
- За Лениным лежит, – ничего не понимая, ответил он.
- За каким Лениным? – Надежда представила памятник Ленину на площади.

– Полным собранием сочинений в шкафу, – недоумевал Соснин, и уже подходил к шкафу в кабинете, и расталкивал тома пролетарского вождя.

– Надя, его здесь нет.

Потом он гладил ее плечи и волосы, целовал глаза и руки, молил о прощении и обещал всех расстрелять из охотничьего ружья к чертовой матери.

– Пусть посадят, но я уничтожу этого мерзавца Гринина. Милая, милая моя, тебя ничем не скомпрометировать, ты – моя радость, моя – гордость, ты – моя сильная девочка.

Чтение Грининым письма на городском радио возымело потрясающий эффект. Народ возмутился, какого черта лезть в личную жизнь Луговой, к тому же это вовсе и не Луговая, потому что кто-то видел это письмо и подписи Луговой там нет. И все это специально подстроено, чтобы скомпрометировать Соснина, «а это уже полная дешевка» – рассуждал народ и был очень недоволен. А пока он рассуждал и выражал недовольство, секретарь Соснина затеяла генеральную уборку в шкафах кабинета директора. Соснин не любил эту «генералку», как называл протирание пыли, но все тяготы, связанные с наведением марафета, переносил мужественно.

– Павел Алексеевич, а это что? – она подняла с самой нижней полки водительское удостоверение Глухоманина.

Директор покрутил его в руках:

– Вот значит, как. Выронил. Искал, значит, что-то.

– Да как же можно? В ваш кабинет без вас? – испугалась секретарша, а еще больше испугалась того, что ее могут уличить в сообществе.

– Ничего, разберемся, – медленно протянул Соснин. – Посмотрю я, как он теперь работать будет.

– Так он на больничный ушел, я сегодня слышала, как начальник отдела сбыта говорил.

– Начальник отдела сбыта, говоришь. Ну-ну...

А через несколько дней проходили выборы. И «Альтернатива» пропустила тот момент, когда Гринин после явно

неудачного чтения личного письма перешел с одного избирательного участка в городе, где сам понимал, что шансов пройти у него нет, в самый отдаленный поселок, так называемый НЗ – неприкосновенный запас администрации, через который власть проводила всех «своих». В общем, в ход был пущен последний ресурс.

День голосования прошел, на первый взгляд, тихо. На самом деле город также тихо гудел. Ночью при подсчете голосов в избирательной комиссии дежурили люди «Альтернативы». Надежде никто не звонил, она почти всю ночь смотрела на телефонный аппарат, а он молчал. Под утро заснула, как ей казалось, ненадолго и увидела на пороге комнаты девочку. Она была одета в деревенский холщовый сарафан до самых пят, под сарафаном была такая же холщовая белая рубаша, голова была повязана белым платком, концы которого были обмотаны вокруг шеи и завязаны позади. Надежда эту девочку раньше никогда не видела, но чувствовала к ней полное доверие. Она не переступила порог спальни, стояла в луче солнечного света и голубыми чистыми глазами смотрела на Надю. А потом произнесла:

– Не расстраивайся. Он прошел.

И Надя знала кто это «он». Почти сразу сквозь забытие она услышала звонок телефона. Встала, комната была залита тем солнечным светом, который она только что видела, не было только девочки. Надежда подняла трубку. Звонили из «Альтернативы», сообщая о первых победах оппозиции, а потом замялись. И Надежда сказала:

– Я знаю, что Гринин прошел.

В трубке облегченно спросили:

– Тебе уже сказали?

Она ответила:

– Да.

Соснин тоже прошел с большим преимуществом среди шести кандидатов на избирательном участке Какурских печей. И в этот же день Надежду Луговую увезли на «скорой» в больницу.

Она невнятно понимала, что с ней происходит. А когда поставили капельницу, и совсем куда-то улетела. А потом вдруг явно почувствовала, что вот-вот должна рожать. До боли, до судорог ощутила схватки, а потом разрывающую боль, разделяющую ее на две части. Она откуда-то знала, что это ребенок Соснина и страстно его желала. Это оказался мальчик. И Надежда его увидела – милого и родного. Его унесли. Боль отступила, и она тихо радовалась своему непередаваемому счастью. Потом к ней подошла медсестра и сказала, что ее сын умер. Тогда Надежда встала и отрешенно пошла по длинному, длинному коридору. На ней была надета тоже длинная, серая рубашка из казенного полотна и больше ничего. В конце коридора ее ждал Соснин. Взял за руку и куда-то повел. Потом был лес, болото, грязь. Надежде было очень холодно. Она чувствовала боль и слабость во всем теле и думала, думала о своем умершем сыне. И еще о том: зачем Соснин ее куда-то ведет, ей все равно не



дойти. А он ее упрямо вел и говорил: «Мы будем собирать клюкву, и ты все забудешь». А она не верила, что дойдет, потому что не было сил. И еще она почему-то знала, что если вернется, то ее сын останется жив. И она остановилась, села на заснеженную кочку, молчала, но Соснин понял, что она дальше не пойдет. И исчез. А она снова оказалась в длинном темном коридоре. Она по нему долго шла. Ей было очень холодно. И она знала, что малыша нет, и вообще никого больше нет.

Когда Надежда очнулась, то каким-то десятым чувством поняла, что капельницу ей ставили в другой палате. Обвела глазами потолок: здесь она раньше не была. Обе руки в локтевом суставе были перевязаны, значит, ставили еще одну капельницу. Сознание прояснилось, и вместе с этим навалилась тягучая едкая тоска. Она вернулась мысленно к видению или сну, в котором видела своего малыша. И хотела вернуться туда обратно, чтобы снова его увидеть, взять на руки, прижать. Болела поясница и низ живота. Собственно, что с ней случилось? Была на работе, а потом? Другая палата и капельница. Это она помнила, а больше ничего. Подошел знакомый врач, взял руку, нащупал пульс. Она открыла глаза.

- Напугали вы нас, Надежда Николаевна.
- Что со мной?
- И мы-то с трудом догадались, – он опустил ее руку, – уже лучше. Вы знали о проблемах с сердцем, судя по всему к кардиологу никогда не обращались.
- Нет. Иногда болело в груди, – вспомнила Надежда.
- «Иногда», вот и дождались приступа. О диагнозе говорить рано, будем обследовать, – доктор встал, давая понять, что на данный момент сказал все.
- Я не могу обследоваться. У меня дома ребенок, и работать надо.
- Работать, ребенок?.. – доктор остановился.
- А если я вам скажу, что за эти полсуток вы потеряли еще одного ребенка, вы перестанете шутить со здоровьем?
- Ребенка? Я? Откуда?

– С замужними женщинами случается, что они не подозревают о беременности до определенного срока, – посмотрел на нее с сочувствием доктор. – Не переживайте, все обошлось, срок был небольшой, плод вышел, необходимая помощь вам оказана. Завтра переведем вас из реанимации в палату, – и, увидев потрясенное лицо Надежды, добавил, – вы – молодая, у вас будут еще дети.

– Не говорите, пожалуйста, мужу. А то он расстроится.

– Хорошо. Он еще не звонил, – и немного помедлив, – звонил и приезжал Соснин, директор лесопромышленного комбината. Мы не могли его пустить. В реанимацию нельзя. Отдыхайте, – и пошел из палаты.

Надежда закрыла глаза, но ничего не могла с собою поделать, и ощутила на лице горячие слезы. «Соснин. Это он не хотел ребенка. Это из-за него...», – и больше, не сдерживая слез, плакала. Когда он приехал на следующий день, она, сославшись на плохое самочувствие, попросила его не пускать, также и в последующий. На третий – она уже сама выходила из палаты. И тут неожиданно явился Игорь Львович Коник. Он прошел в депутаты в первом же туре выборов с большим преимуществом над своими конкурентами. После чего его масляный взгляд просто завис над Надеждой, нет, не «над», а «на» ней. Но она билась за Соснина, и ей было не до Коника. И вот он пришел ее навестить. Честно сказать, она никого не хотела видеть, в том числе и его. Выходила только к мужу с сыном. Но Коник обольстил весь медперсонал, и они пропустили его в отделение. Надежда, запахнувшись полами широкого халата, вышла из палаты, и они присели на диван.

– Надюш, ты немного бледна, – взял ее слабую кисть Коник и прижал к своим губам.

– Есть такое, – холодно ответила Надя, отдернув руку.

– У нас все в порядке, «Альтернатива» действует, я держу руку на пульсе, за нас двоих.

Он еще что-то говорил и говорил, но Надя воспринимала его речь, как звук рассыпавшегося бисера, – когда-то в детстве она рассыпала целую шкатулку мелких бусинок.

И не делила его спич на отдельные слова, и не улавливала смысла. Ощувив назойливость раскатившегося по полу во все стороны бисера, она почувствовала и усталость, и раздражение от никчемности этих минут. Она прервала речь Коника:

- Игорь Львович, мне пора.
- Надюш, когда ты меня уже будешь называть на «ты».
- Мне так удобнее, вы старше меня.
- Ну это такая мелочь. Надя, – он вдруг густо покраснел, – я достал в распечатках одну вещь. Я считаю, что каждый культурный человек должен быть знаком с этим трудом. Это древнеиндийский трактат, он посвящен сфере эмоциональной жизни.., – запинался Коник.
- С эмоциями у меня все в порядке, – хмуро сказала Надежда. – Ну что там у вас, давайте, пока есть время, полистаю.

Игорь Львович, смущаясь и пряча от других, подал ей какие-то распечатанные листочки с картинками. Надя спокойно их взяла, попрощалась и повернулась, чтобы идти к своей палате. И тут она увидела стоящего в дверях отделения Соснина. Он молча наблюдал ее сцену прощания с Коником. Они встретились с ним глазами. Буря мыслей и чувств поднялась откуда-то изнутри и захлестнула ее от пят до самой головы: «Это из-за него. Он не хотел ребенка. Он не любит меня... А я... как я его люблю...» И он угадал ее смятение, отразившееся во взгляде, посмотрел на Коника, опасливо пробиравшегося к дверям навстречу ему, усмехнулся: слишком слаб и ничтожен этот музыкантишка был в его представлении рядом с этой необыкновенной женщиной, – неужели она могла его предпочесть?.. Надя зашла в палату, Соснин повернулся и резко пошел к выходу, Коник достал из кармана чистейший платочек и приложил ко лбу промокнуть выступивший пот.

В палате Надя рассеянно посмотрела на листочки Коники, прочитала на титульном листе «Камасутра», название ей ни о чем не говорило. «Ушел. Видел меня и ушел... Пусть идет. Это из-за него», – думала о своем и от обиды

не могла снизойти до того, чтобы осознать, что Соснин ведь ничего не знает, что он-то сейчас ее видел с Конином, что у него свои мысли и своя обида. Скользнула взглядом по листочкам, механически перевернутым за эти секунды, и... ужаснулась. На нечетко пропечатанных картинках, напоминающих барельефы, были изображены примитивные рисунки соития людей в разных позах. «Что это? – заколотилось в висках у Надежды, – что он мне подсунул? Гад! Скотина!» Она с омерзением отодвинула от себя всю пачку распечаток, затолкала в тумбочку, чтобы никто не видел, и еще часа два вся внутренне клокотала от возмущения.

После больницы Надежда Луговая изменилась. Как будто ушла в себя. Присмирела, что ли. Реже стала по вечерам ходить на собрания «Альтернативы», реже писала критические материалы. С Сосниным не встречалась. Он тоже не звонил. «Ну и все, – успокаивала она себя, – ну и все на этом. У него семья, у меня тоже». Меньше теперь волновалась она и о судьбе народа, по-прежнему пьяном и оголтелом в революционном экстазе. Иногда ей звонил Баритон и приглашал на встречу в гостиницу, она приходила, и, как всегда говорила одно и то же, что она ничего особенного не слышала. И пересказывала то, что написала в своих материалах, и что уже обсудилось народом на всех остановках. Юрий Васильевич руки ей не выкручивал, мимоходом спрашивал о том, как прошел очередной разбор полетов ее материала в горкоме или исполкоме. Она отвечала. Про горком – пожалуйста. Партия – наш рулевой. Хотя руль в руках партии после девятнадцатой партийной конференции, прошедшей в Москве в восемьдесят восьмом году, явно дрожал. Конференция, начавшаяся вопросом генерального секретаря КПСС: «Как углубить и сделать необратимой революционную перестройку?», завершилась скандалом среди членов политбюро, что развязало руки критикам партии власти. К девяностому году социальная лодка уже моталась из стороны в сторону, а после череды демократических выборов в местных советах появилось

много депутатов-демократов. В Кременске городской совет возглавил Игорь Коник и, упиваясь властью, теперь уже масляными глазками смотрел на свою новую молодую помощницу. Луговая ему очень нравилась, слов нет, но после того, как она ему брезгливо вернула древнеиндийский трактат, видимо, ничего в нем не поняв, он оценил свои шансы в отношении нее как не очень высокие. К тому же Надежду абсолютно не волновал олимп власти, и в этом их интересы не совпадали. В девяностом она уже почти разочаровалась в демократическом переполохе и подумывала о том, не уйти ли из редакции, ибо обманывать себя и других не могла. А в чем была истина – она теперь не понимала. Но в то же время Надя не могла себя представить без газеты. И вне редакции.

Она думала, мучилась, сомневалась. Редактор косился на нее:

- Луговая, ты что задумала на этот раз?
- Как раз ничего, – без энтузиазма отвечала Надежда.
- Вот это мне и не нравится, – хмурился шеф.

Ее невыношенные планы расстроила случайная встреча. Пожилой человек сам пришел в редакцию. Спросил Луговую и, судя по всему, надолго расположился в ее кабинете. Он снял пальто. Достал из портфеля кипу пронумерованных папок, в которых аккуратно были сложены финансовые документы.

– Надежда Николаевна, вы знаете, что Гринин рвется на должность председателя горисполкома? Так вот, мы с вами этого не должны допустить. Этот человек – преступник, а преступник не должен управлять городом. Не имеет права! – повысил голос человек.

Честно сказать, Надежду Гринин уже не волновал. И она попыталась об этом сказать незнакомцу. Но он был настроен категорично. Оказалось, что Мират Миратович Казыкенов, так он представился, в конце семидесятых годов работал главным бухгалтером лесопромышленного комбината, а возглавлял в то время предприятие не кто иной, как Гринин.

– Это все подлинные документы приписок и финансовых нарушений, которыми занимался Гринин. Я пытался с ним бороться. Тщетно. Тогда стал подписывать документы, но четко отслеживал бумаги, где проходили приписки, а после увольнения с комбината забрал их с собой. Приписки, воровство – это полбеды, все недостатки он вешал на конкретных людей и отправлял их в тюрьму. Двое там умерли по непонятным причинам. Я писал в министерство, в обком – писал везде. А он откупался. Посмотрите, вот подлинный приказ, по которому его в начале восьмидесятых, наконец-то, сняли с должности, завели на него уголовное дело. Должны были посадить. Но вместо этого он занял должность заместителя председателя исполкома, и дело было прекращено. Все эти годы он рвался в председатели. Но уголовное дело его преследовало. Сейчас решился, не удивлюсь, если дело из прокуратуры пропало.

– Что вы от меня хотите? – без энтузиазма спросила Надежда.

– Вы должны об этом написать, кроме вас, никто не напишет. Я оставлю вам все документы.

– Я подумаю, – неуверенно сказала журналистка, встала из-за стола и подошла к окну, будто там пыталась найти ответ на вопрос: «Зачем ей это надо?», и почему-то четко увидела перед собой Гринина с пустым рукавом вместо правой руки.

Посетитель за ее спиной надевал пальто. Она это чувствовала по его движениям.

– Я откланиваюсь, Надежда Николаевна. У меня есть связи в разных инстанциях. И я располагаю информацией. Гринин хочет снять с должности Соснина и поставить туда своего человека. Лес ему нужен, чтобы выгодно продавать. Он это умеет делать. И умеет загребать деньги одной рукой так, как другие не умеют этого делать двумя руками. Кстати, руку он в молодости потерял по пьянке. До свидания, – посетитель поклонился ей, надел шляпу и вышел.

Все остальное он мог бы и не говорить, ей достаточно было услышать только «Гринин хочет снять с должности

Соснина», чтобы тут же принять решение: она, конечно, об этом напишет. Зазвонил телефон, она подняла трубку и услышала голос Баритона, он просил о встрече сегодня, это было неожиданно. Они встречались недавно. Надежда отпросилась у редактора сбежать в магазин и пошла в гостиницу. Юрий Васильевич спросил тут же и прямо, почему она перестала писать о лесопромышленном комбинате? Не хотела бы она взять интервью у начальника отдела сбыта? Она не поняла, зачем. И тогда он заговорил с ней открыто, как, наверное, не должен был говорить.

– Есть информация, что Соснина хотят подставить именно по линии сбыта, завести уголовное дело и снять с работы.

– А, если не интервью, а корреспонденцию, устроит? – спросила жестко Луговая, явно что-то решив в этот момент.

– Это ваше право, – ответил Баритон.

У нее была одна творческая особенность. Она никогда, против всех правил журналистики, не могла придумать заголовок, начиная писать материал, всегда – потом, когда уже все было написано. А сейчас, заправляя в пишущую машинку листок желтоватой бумаги, на которой они печатали оригиналы, она набила заголовок «А судьи кто?..» В основу корреспонденции лег приказ и пара других финансовых документов, оставленных ей Мират Миратовичем. Она писала, не отвлекаясь на телефонные звонки, на разговоры с коллегами, не поднимала глаз, когда кто-то пытался дернуть плотно прикрытую дверь. Донесли редактору. Он пришел, посмотрел на Луговую. Она сказала: «Завтра», и он всем запретил ее трогать.

К вечеру она вывела последний напечатанный лист. Вычитала корреспонденцию. И решительно набрала номер телефона. Услышав в трубке знакомый каждой ноткой голос, чуть волнуясь, сказала:

– Павел Алексеевич, добрый вечер! Я должна с вами встретиться.

Он будто ждал:

– Я пришлю сейчас машину.

В ноябре темнеет рано. Она вошла в приемную, секретарши уже не было. Свет приглушен. Глубоко вздохнула и дернула дверь его кабинета. Он встал навстречу из-за стола, в большом кабинете горела только настольная лампа. Подошел близко, обнял, прижал к себе, и Надежда замерла в этих объятиях. Сомнения и апатия последних месяцев отступали и рассеивались в полумраке. Он нашел ее губы и крепко прижался к ним своими губами. Она первая вспомнила об осторожности, стала отстраняться, он держал, не выпуская.

– У меня есть дело, – проговорила, ощущая, как он целует ей глаза.

– Не хочу никаких дел, – простонал Соснин.

– Надо. Очень надо.

Он разомкнул руки:

– Как глупо, как глупо было целый месяц не видеть тебя.

– Павел Алексеевич, дорогой! – она окончательно высвободилась, достала из сумки напечатанные листы и подавала ему.

– Прочитайте. Я подожду. Надо завтра ставить в газету. Вы должны быть в курсе.

– Чай будешь?

– Я сама налью. Читайте.

Он опустил в свое кресло, положил листы под свет лампы. Надя налила из термоса горячего чая и устроилась на свое любимое место у окна. За окном падал снег. Целый снежный рой резвился в свете уличного фонаря, установленного у конторы комбината. Дальше по улице было темно. По мере того, как Соснин читал корреспонденцию, лицо его менялось. Дочитав до конца, он встал, взял сигарету, прищурил глаза:

– Ты не опубликуешь это! Не надо! Они ни перед чем не остановятся, я не могу так рисковать тобой.

– Павел Алексеевич, они хотят вас подвести под уголовное дело, снять с должности! Обнародовать эти документы – это единственный шанс защитить вас!

– Ты не понимаешь, что это произведет эффект разорвавшейся бомбы. А что будет с тобой?

- Надеюсь, ничего.
- Подумай, еще есть ночь.
- Я уже подумала. И потому я здесь.

И все же, став на защиту любимого человека, Надежда не представляла, к чему приведет ее публикация, чем обернется для нее лично и ее семьи, для города и его жителей. Она оставалась максималисткой, плохо понимающей, что такое стремление к власти, к наживе, к утверждению одного человека над всеми остальными людьми, в его понимании – недочеловеками. В этой борьбе, в которую она ринулась по собственной воле, она оставалась той маленькой девочкой, которая верила в светлое будущее и хотела построить справедливость как в отдельно взятом провинциальном городе, так и во всей стране. Да и что такое двадцать пять лет от роду, разве можно в таком возрасте, не имея жизненного опыта и обладая такой наивностью, которая была присуща Луговой, бросаться в такую пучину? Она боролась. И завтра будет брошен жребий.

А ночью она видела сон. Что безмятежно сидит на диване в комнате своей квартиры, светлой и чисто убранной, как она и любила, и вдруг в окно, что напротив дивана, в которое она наблюдала бег облаков, влетает черный ворон с одним крылом и злым-презлым взглядом человеческих глаз! Ворон с остервенением начинает кружиться над головой Надежды, а она в диком страхе от него отмахиваться. О, как страшно было ей, как страшно! И ворон победил – одним крылом отбросил ее руки и впился когтями прямо ей в череп. Это был настоящий ужас! И вся похолодевшая от этого ужаса она проснулась. Долго приходила в себя. Голову разрывала дикая боль, тяжелые руки не поднимались, сознание путалось. Она реально чувствовала впившиеся в голову когти страшной птицы и ощущала липкую кровь на ранах. С трудом поднялась, подошла к зеркалу, чтобы проверить свои ощущения. И не узнала отразившееся лицо, это была не она. Ей бы, увидев будущее, задуматься, остановиться. Но она была слишком молода, наивна и безрассудно отчаянна.

Редактор содрогнулся, прочитав материал. А потом медленно, но внятно сказал:

– Молодец, Луговая! Эта публикация еще больше поднимет рейтинг нашей газеты, – откуда-то он выкопал новое слово. – И пусть только потом попробуют меня снять с этой должности. Не бойся! Прорвемся!

– А я и не боюсь, – спокойно ответила Надежда.

– Что-то ты сегодня того, плохо выглядишь. Может быть, домой пойдешь.

– Нет, я лучше останусь, – как-то тихо сказала Надя.

На следующий день Кременск погрузился в слепую тишину. Газету читали в магазинах, на автобусных остановках, в цехах предприятий, в школах, на почте, где покупали свежие номера и тут же раскрывали на третьей странице. Прочитав, быстро закрывали обратно, и молча, не поднимая глаз, старались ту же скрыться, не показываясь другим и ничего не обсуждая. Город был оглушен вывернутой наружу правдой, от которой всем было стыдно и страшно. С этой правдой всем миром «переспали», как с бедой, которую надо пережить хотя бы одну ночь, чтобы опомниться от шока. Загладели, зашумели через день. И этот возмущенный галдеж спровоцировал сам однокрылый ворон. Перед тем, как выйти из дома на работу, Надежда услышала звонок домашнего телефона. Наспех подняла трубку и услышала брызжущий слюной, в этом она не сомневалась, остервенелый голос Гринина:

– Слушай меня, сука! Слушай меня, проклятая дрянь. Я даю тебе на выбор два варианта: стать на площади предо мной на колени и просить прилюдно прощения или повеситься на березе в парке. А третий вариант без выбора – я повешу тебя сам. Лично! А потом четвертую твоего малолетнего гаденыша. На раздумье тебе даю одну ночь...

Потом был щелчок, и в трубке, задыхаясь от страха, прерывисто запищал зуммер. Надежда почувствовала, как в голову, пронзая череп, впиваются страшные когти. Она отпустила трубку, которая, будто сильнее пища, повисла на гофрированном проводе, и обхватила голову руками. Ког-

ти, пронзив череп, достали до мозга и царапали серое вещество. Сколько времени она так просидела, обхватив голову, Надежда не помнила, но вдруг сквозь дикую боль до ее серого вещества пробилась одна единственная фраза: «четвертую твоего малолетнего гаденьша». Она поднялась, охватившая ее тревога за сына была сильнее боли. Надежда вышла из дома и направилась в детский сад, куда уже отвела ребенка. Воспитательница удивилась, увидев ее снова, но тут же встревожилась:

- Что с вами, Надежда Николаевна? Вам плохо?
 - Пожалуйста, не выводите Сашу на прогулку. Пожалуйста, очень вас прошу.
 - Ну хорошо, – ничего не понимая, ответила воспитательница.
 - И присматривайте за ним сегодня. Хорошо присматривайте.
 - Да мы хорошо смотрим за детьми.
- Надежда повернулась и пошла.

В редакции царило оживление. Редактор потирал руки:

– Молодец, Луговая! В горкоме партии – шок. Народ звонит, требует дальнейшего разоблачения и отставки Гринина! А ты где-то ходишь.

Она прошла к себе в кабинет и не знала, что делать дальше. Будто почувствовав ее состояние, в дверях тут же показался Соснин, и она не в силах больше сдерживать свой страх, бросилась к нему. Он прижал ее к себе и почему-то гладил по голове, как маленького ребенка.

– Что-то стряслось, да? Он звонил тебе?

И она, шепча, будто боясь, что ее кто-то подслушает, рассказала ему об утреннем звонке.

– Павел Алексеевич, он ведь не тронет Сашу? – с надеждой посмотрела она на Соснина.

Он отстранился, подошел к окну, открыл форточку и закурил. Прищурил глаза, посмотрел сквозь стекло. Затянулся, поискал глазами пепельницу, не найдя, затушил сигарету в спичечном коробке и, решив что-то про себя,

подошел к телефону. Набрал междугородный номер и заговорил:

– Иван Васильевич, день добрый! Не хотел вас тревожить, но возникла необходимость.

И Соснин изложил всю ситуацию неизвестному собеседнику.

– Что посоветуете?

Надя сидела за своим столом и с надеждой смотрела на Соснина.

Закончив разговор, он ей приказал:

– Одевайся, поедем в прокуратуру.

Они вышли из редакции, сели в машину, Соснин был без водителя, и они могли говорить откровенно.

– Я говорил с юристом в министерстве. Он посоветовал обязательно написать заявление в прокуратуру. И обязательно его зарегистрировать.

– Они там все повязаны, – болезненно проговорила Надежда.

– Это понятно, но бумаге должен быть дан ход. Пока она будет ходить, никто тебя не тронет.

Оказалось, что прокурор уже несколько дней в отъезде. И это было хорошей новостью. Его заместитель – молодой специалист, недавно приехавший в Кременск, еще был не в курсе всех городских взаимосвязей и перипетий, более того, он собирался честно работать. А тут такой случай себя проявить! Он принял у Луговой заявление о шантаже и угрозе жизни, посоветовал подсоединить к телефону записывающее устройство, пообещал вызвать Гринина и предупредить его о том, что если журналистка Луговая даже случайно упадет и сломает ногу, то отвечать за это будет он – Гринин. И пообещал оставаться на связи.

Все так и случилось. Муж наладил записывающее устройство, на следующее утро позвонил Гринин, и Надежда говорила с ним холодным тоном, вынуждая повторить сказанные вчера угрозы. Но он, как бывалый уголовник, почуял засаду и ограничился только требованием встать перед ним на колени и прилюдно просить прощение, а потом напряг-

ся, видимо, магнитофон все-таки давал помеху, грязно выругался и положил трубку.

К вечеру позвонил помощник прокурора и сообщил, что обещание свое выполнил. Гринин ознакомился с заявлением Луговой и вынужден был написать объяснение, что она спутала его с кем-то другим, и что он как коммунист и руководитель города расценивает это как клевету на себя. Однако встречного заявления не написал. Надежда принесла помощнику запись на кассете, он прослушал и с сожалением сообщил, что запись не является юридическим доказательством, к тому же позвонил прокурор и приказал ему ехать на расследование уголовного дела в соседний район. Прокурорский помощник вздохнул:

– А кассету оставьте у себя. На всякий случай.

Так началось противостояние Луговой и Гринина, затянувшееся на два года, в ходе которого прошли и народные митинги, и судебные заседания. Обнародование фактов уголовного прошлого одного из руководителей города вызвало цепную реакцию. Разоблачения посыпались один за другим, инициировал их народ, жаждущий справедливости.

Через два дня после встречи в прокуратуре Надежда подскочила ночью от резкого света, внезапно озарившего их с мужем спальню. Спросонья она ничего не понимала. Комната была освещена как днем, резкая сирена под окном квартиры, расположенной на первом этаже, совсем свела ее с ума. Проснулся ничего не понимающий муж, заплакал сын. А светозвуковая атака в их окна продолжалась. Наконец, они сообразили, что под окнами стоит с мигалкой милицкий уазик и светит фарами им в окна. Надежда стала успокаивать сына. И в это время раздался звонок в двери и голос с лестничной площадки:

– Откройте! Милиция!

Муж открыл. И ему тут же приказали собираться. Надежда, не пуская, вцепилась в него; сын, чувствуя беду, рыдал во весь голос. Надежда с ребенком на руках встала между милиционером и мужем:

– За что? Не трогайте его!

Милиционер смутился. Но все же попросил:

– Отойдите, Надежда Николаевна, ваш муж нарушил общественный порядок. Мы разберемся и отпустим его.

Она упорствовала, сопротивлялась. Но муж, никогда не вмешивавшийся в ее дела, как-то покорно оделся и пошел за милиционером, сказав также смиренно:

– Успокой ребенка. Ложитесь спать.

Будто бы она могла спать дальше. Закутавшись в теплую шаль, чтобы согреться от колотившего ее озноба, Надежда вся вжалась в кресло, которого ей при небольшом росте и стройности фигуры вполне хватало, чтобы ощутить иллюзию защищенности. «Как же так? Что же это такое? Ведь Андрей здесь совсем ни при чем... Что с ним будет? Он совсем не умеет себя защищать. Только бы не били...», – она чувствовала жуткую вину перед мужем, еще не понимая того, что происходит на самом деле.

Она так и не уснула. Только немного забылась в кресле и вздрогнула от звонка, зазвонившего рано утром. Говорил Баритон:

– Надежда Николаевна, перед работой мы должны с вами встретиться на том же месте, – и положил трубку.

«Только его сейчас для счастья не хватало», – подумала Надя и поставила чайник. Перед детским садом позвонила редактору, сказала, что задержится.

– Луговая, с тобой все в порядке? – с тревогой спросил он.

– Почти все, – ответила она подсевшим за ночь голосом.

Баритон молчал. Выбивал пальцами рук на гостиничной тумбочке дробь. Надежда, уже научившаяся общаться с ним, была в недоумении от этого молчания. Честно сказать, ей и не хотелось напрягаться по поводу Баритона, она думала, как ей узнать что-то о муже.

– Надежда Николаевна, вы совершили поступок, за который достойны большого уважения. Но дальше я прошу вас действовать без художественной самодеятельности и строго выполнять мои указания. Вытащить вашего мужа я не смогу, но его никто не тронет. Иначе мы спугнем Гринина, которого уже разрабатываем несколько лет. Мы раз-

рабатываем, а вы одним махом раскрыли все карты. Андрей находится в камере милицейского изолятора. Скорее всего, его сегодня поведут в суд и присудят штраф или пятнадцать суток исправительных работ.

– За что? – выдохнула Надежда.

– Найдут за что. Способ психологического давления на вас. Прошу вас, вернее приказываю никуда из города не уезжать. Ни в какие командировки, поселки, лесные бригады. Никуда! Слышите меня?!. Лучше возьмите больничный. С вашим сердцем это не проблема. И сидите дома вместе с ребенком.

– Ну это... значит проявить трусость, – подняла она взгляд на Баритона.

Он усмехнулся:

– После того, что вы сделали, вам можно проявлять трусость до конца своих долгих дней. Сейчас уступите дорогу другим. Вы сделали слишком много. И позвольте мне вас защитить, – помолчал, – мы с вами теперь долго не увидимся. Сегодня после пятнадцати часов зайдете в милицию во второй кабинет, там узнаете все о муже, можете передать сигареты и что-нибудь поесть. Там вам скажут, как действовать дальше. Не бойтесь человека, который встретит вас, он поможет. А прямо сейчас идите на прием к своему кардиологу и берите больничный.

Надя не узнавала Баритона. Он был серьезен, как никогда. А потому она сделала все, как он ей велел. Кардиолог без слов выписал больничный, а назначив лечение, многозначительно заметил:

– Не жалеете вы себя, Надежда Николаевна.

На втором кабинете милиции она прочитала табличку: «Заместитель начальника милиции подполковник Коршунов Г. М». Постучала. Вошла. Комната ей показалась слишком мрачной, и в этом мраке она не сразу заметила достаточно молодого и хорошо сложенного подполковника. Он стоял у окна. Обернулся. Посмотрел на нее внимательно:

– Хорошо держитесь, Надежда Николаевна.

Она молчала.

– Садитесь! – и он стал наливать ей чай. Протянул подстаканник, поставил на стол вазочку с конфетами – дефицитными «Мишка на севере», – угощайтесь.

Она села и сразу же, почувствовав, что устала и хочет пить, осторожно сделала глоток, второй.

Подполковник пристально смотрел на нее.

– Какая же вы маленькая, хрупкая.

– Что с моим мужем? – спросила она.

– Кстати, зовут меня Геннадий Михайлович. Нам придется с вами встречаться, поэтому лучше знать, как зовут друг друга. Ваш муж относительно в порядке. Он пробудет у нас пятнадцать суток, а потом вернется домой. Не беспокойтесь, его не будут бить, не будут унижать. Это я вам обещаю. К сожалению, большего сделать не могу.

– И на этом спасибо. Я принесла сигареты, сыр, повезло, «выкинули» в магазине, и батон. Можно ему передать?

– Да. Он все получит. Вы оформили больничный?

– Оформила. Только это как-то нечестно.

– Вы откуда такая взялись в этом диком краю? Вам приказано пока оставаться дома. Вот и оставайтесь. Вместе с сыном. Дня через два я вам позвоню. За мужа не переживайте. Я обещаю, он будет в порядке, – взял ее руку, чтобы проститься, задержал в своей, как-то неопределенно проговорил, – вот, значит, вы какая, а по публикациям можно подумать, что всесильный монстр, – улыбнулся, – а теперь идите.

Соснин приехал к ней домой без предупреждения. Он все уже знал. В принципе, все, что случилось у Луговой ночью в квартире, знал уже весь город. В Кременске, где было тридцать тысяч жителей и в каждую семью приходила газета «Лесная правда», секретов не было и быть не могло. Каким-то образом самой первой о беде узнала Алина, что, собственно, тоже неудивительно, а если знала она, то знала вся вселенная. И эта вселенная была ею закручена так, что в этот же день в редакцию стали приходиться письма поддержки Луговой. Письма приходили как от простых граждан, так от целых коллективов предприятий.

Соснин курил у форточки. Надя ежилась, кутаясь в шаль. Ей было как-то неловко от того, что Андрей сидит сейчас где-то в камере, а Соснин курит на их с Андреем совместной кухне. Соснин почувствовал неловкость ситуации, но в гораздо большей степени он чувствовал себя виноватым и перед Надей, и перед ее мужем, корил себя, что не остановил ее с материалом. Но даже он со своим опытом в одной из самых беспросветных и тяжелых сфер промышленности не представлял, на что способен честный коммунист и заместитель председателя горисполкома Гринин.

– Вы идите, Павел Алексеевич, вам надо работать, – тихо, но настойчиво произнесла Надя. – А мне нужно Сашу забрать из детского сада.

– Я тебя довезу. И привезу вас обратно.

– Нет, не надо. Мы сами.

– Надя, прости меня, ради Бога. Я должен был...

– Вы ничего не должны, – перебила она. – Пойдемте, я беспокоюсь за ребенка.

Вечером телефон в ее квартире не замолкал. Алина собирала митинг. «Альтернатива» собралась в полном составе. Пришел даже Коник, давно не появляющийся здесь. Правда, он говорил немного. А потом и вовсе проговорился:

– Мне, как председателю городского совета, теперь не очень удобно участвовать в митинге...

– Ах, вот как! – поднялась Алина. – Добрался до кормушки и забыл Надежду, а кто тебя к этой кормушке подвел?

– Алина, выбирай выражения! – достал платок из кармана Коник и приложил к потному лбу. – Надо проблемы решать цивилизованным путем, я за гласность и демократию, но цивилизованным путем.

– Так, цивилизованный путь, оставь нас, закрой дверь с обратной стороны! – встала буквой «Ф» Алина.

А потом, ночью, она с самыми верными соратниками готовила транспаранты. На красной революционной ткани зубным порошком выводила «Руки прочь от Луговой!», «Свободу слова „Лесной правде“!» На следующий день, при-

шедшийся на субботу, на центральной площади города развернулся стихийный митинг, на самом деле продуманный ночью оппозицией. Надежда Луговая тоже в нем участвовала. Алина пригласила ее на возвышение, воздвигнутое по ее приказу рабочими мужицкими руками. И с этого пьедестала Луговая, видя перед собой только черное людское море в очередной раз, чеканя слова, подтвердила все, что написала в газете, и призвала всех вместе бороться против такой власти, которая дискредитировала себя не только взятками, воровством, подлогом, но и убийствами людей. А потом рассказала, как представители той же власти в лице милиции вчера ночью увезли ее мужа.

– Так это же тридцать седьмой год! – закричали в толпе, что послужило поводом к череде выступлений, направленных против обоих секретарей горкома партии и председателя исполкома, прокурора и судей.

Вечером ей позвонил подполковник Коршунов.

– Надежда Николаевна, ваше дело живет и побеждает. Но хочу вас предупредить: Гринин что-то задумал, ездил в область, встречался с одним из самых опытных и дорогих адвокатов. Значит, пойдет ва-банк. Пока лечитесь и берегите себя. С Андреем все в порядке. Просил передать привет.



«Привет» – как ей мужу смотреть в глаза? Как жить дальше после всего, что случилось в их жизни? Горькое чувство вины, словно яд, брошенный в вино, отравляло ей ощущение свободного полета, испытанного сегодня на митинге, и адреналин, мобилирующий весь организм для противостояния угрозе, толкал ее к дальнейшему наступлению.

А наступать пришлось еще долго. Адвокат Гринина нашел в корреспонденции Луговой слабую зацепку для судебного разбирательства. И Гринин подал иск против газеты и лично автора корреспонденции о защите чести и достоинства. И началось длительное бодание двух антагонистических сторон. Редактор «Лесной правды» быстро сдулся в этой ситуации, доверив Луговой выступать в суде от имени газеты и себя лично. Городской суд, полностью подчиненный исполкому и не имевший подобного прецедента в судебной практике, не знал, как вести процесс. Надежда приходила на заседания с толстенным «Словарем Ожегова» и объясняла судье значения написанных ею в корреспонденции слов, ссылаясь на то, что в словаре они не помечены как жаргонизмы, следовательно, не могут быть расценены как оскорбительные. Судья терялась и объявляла перерыв.

Баритон действительно пропал. Зато подполковник Коршунов усилил свое шефство над журналисткой и давал ей верные подсказки для дальнейших судебных тяжб. Иногда эти подсказки разрушали планы судьи, и она опять объявляла перерыв. Кременск бурлил. Письма потоком шли в редакцию. Людей, обиженных Грининым, с каждым днем становилось все больше и больше. И они с жадным нетерпением мечтали с ним расправиться. Луговая с каждого судебного заседания давала полный отчет в газете, и после каждой такой публикации Гринин заявлял на суде об очередном оскорблении. И конца и края этому противостоянию не виделось.

После возвращения из изолятора Андрей стал пить, а однажды собрал вещи и ушел из дома. Объяснил просто, что жить так больше не может, что борьба за всеобщую справедливость его не прельщает и что он встретил женщину, которая лишена революционных маний, а потому с ней

можно будет жить по-человечески. Расстались, на первый взгляд, без боли. Но Надежду обидело, что она – не человек, при этом она понимала, что и мужу есть, за что обижаться на нее, к тому же в воздухе повис вопрос с сыном. Андрей обещал его навещать и помогать.

Вот и все. Дверь закрылась. Семьи больше нет.

Соснин, наоборот, сходил по Луговой с ума и не переставал восхищаться ее смелостью и умом. Он не мог отвечать на суде вместо нее и от этого страдал. Спустя полтора года заседания перешли на областной уровень. За Луговую вступился Союз журналистов, Гринин тоже еще не все исчерпал ресурсы. Соснин подключил юристов из главка и министерства, они пообещали Надежде встречу с председателем областного суда. И обещание выполнили.

В назначенный час она вошла в указанный ей кабинет. В нем было темно. Она с трудом разглядела среди тяжелых, опущенных штор, книжных шкафов из красного дерева, таких же столов и столиков, кожаной мебели статного, седовласого человека, красивого и достойного, но мало похожего на человека из реальной жизни. Он не предложил ей сесть, тем самым давая понять, что аудиенция будет короткой.

– Я ничем не могу вам помочь. У Гринина сильные связи. Вы можете помочь себе только сама. Пишите! Пишите о каждом заседании, как это делаете и теперь. Гласность – самое страшное оружие. Любое преступление скрывает молчание. Не молчите! И вы победите! Это все, что я могу вам сказать.

И она писала дальше. Чем бы закончилась эта война, если бы не наступил август девяносто первого года, трудно сказать. Но он наступил. И к этому времени Надежда прожила, как ей казалось, не одну жизнь. Честно сказать, ей уже не хотелось строить справедливое общество, слишком много сил уходило на борьбу с ветряными мельницами, слишком разрушающей была сила противодействия.

Соснин, будто играючи, вел внедорожник «тойота», полученный лесопромышленным комбинатом в обмен на экс-

портный пиломатериал, по разбитой лесной дороге, огибающей большое живописное озеро. Он был в пиджаке, светлой рубашке и при галстуке. Надежда Луговая в черном костюме сидела рядом. Они ехали из областного центра, где в очередной раз встречались с юристами, дабы снова отбиваться от Гринина и одновременно на него нападать. Через лес дорога была короче, хоть и хуже, но внедорожнику все равно.

– Поедем к скалам, отдохнем, – предложил Соснин.

– Домой хочется, – глядя в окно, ответила Надежда.

Соснин заметил, что последнее время она избегала с ним встреч наедине. И это его тревожило, волновало, вызывало ревность. Он знал, что ею давно в дальний угол был задвинут борец за демократию Игорь Коник, но тут же на горизонте появился подполковник Коршунов. Конечно, он помогал Надежде, но однажды на одном из расширенных заседаний городского совета, где они сошлись все троем, Соснин заметил, как Коршунов смотрит на его Надюшу, и ему стало все понятно. А Коршунов – это не Коник. Молодой, на редкость умный подполковник, начитанный и разговорчивый, был сильным конкурентом даже ему, к которому, он в это верил, Надежда была привязана всем сердцем.

– Ну, на полчаса, там так красиво, – не отступал Соснин.

– Ну, хорошо, – сдалась она. – Только ненадолго. Павел Алексеевич...

Он не дал ей сказать, перебил:

– Надя, ты всю жизнь будешь звать меня по имени-отчеству?

– Увы, у нас разные жизни, – с грустью произнесла она.

– Не правда, я тебе принадлежу больше, чем кому-либо, а ты мне, – он затормозил у скал. Они вышли, сосновый воздух кружил голову, проникал вглубь, до самых легких. Солнце садилось, заливая тревожным малиновым светом каменную гряду. С одного края она была ниже, огромные валуны лежали равномерными уступами, словно зазывая

подняться вверх. И они стали подниматься. Надежда приподняла юбку, чтобы освободить шаг, Соснин подал ей руку, и они взобрались на самый верх. Перед ними лежала малиновая гладь озера, разбавленная островками белых кувшинок. Невероятная природная красота ставила под сомнение разумность всех человеческих страстей, стремление к господству одних над другими, пожирание друг друга в одной «пищевой цепи», именуемой государственным механизмом. «Чего стоит вся моя канитель перед видом этой кувшинки, подкрашенной заходящим солнцем? Зачем я пытаюсь пробить головой бетонную стену задолго до меня созданной системы, если не имею возможности любоваться этим закатом?» – терзала себя вопросами Надя. Соснин, присев на скалу рядом с ней, молча смотрел на воду. Неожиданно резко встал и заговорил:

– Надя, я тебя очень люблю. Понимаю, что я – подлец, но между нами большая разница в возрасте. Я не могу решиться.

– В том-то и дело, что вы не можете решиться, уже несколько лет не можете, значит, нам пора расстаться. Так не может дольше продолжаться. У меня растет сын, и я не хочу, не могу быть в его глазах недостойной женщиной, – она говорила это спокойно, будто давно все для себя решив.

– Ты хочешь расстаться? – Соснин яростно сверкнул на нее глазами. – Хочешь? Так пожалуйста! – и он в чем был, кинулся в воду. Какое-то мгновение пиджак спиной и двумя руками распростерся на воде, и это все, что она видела с камней. Потом исчез и он.

Надежда страшно закричала. Плавать она не умела. И, разрывая колготки, обдирая ноги, кинулась по каменным ступеням вниз. Она кричала и рыдала, очень четко понимая, что Соснина больше нет. И это «нет» опрокинуло ее в сплошную черноту, потому что жизнь без него не могла продолжаться. Бежать дальше было бесполезно. Она прижалась к камню и затихла. И в этот момент увидела, как из-под основания скалы показалась голова Соснина. Она снова закричала. И он, всплеснув сначала одной рукой, потом – второй, поплыл к берегу. Вышел, шатаясь, с его

одежды ручьями стекала вода. Надежда кинулась к нему, он схватил ее в свои мокрые объятия, и они оба заплакали, как дети – горькими, облегчающими душу слезами. И, словно защищая их от самих себя и внешнего мира, наступивший вечер накрыл их лиловой своей кисеей.

А через несколько дней наступило девятнадцатое августа тысяча девятьсот девяносто первого года. Надежда пришла утром в редакцию и засела за машинку, срочно стуча в номер материал. Ответственный секретарь, ветеран войны и журналистского труда, чей кабинет находился напротив ее, закурил «Беломорканал», тут же открыв форточку, чтобы не навлечь гнев Надежды, и по привычке включил телевизор. Когда Луговая работала, а он ждал со всех кабинетов материалы для верстки, чтобы не терять времени даром, выключив звук, смотрел телевизор.

Здесь, в лесном краю, день начинался раньше, чем в Москве. И все же ветеран насторожился: вместо привычных ежедневных новостей телевизор показывал балет. «Лебединое озеро» в столь ранний час – плохое начало дня. Изображение было неустойчивым, вместо балерины, трагически снующей по сцене, часто экран застилала сплошная рябь, а музыка Петра Ильича Чайковского – предвестник трагедии на советском телевидении – не обещала ничего хорошего.

Наконец, сквозь балет и музыку прорвались новости. Знакомые дикторы с напряженными лицами и как будто бы против своей воли читали текст «Заявления Советского руководства», а руководство уже было не то, что еще вчера вечером. Вернее, фамилии все знакомые, но где же президент СССР? Ветеран напрягся:

– Надежда! – крикнул в кабинет Луговой. – Зови сюда всех, что-то в государстве случилось.

Быстро сбежались журналисты из других отделов.

«...С целью не допустить подписания Союзного договора, который должен был заменить СССР новой федерацией суверенных государств, представители высшего советского руководства во главе с вице-президентом СССР Геннадием

Янаевым отстранили от власти президента СССР Михаила Горбачева и ввели в стране чрезвычайное положение...», – не поднимая глаз, напряженным голосом читала текст диктор.

– Приехали. Государственный переворот, – первым решился сказать вслух то, о чем думали все, ветеран. Остальные молчали. Вошел редактор, который смотрел телевизор в своем кабинете:

– Меня вызывают в горком партии. Возможно, план номера придется менять. Первую и вторую полосы пока не верстайте, – быстро вышел.

Телевизор опять зарябил, а потом балерина снова побежала по сцене. Еще какое-то время все вместе молча сидели, потом стали расходиться по своим кабинетам, главным образом для того, чтобы звонить – родным, друзьям, знакомым, чтобы говорить о случившемся, чтобы в этих разговорах всем миром понять, оценить всю степень опасности или разоблачить глупый шантаж. Потом все покатило, набирая обороты от часа к часу, на все редакционные телефоны беспрестанно звонили жители города, спрашивая, требуя, прося сказать правду о том, что «там случилось в Москве», но в редакции знали не больше встревоженных жителей. Редактор из горкома не возвращался, по телевизору до самого полудня то шел балет, то рябь, то вновь читали «Заявление советского руководства».

Во второй половине дня вернулся редактор, отдал распоряжение:

– Обе полосы, первую и вторую, пока верстаем по плану, возможно, ничего менять не будем.

– Как не будем? – удивился ответсек. – Сделаем вид, что ничего не происходит? У нас телефоны не замолкают.

– Газета – орган горкома партии и исполкома, а они не готовы делать каких-либо заявлений, – уныло сказал редактор.

– Давайте, напишем сами! – выступила Надежда.

– Луговая, тебе мало судов? – обратился к ней редактор. – Тебе вообще лучше помолчать эти дни.

Надежда не знала, куда ей кинуться. Соснин был в отпуске, загорал где-то на морях, впервые позволил себе за последние десять лет. «Очень кстати. Особенно теперь, – подумала Надежда и заволновалась, – а ведь ему возвращаться через Москву, – но тут же себя одернула, – он ведь с семьей, что я переживаю?»

Позвонил Коршунов. Попросил подойти к нему вечером. Она подошла.

– Надя, – он давно сам позволил себе называть ее по имени, – все очень серьезно. Бери сына и уезжай отсюда. В горьком составляют списки... Пока непонятно, смогут ли в Москве предотвратить переворот, информации никакой нет. Если ГКЧП, так называет себя новая власть, смогут победить, за таких как ты, даже в глубинке, возьмутся всерьез. Прошу тебя, уезжай! Сегодня еще успеешь.

Надежда молчала. И он, почувствовав ее сопротивление, резко встал из-за стола, подошел к ней, властно взял за плечи, посмотрел в глаза:

– Ждешь Соснина? Боишься за него? Ты о себе хоть раз подумай, о своем ребенке! – и вдруг рванул ее к себе, прижал к своей крепкой груди, сдавил до боли, – уезжай! Так надо!

Она не пыталась вырваться, ей стало страшно и так хотелось, чтобы кто-то защитил. Коршунов мог. Откуда-то, прямо от его сердца она пробормотала:

– Геннадий Михайлович, я не могу уехать. Не из-за Соснина. Я не могу быть трусом, предателем. Не могу! Я сына отправлю, а сама останусь.

Он поцеловал ее волосы, приподнял пальцами подбородок, еще раз заглянул в глаза:

– Ну что с тобой делать? Тогда обещай, что будешь выполнять все мои указания.

– Конечно, буду.

– С домашнего телефона никому не говори о своих передвижениях: куда пошла, поехала, когда, с кем, во сколько. И вообще, меньше говори по домашнему телефону и только общие фразы. С рабочего также. Все встречи с людьми

проводи только в редакции или в местах большого скопления людей. Нигде не оставайся одна!

Надежда послушно кивала головой.

– Ночью можно попробовать поймать западные радиостанции, их будут глушить, но что-то прорвется. Есть дома какой-нибудь приемник?

– Да, есть. Я все поняла.

– Теперь иди. Я сам буду связываться с тобой. Звони мне только в крайнем случае. По телефону ничего не говори. Я все скажу сам, – он еще раз прижал ее к себе, прижался губами к волосам, – иди.

Надежда шла домой. Ей было страшно. Страшно за страну, за людей, которые только-только начали поднимать головы – в случае победы ГКЧП эти головы снова согнутся, а чьи-то совсем упадут. Она остро чувствовала унижение человеческого достоинства, и сейчас ей казалось невозможным, что тысячи людей снова будут унижены. Ни одна революция или война не обходятся без унижения личности. А значит, революции и войны для нее неприемлемы.

Ночью она пыталась поймать западные радиостанции, их глушили. Но она все равно смогла разобрать, что президент РСФСР Борис Ельцин отказался подчиняться ГКЧП и объявил его действия «антиконституционным переворотом», что в Москве несколько тысяч человек вышли на улицы и стали строить баррикады. Видимо, не одна она слушала ночью приемник. На следующее утро на улицу вышли рабочие с нескольких предприятий Кременска, они держали транспаранты против путчистов и государственного переворота. Первый секретарь горкома лично бегал между ними и пытался вырвать транспаранты из рук. Он обещал держать ситуацию под контролем. Под каким контролем мог держать ситуацию человек, который предусмотрительно заготовил две телеграммы для Москвы: одну на случай победы ГКЧП, другую на случай возвращения президента СССР? Проявил себя со всеми своим потрохами и демократ Игорь Коник, который заготовил два флага – кумачовый и российский триколор на случай неизвестной победы.

В зависимости от просочившихся во властные структуры новостей, возможно, в виде каких-нибудь депеш, он приказывал менять флаг на здании совета. Во второй день флаг меняли несколько раз.

Днем, тщетно ожидая новостей, смотрели по ненавистному телевизору ненавистный балет. Кроме пресс-конференции ГКЧП, где новоиспеченная власть тряслась и заикалась, больше ничего не показывали. Ночью по шипящему приемнику ловили отдельные слова, из которых складывали представление о том, что происходит в столице. Из свистящих звуков Надежда вырвала: «В Москве танки». Вжалась в кресло. И тут же услышала осторожный стук в окно. Сердце заколотилось, во рту все пересохло. Решилась подойти, деревянной рукой чуть-чуть отодвинула штору. Разглядела лицо Коршунова. Открыла дверь. Он был не один. За ним стоял крепкий парень в гражданской одежде.

– Надежда Николаевна, – обратился к ней Коршунов, – у нас сотрудник командировочный, а мест в гостинице нет, я знаю, что у вас есть. Поэтому товарищ останется у вас до утра.

Товарищ кивнул и прошел. Надежда обменялась взглядами с Коршуновым и не стала возражать. Когда он ушел, хотела постелить товарищу на диване, но тот отрицательно покачал головой. Опустился в кресло и мягко приказал:

– Я посижу здесь, а вы идите спать.

Устав от всех треволнений, она легла рядом с сыном и неожиданно крепко уснула. Когда проснулась утром от звонка будильника, товарища в кресле не было и вообще в квартире. Дверь была захлопнута на замок. Надежда засомневалась в себе, а был ли товарищ?

По пути в редакцию присмотрелась к зданию совета: какой флаг сегодня выбросил Конник? Но флага не было. Никакого. Еще через сутки ситуация разрешилась. Народное ополчение, возглавленное Ельциным в Москве, победило. Путч завершился. Президент вернулся. На здании городского совета Кременска бодро развевался триколор.

Шестого января тысяча девятьсот девяносто второго года Надежда Луговая в редакцию не торопилась. В конце декабря девяносто первого она подала заявление об увольнении по собственному желанию. Она решила расстаться с журналистикой – профессией, с которой была связана со школьных лет, когда писала заметки в «Пионерскую правду». Решение далось очень тяжело, как и другое – навсегда оставить Кременск. Они с сыном уезжали в другой город, в другую область, где она пойдет работать в школу и будет учить детей русскому языку и литературе. Сейчас для Надежды эта идея была единственным спасательным кругом и соломинкой, за которую она держалась. Она будет учить детей, перестав поддерживать на страницах газеты ложь и лицемерие. Пережив с большими потерями девяносто первый, она жила надеждами на девяносто второй. И надеялась на то, что, может быть, хоть этот год станет переломным в истории России, как предсказывают разные маги, колдуны и звездочеты. Может быть, через десятилетия в школьных классах по учебникам истории (дай Бог, чтобы они не были такими фальшивыми, как нынешние и те, по которым учили ее) будут разбирать причины и следствия ошибок сегодняшних дней. Может быть... Но пока наступивший год не отличался от предыдущего. Все застыло в тягостном ожидании повышения цен, новую ценовую политику правительство назвало «шоковой терапией». И в связи с ней обещанное изобилие пока не наступило. Надежду, трепетно относившуюся к понятиям языка, пугало и возмущало, что государство так легко в основу своей политики закладывает определение «шоковая». Люди мрачны. В обществе больше уныния и даже паникерства. Хаос. Непонимание надвигающейся катастрофы. На всех уровнях – только предположения, прогнозы и страх.

Журналистика научила Надежду не только писать, журналистика научила ее мыслить, анализировать процессы, сопоставлять факты и явления, выделять главное и от этого главного выстраивать всю логическую цепочку. Журналистика – не профессия, это – образ жизни, что Надежда по-

няла давно, и расставалась не только с редакцией, но и с собой, выпестованной журналистикой, – так она решила, так она думала, так она хотела верить. И к этому ее подвели последние события девяносто первого.

После карусели флагов на здании совета она не могла больше доверять народным демократам; после референдума в пользу СССР, где большинство проголосовало «за», а СССР не стало, она не могла больше верить государству, а значит, представлять его политику в газете и обманывать народ. В народе Надежда тоже сомневалась. А поэтому при таком всеобъемлющем сомнении она уж точно не имела морального права работать в газете. Так она считала и ни секунду в этом не сомневалась.

Спустя две недели после путча Коршунов как-то вечером приехал к Надежде домой. Попросил налить чаю. Она налива. Села рядом. Он долго молчал.

– Надя, ты и дальше должна соблюдать осторожность: во время путча в горкоме были составлены списки на уничтожение оппозиционеров, ты была в списке второй. В ту ночь, когда у тебя ночевал наш товарищ, Юрий Васильевич прикрывал тебя и еще нескольких человек в четко проработанной операции. Сегодня он... погиб. Убит.

– Господи! – Надя сжала голову, в которую тут же сверху впились когти ворона. – Зачем же так? Зачем живых людей?..

Коршунов обнял ее, и они так долго сидели. Молча.

Поэтому, когда она сообщила ему о своем решении покинуть Кременск, он согласился и пообещал: «Я тебя все равно найду».

В октябре в автокатастрофе погиб ее бывший муж, что было ею тяжело пережито, и она чувствовала себя виноватой в смерти Андрея: если бы они не разошлись, он был бы жив – почему-то она в этом была уверена.

Соснин до сих пор сходил с ума. Не пускал, просил, умолял, обещал уйти к ней, но напрасно бился о ее решительность, ему ли было не знать ее характера. И не важно, что при этом у нее не только болело сердце, но и другая боль

разливалась внутри всего тела от мысли, что она больше его никогда не увидит.

Однажды, не выдержав этой не женской упертости, не помня себя, ударил ее по лицу, потом просил прощения, неистово зацеловывая разбитые губы. Не пускал! Но не удержал – она уехала.

После ее отъезда Павел Алексеевич, казалось, мужик недюжинной крепости, сломался. Стал пить, а вскоре оставил семью и тоже уехал из Кременска. Говорят, где-то возглавлял другой комбинат, якобы жил с какой-то женщиной, лет через пять снова вернулся в Кременск – потрепанный жизнью, растерянный, одинокий. Лена его приняла обратно, и они почти все время пропадали в своем саду, за городом, вдали от людских глаз, пока он не заболел.

Соснин обрадовался, что пожар перестал его жечь. В лесу стало прохладно. Он шел мимо рябин, гроздь которых были припорошены снегом, откуда-то доносилась мелодия и слова песни «Не веселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая, Ты и песнь моя обручальная...» Он обрадовался, что сейчас увидит Надю. Сорвал гроздь рябины, попробовал ягоды – холодновато-сладкие. «И звезда ты моя сумасшедшая...», – счастливо позвал: «Надя...», последний раз вздрогнул и утих навсегда.

ИНИЦИАЦИЯ

Анатолий Смирнов не подходил девяностым. И девяностые не подходили ему, как пиджак с чужого плеча. Он хотел бы чувствовать себя так, как в восьмидесятых – уютно и привычно, как в своей родительской семье. Известно, что родителей не выбирают. Он тоже не выбирал, ему просто с ними повезло – умные, интеллигентные, обеспечившие своим детям правильное воспитание, которое обещало им успешное будущее. И дети не подвели. Анатолий и его брат окончили школу с золотой медалью. Поступили в политехнический институт, чтобы, как и отец, получить инженерную специальность и работать на заводе. И это было правильно, и это было достойно. Анатолий вообще был правильный. В детстве много читал, рос послушным ребенком, а в школьные годы вполне оправдывал девиз «Пионер – всем ребятам пример!» Девяностые пионеру Смирнову казались невозможной радостной мечтой, ведь, когда он пошел в первый класс, человек еще только впервые полетел в космос. А Толя космос любил. И тоже хотел стать космонавтом, но мама ему говорила, что для космоса у него слабое здоровье, а папа предложил стать инженером и работать на космос. Толя согласился, хотя не очень понял, как это – «работать на космос». Но он верил отцу и считал, что его предложение открывает перед ним дорогу к звездам, как и к светлому будущему, то есть – коммунизму, о чем ему тоже без конца твердил отец-коммунист.

Толя в словах отца не сомневался и последовательно шел к осуществлению своей мечты. Окончил институт с красным дипломом, и его тут же пригласили работать в Проблемную лабораторию материаловедения. И не просто так пригласили. А лично парторг, пообещав, что на открывшу-

юся по разнарядке вакансию примет его в партию, а заодно он может смело поступать в аспирантуру. И Анатолий этот вопрос не обсуждал, его папа – главный в жизни авторитет – был насквозь партийным человеком, не фанатичным, но коммунистом, свято верившим в советскую систему ценностей.

И Толя Смирнов начал работать младшим научным сотрудником, поступил в аспирантуру, но с диссертацией не заладилось, тема оказалась надуманной, высосанной из пальца. Кто уж был в том виноват: недодумавший чего-то руководитель или он сам – молодой и зеленый, разбираться не стал, как и не стал менять тему. У него была молодая семья, маленький ребенок. Семью надо содержать. А тут партия кинула клич – осваивать новую технологию на оборонном заводе, где большую часть жизни проработал его отец, но к тому времени по состоянию здоровья его оставил, и кому как не сыну, Анатолию Смирнову, шагать дальше по его стопам?

После месячной проверки КГБ на тот предмет, можно ли доверить ему работу на секретном заводе, – доверили. И работа началась с «накрытия поляны». Водку, конечно, через проходную было не пронести, охрана строго блюла и шмонала, но зато на самом заводе спирт тек рекой. Его настаивали на всем, что можно было употреблять внутрь. Это был самый явный и загадочный парадокс всех закрытых предприятий, и бороться с ним в советское время не представлялось возможным. Методов таких система не знала. В общем, Смирнов влился в дружеский коллектив экспериментального цеха, где многие были выпускниками его же кафедры. И работать ему нравилось: закупать новейшее оборудование, ездить по всей стране, изучать технологические процессы. Дальше – больше. Назначили Смирнова разработчиком технологических инструкций, вскоре дошел он и до отраслевых стандартов. А в деле оборонном, где создавались элементы ядерного оружия, энергетических установок, космических комплекующих, ответственность за подпись неимоверно высока. А потому никто ее

просто так на документе не поставит, пока пятнадцать раз не проверит, что за эту подпись его не посадят. Система была отлажена со времен Лаврентия Павловича, главного гэбиста страны, к тому времени уж тридцать лет как почившего, а созданная им система по-прежнему сбоев не давала. И дать не могла. Во главе первого отдела завода стоял полковник КГБ, бывший начальник лагеря, жесткий службист и страшный матерщинник, державший всех в страхе, ибо для него система не умерла, и он рьяно ее охранял.

Смирнова в первые же месяцы на заводе избрали комсоргом большого коллектива экспериментаторов, вскоре продвинули по общественной работе и выбрали председателем цехкома, в функции которого входил дележ квартир, машин, колес, всех остальных дефицитных благ. И он делил, не выделив себе даже авторучки: порядочность, привитая родителями, не позволяла. Ничего себе не брал и не ездил на пьянки и блядки, которые устраивал комитет на выездных заседаниях, вырвавшись из-за забора на волю. В цехе Смирнов был свой, а эти карьерные люди были ему чужды.

Вот таким он подошел к девяностым годам: ведущим инженером экспериментального цеха сложнейшего производства, примерным семьянином и благодарным сыном своих родителей.

Август девяносто первого он запомнил не только государственным переворотом, случившимся в Москве. Они тогда ждали выхода начальника первого отдела, чтобы получить необходимые установки, но полковник КГБ будто сквозь землю провалился. Ожидание и неизвестность были томительными. Тревога нарастала в самом заводском воздухе. И тогда у Смирнова случилось наваждение. Случается такое с людьми. Будто кино немое перед глазами, образы какие-то. Анатолию мерещилась южная страна, раскаленное солнце, песчаная буря, смуглый мальчик лет восьми на белой простыне и лицо русской женщины, быть может, ровесницы Анатолия. Почему он уверен, что она русская? Этого объяснить он не мог, так же, как и не мог понять, что

это за страна и мальчик. Первое, что пришло в голову – Афганистан, но уверенности не было. Пока он силился догадаться, что это за страна, наваждение исчезло. Совершенно ошарашенный, он пошел к автомату с питьевой водой и залпом выпил два стакана. Потом тупо сидел. Вспоминал мальчика и женщину, но вспомнить не мог. По радио передавали балет Чайковского «Лебединое озеро», он силился ухватить что-то важное, но не мог. Решил вечером все обсудить с женой, с которой всегда и во всем был откровенен.

Но Елена ошарашила не меньше. На его тревожный вопрос: «Ты знаешь о государственном перевороте в Москве?» махнула рукой и выдала:

– Я на рынке сегодня была, продавала детские вещи. Целые залежи остались от Сережки. Пока ты парился на своем заводе, я денег заработала с твоей месячную зарплату.

– Как ты могла? – с негодованием и брезгливостью закричал Смирнов, никогда за пять лет совместной жизни не поднявший голоса на жену. – Ты – ленинская стипендиатка? Ты!..

– Очень просто, плевать я хотела на твои коммунистические принципы, – с вызовом огрызнулась она.

И Смирнов опять почувствовал жар палящего солнца, зыбь песка, увидел, как в зеркале, брошенном на песок, сначала отражаются лица мальчика и женщины, привидевшиеся сегодня днем, а потом исчезают совсем. Вместе с зеркалом, солнцем и песком.

Он попросил у жены чаю, но она считала деньги. Грязные, базарные купюры. Он лег на диван. И, словно защищаясь от денег и жены в новой роли, провалился в сон, немедленный, тяжелый сон, что тоже было для него неестественно.

Спасением для него по-прежнему был завод, где в своем экспериментальном цехе он создавал технологию сверхпрочного и легкого сплава, который будет использоваться в современных космических кораблях. Он делал то, что до него не делал еще никто. Отец бы им гордился, но отец три года

назад ушел навсегда, не только с завода, но и из жизни. Грех так говорить, но все же лучше, что он не застал того, что стало твориться в стране. Как бы он пережил ликвидацию коммунистической партии, да и самой страны? И как бы он пережил то, что его невестка теперь прописалась на базаре? Сам Анатолий со временем примирился с ситуацией. Жена на следующее же утро после государственного переворота, когда они еще не знали, что происходит в стране, обняла его и ласково замурыкала:

– Ну не ерпенься, Толечка, все будет хорошо, – потянула она его за руку в сторону спальни, – а ты почему мне сегодня изменил с диваном? – и заулыбалась, так призывно, так откровенно маняще, что Анатолий тут же открыл забрало. Тоже придумает: «Изменил с диваном. Даже страшно помыслить, что он может ей, своей Еленке, изменить, тем более с диваном», – успел подумать он, валясь сверху на жену.

А у нее дела на рынке пошли что надо. Это он корпел в лаборатории над расчетами да над чертежами, решая сложнейшие технологические задачи. Корпел он над ними и дома. В большой комнате стоял кульман, на котором Толечка до самой ночи чертил на заказ, он-то как раз хорошо умел это делать. Расчеты любого инженерного сооружения поддавались его разуму, да и платили за выполненные чертежи хорошо. Тут же под кульманом играл шестилетний сын Сережка, родителям было не до него. Елена на кухне деньги считала и собирала сумки с новым товаром для базара на завтра, а он горбатился над чертежами. Сережку ему было жалко, и, не выдержав в какой-то момент, он звал к себе сына и собирал с ним конструктор.

Честно говоря, со своим инженерным мышлением Анатолий проморгал тот самый момент, когда у жены появились деньги. Столько денег, что она смогла полноправно включиться в челночное движение. Он оценил ситуацию только тогда, когда она коснулась лично его.

– Толечка, схема проста, – втолковывала ему Елена, – во вторник я уезжаю на поезде в Москву за товаром, в чет-

верг – возвращаюсь. Ты, разумеется, меня встречаешь, на следующий день я раскладываю товар и продаю его. Потом опять наступает вторник, потом – четверг.

– И долго так? – спросил недоуменно Анатолий, – а как же мы с Сережкой?

– Сколько понадобится, – слегка раздражаясь мужниной непонятливости, отрезала Елена. Но быстро спохватилась, – вы же у меня молодцы, настоящие мужчины, справитесь и без мамы, а маме надо денежки ковать, – постучала она кулачком по ладошке, как в детской игре.

Своим энциклопедическим умищем Анатолий понимал, что товар нынче на самом деле есть только в Москве. И Еленка права, а потому делать нечего, надо принимать условия. Отчет еженедельного цикла пошел с того самого вторника, когда он первый раз привез жену на вокзал, и, буквально пробиваясь сквозь нагрянувшую толпу челночников, оккупировавших все вагоны, затолкал ее на подножку уже двигающегося состава. Поезд, покачиваясь, уходил вперед, а он оставался на перроне, как-то беспомощно оглядываясь по сторонам на откатывающуюся толпу провожающих. Вдруг ему по глазам ударил какой-то прожектор или то самое жаркое солнце пустыни, смуглый мальчик приподнялся на белой простыне, а уже знакомое лицо женщины, с какой-то насмешливой улыбкой, будто зная то, чего еще не знает он, растекалось в прожекторе-солнце. Смирнов покачнулся. Кто-то держал его за локоть:

– Мужик, ты чего?

– Все в порядке, – он побрел к своей «копейке», доставшейся в наследство от отца, и почему-то испугался за Сережку, временно оставленного у тещи.

Анатолия слишком правильно воспитали. И это было главным его недостатком. К тому же он любил жену и постоянно чувствовал ответственность за семью. А поэтому безропотно в отсутствии Еленки отводил по утрам Сережку в садик, потом ехал на завод, потом забирал его из садика, готовил на двоих ужин, стирал белье, встречал жену с челночного поезда, что было отдельной песней.

Поезд прибывал поздним вечером. И за час до этого встречающие буквально захватывали весь перрон, стараясь занять место ближе к краю. Поезд был проходящий, стоял недолго, поэтому челнокам надо было успеть выгрузиться со своими баулами и сумками, а встречающим подхватить эти сумки и не перепутать с чужими, так как все сумки были одинаковые – в клеточку. Шили такие специально для челноков, легкие и вместительные, товара в одну сумку можно было напихать тысяч на десять. Смирнов не любил встречать этот поезд. Ему был неприятен оголтелый натиск толпы, матерщина, которая ссыпалась отовсюду, толкотня, боязнь не успеть подхватить выброшенные из тамбура Еленой сумки, а самое неприятное, что ему приходилось испытывать в этот момент, так это каждый раз накатывающее ощущение того, что жена является естественной частью всего этого бардака, и это ее абсолютно не смущает. Из поездок она возвращалась уставшая, разбитая, но ни в чем не сомневающаяся. Честно говоря, Анатолий ждал этого разочарования, ведь тогда бы они зажили прежней жизнью. Но Елена ничуть этого не хотела. Утром она уже сортировала и раскладывала вещи по сумкам, чтобы на следующее утро отправиться на самостийно возникший недалеко от дома рынок. Довольно примитивный: несколько прилавков в виде железных ящиков, покрашенных коричневой краской, стояли в рядок. И было этих рядков сначала один, потом два, три, пять, десять. И для того, чтобы Елена торговала за одним из этих ящиков, разложив на нем товар из своих сумок, надо было в четыре часа утра занять место. И ходил занимать это место-ящик, конечно, Анатолий. Дождавшись жену часам к шести, понаблюдав, как она раскладывает фуфырики одеколону, которых уже дожидались клиенты – алкаши, сгоравшие с похмелья. Деньги у них водились не всегда, а потому взамен вождеденного одеколону совали в руки Елене стянутые из дома часы, серьги, какие-то шкатулки. И жена не брезговала ничем, принимала с намерением продать их или пустить в такой же товарооборот. И как-то все у нее это ловко получалось, в то

время как Анатолий, стыдливо отводя глаза от базарного прилавка, удалялся к своей «копейке», чтобы двигаться на завод и начинать там настоящий рабочий день.

И как он был счастлив этим самым рабочим днем до того самого времени, пока не начал разочаровываться в системе оборонного производства. Все настойчивее зазвучало слово «конверсия». Его произносили на производственных совещаниях руководители, сами не верящие в то, как можно производство, настроенное под определенные технологические задачи, блестяще решаемые в созданных условиях, перевести на выпуск товаров народного потребления. Смирнов помнил, как еще отец ему говорил: «Если речь идет о создании бомбы, то мы ее создадим абсолютно надежной, если потребуется телевизор, то он будет работать сто лет, но стоить он будет дороже автомобиля». Их производство было не серийным, а только рассчитанным на задачи, которые ставила перед ними коммунистическая партия. И, как оказалось, без поддержки государства стало экономически совершенно невыгодным. Смирнов с болью осознавал, что блестяще разработанные ими уникальные технологии, которые он вводил в отраслевые стандарты, в итоге являлись чудовищным разорением! Все это стоило безумных денег! Осознав этот парадокс, Анатолий страшно переживал за еще не воплощенные идеи, напрасно потраченные на заводе годы жизни и с некоторым утешением думал: «Хорошо, что отец этого не видит». Пока он осознавал и переживал, другие действовали, создавая кооперативы прямо на базе отдельных участков, а потом и цехов. И он тоже воспринимал это с болью и непониманием. Почему-то хозяевами кооперативов оказывались те, кто ранее особо в интеллектуальной деятельности замечен не был. А Смирнов как-то не научился прогибаться так, чтобы дурака считать умным человеком. Собственно, из-за этого часто и страдал со своим энциклопедическим умцем. И жизнь его, хоть и протекала однообразно и в замкнутом пространстве, но было наполнена смыслом, его способности были востребованы на сложнейшем производстве. А кто он теперь без этого производства?

В общем, не подходил он новому времени. А время ему. С какой-то ностальгией он мысленно возвращался в другой период, в «другой» цех, куда он каждое утро приходил с удовольствием и где получал достойную за свой мыслительный труд зарплату: оклад в сто девяносто рублей плюс премия – на руки получал двести пятьдесят, а то и больше. Семью кормил, себя уважал. А теперь открывались для него факты иные, что станочники в то же самое время зарабатывали больше тысячи. «Политика, – думал он и тут же сомневался, – хотя, как без конструктора и технолога, без инженерной проработки станочник сделать что-то мог? Но рабочий класс у нас был гегемон, странно только, что и в создании кооперативов гегемоны преуспели». А он, ведущий инженер, разработчик, конструктор и всякое такое умное через запятую слеп по вечерам над кульманом, чтобы... по-прежнему себя уважать. И зарабатывать, хотя Елена давно уже с ухмылкой заглядывала ему через плечо и в особо располагающие моменты, когда торговля на базаре особо удавалась, тянула его за руку в спальню:

– Толечка, да брось ты эти чертежи! С голоду не умрем, – и опять маняще, зазывающе вела за собой.

И разве мог он устоять перед Еленкиными увещеваниями. Тем более, что снова наступал очередной вторник, а значит, надо было провожать ее на поезд.

Среди прочих перипетий этого оглашенного времени случилась инфляция. Может быть, где-то в недрах социалистической экономики она существовала и раньше, но теперь вдруг подняла свою змеиную голову и стала жалить и кусать, кусать и жалить. Анатолий эти укусы быстро и явно почувствовал. Предпоследней его авторской конструкторской разработкой стала халтура – уникальный дозатор для пробки водочной бутылки, за которую ему хорошо заплатили, тут же пообещав, что если пробка не сработает, то убьют. Он поверил, ибо за что-нибудь другое могли и помиловать, за водку – ни за что. Но он уверен был в себе и своих расчетах. А потому с легкостью взялся за разработку чертежа для родильного стола, вроде как впервые открыва-

ющейся частной клиники. И в этом случае деньги обещали ему перевести на сберкнижку через месяц после принятия заказа. И он согласился. Он нередко работал в долг. А поскольку к каждому делу Анатолий подходил основательно, то и гинекологию начал изучать нешуточно. Надо же, чтобы роженицам удобно было на разработанном им кресле-столе. Для чего прочитал учебник по акушерству, с помощью одноклассницы-гинеколога усвоил весь процесс родов, узнал, что такое желтое тело и амнион, то есть околоплодная оболочка, все особенности менопаузы, вдруг и это пригодится, и вообще стал специалистом по принятию родов. И стол начертил, самому понравился. И заказчик его не обманул, обещанные шестьсот рублей на сберкнижку перевел. Через месяц. Когда они уже ничего не значили. Превратились в труху. И тогда Елена тоном, не терпящим возражения провозгласила:

– Все! Хватит! Пора делом заниматься!

Делом – это значит, примкнуть к торговле, что претило всему существу Смирнова. Пока он только со стороны наблюдал жизнь рынка, занимая ранним утром место у прилавка или по выходным подвозя жене сумки с товаром. Не считая, конечно, поезда два раза в неделю: проводить – встретить. Будто защищаясь от проникновения рынка в него самого, Смирнов о торговле старался не думать, особенно, если Елена на него не наседала. И как будто сквозь стекло видел все, что там творилось. Занимая место у прилавка, он стал отмечать, что ящиков становится больше, ряды увеличиваются, рынок разрастается. Каким-то естественным образом здесь появились ребята-рэкетеры. Наглые, самоуверенные, абсолютно безмозглые, умеющие только собирать дань и при необходимости крышевать торговцев. Смирнов их сторонился, а Елена запросто общалась. Вовремя платила мзду, в конфликты с ними не вступала, ну и своего не упускала.

Командовала этой бритоголовой братвой царица Тамара, еще с советских времен прожжённая торгашка, полногрудая и полнорукая, с пальцами, украшенными всевозмож-

ными перстнями. Руководила она своей отпетой командой одним взлетом бровей, и они вытягивались пред ней на цыпочки. Сначала ее отморозки только собирали деньги с торговцев, со временем бесповоротно установив на рынке общее правило для всех: платим – торгуем, не платим – не торгуем. Но, как известно, одно криминальное явление порождает другое: беспредел рэкетиров стал примером для карманных воров, от которых не стало спасенья. Елена дома не один раз рассказывала о том, как женщина покупает что-нибудь, а в этот момент у нее тянут из сумки кошелек. И видишь ведь и не скажешь об этом вслух, иначе убьют тебя, притом натурально. Если не убьют, то искалечат – у воров своя мафия. И тогда торговцы с предьявкой к рэкетирам: «Мы за что вам деньги платим, если покупатели боятся к нам ходить?!» И рэкет объявил войну ворами. Лишая квалификации, им просто ломали пальцы, а вор без пальцев – это уже не вор, щипач теряет профессию. Царица Тамара шла по рынку, цинично и беззлобно напевая: «Сколько мои мальчишки сломали пальчиков...» Вроде была на рынке и какая-то охрана, с рэкетом состоящая в доле. А с ворами договора у них о сотрудничестве не было, потому против них воевали кровопролитно. Как-то на глазах изумленного Смирнова, привезшего жене в очередной раз в выходной сумки с товаром, охранник бросился за воров, пойманным с поличным. Тот заскочил в тронувшийся с остановки трамвай, охранник бежал за трамваем до следующей остановки. Там вора прихватил и с обратным трамваем привез его на рынок. А тут уж его бритоголовые месили. И не понять, кто из них кто – рэкет или охрана. Анатолий был потрясен. На его глазах убивали человека! Вора, но человека! Били руками, ногами, по голове, по почкам и печени, ломали пальцы на руках. Смирнову было страшно. А Елена ничего, зрелище оценила: «Наука ему на будущее». «Кому? – хотел спросить Анатолий. – Если этому, то от него уже ничего не осталось».

Рынок – это особый организм. И Смирнов не мог в этот организм вжиться. Торговцы над Еленой подсмеивались: «Ну, где твой ботаник?», подчеркивая тем самым, что он –

чужеродный элемент в здоровом теле рынка. Елена – другое дело. Она – не ботаник, и про красный диплом после окончания института, скорее всего, врет, да и про сам институт, поди, тоже, хотя среди торгашей на рынке и доктора наук можно было встретить, но это не про Елену. Она – прирожденный делец и выраженная хищница. И жесткой умеет быть почище братвы. Вон как уголовника Кису отбрила, бабы вокруг заценили. Киса – местный уголовный элемент, изображал из себя бугра. С наглой рожей степенно шлялся по рынку, а за ним, держа за горлышки в растопыренных пальцах бутылки с пивом, пресмыкаясь, следовал сержант милиции. Иногда Киса картинно останавливался и протягивал руку назад, сержант суетливо подавал ему бутылку, Киса, не спеша, отпивал, возвращал полупустую тару и следовал дальше. Над ним смеялись, но не связывались: он любил хвататься за ножичек, рукоять которого демонстративно торчала из кармана. И как-то он схлестнулся с Еленой, желая поживиться дармовым товаром. Но она своего не уступила и отправила Кису по точно указанному адресу. И ножичка его не побоялась, хотя доставал он его не раз. И еще сама пообещала:

– Киса, ты очень быстро и плохо кончишь.

Так оно и случилось. Вскоре Киса с рынка пропал, свалил и его прислужник сержант, понимая, что теперь его бабы точно побьют за все, что было и не было. Однажды сарафанное радио сообщило, что Киса убил родного брата и сел в тюрьму, где через месяц его в камере благополучно повесили. Видимо, все же нарвался.

Но были случаи, приводившие в трепет и Елену. Как-то принесла она домой с рынка хорошо выделанный кусок кожи. На вопрос мужа: «Зачем?», внятно объяснила: «Сереежке куртку сошьем». И, жуя наспех отрезанный кусок колбасы, с удовольствием доложила:

– Мы со Светкой операцию провернули.

Анатолий насторожился, ибо Ленкина подружка Светка была еще той барыгой, в общем, баба – оторви и брось, ничего хорошего ждать от нее не приходилось.

– У пацана-реализатора по дешевке взяли, – запивая колбасу горячим чаем, продолжала Елена, – Светка его окрутила вокруг пальца. Он потом спохватился, да поздно было, шел за нами всю дорогу с рынка и канючил: «Девочки, отдайте мне кожу, меня же убьют. Это же не моя, я не должен был продавать ее за такую цену», – смешно передразнила жена молодого торговца. – Светка его, конечно, послала, а кожу мне отдала, знает ведь, что Сережке куртку надо. Настоящая подруга! – воскликнула Елена.

Смирнов заволновался:

– Может быть, не надо было так? А вдруг, правда, убьют? Елена сладостно, до хруста в суставах потянулась:

– Ну, а тебе что за забота? Нечего ушами на базаре хлопать!

И недовольно добавила:

– И когда я тебя жизни научу?

Однако на следующее утро ранним-рано прибежала за кожей, Анатолий еще на завод не уехал.

– Где эта дерьмовая кожа? – схватила с вечера не убранный сверток и, уже обернувшись на пороге, с какой-то неестественной гримасой, произнесла – Светке ночью дверь двухсоткой пробили, она даже не слышала ничего, гвоздь так в двери и оставили с прибитой ценой этой кожи. Настоящей ценой, – она нехорошо хмыкнула и закрыла дверь с обратной стороны. Смирнов опустил на табурет, в глаза ударило утреннее солнце. Усилием воли он удержался на полу кухни, не позволив песку утянуть его в пугающее видение, образы мальчика и женщины в этот раз не проявились. Он поторопился на завод.

Казалось бы, почему он, человек исследовательского типа, не задумывается над этими внезапными видениями, очевидно, что-то значащими для его сознания и имеющими свою причину. Вот именно причину, и пока Смирнов ее понять не мог, он старался не задумываться над солнцем и песком, над лицами женщины и мальчика, списывая все на нарушение мозгового кровообращения. Он просто устал. И нервное напряжение тому виной.

Приобщение к торговле началось хоть с неприятных, но доступных для него поручений. Как ни сопротивлялся Анатолий осмыслению рыночных процессов, но понять, что самым ликвидным товаром на рынке были папиросы и сигареты, ему интеллекта хватило. Курево в магазинах было по талонам. Система переходного периода, как и советская, своим собственным существованием порождала капиталистическую торговлю. Рядом с заводом находился продуктовый магазин, где на пустых полках лежали пачки сигарет и папирос, отпускаемые по талонам, и куда заходили заводчане, возвращаясь с работы домой.

– Толечка, зайди к директору магазина, спроси есть ли у него ящик сигарет, мы ему сразу наличкой за него платим, – начала приобщение к делу Еленка.

Толя понимал, что за наличку можно приобрести не только ящик сигарет, но и черта лысого, потому как в настоящее время наличка есть самый главный дефицит. Договориться удалось без труда. Взял ящик «Космоса», вынесенный из склада, и привез домой. По дороге мимоходом среди других мыслей промелькнуло сожаление о мужиках, которые сегодня, выйдя из заводской проходной, не получают курева даже по талонам, да еще услышат в ответ от громкоголосой продавщицы Раечки, получившей свой навар от директора: «Какие вам сигареты? Нет сигарет! Вон в стране что творится! А им сигареты», – возмутится она искренне, как на голубом глазу. Мужики разозлятся. Вот тебе и социальное волнение. Но мысль действительно была мимоходом. Смирнов не курил, а потому истинного накала социального волнения прочувствовать не мог. «В конце концов, придут завтра на рынок и там купят. Конечно, с наценкой в двести процентов, но можно ведь и не курить, нечего здоровье гробить», – оправдывал он себя.

Еленка была довольна. Утром он увез ей ящик на рынок, пряча его под прилавок от вездесущего милиционера Феди. Участковый со строгим видом ходил между рядами прилавков, потягивая носом, как сторожевой пес, в надежде почувствовать запах табака в любой упаковке, которая тут же

конфисковалась, а вернее просто изымалась, а если еще точнее – воровалась Федей под видом того, что табачными изделиями торговать нельзя по причине того, что они продаются по талонам. Это он четко трактовал в соответствии с протоколом и тут же передавал на реализацию собственной жене, торгующей в этих же рядах и делающей вид, что она не при делах своего милицейского мужа. Поэтому торговать надо было искусно, чтобы провести участкового. Елена и это умела.

А он с поручениями жены, которые она давала ему все чаще и чаще, справлялся не всегда. Вляпывался в истории из-за своей доверчивости и правильного воспитания. Вот и недавно Анатолия жестоко накололи. На дворе февраль. После рабочего дня он расслабился, что случилось с ним редко. Но повод тому был серьезный: день рождения отца. Не выпить пару рюмок на помин его души он не мог. Сидел за столом, думал об отце, и тепло разливалось по всему телу. А тут Елена:

– Хватай тачку и езжай по адресу, пацан ящик сигарет дешево отдает. Операцию проверни, – учила жена, – ты ему деньги отдаешь, а он на твоих глазах другому этот ящик перепродает, а разницу с наценкой – тебе.

Смирнов не сопротивлялся: раз Елена сказала, значит, так и надо делать. И тачку быстро поймал, и адрес быстро с водилой нашли, и пацан с ящиком появился, и деньги Анатолий ему отдал. А тот схватил ящик и потащил его в шестнадцатизэтажку, вошел в подъезд и больше его Смирнов никогда не видел.

Елена потом поиски организовала. Даже пробила, кто он таков, этот ушлый мальчик, и то, что он весь в долгах и уже поставлен на счётчик, на кону – ни много ни мало – его жизнь. А тут какие-то сигареты.

Елена была раздосадована. Смирнов совсем ни к черту не поддавался воспитанию и плохо перековывался из советского инженера в рыночного дельца. Елене было жалко много времени терять на воспитательные семейные планерки, втолковывая мужу очевидные вещи, среди которых

она себя чувствовала, что рыба в воде. И не понимала, что за трудность для мужа плыть за ней по течению. Он вроде и плыл, но не греб.

И не посмел перечить жене, когда она его отправила в Лужники, где находился базар всей страны. Сюда-то и перлись челноки со всех концов России. И Смирнов безропотно согласился, тем более, что в Москву он собирался в командировку по заводским делам, так почему же заодно и товар не прихватить в Лужниках.

Только себе Анатолий мог признаться, что идея эта его совсем не вдохновляла. Но делать нечего. Надо пользу семье приносить. По рассказам жены он знал, что Лужники окружены кольцом рэкетиров. Челноки, которые шли на базар, деньги держали в кошельке-набрюшнике, который застегивался, как пояс, и уютно укладывался на животе, каких бы масштабов этот живот не был. Иногда от кучи долларов он заметно раздувался, и бритоголовые пацаны эту «беременность» легко отслеживали, особенно пасли тех, кто шел по одному. С одним легче справиться, притиснув его к столбу, и тут же «принять роды». Нередко «младенец» был увесист, до двадцати тысяч зеленых вытягивал. Пока его родитель корчился под столбом от боли от удара под дых, бритых «акушеров» уже след простывал в толпе.

Елена учила, как от них спастись, приводя примеры из жизни.

– Главное – иди уверенно. Знаешь, как один мужик от братанов отбояривался? Шел быстрым шагом, когда к нему пытались подойти, он громко говорил: «Ребята, мне некогда, очень некогда!» И стремительно уходил. А эти стервятники психологически к такому пассажиру были не готовы. Вместо испуга такая неожиданная реакция. Попробуй и ты! Потренируйся! Давай!

Смирнов тренировался, но у него ничего не получалось, и Елена раздосадовано вздыхала. Но Анатолий был не безнадёжен. Ему хорошо давались теоретические основы рыночной экономики. После возвращения жены из Москвы он выводил закономерности, делал анализ. Привозила Елена

женскую одежду, кофты мохеровые, польские полосатые кофты, блузки, женское белье. Смирнов анализировал: торговля подчиняется моде, а та, в свою очередь, развивается волнообразно. Сегодня все везут кофты мохеровые, завтра – бюстгальтеры на косточках, послезавтра – блузки. Главное, не промахнуться, а обязательно оказаться на гребне волны, то есть покупательского спроса.

Однако на подходе к Лужникам Смирнов думал о другом: как бы просочиться в толпе, не притянув к себе рэкетиров, которых он уже различал на подступах к базару. Пронесло! И Анатолий радовался обстоятельствам и гордился собой. Но по-настоящему операция ему удалась в аэропорту Домодедово, когда на досмотре милиционер приказал растегнуть баулы и показать, что там внутри. И тут уж Смирнова охватил азарт. Он растегнул молнии. Служивый вытацил упаковку черных шерстяных колготок с вопросом:

– Это что?

Смирнов, заговорщически наклонившись к нему, зашептал.

– Женские колготки. У твоей жены есть?

– Нет, – не моргнув глазом, ответил мент.

– Бери, сколько хочешь! – лучился щедростью Смирнов.

Милиционер знал, «сколько хочешь» – нельзя, пару-тройку упаковок – и все довольны. Пассажир и пошел себе на посадку довольный, а ему еще смену стоять, его собственный баул с конфискованным товаром тоже пополняется. Так что он тоже доволен. Завтра сдаст своему реализатору в Лужники, и опять все довольны.

Кроме черных колготок, Смирнов доставил Елене несколько упаковок женских польских кофт из мохера василькового цвета – самому понравились – и несколько упаковок кружевного женского белья нежных тонов – бирюзового и кремового. Елена похвалила:

– Можешь, когда хочешь!

– Да и могу прямо сейчас. Еленка, а давай ты оденешь это белье, а я буду его с тебя снимать, ну давай, а! – распыхлялся Анатолий. – Я соскучился!

– С ума сошел! Оно такое дорогое! И зачем надевать, если я уже готова все с себя снять, – и она потянула мужа на кровать.

Потом, собирая себя после нахлынувшей страсти и довольно рыча, словно тигр, съевший кусок мяса, Смирнов все же пожалел:

– А зря ты, Еленка, белье не надела. Один раз живем.

Жена, закручивая в узел растрепавшиеся волосы, трезво возразила:

– Не по-купчески это, Толечка. Копеечка она к копейке складывается, рублик – к рублику.

– Купцы красиво жить любили, – лениво возразил Смирнов.

– А мы вообще еще не жили. Вот сколотим капитал, тогда заживем, – Елена поднялась и пошла к пакетам, разбросанным по всем комнатам.

– Завтра у нас новое дело. На завод тебе ходить не стоит.

– Как это не стоит? – приподнялся на подушке Анатолий. – Надо итоги командировки подвести.

– Завтра – пятница, подведешь в понедельник. А завтра заболей. Поедем в область торговать.

– Я-я-я? – удивился Смирнов.

– Да, Толечка, ты. Не век же тебе на твоём заводе штаны протирать.

Он обиделся, но промолчал.

Елена подала телефонный аппарат:

– Звони начальнику! Скажи, что у тебя – температура. Простыл в командировке.

И он позвонил.

Он честно признавал, что в плане организации дела инициатива всегда исходила от нее.

В пятницу утром на своей выдавшей виды «копейке» они отправились в заштатный городишко, не имевший никакой надежды появиться когда-нибудь на карте родины, где у Елены жили какие-то дальние родственники.

– А примут они нас с ночевой? – несмело спросил Анатолий. – Все-таки, давно не встречались.

– А куда они денутся? – звякнула Елена полной тарой в отдельной сумке. – Во! Стратегический запас!

«Копейка», набитая товаром под самую крышу, трещала, кряхтела, сопела, с трудом переваливаясь с боку на бок и вписываясь в повороты. Сотня километров этому потрепанному жизнью и торговлей ишачку далась с трудом, но свою миссию он выполнил, ни разу не заглохнув на всем пути.

Дальние родственники, как и полагается, встретили лаем пса за высоким забором, потом приоткрылась занавеска на одном из окон, кто-то выглянул. Потом они еще долго ждали, пес разрывался от ярости, стуча цепью о ворота, и было в этом что-то неприветливое, для Смирнова унижительное, вот не хотят пускать его в дом, а он ждет, словно бедный родственник, отводя глаза от окон, будто стесняясь, что за ним кто-то наблюдает. А Елена ничего: шутила, передразнивая пса. Наконец, загромыхали засовы, кто-то ярым матом прикрикнул на пса, и тот, огрызаясь, отступил от ворот. Узкая створка открылась, и в дверном проеме появился коренастый мужик в напыленной по самые глаза ушанке.

– О, дядь Митя, – обрадовано воскликнула Елена, – будто вчера рассталась с мужиком, – ну, помнишь ли ты Аленку, любимицу бабушки Поли?

– Да, заходи уж, – как-то неопределенно и уж точно без всяких распростертых объятий пригласил «дядь Митя».

«А как же я?» – растерялся Анатолий, но Елена уже тянула его за руку и заговаривала новоявленного, хоть и дальнего родственника.

В просторной добротной избе деревянной постройки оказалось еще двое дальних родственников. Теть Маруся, жена дядь Мити, и здоровенный молодой мужик лет тридцати, которого, как Елена ни напрягалась, вспомнить не могла. Это оказался Вовчик – сын «дядь» и «теть». Перезнакомились заново. Елена не забыла и про мужа:

– Это Толечка, – как своего младшего ребенка представила она его, возвышающегося над ней, тоже не маленькой, на полголовы.

Потом пили самогон, настоящий на кедровых орехах. Хозяйский – крепкий и вкусный. Городскую водку как валюту опустили до поры до времени на хранение в погреб, достав взамен соленые рыжики и трехлитровую бутылку моченой брусники. С самогоном все пошло хорошо, в придачу теть Маруся выставила на стол говяжий холодец и крупную варёную картошку. Горячую. Как любил Анатолий. Он осоловел, размяк и проникся любовью к дальним родственникам. Разговорились. Елена выложила, наконец, зачем они пожаловали, и попросила Вовчика помочь Толечке перенести баулы с товаром в дом, распорядилась, будто на своем базаре. На что теть Маруся беззлобно заметила:

– Яблоко от яблони, косточка от черемухи.

– А что так? – не поняла Елена.

– Да чистая ты – прабабка твоя Лукерья, магазин у нее свой был еще до революции семнадцатого года. Мне моя бабка про нее рассказывала.

– Да ну! – удивилась Елена и дополнила сравнительный ряд, – не родит свинья бобра.

Укладываясь к ночи, чтобы ранним утром отправиться на базар, Елена ликовала:

– А ты говорил, ночевать не пустят, – сладко потянулась, – Толечка, а ты спал когда-нибудь с купчихой? – и рассмеялась.

Торговали субботу, в воскресенье утром доторговывали и сваливали домой. Елена, кроме дальних родственников, быстро нашла дальних друзей и уже скоро имела на руках разрешение на реализацию товара в условиях местного рынка. Как-то быстро она сошлась и с капитаном местной милиции, а с рэкетом тем более все пошло на лад. Среди этих отморожков своим парнем оказался Вовчик, и еще вечером за столом ему отстегнули полагающуюся сумму.

Анатолия жена поставила за прилавок, выложив перед ним женские блузки.

– Давай, обаивай заводчанок, у тебя хорошо получится.

Сама стала рядом и перед собой разложила гипюровые плавки и бюстгальтеры. Анатолий с любопытством наблюдал жизнь рынка. Разномастную, с наглыми харями и усталыми женскими глазами. Заводчанки шли с ночной смены какие-то посеревшие за ночь. Жалко их было Смирнову. «Что у нее есть в жизни? – думал он. – Мужик-пьяница да этот заводской цех. Что видела она хорошего? Пьяница этот пару раз по морде ей дал – вот и вся ласка». Остановил на одной глаза:

– Устали? С работы? А посмотрите, какая кофточка у меня есть!

Женщина оторопела, подняв усталый взгляд.

А Смирнов уже подносил ей блузку, прикидывая к плечам:

– Так она для вас ведь создана, сшита под вашу фигурку, под ваши ручки.

Женщина адела, смущалась, не понимая, что происходит.

– А как идет к вашим глазам, – Смирнов не лгал. Блузка, правда, была хороша и, правда, шла к глазам женщины, какого-то оливкового цвета.

И взглядом этих глаз она ее уже купила, хотя и не померила. И, не отрывая глаз от улыбающегося, невиданного раньше в их дыре такого приятного мужчины, открывала уже кошелек и доставала оттуда последние деньги. Как под гипнозом, как заговоренная. И когда отошла, неся под мышкой полиэтиленовый пакет, в который уложена была блузка, Елена восхитилась:

– Толечка, а ты – талант! Или блядун? – хитро посмотрела на мужа.

– Еленка, ты что? – испугался он этого произнесенного вслух слова.

– Ладно, ладно! Не расслабляйся! Вон еще смена идет. Из другого цеха.

Уже проделанный трюк удался Анатолию в этот день еще с тремя заводчанками. И нельзя было сказать, что делал он это абсолютно из корыстного интереса. Его больше увлекала игра. Он вдруг понял, что как только ты начинаешь ухаживать за женщиной, она готова выложить из кошелька последнее и заплатить за то, чего ей в жизни так не хватает. Это умение создать ощущение радости у слабого пола, а вовсе не впарить ненужную вещь, доставляло радость и ему. И он даже не понимал, имело ли это его новое чувство взаимосвязь с тем, что рядом стояла жена с лифчиками, или было совершенно самостоятельным, только что родившимся.

Смирнов не считал себя психологом, а может быть, и считал, теперь он уже во всем сомневался, но если и считал, то хреновым. А торговля, как он только что открыл для себя, – это психология чистой воды, которую ему теперь придется постигать. За первый день торговли он успел усвоить, что заводчанки могут не только на тебя запасть, но и оскорбить, находятся и такие, кто свое неудовлетворение жизнью срывает на всех, кто под руку попадется.

– Спекулянт ты! Последнее отбираешь! Харю-то отъел! Тьфу!

Хари у Смирнова точно не было. Лицо интеллигентного очкарика.

Он обижался на оскорбление, тушевался, как заводчанки, которым он примерял кофточки. И тогда за него вступалась жена, и обидчица шла далеко, точно по указанному адресу.

На обратной дороге домой считали выручку. Денег было много. Разные купюры, захваченные промасленными и пропыленными руками заводчан. Их надо было разложить по достоинству, странное определение, применимое к деньгам. «У денег как раз нет никакого достоинства», – подумал про себя Смирнов. А Елена подвела итог:

– Будем ездить каждую неделю. Так что на пятницу придумывай себе отгулы, а в городе на наш рынок я постав-

лю реализаторов. Пора бизнес расширять, – говорила она, укладывая в сумку последнюю пачку купюр, перетянутых цветной резинкой.

Анатолий повернул ключ зажигания, чтобы двинуться с обочины, но не успел. В глазах ярко вспыхнуло солнце, и женщина улыбнулась. Он заглушил мотор и будто наощупь вышел на дорогу. Стал глубоко дышать. Видение давно не приходило, и он уже было успокоился. Теперь опять заволновался: надо бы обратиться к врачу. Но к которому? Если только к психиатру. Он отошел в сторону и отлил.

– Ты чего? – спросила его жена, когда он вернулся в машину. – Бледный какой-то.

– Голова закружилась, – соврал он, не понимая почему, не имея тайн от Елены, ни разу не сказал ей о видении. Что-то его удерживало от искренности, и он не мог понять что.

Выкраивать по пятницам на заводе отгулы помогла, словно по заказу, подкинута новая тема: «Высокотемпературная сверхпроводимость». В своем экспериментальном цехе Смирнов оживал и становился совсем другим человеком: ученым-исследователем, колдующим над проводником, не имеющим сопротивления. «Если ток запустить в кольцо, то он вечно будет там циркулировать. Сопротивление нулевое. Это, брат, физика. Это – не трусы тебе кружевные. И все это возможно только при температуре жидкого гелия, минус 271 градус. Жидкий гелий очень дорог. Гелия вообще мало в природе. Его нужно охладить, чтобы он стал жидким...», – он мог об этом говорить бесконечно. Думать, говорить, решать поставленные пред ним задачи, где главной музой была физика. Физика! Слово-то какое! Царица всех наук! Ага, японцы сделали из керамики проводник, который становился сверхпроводником в жидком азоте. Это была революция, но подробностей технологии революционеры не раскрывали. После долгих поисков Смирнов коллегам доложил: «У нас есть уникальные печи, с помощью которых мы тоже можем получить сверхпро-

водник». Кто-то добавил: «Гроб Магомета». Потому что при пробе на сверхпроводимость образец висел в воздухе над магнитом подобно этому самому гробу. Смирнов шутку принял и предложил немедленно опробовать рецептуру и режимы термообработки в этой самой уникальной печи. Режимы требовали круглосуточного дежурства, за которое и полагался отгул. Провел ночь на телогрейках, брошенных на пол в лабораторном зале, время от времени следя за приборами, – получи отгул. А кто занимал в первую очередь телогрейки? Конечно, руководитель темы, то есть он, Смирнов, ибо никому больше он такое важное задание поручить не мог. Правда, голова с непривычки после этих ночных дежурств была квадратная.

Тем не менее в пятницу, в честно заработанный ночным бдением у печи выходной, они с Еленой оправлялись в заштатный городишко, к дальним родственникам, которые уже стали близкими, как и сам городок и его заводчанки, как близнецы, одетые в одинаковые блузки, мохеровые кофты, а если заглянуть под них, то в одинаковые лифчики и трусы с рюшечками. И таким образом – пятьдесят два дежурства, сто тридцать поездок туда и обратно на «копейке» – зимой и летом одним цветом.

В будние дни, по вечерам, к Елене приходили реализаторы, которых она завела целый штат, сдавали выручку, получали свои кровно заработанные и вновь набирали в баулы товар, который утром раскладывали на прилавки разросшегося рынка. Этот процесс проходил без Анатолия, так как с завода он возвращался поздно, тема его увлекла. А возвратившись усталый, пропихивался по собственной квартире сквозь мешки и сумки, набитые товаром, перешагивал через баулы, тюки и коробки, давно уже привыкнув к отсутствию уюта, домашнего тепла и порядка. Где-то среди всех этих сумок рос Сережка, незаметно вырастая из малыша в школьника.

Месяц Смирнов напрягал мозги на заводе за двести шестьдесят рублей с премией, а по вечерам помогал жене пересчитывать тысячу десять – мятыми, грязными бумаж-

ками – целую гору, и подросший ребенок помогал. Дальше – больше. Стали торговать паленой водкой. Водка, как и все в магазинах, отпускала по талонам. А Елене отпустила ее мафия. Вечером очень вежливые мальчишки привозили домой четыре мешка из крафт-бумаги, в каждом по двадцать бутылок, принимали деньги за предыдущую партию. Ровно через два дня возвращались. Ты им – деньги, они тебе – мешки. Водки становилось больше. Денег тоже. Стал вопрос о том, как доставлять товар на рынок. Надо было определяться. В девяносто пятом Елена встала на дыбы:

– Или ты, Толечка, вместе со своими сверхпроводниками идешь к черту или занимаешься делом.

Он решил заняться делом, так как зарплату на заводе платить совсем перестали, и с темой они зашли в тупик. Стимула не было. Вдохновения тоже. К тому же у Смирнова теперь были деньги. А деньги человека меняют, делают независимым. Анатолий перестал ездить на работу на трамвае и ходить пешком до завода, обув валенки и завернувшись в полушубок при минус тридцати пяти. Теперь по утрам он тормозил тачку и доезжал до проходной. У него деньги в кармане были.

В общем, с завода он решил уйти. И ушел. Артистично так. Два утра подряд Смирнов тормозил одну и ту же крутую, редкую – надутую БМВ. По дороге выяснил, что водитель по утрам отвозит хозяина «по делу», а потом уезжает выполнять его поручения. Тогда Смирнов и решил разыграть на прощание коллег. И уж коли говорят они о нем всякое разное, то пусть хоть не напрасно работает глухой телефон. Водила БМВ, увидев аванс, на заговор согласился. И вот утром следующего дня крутой БМВ подкатил не к общей проходной, а к вахте экспериментального цеха, через которую шла вся экспериментирующая публика в сотню человек. И на глазах у этой сотни подкатывает черный БМВ, выходит водитель и услужливо открывает дверцу пассажиру. А пассажир-то кто? Народ остановился. Замер. Ведь это их Смирнов! Степенно так покидает тачку,

на которую больно даже смотреть, и громко так приказывает:

– Заедешь за мной вечером, пока свободен, – и направляется к дверям. Немая сцена.

Вот так он расстался с заводом, где прошли пятнадцать лет его жизни. И было обидно, что теперь он заводу не нужен. А завод ему еще долго снился, почти каждую ночь.

Но главной его обязанностью теперь стал базар. В первый же вечер, когда он чуть растерянный и, что там скрывать, расстроенный, вернулся с трудовой книжкой домой, Елена поощрительно хлопнула по плечу.

– Завтра поедешь знакомиться с реализаторами. Товар по точкам развезешь. С каждым продавцом познакомишься и будешь их в мое отсутствие держать под контролем.

И весь вечер они считали, раскладывали товар по сумкам и подписывали баулы. Анатолий, как человек системный, составил список точек и записал имена реализаторов. Ночью плохо спал. Душа болела. Смотрел на холодный диск луны за окном и не знал, как жить дальше. Вернее, знал. Жизнь за него определит жена, сейчас сопящая рядом, но впервые ему почему-то от этого стало грустно. Так, разговаривая с луной, и уснул. А луна превратилась в солнце – огненное, обжигающее раскаленную, песчаную пустыню. И он уже точно знал, что это – не Афганистан, это – Алжир. И по раскаленному песку шла женщина в белом платье и вела за руку мальчика лет десяти, смуглого и черноволового. Они шли, не оглядываясь, и он точно знал, что должен идти за ними. И шел. Впереди стоял шатер, похожий на военный полевой госпиталь. Женщина откинула полог и только тут оглянулась на него. И он впервые увидел ее лицо, вернее он видел его и раньше, но только теперь осознал всю его привлекательность. Он зашел за ними следом. И увидел операционный стол и хирурга без лица, вместо этого – размытое пятно. Мальчик лег на стол, а женщина стояла рядом, держала его за руку и смотрела Смирнову прямо в глаза. Она не смотрела, она проникала сквозь

него своим взглядом. Не улыбалась. Смотрела и любила. И Смирнов стоял под этим взглядом, словно связанный по ногам и рукам, и тоже любил. Они ничего не говорили. А зачем говорить? Хирург без лица что-то делал, нагнувшись над мальчиком. И Смирнов вспомнил, он откуда-то это знал. У всех первобытных племен есть обряд инициации, когда мальчика подвергают испытаниям, заставляют терпеть боль, унижают, наносят татуировки, делают обрезание, после чего он, выдержав все это, может считать себя мужчиной. И Смирнов понял, что это – обрезание и почему-то здесь находится женщина, чего быть не должно, и что он почему-то к этому причастен, хотя стоял поодаль от стола и наблюдал за всем происходящим со стороны. Когда хирург завершил свою работу, женщина приподняла мальчика, тот встал, и гордый направился к стоящему у выхода Смирнову. Поравнявшись с ним, он гордо посмотрел на свою маленькую пипиську и сказал Анатолию на ломаном французском: «Maintenant je suis monsieur» – «Теперь я – мужчина». И он его понял, потому что в школе хорошо учил французский.

Анатолий видел, как мальчик вышел наружу, где его ждала ликующая толпа, она приветствовала новоявленно-го мужчину. Хирург куда-то исчез. Женщина приблизилась к Смирнову, и он увидел свое отражение в ее изумрудных глазах... «Ведьма», – подумал Смирнов и проснулся.

Он долго не мог отделить явь ото сна и сон от яви. Елена, играючи, толкала его под одеялом, жалась, ластилась, а Смирнов, будто ничего не чувствуя, падал в изумрудный провал.

– Толечка, а ты почему сегодня такой нехороший? – Еленка уже взбиралась на него. И впервые без энтузиазма он ее принял.

Потом она его наставляла:

– Смотри, ничего не перепутай. Самый большой мешок отдашь Валентине. Она все продаст. Как змеюка, опутывает покупателей. Ее ни с кем не спутаешь, зеленоглазая, как пантера.

Он все пропустил мимо. Так и не сумев отделить себя ото сна и вернуться в явь. Снес с восьмого этажа десяток тяжелых сумок, лифт, как всегда, не работал, загрузил «копейку». Все автоматически, не чувствуя, не ощущая действительности. Положил на сиденье рядом с собой исписанный листок с номерами рядов и прилавок, с именами продавцов.

Развозил монотонно, не искренне знакомясь, невпопад отвечая. Вот остался последний мешок, самый большой, для какой-то Валентины. Спросил о ней.

– А сейчас она, – пообещала бойкая молодуха, Смирнов уже забыл, как ее зовут. Не напрягался на этот счет. А та заорала, что есть мочи: – Валька, хозяин приехал!

Смирнову не терпелось сдать последний товар и снять с себя этот хомут. Поэтому он не сразу понял, что голос за спиной обращается к нему.

– Вы – Анатолий?

Он обернулся. И... полетел в изумрудный провал. Отшатнулся.

– Вам плохо? – женщина из его видения-сна с тревогой смотрела на него.

– Вы кто? – вымучил он из себя.

– Валентина, – ответила она со спокойствием, не свойственным ведьмам. – Елена Павловна говорила, что сегодня приедете вы. Не переживайте так, я сейчас со всем разберусь.

Только он с этого дня больше ни в чем не мог разобраться.

Как говорила Елена, он ей развязал руки. Теперь она могла оставить на него реализаторов и махнуть за товаром в Белоруссию, оттуда – в Польшу. Потом Смирнову рассказывала, что в автобусах тех, разумеется, не было туалетов. Водилы, получив свои бабки за рейс, не особо церемонились, объявляли остановку: «Выходите и ссыте прямо тут, все рядом. Ничего с вами не случится». Смирнову виделось в этом что-то скотское, унижающее человеческое достоинство. Он все же не понимал эту страсть, эту жажду наживы, которая стирает в людях важные человеческие грани. Но Елене он

это прощал. Однажды после ее возвращения, ужина и рюмки водки за «успех предприятия» он заговорщически посмотрел на нее и сказал:

- Закрой глаза.
- Ты что?
- Закрой! Закрой!

Она недоверчиво закрыла, а когда открыла, то увидела перед собой картину – невнятную, непрописанную, какое-то смятение, но в то же время будто пульс колотился в этих разводах, сделанных маслом на куске дэвэпэ.

– Это что? Откуда? Где ты ее купил?

– Еленка, это я нарисовал, – торжествующе, смущаясь, заявил Смирнов. – Как поперло из меня, как поперло. Хоть плачь, а бери кисть и рисуй. Взял и нарисовал, – еще больше засмущался он, ожидая неминуемого удивления и восторга жены.

– Толечка, ты белены объелся? – так выглядело ее удивление.

Потом было не смятение, а буря. И уже открытый упрек в полной его несостоятельности, мало она завод терпела, его ученую придурь, теперь это! Дело! Работа! Вот что важно в жизни.

– Откуда это? Ты кисти в руках никогда не держал! – не унималась Елена.

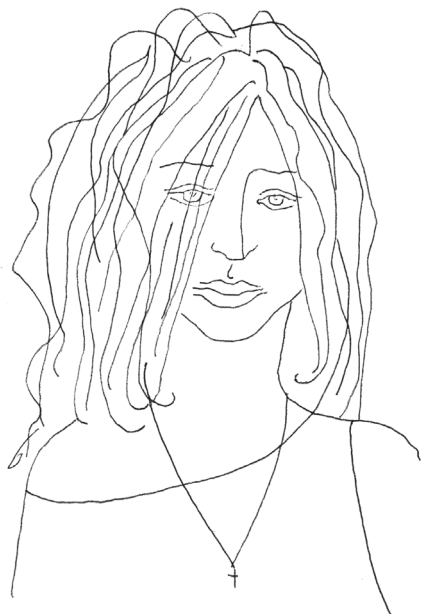
– Я не знаю, – честно сказал Смирнов и унес картину, так поразившую его собственное воображение. А еще больше то, что он смог это каким-то образом сделать. Образом, ранее ему не известным.

Утром он вместе с товаром увез картину на рынок, решив где-нибудь оставить ее у мусорного бака. В своем районе неудобно. Казалось, узнают, что это он рисовал. Но не оставил и, выгружая последнюю, огромную сумку для Валентины, невольно выставил ее из машины. Валентина стрельнула своими изумрудами и тут же восхищенно выплеснула:

- Какая чудная работа! Анатолий, а кто автор?
- Не знаю, – почему-то соврал он.

- Вы на продажу ее привезли?
- Нет. Просто. Кто ее купит? – мялся Смирнов.
- Я куплю! – ни секунды не мешкая заявила Валентина.
- Правда?... Но если вы, тогда я так подарю.

Елена с реализаторами говорила только на «ты», он только на «вы». Любой, самый маленький человек, был для него, прежде всего, человеком. С тех пор, как он узнал Валентину, в жизни его стали происходить непонятные вещи. И вот эти мазки на картине, и движение кисти – будто кто-то другой открывал в нем способности, раннее совершенно не известные ему самому. Ну как это возможно – смешивать цвета, видеть образы? И ведь видел! Видел то, что раньше он никогда не видел. Ауру цветов, плод ребенка в чреве матери, больной зуб у реализаторши, затемненную печень у прилюдного бомжа. Он боялся этого и ждал, когда у него это пройдет, тогда он обо всем расскажет Еленке, и они вместе посмеются над его фантазиями. А оно не проходило,



и мир все больше и больше открывался перед ним свечениями, ореолами, прозрачными оболочками, напоминающими силуэты людей и животных. Он сосредоточился на изучении происходившего в нем. Тем более, что рынок не был его призванием, он просто ответственно отработывал функции, возложенные на него женой, как и все в жизни делал ответственно. Елена, она – да, по натуре – купец. Человек, хорошо считающий в уме и умеющий на много ходов вперед просчитать любую ситуацию, жесткий, смелый, способный ради прибыли на многое. А кто по натуре Смирнов? Он всегда был уверен, что инженер. А теперь? Художник, поэт, романтик?.. «А если Елена догадается, что он вовсе не из этой базарной стаи?.. Нехорошо получается, – корил он себя, – она ведь мне верит, а я?..»

Ответом на его терзание было вечернее признание жены.

– Я записалась на тренинг личностного роста. Толечка – это очень полезно. Я уже сходила на несколько занятий, только тебе не говорила. Это раскрепощает, ты тоже должен походить. Понятно ведь, что нам пора что-то менять в наших отношениях.

– Что менять? – не понял он.

Елена дернула плечом:

– Все! Наша близость стала родственной.

– Еленка, так мы и есть с тобой самые близкие люди на земле, – обрадовался Смирнов.

Но жена посмотрела на него строго, как на безнадежно больного, который не только в торговле ей не помощник.

– Хорошо, я вернусь из Китая, и мы вернемся к этому разговору, – подвела итог, как на трибуне профсоюзного собрания.

– Ты опять улетаешь? – спросил он с тоской.

– Да, завтра.

И это не обсуждалось. Он пропустил тот момент, когда жена решила за товаром летать в Китай. Вернее, он как всегда был поставлен перед фактом и по-прежнему честно выполнял свои функции. Отвозил ее в аэропорт с пустыми

сумками, забирал обратно с набитыми товаром. Первые charterные рейсы были ужасными. «Где они только берут эти самолеты? – возмущалась Елена после каждого рейса. – В них трясет хуже, чем на арбе. Как по стиральной доске в корыте тебя тащат восемь часов! Сплошной ужас! Станешь тут пить да трахаться, как перед последним днем жизни!»

– Кто трахается? Где? – от неожиданности Анатолий отпустил руль, и машина стала съезжать с дороги.

– Руль держи! – приказал жена. – В самолете, Толечка, трахаются, в самолете.

– И ты? – глупо спросил он.

– Я нет. А другие – да.

И Смирнов верил. Еленка не могла.

На следующий день Елена снова заговорила о тренинге личностного роста. Что, дескать, это очень ей подходит. И ему подойдет, она в этом уверена.

– Толечка, мы должны учиться жить по-новому и выстраивать наши отношения иначе. Ты весь какой-то близкий мне, домашний, я не чувствую в тебе мужчину-самца, а он мне нужен. Есть разные способы восстановить влечение. Ну, например, попробовать втроем.

Он еще хотел понять, что не ослышался, что правильно уловил этот гнусный смысл. Ведь все-таки он был неглупым человеком, он должен был сейчас сосредоточиться. И понять!

Елена испугалась его нового лица.

– Толечка, я только хочу сохранить наши отношения.

Он видел, как течет в ней кровь. Видел всю ее кровеносную систему, как на рисунке в учебнике анатомии. И как стекает она вся вниз, хоть и движется по малому и большому кровеносному кругу, но все равно устремляется вниз, туда, где кончается живот.

– А ты не понимаешь, что выпускаешь джина из бутылки? И обратно его загнать уже не удастся, – сказал он тоном, не знакомым до сих пор ему самому.

– Ты все неправильно понял! Ты просто должен поработать над собой!

Но он уже ничего не слышал. Он пошел в комнату, где стояли у него мольберт и краски, и стал рисовать.

И Елена не посмела его тронуть. Сама распаковывала сумки, сама взбодряживала китайских зайцев. Мягкая игрушка – специфический товар. Всех мягких зверей надо было, взяв в одну руку, побить о другую определенным способом, чтобы они после того, как были утрамбованы в сумке, приняли обратно объем.

– Из какой дряни они их делают? Вонь невозможная! – ругалась она в прихожей, забитой пятью тысячами зайцев, – хоть бы дети не отравились, – проснулось в ней небывалое сочувствие к заложникам-покупателям.

И по мере того, как Елена взбодряживала зверей, они заполняли прихожую, спальню, перебирались в комнату, где со своими красками сидел в углу Анатолий. И в другой бы раз точно получил за свои художества, а сегодня Елена молчала, решив, что воспитательной планерки пока достаточно. Что-то пошло не так. И податливый, мягкий Толечка сегодня неожиданно проявил характер.

Ближе к ночи зайцы с особой бережностью были разложены по пакетам и приготовлены к эвакуации на рынок. Елена приняла душ и направилась в спальню, Анатолий оставался за мольбертом. И все, что плакало и томило его внутри, он укладывал мазками на холст, совершенствуя раз за разом технику и разнообразия палитру. И дело было не в том, что он больше стал использовать красок, он учился ими играть, добывать из них больше оттенков и настроения. Он сам не заметил, как смог получить изумрудный цвет морской волны, такой же, как глаза Валентины. И при чем тут море, которое далеко-далеко от их сухопутного города? Но писал он то, что само из него изливалось, ни о чем не задумываясь, словно слагая стихи или исполняя песню. Разве можно стихотворение или песню пересказать? Не знал он пересказа и своим картинам.

Утром Елена, чтобы снова расположить к себе мужа, остановилась у картины, да так и осталась стоять. Ведь не всегда она была торгашкой, когда-то была отличницей и ком-

сомолкой, читала книги и собирала вырезки с репродукциями картин. Вздохнула, поняв, что с мужем происходит что-то не то, что ускользает из-под ее контроля что-то тонкое в нем, недоступное ей. Пыталась прижаться к нему, когда он упаковывал готовую работу, но он отстранился. Елена неуверенно предложила:

– Оставь! Куда ты ее?

– На рынок!

– Не поймут. Не купят, – точно уловила она.

– А я не продавать – подарить, – и пошел эвакуировать зайцев.

Ему предстояло объехать восемнадцать реализаторов в обратном порядке, исходя из времени, отпущенного на реализацию. С кого вчера начал, сегодня он в списке последний. Такая была у Анатолия работа: утром – машина, товар; вечером – деньги, машина. Поздним вечером жена все сводит в отчет. Со временем шубы и кожу из Турции повезли, искусственные цветы и обувь из Китая. Он осознал, что рынок – это не его дело жизни, и точно знал: кто чем занимается, тот тем и становится. Независимо от того, хотел он или нет, волей-неволей, но и у него стали появляться какие-то качества торговца.

Со временем и торговля стала приобретать более цивилизованные очертания, появились закрытые павильоны. Один довольно крупный обосновался рядом с городской мэрией, под зорким оком градоначальника. У Смирнова расширились функции. Он должен был устанавливать контакты с этими павильонами и магазинами. И он устанавливал, обаивал женщин-собственников бутиков, как когда-то заводчанок, предлагая им кофточки. В самом центре парковаться было негде, и он бросал «копейку» квартала за три и на себе тащил товар. Две огромных сумки с обувью – в руки, третью – за плечи, рюкзаком, и – вперед.

В павильоне он шел напрямик к обаятельной хозяйке Марине, стройной, упакованной в дорогие шмотки и обвешанной золотом, как новогодняя елка. Слышал он, что она нелегально приторговывает краденым золотишком, но

это не его дело. Ему своей головной боли хватало. Улыбался ей. Сдавал обувь, получал возврат неликвида, брак и выручку. И так с регулярностью два раза в неделю, до того самого момента, когда Марины на месте не обнаружил. Своей настойчивостью и расспросами, где она, достал всех реализаторов, которые от него хмуро отворачивались. Наконец, к нему подошли парни из охраны, которых он раньше не видел, отвели в сторонку и сообщили:

– Парень, забирай свои башмаки и сваливай отсюда. Власть сменилась.

– А деньги? Где Марина?

– Там, – показали они пальцем вверх. – Будешь много вопросов задавать – отправишься следом.

Он собрал сумки, забрал, как и велели, башмаки, вышел из павильона. Незаметно следом за ним юркнула одна из продавщиц и уже на улице заговорила с ним.

– Не ходи сюда больше. Марину убили, расстреляли из обрезка в собственном подъезде, кому-то дорогу перешла. Сейчас будут разборки с теми, кто ей товар поставлял. Ну, не башмаки, конечно. Все, я тебе ничего не говорила, – и юркнула обратно в павильон.

Анатолий научился не удивляться многому. Но все же не смерти – насильственной, бандитски не прикрытой, под зорким оком градоначальника.

Их роман с Валентиной начался только потому, что уже не мог не начаться. И только после того, как джина выпустили из бутылки. После абсолютно дикого для него намека жены на разнообразный секс втроем он понял, что имеет право. Пятнадцать лет не имел, даже мысли никогда не допускал об измене жене, а теперь допустил. Провокация достигла цели, но не в пользу Елены. Роман начался с бурной страсти, предрешенной его невинными видениями. Он упивался Валентиной, и она принимала его покорно и пылко, оставляя хозяином положения.

Он стал заезжать за ней по утрам, чтобы отвезти на рынок. И задерживался почти на час, пока они оба, измо-

жденные, не лежали на мокрой простыне, сами влажные и расслабленные. По стенам квартиры висели его картины, глядя теперь на них, он ощущал, что вся их любовь с Валентиной написана здесь. Он все это предвидел! Он заглянул в будущее! И она была причиной того.

– Кто ты по образованию? – спросил он как-то у нее, когда она лежала, нагая и ослепительно точеная, рядом с ним.

– Искусствовед.

– Ты? Искусствовед? – он привстал на локте, чтобы заглянуть в ее изумруды.

– Не похоже? – засмеялась она. И серьезно добавила: Работы нет, муж пьет, дочек надо поднимать, вот и пошла на рынок.

А он, будто не слыша:

– Поэтому ты и собирала мои картины?

– В них сильно мужское начало, ярость, сила, чего мне так не хватает в жизни. У тебя взгляд на мир изнутри, из глубины сущего. Ты видишь процесс соития, зачатия и зарождение плоти, ты видишь любовь материализованную и невесомую, растворяющуюся в иных пространствах. Видишь и передаешь. Твои картины – это поэзия.

С ним никто еще так не говорил. И никто его так не возвышал. Для жены он был Толечка, добрый, заботливый, старательный, всегда ею опекаемый, удачно вписанный ей самой с первой брачной ночи в удобную для нее модель «мать-сын» с единственной целью, чтобы влиять и все держать под контролем. А с Валентиной все иначе. Он – отец, она – дочь, и в этой паре он – мужчина. И зовут его Анатолием, а не Толечкой, как в детском саду. Он и теперь добросовестно отрабатывал все поручения жены, но весь путь до этих поручений и обратно принадлежал только ему, и в это время он был совсем другим человеком. Он занял позицию: женщина снизу, а мужчина сверху. И не отступал от нее. И женщина его слушалась, и он испытывал кайф. Валентина дала ему то, что он не мог обрести в семье. Он гордился, когда другие женщины завидовали его любовнице, потому

что он вел себя, как подобает вести себя мужчине: защищать, помогать, любить. И он несся в параллельные миры, видимые ему, чтобы заглянуть в будущее, узнать, как долго продлится это сладостное наваждение, но это знание было для него недоступно, эта дверь была закрыта. И он с жадностью поглощал настоящее. Наконец-то время стало ему подходить. Оно стало его. Он скинул с себя тесный и неудобный пиджак.

Коррективы в его свободу внесло появление сотовых телефонов, у мобильного был один недостаток – жена. Елена отслеживала его передвижения по городу. Она всегда держала руку на пульсе их совместной жизни, но не заметила, как этот пульс стал биться чаще, и причиной тому стала не она. Смирнов наслаждался жизнью, только теперь до конца поняв крылатую фразу, что мужчину делает мужчиной только женщина. Его мужчиной сделала Валентина – женщина его видения, которая провела во сне его по горячей пустыне к обряду инициации – обрезанию. И кто знает, может быть, тот алжирский мальчик – это был он сам в другой жизни. Она подняла его до невиданных высот, и эти полеты он выражал в живописи, замешанной на поэзии, на музыке, и они вместе летели над землей. Да что там над землей – над вселенной.

Он ощущал неведанную им раньше свободу. Он в ней растворялся и парил, не желая опускаться вниз. Он забыл о заводе, о колючей проволоке, которая не только опутывала забор закрытого предприятия, но и, как оказалось, его самого. Он проживал совсем другую жизнь, в которой был смел и дерзок, раскрепощён, с собственным мнением и способностью видеть то, что недоступно другим. Наверное, это было несправедливо и жестоко по отношению к Елене. Но чувство независимости и проявления мужского начала было сильнее прежней семейной привязанности. Более того, однажды Смирнов почувствовал, что в нем присутствует скрытая, характерная для большинства мужчин агрессия. И куда ее выплеснуть? Не убивать же кого-то. И тогда он пошел на охоту. С лучшим другом, который вы-

пал в осадок от намерения Смирнова и стал издеваться: «Толя, ты – и охотник? Тебе же каждую птичку жалко». А он ему в ответ: «Саня, я хочу убить кого-нибудь». И в это мгновение он опять увидел ликующую толпу родственников, которая встречала мальчика после обрезания.

Как и ко всему в жизни, к охоте Смирнов тоже подошёл ответственно. Записался в охотничье общество, купил ружье и снаряжение. Елена сходила с ума:

– Толечка, какая охота?! Какое утки?.. Осень – на рынке сезон!

– Лена, я – мужчина!

– Какой мужчина? – в запале вскрикнула жена и осеклась.

– Для тебя, видимо, никакой.

Он давно уже не называл ее ласково «Еленкой», а она это пропустила. Потому что на рынке сезон менялся за сезоном и надо было успеть...

На охоте Анатолий сразу же первым выстрелом убил утку, а за второй – поплыл, раздевшись донага под падающим снегом, через залитую ледяной водой канаву и тащил ее в зубах, как натасканный спаниель. Потом пил с мужиками холодную водку, варил на костре добытую утку, мысленно писал новые картины и любил Валентину. И гордился, гордился собой: я – мужчина.

Вернувшись с охоты, он тут же сел писать картину. А Елена тут же трех добытых им уток спустила в мусоропровод, прокомментиовав: «Еще я дохлятину не ела». На улице было по-осеннему холодно, и он радовался, что четвертая утка, припасённая в машине для Валентины, сохранится.

– Толечка, ты что уселся картинку свои малевать, а работать кто за тебя будет? – Елену раздражало непослушание мужа, раздражали его дохлые утки и утки живые на картине, взлетающие в ореоле восходящего солнца над озерной гладью.

С трудом оторвавшись от мольберта, он стал собираться на рынок, согревая себя мыслью о встрече с Валентиной. Жена, молча наблюдая за ним, мрачно проронила:

– Не нравишься ты мне, Смирнов, последнее время.
– Зато нравлюсь себе, Лена, – он чмокнул ее в щеку и поднял приготовленные баулы.

Начал с Валентины. Примчался к ней. Бросив товар, извлек из пакета утку.

– Приготовишь?

Она восхищенно посмотрела на него:

– Охотник! – и было это сказано так, будто он со дна морского жемчужину ей достал.

Подошла соседка по прилавку:

– Езжайте, ребята, домой, готовьте свою утку, а я продам ваш товар.

Рынок был особым механизмом, где, словно шестеренки, вращались людские судьбы. И весь рынок знал о романе Анатолия и Валентины и в каком-то общем единстве стал на сторону этого романа. Конечно, Елену здесь не любили, но не до такой же степени, чтобы не донести ей сплетню о явной связи ее мужа. А поди ж ты, до такой.

– Анатолий, а вы знаете, что Валентина у нас герой. Здесь такое было вчера! – продолжала словоохотливая соседка. – Помните Караса с оптовки? Он – бугор, а у них какая система? Идет он вчера по базару, люстру выбирает, а за ним его пацаны – шестерки, ну ему же запаadlo самому эту люстру в руках тащить. Выбрали. Отмашку дал: везите жене. Они смылись, а потом возвращаются: рубашку босс приказал выбрать. Они рубашку у Валентины выбрали. Вы же знаете, она хоть черта лысого продаст. А они через час возвращаются: «Ты что, змея зеленоглазая, нам за фуфло вручила?» Босс их дома упаковку открыл, а там – воротничок, тряпка какая-то и один рукав, и больше ничего! Китаезы какой-то отход упаковали.

В этом месте бойкого рассказа Смирнову поплохело, так испугался он за Валентину. Но та только улыбалась своими лучистыми изумрудами.

– Эти бараны и приехали к Валентине на разборку, но она так их оплела своими чарами, что они еще у нее извинения просили, – победно притопнула деваха.

Смирнов все-таки не мог сразу отправиться к Валентине готовить утку. Во-первых, ему надо было объехать всех реализаторов, во-вторых, и они с Валентиной это понимали по умолчанию, ей необходимо было решить семейный вопрос – куда на это время деть мужа и где могут быть дочери. Она сумеет это устроить. Он не сомневался. Она все умела. Она была его музой, а может быть, колдуньей? Иногда он думал над этим серьезно. Она умела влиять на людей, умела ими манипулировать. Он чувствовал, что она выпита им не до дня, что не до дна им понята и открыта, хотя все в его жизни теперь было ей посвящено: цветы, картины, первый весенний дождь, первый снег и первая охота.

Они варили утку на ее кухне. Пригубили водки и, не имея больше сил сдерживать свою страсть, бросились в постель. После, измочаленная, уставшая, она прильнула к нему, парившему где-то среди цветных оболочек, образов и полу-кругов, осторожно сказала:

– У меня задержка, а вдруг...

Он уткнулся в ее волосы. Прижал к себе. И ясно увидел тяжелые, дубовые двери с бронзовой ручкой, тесное помещение, много людей, мгновенную вспышку и алую каплю.

– Все будет хорошо, – только он успел сказать банальную фразу, как повернулся ключ в замке и в прихожую кто-то вошел.

В спальню заглянул муж Валентины. Она стрельнула зелеными глазами, приняв неизвестное Анатолию выражение лица – ведьма ведьмой, и какой-то назидательной интонацией произнесла:

– Иди, Коля, на кухню. Мы сейчас подойдем.

У Смирнова появился в животе противный холодный комок, но Валентина неожиданно расхохоталась. Он первым оделся и вышел к Николаю, на ходу придумывая оправдания и вдруг поняв, что боится-то законный муж, боится его, Анатолия, просто сказал:

– Коля, ты только ничего плохого не думай! – и то правда, ведь Смирнову так было хорошо.

– Что ты, что ты, – начал оправдываться тот и умоляюще посмотрел на открытую бутылку.

Смирнов все понял и налил ему. Николай выпил залпом. И выжидающе посмотрел на Анатолия. Но тут вошла Валентина, перехватила бутылку и спокойно сказала:

– А это под дичь.

В ее редкий выходной они умудрялись вместе сходить в музей или картинную галерею. Его смелости и отчаянию не было предела. А тут повезло – достал два билета в филармонию и, словно фокусник, торжествующе извлек их с кармана, объявив: «Мы идем слушать и танцевать джаз и рок-н-ролл. А еще пить шампанское, так как вечер будет проходить за столиками!» И они пили и танцевали, выйдя на самую середину зала. И он был в ударе, потеряв всякую осторожность, совсем не думая о том, что его может увидеть кто-то из знакомых и донести жене. Он был вне времени и пространства, он знал, что мир устроен иначе, чем видят его все эти окружающие его люди, и такие мелочи, как человеческие сплетни, не могли его больше волновать. А рок-н-ролл – это да, а джаз – это ритм. И в этом ритме он двигался к ней, сливался и растворялся в ней. А когда они, возбужденные и разгоряченные, покидали филармонию, то застряли среди толпы в тамбуре, перед тяжелыми, дубовыми дверями с бронзовой ручкой. Она прижалась к нему:

– Ой, у меня началось.

Анатолий обнял Валентину. Он и сам все видел, оставаясь человеком-камертоном, тонко чувствующим талант и внутреннюю красоту своей женщины и готовым дотянуться до самой вершины в их отношениях. И теперь понимал, что может видеть будущее.

Но о будущем они никогда не говорили. Смирнова переполняла энергия, он таскал мешки и баулы, отвозил в аэропорт жену, когда она улетала за очередной партией товара в Китай, вел домашнее хозяйство, готовил сына к экзаменам, вспоминал завод, но уже давно не подходил к кульману, работал с реализаторами и магазинами – бизнес рос, оформ-

лял кредиты в банке и с утроенной энергией писал картины, готовясь к своей первой персональной выставке, для чего снял в центре города зал. Совместно решили, что Валентина будет куратором вернисажа и подготовит буклет с анализом его работ. Никто их так не знал и не понимал, как она. Все рассчитали, и подготовили, и открыли выставку в отсутствие Елены, а потому праздник был только их. Только он и она – при большом скоплении народа и потрясающем успехе.

А через два дня вернулась Елена. Самолет из-за погодных условий задержали, да еще посадили за двести километров в соседнем городе. Более суток Смирнов провел в аэропорту. Потом разбирали товар, потом раскладывали по сумкам. Так прошли еще сутки. Во сне Анатолий снова увидел песок и солнце, и Валентину в том же белом платье, в котором она пришла к нему в его первых видениях. Она уходила вдаль. Молча. Не оглядываясь. Он оцепенел, не в силах сделать ни шагу и только моля, чтобы она обернулась. «Если обернется, то не уйдет», но она не обернулась...

Утром его колотила дрожь. Наконец-то вырвался из дома. И помчался на базар. За прилавком Валентины не оказалось. Соседка пожалала плечами:

– Вчера позвонила, что заболела. Я торговала за нее. Вот тут остатки товара и выручка.

Он даже не заглянул в сумку. Бросился к машине и не вбежал, а взлетел на ее четвертый этаж. Долго звонил в запертую дверь. Долго колотил ногами и руками. А дрожь колотила его. Сколько бы он так стучал, выломал или нет дверь? Но вдруг увидел поднимающуюся снизу по лестнице соседку и бросился к ней. Она с пониманием посмотрела на него, как на больного, и объяснила:

– Они уехали. Совсем. И вещи вывезли...

В сумке с остатками товара и выручкой он нашел конверт с вложенным тетрадным листочком в клеточку, где было написано: «Моя миссия выполнена. Ты стал мужчиной. Остальные двери откроешь сам».

КАК МНЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ?

Лидия Ивановна Скромкина – сотрудник одного из информационных агентств, дефицита в общении не испытывала. Новостями и разными инфоповодами была сыта круглые сутки. Но всегда тревожилась, когда долго не было известий от ее школьной подруги с Украины. Все, что произошло в последние годы с этой страной, она воспринимала прежде всего сквозь призму благополучия близкого ей человека. А потому, пережив боль, надежду и разочарование, связанные с оранжевой революцией в Киеве две тысячи четырнадцатого года, теперь, спустя пять лет, переживала только за подругу и ее семью. Но подруга радовала. Вместе с мужем они работали, не озлоблялись против кого-либо и ни с кем не враждовали. Их брак – русской и украинца – был прочным и радостным. «Да ты ж знаешь, – тараторила Люба по телефону, – мы только за мир, с Вовой мне ничего не страшно, хотя очень за всех боимся. Только бы снова войну не развязали. Вову и сына на войну не пущу».

Со временем Скромкина не то чтобы успокоилась, но приняла ситуацию как есть. В Россию друзей она звала, но Вова любил свою няньку-Украину, а потому вопрос с переездом отпал. Новости от подруги прилетали больше житейские: строим в деревне дом, варим варенье, взяли к себе внука, собираемся в отпуск на море. А потому факт пропажи ее на месяц из телефонного эфира Лидия Ивановна не то, чтобы не заметила, но не придала тому значения: Любаша любила на море долго загорать. Но вот, получив от нее сообщение и предвкушая общение, открыла чат в телефоне. Прочитала первые строчки: «Лидя, неделю назад я похоронила Вову. Загубили местные врачи. Лечили от бронхита, оказался рак легких. Когда обнаружили, оказалось поздно.

Ничего не делали: ни химии, ни облучения. Отправили домой умирать. Он сопротивлялся. Но поздно, все поздно. Как дальше жить, пока не знаю. Мне кажется, что нас специально здесь уничтожают, землю от нас очищают».

Осознать случившееся Скрамкина не могла. Она снова и снова читала электронные строчки, редела, вытирала слезы, не принимала то, о чем писала подруга, пыталась вспомнить, отчего бывает рак, и понимала, что ничего об этом не знает. «Похоронила Вову», – как можно Вову – живого, деятельного, веселого – похоронить? Он же строил дом в деревне и приглашал ее: «Лидок, следующий раз будешь жить у нас уже в мансарде». Мечтал об этом давно, а теперь, когда поднял свой небольшой бизнес, строил. Он много работал и горевал о своей неньке-Украине, тосковал по дочери, уехавшей в США, которую с рождения кохал и баловал.

С первой их встречи в девяносто шестом они понравились друг другу. Володя был настоящим мужчиной в то время, когда настоящие мужики были в дефиците, впрочем, как и всегда, и этим Лиде импонировал. А она расположила его к себе тем, что была любимой подругой жены. «Значит, и моей», – пошутил он и других объяснений не требовал. Та их первая их встреча была давно, когда она собственной персоной явилась пред их светлые очи. И сейчас ей больше всего хотелось вернуться туда, в безумно-феерические и упоительные дни... Хотя и принесли они ей тогда обидную потерю, пусть и ничтожно малую по сравнению с этим простым и страшным словом: «Похоронила».

Лидке был свойственен авантюризм. Нет, на совсем безбашенную она не тянула, потому что к жизни относилась серьезно. Но уж если ей что-то втемяшивалось в башку, притом внезапно, то непременно исполнялось. Вот и сейчас никакого отпуска на горизонте ей не маячило, а уже через час она покупала билеты на поезд, чтобы ехать на Украину. На работе, в разговоре, кто-то между прочим вспомнил город Петровск, куда много местных уехало на строительство глиноземного завода, как Лидка тут же сообразила: у меня

ведь там живет школьная подруга, а я ее лет десять не видела, и отпуск за этот год еще не отгуляла. «Еду!» – решила без всяких рассусоливаний Лидия Ивановна, которая в свои тридцать два года совсем не походила на даму с отчеством. Но должности ее – начальника отдела – отчество вполне соответствовало.

Сборы были недолгими. Восемилетнюю дочь она оставила у родителей, так как мужа у нее давно не имелось. Разошлась со своим суженым и Любка, к которой она собиралась. Писем от подруги не было уже несколько лет, но новость про ее развод ей кто-то когда-то донес. «Вот она удивится, увидев меня», – усмехнулась Лида, предчувствуя сцену встречи с подругой. А потом вдруг разволновалась. Вспомнила, как девочками в шлепанцах, спасавшими от раскаленной земли их обветренные ступни, они ходили с Любкой встречать коров, когда деревенское стадо возвращалось вечером с пастбищ в деревню, как уходили весной в заросли цветущей черемухи, где лежали на сплетенных ветках, словно в гамаке, мечтая о будущем. Будущее их было прекрасным. Они всегда, как и теперь, будут жить рядом, вместе работать в школе, выйдут замуж за красивых парней, обязательно красивых, чтобы ими гордиться. И у них будут дети. У Лиды – девочка, у Любы – мальчик, может быть, наоборот, но в любом случае, чтобы они потом поженились, и у них были общие внуки. Лидка и Любка были всегда неразлучны, их считали и на улице, где они по соседству жили, и в школе похожими и даже иногда путали, в том числе из-за схожести имен. Последнюю их встречу она не помнила, так же, как и расставание, наверное, потому что она не думала, что они с Любкой могут расстаться. Но однажды расстались и лет десять не виделись точно. И теперь Лида ехала в плацкартном вагоне и рассказывала случайному попутчику о своей подруге. Случайному рассказывать легче всего: попрощался он с тобой и все забыл, зачем ему чужую судьбу таскать с собой.

– Ну и как, мечты сбылись? – спросил он с любопытством.

– Ага, – не моргнув глазом, ответила Лида, – по мужу-красавцу мы с ней имели, оба оказались пьяницами и наркоманами, откуда мы знали в школьные годы, что в девяностых появится наркота, так что гордиться нам нечем и нечем. По дочке с сыночком имеем, и это – настоящее счастье. Рядом не живем: я – в России, она – на Украине. Разбросало нас.

– А вы не думаете, что жизнь изменила ее? Вы знали друг друга детьми, а теперь прошли годы. Вы не боитесь разочарования? Не думаете о том, что можете найти чужую, не расположенную к вам женщину? А жилье? У нее есть жилье после развода?

Лида этого не знала. И вдруг поняла, что она вообще не знает Любашиного адреса. Размечтавшись о встрече с подругой, она совсем не подумала о такой мелочи, как ее адрес, где она живет и как ее найти.

– А Петровск – большой город? – с тревогой спросила она у попутчика.

– Да уж не ваша деревня, где вы пасли коров.

– Мы не пасли, мы встречали, – уточнила Лида. И с вызовом добавила: – А Люба не может стать мне чужой.

– Ах, дорогая моя, откуда вам знать, кто теперь ваша Люба. И где она теперь, – ухмыльнулся попутчик.

– Я все равно ее найду, – уперлась Лидка. И стала прокручивать в голове возможные варианты поиска. «Начну с городской справочной», – решила она. И, схватив в одну руку чемодан, в другую – сумку с гостинцами для подруги, ступила на перрон незнакомого ей города и тут же стала крутить головой.

От услуг носильщика и таксиста отказалась. Никому не доверяла. Знала, что кругом одно ворье. «Вон неподалеку играют в „наперсток“», – догадалась она. Ничего, язык до Киева доведет, а уж в Петровске она разберется. И разобралась. До городской справочной добралась. Но адреса Любы ни по девичьей, ни по фамилии бывшего мужа ей не нашли.

И тут Лиду осенило: «К ней ведь мать, тетя Катя, переехала жить. А она моей маме письма писала». Узнала, где есть ближайшее отделение почтамта, и заказала перего-

воры на домашний телефон родителей. Мама в трубке на нее за такую безголовость минут пять ворчала, потом еще пять – искала в записной книжке адрес тети Кати и, наконец, услышав отчаянный вопль дочери: «Мама, у меня время переговоров заканчивается», – почти скороговоркой выпалила петровский адрес бывшей соседки.

Южный город очаровал Лидку обилием фруктов и солнца. К тому же и цель ей была ясна. Она зажала в руке клочок бумаги с написанным адресом и в очередной раз спросила у прохожих, где найти нужную улицу. Дом тети Кати оказался почти за городом, на тихой безлюдной улице. Прямо у калитки – колодец, дальше – сад. Дом – небольшой, ухоженный. Лида остановилась. Она должна быть готова к тому, что тетя Катя здесь не живет или ее нет дома. Над крыльцом свисают грозди винограда, звонким лаем заливаются дворняжка. Лида собралась и толкнула дверь.

Если бы прошло еще десять лет, то она все равно бы узнала тетю Катю. Она пряла шерсть, как в их с Любой детстве.

– Кто это? – напрягла она зрение и через секунду воскликнула: – О, боже, Лида, да откуда ты, матушка моя, взялась? Да неужели это, правда, ты? – она заплакала и обняла Лиду, трогала ее волосы, руки, будто на ощупь хотела удостовериться, что перед ней живая и осязаемая подруга ее дочери, так часто раньше бывшая в их доме, такая же своя, как ее пятеро собственных детей.

Лида тоже разревелась, и ей снова захотелось сидеть с тетей Катей у печки и говорить о взрослой жизни, как они прежде любили это делать. Свою Любашу тетя Катя считала веселушкой, о серьезном с ней говорить несподручно, а Лида – такая с ранних лет взрослая, что ей можно рассказать и о разводе кумы, и пожаловаться на боль в пояснице, и обсудить цену мяса на рынке. На рынок тетя Катя ходила часто, продавала молоко и масло, потому что пятерых детей поднимала одна: муж умер рано. Потому все дети с детства знали в доме свои обязанности: за коровой ходить, огород полоть, воду возить, сено косить, снег чистить. Любашка была самой младшей и самой шустрой. Все делала быстро

и весело. Тетя Катя только головой качала и приговаривала: «Ох, довеселишься, матушка моя».

О чужой взрослой жизни было говорить проще, свое и Любашкино будущее Лида представляла без разводов, болей в пояснице и с устойчивой ценой на мясо. И вот она снова рядом с тетей Катей, которая собирает на стол нехитрый обед и говорит, говорит.

– Лидочка, душа моя, да ты фрукты кушай, у вас ведь фрукты не растут. А здесь ведь рай божий. Тепло, снега нет. Ты помнишь, какие у нас были бураны? А здесь печку топить не надо, угля и дров запастись не надо. Всего вволю. Я ведь только теперь узнала, что такое жизнь, когда и работать-то много не надо.

И без перехода к разговору о дочери:

– У Любы сейчас все нормально. И квартирка своя, заработала доченька на стройке, Костик – славный сыночек, муж второй – хороший. А уж с первым натерпелась, наплакалась. Пил, не работал. Уж она, рук не покладая, всего сама доби-лась.

Лида отхлебнула чай. Невольно осмотрела комнату. На стене – плюшевый ковер с белыми лебедями, плавающими на пруду, над ним – портрет тети Катиного мужа – это знакомо ей с детства. И они опять говорят с тетей Катей о взрослой жизни – теперь их с Любой. Только печка не горит, а падают в саду с ветвей яблоки.

– Тетя Катя, я поеду, я хочу увидеть Любу сегодня, – поднялась Лида из-за стола. Обняла старушку-мать: – Мы еще приедем к вам.

– Доча-то как обрадуется, – пошла провожать тетя Катя Лиду до калитки, – вот радость-то какая, – повторяла она.

Лида с волнением давила кнопку звонка, но в ответ – тишина. Открылась соседняя дверь, женщина её возраста вышла на площадку:

– Любаня еще на работе. Можете к нам зайти, подождать.

– Нет, спасибо, я на улице подожду, – поблагодарила Лида соседку и вышла из подъезда.

Скрипели качели, стучал об асфальт мяч, кто-то кричал из окна верхнего этажа: «Юрка, ах ты паразит, я долго буду тебя ждать», – все звуки Лида воспринимала как-то четко, обостренно что ли, боясь пропустить главный звук, не зная каким он будет, но известившим о встрече с Любой. Она не знала, с какой стороны ее ждать, волновалась и успокаивала себя: «Я-то в лучшем положении, я ее жду, а она ничего не знает, что будет с ней». И вдруг увидела ее. Люба шла, держа за руку сына. Густые, от природы волнистые, цвета меди волосы рассыпаны по плечам. Фигура девчонки. Как Лида могла ее не узнать? Будто вчера расстались. Только взгляд незнакомый – озабоченный, женский. Лида будто приросла к асфальту. «Юрка, паразит», – неслось из окна. Встретились их глаза. Люба выронила из рук хозяйственную сумку. Уже после они услышали слова прохожего:

– Ну что вы плачете? Радоваться надо.

Потом они бестолково толклись на кухне однокомнатной квартиры улучшенной планировки с большой лоджией и просторной прихожей; пытаясь помочь другу, только мешали. То вместе хватали чайник, то поднимали упавший нож, то в одно мгновение начинали говорить. Первоклассник Костик, обалдевший от непонятных эмоций мамы и неизвестной тетки, воспользовался ситуацией и подальше задвинул портфель от уроков.

Наконец подруги сели за стол. Наспех приготовленный ужин служил только антуражем, они говорили и говорили...

– Как ты сюда попала? Я совсем не помню, – ухватила Лида нить беседы.

– Влюбилась на практике в центре России и поехала за будущим мужем сюда. Он – красавчик, как мы с тобой и мечтали. Умница и единственный баловень у родителей, а я – девушка из деревни. Сначала у нас с ним любовь-морковь, но его родители меня не приняли. Особенно мама против восстала. Потом родился сын, а любовь прошла. Муж стал пить, скандалить. Ушли жить на квартиру. Думала, что без

опеки родителей он начнет о нас с Костиком заботиться. Ничего подобного. Тут наркотики появились. И совсем – труба. К счастью, мама моя сюда переехала. Я стала Костика с ней оставлять, а сама на стройку пошла работать. Тогда движение МЖК появилось. Помнишь, молодежно-жилищные комплексы строили? Но чтобы получить квартиру, на стройке надо было несколько лет отпахать. Вот я и пахала. Кирпич поддонами перетаскивала, мусор гребла, штукатурила, красила – за любую работу бралась. Руки в кровь трескались. От усталости в обморок падала: днем – на заводе, вечером – на стройке, ночью – с Костиком. Вот так и заработала эту квартирку, второй год живу, не верю, что моя. А бывший суженый мой ряженный от передоза в мир иной ушел. Бог ему и маме его – судья. Я вот с Вовочкой сошлась, два года вместе живем, и я счастью своему поверить не могу. И фамилию его взяла при регистрации, потому ты меня в справочной и найти не могла.

Уже не один раз закипал чайник, но чашки стояли полупустыми, – было не до чая.

– Хорошо, что Вовка уехал в сад за яблоками, – махнула рукой Любаша, – лучше, что мы сегодня с тобой вдвоем. Он поймет нас. Ты ему понравишься. И он тебе тоже, – засмеялась она.

– Лишь бы тебе нравился, – улынулась Лида, все-таки Любка – неисправимая веселушка. И добавила:

– Давай ложиться спать, тебе завтра на работу.

– Я боюсь, что проснусь утром, а тебя не будет, – чуть не плача проговорила Любка, выливая в раковину остатки чая.

– Буду. Я буду жить у тебя целых три недели.

– Лид, а ты, правда, живая, настоящая?

Все было, как в детстве: Любаша не сдерживала эмоций, Лида призывала к разумности. Кто же ей сказал, что она встретит чужую, незнакомую ей женщину?

Вова приехал на следующий день. Из деревни привез мешки яблок и ящики помидор. Люба схватилась за голову:

– Куда столько? Что с этим делать?

– Консервировать будем.

Общий язык с Вовой Лида нашла сразу. Открытый, веселый. Уроженец Одессы, он с первых же минут спросил:

– А ты в Одессе была?

И услышав ее отрицательный ответ, искренне удивился:

– Да как же ты живе?

– Да вот все еще живе, – засмеялась Лида.

– Люба, так надо срочно собираться в Одессу, – почти серьезно обратился он к жене.

– Вова, а как же твои груши? – сострила та.

– Так то яблоки, – не моргнув глазом, уточнил Вова, – завтра крышки и банки доставлю, и за работу, девчата!

К вечеру следующего дня Вова заставил всю прихожую трехлитровыми банками и даже достал где-то целую сотню металлических крышек – страшный дефицит.

– Да хохол ты мой любимый, – обняла его Люба.

– Так, девчата, не медлите, давайте за работу. Считайте, что я вам тоже помогаю, только съезжу на полчаса по делам. Хорошо, Любаша? – и Вова закрыл дверь с обратной стороны прихожей.

Подруги рассмеялись:

– Помощник, – пробираясь сквозь банки, радовалась своему счастью Любка.

– Главное – хорошо организовать работу, – поддакнула Лидка.

– Он это умеет, – вдруг серьезно сказала Люба, – он ведь свое дело организовал. Окончил Одесский университет по направлению электроники. Он – классный специалист, только кому теперь такие люди нужны?! Вот он и решил свою компанию открыть. Сложно, но он много работает.

Они перебирали, мыли, раскладывали по банкам помидоры, кипятили рассол.

– Вот бы тебе все это зимой, – тараторила Люба, – вот поедешь, мы тебя загрузим под завязку, а лучше бы никуда не уезжала. Лид, а помнишь, как мы с тобой лежали в ветвях черемухи – и говорили, и мечтали. Небо голубое, белые гроздья цветов, мы клялись, что никогда не расстанемся.

– Вот я и выполнила клятву, нашла тебя.

– Ой, Лидуся, здесь, на Украине, люди живут совсем по-другому – замкнуто и завистливо. Все разговоры только о том, кто больше урвал, кто – меньше. Один сто банок помидор закатал, другой – сто пятьдесят. Неважно, сколько нужно, главное – больше, чем у соседа. Вот и я становлюсь мещанкой. Зачем мне эти помидоры, если книгу некогда почитать?

– Кстати, Люб, – прорвалась сквозь монолог подруги Лида, – у тебя на полках много таких же книг, как у меня.

– Да ты шо! – на украинский манер удивилась подруга. – Вот же, а! Ты посмотри, шо с нами делается! – обрадовалась она.

Десять лет, не зная ничего друг о друге, они читали одни и те же книги, одинаково воспитывали детей и не понимали, зачем между их странами провели границу.

– Ты, Лидуська, молодец, институт окончила, а я после строительного техникума не пошла. Работать надо было, маме помогать. Ты теперь информацией заведешь и по свету едешь. Счастливая! – утрабовывая очередной помидор в банку, протянула Люба.

– Счастье – понятие относительное, – как всегда резонно заявила Лида, – у тебя – уютный дом, семья. Хороший муж. Тебе есть, кого ждать и любить, а мы вдвоем с дочкой ютимся на чужой квартире.

– Это да, – согласилась Люба и вдруг вся побледнела и бросилась в ванную комнату.

Лида даже не испугалась за подругу, слишком явными были признаки еще более приближающегося счастья. А когда Люба, вытирая проступившие слезы, снова появилась на кухне, Лида, хитро подмигнув, спросила:

– Когда ожидается пополнение?

– Думаю, к маю, – растянула счастливую улыбку Люба-ша, – к твоему дню рождения успею.

– Только теперь дочку. Обязательно! У каждой мамы должны быть дочка, – со знанием дела заметила Лида.

«Диагноз после компьютерной томографии поставили в Израильской клинике в Киеве в конце июня, – писала дальше в сообщении Люба. – Вова все понимал, он умный был, да еще в Интернете начитался. Знал, что шансов нет, даже одного из ста. Но сопротивлялся и дела завершал. Успел на меня компанию оформить, недвижимость переписать. Дочке о болезни запретил говорить, только бы ее ничем не тревожить. Ты же знаешь, какая у них с Танюшкой взаимосвязь была с самого рождения. Души в доце своей не чаял. И та в своей Америке стонет: „С папой что-то происходит. Он здоров? Что вы от меня скрываете? Я же чувствую“. А он одно – не говори ей. Не хотел расстраивать. И жалел очень, что отпустил ее от себя. Училась бы и дальше в киевском университете, здесь бы замуж вышла, внуков нам родила. А он ни в чем ей отказать не мог. И в ее желании уехать тоже. Помогал ей, чтобы там у нее все получилось. Но пока вот не получается. Любовь наша Танечка и печаль. Вова перед смертью сказал: „Как жаль, что доцу свою обнять не могу“».

Вова вернулся, когда их горячий цех уже сворачивал работу. И с порога торжественно заявил:

– Девчонки, завтра едем в Одессу! Дозвонился, договорился, организовал. Будет гостиница, билеты в театр, море и, если хотите, даже барахолка!

Девчонки завизжали от восторга. А Вова подвел итог:

– Жизнь человеку дана одна, и прожить ее надо в Одессе!
– Поэтому ты меня туда первый раз и везешь, – засмеялась Люба.

– Любашенька, когда-нибудь мы с тобой обязательно там будем жить. Лида, я построю в Одессе дом с мансардой, вы будете с дочкой приезжать к нам каждое лето, у вас будет отдельное жилье – мансарда. Для вас будут – море, фрукты и Одесса-мама!

Они все втроем засмеялись, обнялись и повалились на диван.

Утром подруги грузили пожитки в машину. Наряды для театра и вечернего города, одежда для пляжа и рынка. Старенький «Москвич-412» забит и завешен барахлом до отказа.

– Боже, на нас люди будут оглаживаться, – счастливо засмеялась Люба, укладывая в сумку бутерброды и термос с кофе, – как цыгане.

Лида добавила последний элемент к своему костюму – золотые сережки, на которые тут же обратила внимание подруга:

– Какая необычная форма.

– Да, – согласилась Лида, – знаешь, я к золоту равнодушна, а эти выбрала из-за формы, вроде удлиненные и в то же время слегка скрученный овал с осью внутри, купила их себе с первой зарплаты. Память осталась о начале трудового пути. Загадала, когда их выбрала, но цены еще не видела, если денег хватит, значит, это будет мой талисман. Видишь, талисман работает – тебя нашла, – улыбнулась она. – Ну все, едем что ли? Вова нас – барахольщиц – заждался, – и она увлекла за собой подругу.

Все двести километров до Одессы Вова пел любимому городу оду.

– Девочки, жить надо только в Одессе! Там самое чистое море, там самые радушные люди, там много зелени и воздуха! Там есть все!

– Вов, ну всего не может быть нигде, – сказала Лида и сама засмеялась, почувствовав, что зря это ляпнула.

– Лида, ну это же Одесса! – возразил Вова в полном восторге, и этот восторг утверждал, что второго подобного города на свете нет. Слово «Одесса» он произносил мягко и певуче, одним возгласом подчеркивая все преимущества Одессы над миром остальным.

И, остановив свой «Москвич» у гостиницы на Дерибасовской, он провозгласил:

– Девчонки, мы прибыли! В этой гостинице еще останавливался по приезду в Одессу Александр Сергеевич Пушкин.

Войдя в старинный особняк и натолкнувшись на стены с ободранной штукатуркой, девчонки переглянулись и согласились: «Вполне возможно, что жил». Администратор – женщина их возраста, улыбнулась Вова и заискивающе заговорила, будто двух других женщин рядом с ним не наблюдалось:

– Знаю, предупредили, что приедете. Проходите, Владимир Михайлович, номеров свободных, конечно, нет, только для вас, – и подала какой-то странный ключ.

Девчонки снова переглянулись, но Вова приказал им тащить свое барахло – тире – наряды. Со всеми пожитками поднялись на третий этаж. Остановились перед дверью, закрытой на маленький навесной замок, который Вова и открыл выданным ключом. Впрочем, все номера рядом и дальше по коридору закрывались на такие же навесные замки. Видимо, на внутренних сэкономили.

– Девчонки, в тесноте да не в обиде! Каждому по кровати! Вечером гуляем по Дерibasовской и Потемкинской лестнице, спускаемся к морю и ужинаем в кафе. Вопросы есть?

Девчонки опять завизжали от восторга, обнялись и, смеясь, упали на кровать. Не успели навести кудри и нагладить юбки, как новое указание от мужчины:

– Идем гулять, а все чемоданы и сумки с вашими нарядами сдаем в камеру хранения. В номере ничего не оставлять!

– А это еще почему? – с недоумением спросила Лида.

– Лидочка, это Одесса! – эту фразу Вова произнес так, что и дураку бы стало ясно, что в Одессе вещи можно хранить только в камере.

Спустили все сумки опять на первый этаж, сдали в камеру, расценив это, как мелочь, которая не могла испортить им настроение. И вот она Дерibasовская – известная раньше только по фильмам и еврейским анекдотам. Южная ночь, кругом огни реклам, открытые кафе и ресторанички, все деревья в электрических гирляндах, везде продают цветы, и отовсюду доносится живая музыка – еврейские



мотивы и саксофон, играющий классику, джаз и знакомые мелодии из фильмов.

– Боже, какой хаос и свобода! – воскликнула Лида, пораженная ночным праздником в будничный день.

– Ты думаешь, эти понятия совместимы? – внезапно серьезно спросил Володя.

– Все зависит от уровня культуры народонаселения.

– Это мы сейчас и проверим. Дамы, я приглашаю вас в ресторан, – серьезно заявил Володя.

И дамы согласились. В летнем кафе они выбрали столик у развесистого каштана, недалеко от фонтана, струи которого подсвечивались, имитируя свечи. Колоритный еврей в черной широкополой шляпе играл на скрипке «Полонез Огинского». Вокруг было так неправдоподобно красиво, как еще никогда не было в жизни Лиды, так что она засомневалась в реальности происходящего. Одесса была особым местом на карте бывшего СССР, ничего похожего Лида

не видела в России, томящейся в очередях и тоскующей по дефициту, ссутулившейся от безработицы и безденежья, озябшей без света и тепла. Да и от городов Украины Одесса тоже отличалась – непринужденностью, легкостью, обилием света и цвета даже ночью, импортными товарами, которые продавали повсюду, не боясь милиции. В общем, настоящая заграница.

Люба тоже задумалась, прослезилась и молчала, что было ей совсем не свойственно. Вова давно принес бутерброды с красной икрой и коньяк, но не стал тревожить подруг, сидел рядом, поддавшись общему настроению, слушал полонез. Даже когда затихли последние звуки и исполнитель в почтении к публике наклонил голову, даже тогда публика не отвечала, а продолжала молча смотреть на свечи фонтана. И только время спустя раздались аплодисменты, сначала неуверенные, но постепенно слившиеся в общий восторг.

– Ну что, девчонки, за вас, – Володя поднял бокалы с коньяком темно-медового цвета, и подруги, сморгнув по слезе, согласились с ним, – за нас!

Потом ели мороженое, пили кофе и снова слушали скрипку.

Чувствуя безмолвное восхищение подруг, Володя в очередной раз воскликнул:

– Девчонки, это ведь Одесса!

И девчонки поняли: лучшего города в мире нет.

Между рядами цветочного базара, щедро увешенного электрическими гирляндами, они вышли к Потемкинской лестнице и спустились в ночной порт.

– Лид, давай махнем в Турцию. Здесь рядом, – предложил Володя.

– Ты что? – испугалась Люба. – Она ведь махнет.

– Билет всего двести долларов, – продолжал шантаж мужчина.

– Всего-то, – подыграла Лида, имея за душой несколько тысяч российских рублей и в жизни не видя долларов.

«Он упрямо сопротивлялся, уже с трудом переносил боль, но решил, что надо ехать еще в одну ведущую онкологическую клинику в Белоруссию. Я, как узнала о диагнозе, сразу же уволилась с завода. В Белоруссию поехали на машине, сын за рулем, не могла я Вове отказать ни в чем. В Белоруссии из нас в очередной раз выкачали деньги, а помочь ничем уже не могли. Светлая была минута, когда достали морфий и поставили Володечке, он в машине на обратном пути наслаждался природой, мечтал о путешествии, и я его убеждала, что все еще возможно, а он вдруг мне сказал: „Ты потом без меня путешествуй. Вместе не успели, только работали. Теперь бы иначе я жил“ ...Лида, самые сложные минуты были тогда, когда мне одной сказали диагноз и на мой вопрос: „Сколько осталось?“ – ответили: два месяца. Получилось меньше. В голове в эти минуты ничего не укладывается, не знаешь, за что уцепиться, чтобы оставаться на плаву. А надо поддерживать его. Вова быстро все понял, а я не хотела понимать и принимать. Никто не может поверить, что он ушел, я тем более... Так любил жизнь... Строил, создавал, обновлял...»

Они гуляли почти до утра. Подруги шли под руку и слушали бесконечные анекдоты и рассказы Вовы о лучшем городе на земле. К гостинице подошли расслабленные и умиротворенные:

– Вов, и все же я не поняла, почему в гостинице номера закрываются навесными замками, – ни с того ни с сего спросила Лида.

– Чтобы легче их было открывать, – спокойно ответил Вова. – Ноу-хау города Одессы!

За вещами в камеру хранения не пошли. Повалились спать в пустой комнате. На следующий день решили пойти по музеям, а вечером – в театр.

Утром Лида открыла плательный шкаф, куда были убраны вчерашние наряды, и на плечиках висела ее блузка, оставшаяся в номере вчера вечером, в кармане которой она за-

была свои золотые сережки. А теперь и без очков было видно, что карманы пусты. Но на всякий случай Лида все же заглянула вовнутрь, после чего громко рассмеялась:

– Ребята, вы не поверите, но сережек моих нет.

Любка всполошилась и стала зачем-то перетрясать полотенца и постельное белье, заглянула в урну и все проверила в ванной комнате.

Вова возмущался:

– Лида, как ты могла оставить золото в гостиничном номере! Это ведь – Одесса! – закончил он фразу так, что и дураку снова должно было быть понятно, что в Одессе ничего нельзя оставлять в гостиничных номерах.

– И если жизнь человеку дана одна, то прожить ее надо именно здесь, – съязвила Люба и захныкала. – Лида, они ведь золотые, и ты их купила с первой зарплаты. И это – талисман.

Честно говоря, про себя Лида жалела украденные сережки, и было ей не по себе от того, что присвоила им статус талисмана. Какой-то холодок прошелся внутри, но, обратившись к подружке, она бодро сказала:

– Перестань хлюпать! Заработаю еще. Ребята, ну пожалуйста, давайте об этом забудем.

Ей не хотелось портить настроение в городе, в котором ей вряд ли придется прожить всю свою жизнь, но три дня праздника она хотела себе подарить. И он в Одессе состоялся, в городе вселенского базара и великолепного оперного театра, зеленых бульваров и роскошных цветов, еврейской музыки и уличных шествий кришнаитов – в Одессе богатых и бедных, юмора и слез.

«Помнишь, как он рвался в свою Одессу? Отцовский дом поднимал на родном участке. И болел, всем сердцем болел за свой город, особенно после тех страшных событий в мае две тысячи четырнадцатого года».

А в девяносто седьмом на обратном пути в Петровск Лида с Любой ели креветки, грызли початки вареной кукурузы и грецкие орехи. Почти на закате остановились на

берегу Черного моря. Теплый вечер. Пустой пляж. Конец сентября – уже не сезон. Впрочем, в обществе они не нуждались. Если бы отпуск Лиды можно было продлить еще на три недели, все равно бы им его не хватило, но отпуск закончился, как и все заканчивается в жизни. Иногда слишком рано.

Отчего бывает рак? Человечество еще не знает. Болезнь возникает изнутри, и человеческая плоть сама себя поедает. Отчего? Не может смириться с невыплаканными слезами, незавершенными делами или так несовершенно противостоит общественному злу?

«Мы часто вспоминали твой отпуск и ту поездку в Одессу, когда еще верилось, что наш общий дом можно сохранить, – завершала свое длинное послание Люба, – а теперь нас убивают, травят, напускают штаммы. Утешаю себя тем, что такой удивительный мужчина тридцать лет был рядом со мной. Кому-то такой любви вообще не дано. Учусь быть сильной, чтобы продолжить его дело и любить жизнь, как он завещал. Только, как это сделать без него, пока не знаю...»

Лида уже не плакала. Вспомнились ей украденные в Одессе сережки, которые она зачем-то назвала талисманом. Вот так же судьба украла Володину жизнь: коварно и невозвратно.

О ЛЮБВИ И ВОЙНЕ ВСЕРЬЕЗ

Он снова бежал по снегу, полы шинели путались и мешали. Но он бежал из последних сил, только бы успеть. Он знал, что уже преодолел бетонный забор, кажется, перелез через него, что строго-настрого запрещено в военном училище. Он бежал, пробивая собой слежавшийся снег, и видел себя откуда-то со стороны, он ведь хорошо бегает и должен успеть, но почему же все длится так долго, силы уже на исходе, и он падает в снег, чувствуя колючую зыбь, в которую утыкается лицом, и с горечью понимает, что не успел, опять не успел. «Сейчас он проснется, – это начинает пробиваться сознание, – но сначала увидит лицо Лары». Лара, восемнадцатилетняя, такая юная, смотрит на него лучистыми глазами, щечки покраснелись на морозе, Лара – точно такая, какой была в тот день, в тот миг, когда он до нее все-таки добежал, схватил, крепко сжал в объятиях, целовал лучистые глаза, выбившиеся из-под шапочки волосы, кажется, губы, наспех ощутимые в этом вихре чувств. «Почему же во сне, так часто повторяющемся сне, длиною в четверть века с тех пор, как он не видел Лару, он так и не мог до нее добежать», – Алексей Возников окончательно проснулся, но глаза не хотел открывать, лелея в себе трепетное мгновение встречи с ней... С окончательным пробуждением ее лицо исчезало. И сколько бы он потом не пытался продлить сладостное мгновение, уснуть больше не мог, как и не мог увидеть снова Лару.

Он поднялся и до автоматизма выработанными за годы военной службы движениями стал бриться, умываться, застегивать гимнастерку: «А вдруг больше никогда не пригнится?» – он опасался этого всегда, когда в очередной раз бежал по снегу, а значит, видел Лару, и никогда не был уве-

рен, что сон опять повторится. Надел китель, давно привыкнув к двум звездочкам на погонах, мимоходом глянул в зеркало, поправил фуражку и вышел из казармы, которая называлась офицерским общежитием, направившись прямо в штаб эскадрильи Отдельной гвардейской дивизии особого назначения. На входе ему козырнул дежурный: «Здравия желаю, товарищ подполковник!» Он поднял руку в ответ и поднялся в свой кабинет начальника штаба.

Маринка умела выскакивать в жизни, как черт из табакерки. Даже если с момента их последней встречи прошло двадцать лет, она умела огоршить своим появлением. В этот раз в телефонной трубке домашнего телефона Лариса услышала ее по-прежнему знакомый смех, который ни с чьим спутать было невозможно. Переговорить и переслушать Маринку тоже было невозможно. Редкий дар человека – говорить в собственное удовольствие. Но в какой-то момент она тормознула:

– Ты о мальчишках что-нибудь знаешь?

Она не знала ничего. Они расстались давно, сразу после школьного выпускного бала, потом несколько раз встречались еще в счастливой поре юности. И все. На эту тему Лариса давно наложила табу. Была тому причина.

– Хочешь, я скажу тебе номер телефона Лешки? – хитро спросила Маринка.

– Нет, – испуганно ответила Лариса.

– Ты ведь можешь и не звонить, – улыбнулась школьная подруга. В том, что она двусмысленно улыбнулась, Лара не сомневалась. И сказала дрогнувшим голосом:

– Ты старая сводница.

– О! Так меня еще никто не называл, – засмеялась Маринка, – записывай номер, у начальника штаба есть личный сотовый телефон.

О записанном номере Лариса старалась не думать, но он свербил днем и ночью, лишив ее всякого равновесия, а пока у нее и так никогда не было. И тогда она придумала для

себя утешение и дала отсрочку: «Позвоню 23 февраля, поздравлю с праздником». Двадцать второго февраля коммунальщики, усердно ремонтируя крышу пятиэтажки, в которой она жила, перебили телефонный кабель. «Значит, не судьба», – убеждала себя Лариса.

8 Марта она, как и всегда, проснулась рано, но вставать не хотела. Взяла в руки книгу и стала читать, благодаря Клару Цеткин за подаренный выходной и мечтая, чтобы он на самом деле состоялся. Но утро оказалось коротким. Муж поднялся и, мучаясь с похмелья, напрямик направился к холодильнику за пивом. Она все еще читала, но уже слышала бряканье посуды на кухне: сын проснулся и хотел есть. Мужики поднялись, и вместе с ними, соперничая в изысках рекламы, квартиру оглушили два телевизора.

Лариса взмолилась:

– Ну можно хоть сегодня избавить меня от рекламы!

Она до психоза ненавидела рекламу, но муж и сын всегда об этом забывали, изводя ее. Звук уменьшился. Она поднялась и занялась домашними делами.

До вечера мыла квартиру, готовила обед, загружала стиральную машину и утюжила высохшее белье, просто сатанела от по-прежнему орущей рекламы и с трудом сдерживала раздражение против похмелья мужа и даже дивана, на котором он лежал. Все делала молча, без единого звука, а переделав, уткнулась в клавиатуру компьютера и забылась в работе.

Внезапно реклама перестала орать. Муж буркнул: «Я пошел погулять» – и хлопнул входной дверью. Она с облегчением вздохнула и оторвала глаза от монитора. И вдруг взбунтовалась:

– Черт побери! Я что, не имею права на подарок в Международной женский день? – и решительно подняла телефонную трубку. Набрала уже заученный номер мобильного и почувствовала, как от волнения перехватывает дыхание: «Сейчас услышу, что абонент недоступен», – успела подумать и услышала:

– Да!

– Товарищ подполковник, Алексей Иванович, это... ваша одноклассница, – деревянным языком произнесла она, – Леша, это..., – она больше не могла сказать ни слова. Впрочем, он уже ликовал, не верил, кричал:

– Девочка моя! Малышка моя! Я так часто видел тебя во сне, особенно в последние месяцы! Ты где? Ты рядом?

Лариса растворилась, не чувствуя своего тела. Только слышала какой-то ритмичный стук, не сразу сообразив, что это собственное сердце барабанит в ушах.

– Ларочка, Ларочка, милая моя! Я понимаю, что жизнь прошла, но я и сейчас люблю тебя. Ну что ты молчишь? Ты слышишь меня?

Как будто бы она могла вставить хоть слово. А когда смогла, то ничего не придумала умнее спросить:

– А почему ты не поздравляешь меня с Восьмым марта?

– Да, с каким Восьмым марта? Подожди, ты где?

Она была за две тысячи километров от него. И только смогла выдохнуть:

– Господи! Я сейчас разревусь.

– Не надо, а то я тоже заплачу.

Уже потом, когда она положила трубку и лежала опустошенная на кровати, она пыталась понять, что произошло с ней, с ее жизнью. Все дробилось на мелкие осколки из юношеских воспоминаний, черных дней в ее жизни и кое-каких успехов.

Все-таки они были ненормальными. Так не по-детски любить друг друга в школьные годы – это нонсенс, чепуха! Многие их сверстники на такое были не способны, впрочем, о том, что любовь – это в принципе редкий дар, Лариса узнает много позже.

По воскресеньям в переполненном зале кинотеатра они смотрели кино, в какой-то момент он крепко сжимал ее руку и не отпускал до конца сеанса. Они одинаково переживали фильмы о войне, только он – по-мужски сдержанно, а Лариса, как и подобает женщине, со слезами на глазах. Все в их отношениях было серьезно. Гуляя в парке, они

говорили о любви к родине, о том, что нельзя никого предавать, и рассуждали о том, выдержали бы пытки, если бы попали в плен.

– Ты смелый, Лешка, и сильный, – восхищалась другом Лариса. – А я не смогу терпеть боль, и предателем стать ужасно. Что же делать, Леш?

– Не попадать в плен, – обнимал и кружил он ее.

– Да подожди, – отстранялась она. – Я серьезно, а ты как маленький, – надувала она смешно губы.

– Ты никогда не попадешь в плен, потому что я стану военным и от всех врагов тебя защищу.

– Все-таки военным, – вздыхала Лариса, – это опасная профессия.

– Ты опять за свое, – прерывал ее Алексей. – Я буду летать! Высоко в небе! А ты будешь ждать меня на земле.

Перед самолетами Лариса испытывала трепет, хотя никогда их близко и не видела, только как маленькие серебристые крылышки, светящиеся где-то на уровне солнца. Она с трудом разглядывала их в безоблачном небе и голубой бесконечности, к которой так стремился Алексей. Он делал все для достижения мечты: хорошо учился, занимался спортом, много читал про самолеты, только бы взяли его в летное.

С восьмого класса у него был свой мотоцикл, что было редкостью и роскошью в их юности, но Лешка заработал на старенький, купленный с рук «ИЖ», чтобы ездить к ней в другой конец города, где она жила. И Лариса, корпя по вечерам над учебниками, среди прочих других звуков вечернего города угадывала знакомый звук мотоцикла. Услышав, незаметно выскальзывала из дома или, отпросившись у родителей к подружке за учебником, проходила несколько метров от дома по улице и сворачивала в ближайший переулок, где он ее ждал. Она приходила только на несколько минут, чтобы прижаться к нему, чтобы почувствовать объятия крепких и нежных рук. Он отводил с ее лица волосы, целовал глаза и губы. И она, словно птица, летела куда-то ввысь, к самому его голубому небу. Иногда он издавал стон

и расцеплял объятия, отшатнувшись от нее, сам приходил в сознание и давал возможность опомниться ей. Следующую грань они не переступали. Переступить не могли. Слишком правильно были воспитаны. Слишком долго собирались жить и друг друга любить.

Редкие размолвки между ними Лара переживала с трудом. В прямом смысле не спала, не ела. Мама сочувственно вздыхала: «Ну, что ты таешь, как свеча? Знаешь, сколько таких лешек будет в твоей жизни?» Мама ошибалась. Такого Лешки в ее жизни больше не было.

Об Афганистане она узнала в восьмидесятом году, когда ей было пятнадцать лет, а война только началась. Нет, в школе о ней не говорили. И дома только перешептывались. И когда позвонили родственники, с которыми мама долго говорила по телефону и плакала, Лара еще не осознала, что война – это не только кино... Потом они поехали на похороны. И ее двоюродный брат Толик, старше ее на пять лет, невозможно красивый, перед которым она всегда пасовала из-за этой красоты, говорили, лежал в цинковом гробу. Лара ничего не понимала, наверное, потому, что ее мозг к такому пониманию оказался не готов. Тетя Маруся, мать Толика и ее тетя, обняв гроб, словно сама не живая, не издавая ни единого звука, не шевелясь, не отрывалась от него. Было морозно, Лариса оказывалась то возле дома, где курили военные, такие же молодые, как Толик, то ее будто кто-то вносил в дом, где в большой комнате стоял гроб, на нем лежала тетя Маруся, и рыдали какие-то женщины, среди которых она узнавала маму, а бабушки почему-то не было. Потом она с трудом сообразила, что фельдшер со скорой помощи что-то делала бабушке в соседней комнате. А та лежала на кровати с синим лицом и почему-то просила у Бога смерти. Лариса ощущала себя абсолютно тупой и ждала, когда же это все закончится, когда, наконец, все поднимутся: и тетя Маруся, и бабушка, и мама перестанет плакать, и Толик встанет, если он там и вправду есть, вздохнут с облегчением и сядут за стол лепить пельмени. Они всегда все вместе

лепили пельмени, когда приезжали в гости к тете Марусе и бабушке. Но никто не поднимался, а в доме распоряжались какие-то незнакомые ей люди, говорили, что печь топить не стоит, что военным постелят на полу и что на кладбище все готово, но, по обычаю, покойник должен переночевать в родном доме.

«А кто покойник?» – опять тупо подумала Лара и поняла, что хочет лечь, закрыть глаза и ничего не знать. Она привалилась к стене в каком-то углу, откуда ее кто-то поднял, увел в комнату бабушки и там уложил на диван. Была ночь или день, она не знала. Все шторы и зеркала в доме были закрыты. Спала она или нет, она тоже не знала, но видела в окно бесконечную похоронную процессию, процессия шла почему-то по дороге, через ее родной город, а не здесь, где жила тетя Маруся, и выходила к кладбищу. Покойников везли и несли, их было много, но все они были незнакомы Ларе. Процессия шла долго. Иногда прямо на ее глазах покойник выпадал из гроба, его поднимали, возвращали на место, а в других гробах лежали сразу по два-три мертвых человека, и их всех везли мимо окон, Лара смотрела на черно-белую процессию, не испытывая ничего, кроме желания понять, что происходит. Но понимание не приходило. Вместо этого она сама шла на кладбище совсем одна и ходила среди могил, рассматривая памятники, кресты и фотографии на них. Кладбище было весенним, трава свежезеленой, а все лица на фотографиях незнакомыми, а она искала кого-то знакомого, потому шла дальше...

Она очнулась от страшного женского крика, потом ей сказали, что кричала тетя Маруся, очень сильно кричала, а потом умерла. Толика она тоже больше никогда не видела, наверное, он и правда был в том цинковом гробу, который обнимала тетя Маруся. Она слышала, как взрослые говорили, что рядом с приготовленной могилой выкопали вторую, чтобы сын и мать лежали рядом. Бабушка, пережившая Отечественную войну, сердилась на Бога, что он вместо нее забрал внука, заговаривалась и впадала в беспмятство. В день похорон был страшный мороз и метель.

На кладбище Лару не взяли. Она лежала в холодной комнате на диване и смотрела в окно на длинную процессию.

Она теперь знала, что такое Афганистан.

Последние три недели подполковник Возников ощущал себя совершенно счастливым человеком, что, конечно, не удалось скрыть от его штабного окружения. «Что это с начальником случилось? – перемигивались штабисты. – Даже на секретных совещаниях будто отсутствует совсем». С белым флагом вызвался идти к подполковнику давний сослуживец и его заместитель Федечкин:

– Алексей Иванович, у тебя все в порядке? – начал он осторожно.

– Леня, у меня все очень даже в порядке! – хлопнул Возников по плечу заместителя. – Что, разведка, пытаешься ситуацию прояснить? Командиру удивляешься, – достал он из сейфа коньяк и налил в два стакана. – Давай, старина, за нас!

– Иваныч, блюду твою репутацию, – опрокинув стакан, доложил Федечкин.

– Леня, мою репутацию уже можно не блюсти, ее уже пора в пике отправить, – счастливо засмеялся Возников и налил по второй.

– Леша, ты мотор бы поберег, из госпиталя ведь только месяц как вернулся, а я вижу, тебя что-то тревожит.

– Леня, я Лару нашел. Мне бы ее увидеть хоть раз, а потом можно и пикировать.

Федечкин присвистнул:

– Ну, брат, если увидишь, то потом только к солнцу, как Икар, – распахнул окно, чтобы впустить в прокуренный кабинет свежего воздуха и радостно сообщил, – весна наступает.

В первые июньские дни лес еще хранит весеннюю свежесть. В березовой роще пахло клейкими листочками и молодой травой. Леша доставил их сюда с Ларой на мотоцикле. Они, обнявшись, лежали на поляне рядом с первыми цветами. И голубое небо шатром раскинулось над ними.

– Твое небо, – задумчиво сказала Лара. – Обещай, что не будешь стремиться в Афганистан.

Вместо ответа он расстегнул пару пуговичек на ее девичьей кофточке, нежно тронул юную грудь, стал целовать. И небо упало на них, накрыло своей синевой. И все же неимоверным усилием воли он остановил себя, откинулся на траву, шумно вздохнул, небо снова взлетело и отразилось в его голубых глазах. Лара, пережив мгновение страстного томления и придя в себя, с тревогой склонилась над Алексеем:

– Обещай, что ты не будешь стремиться на войну.

– Я обещаю любить тебя всегда, – и он притянул ее губы к своим.

А ночью она опять видела из окна черно-белую похоронную процессию, и в который раз ходила по весеннему кладбищу со свежезеленой травой, и опять искала, искала кого-то. Ее мучило наваждение, затянувшееся на года.

Подполковник Возников пил и не пьянел. В офицерской общаге, к которой он давно уже привык, но которая его не грела, никто его не ждал. Соседи по комнате разъехались на выходные к своим семьям, а его семья была далеко. Жена устала мотаться с ним по гарнизонам, по чужим квартирам, ютиться в общежитиях и плотно осела в однокомнатной служебной квартире в тысяче километрах от него. Выдвинув ультиматум и ему, и министерству обороны, что с места не сдвинется, пока этот израненный, посадивший сердце в горячих точках и безумных полетах и абсолютно ничего не умеющий потребовать для себя и семьи офицер, который, к несчастью, называется ее мужем и отцом ее детей, не получит квартиру. Нина выкрикивала еще много чего, но он не стал слушать. Взял свой летный портфель и вышел из квартиры. Нет, он ее не судил. Она честно отмоталась с ним по стране. И вырастила дочь, и имела право в сорок лет на спокойную жизнь, которую он старался ей обеспечить. Все правильно, все так должно и быть. Он пил и не пьянел.

Возников не понимал, не помнил подробностей того вечера, когда он потерял Лару. Какой-то дурацкий инцидент, не отложившийся в его памяти, а разрушивший все, потому что Лара измены не прощала. Измены не было никакой и быть не могло, просто он оставил ее, как казалось ему, ненадолго, и пошел проводить каких-то девчонок с вечеринки, когда они приехали на первые каникулы домой: он – из летного военного училища, Лара – из института. Он тогда выпил с парнями чуть ли не в первый раз, было легко и кружило голову. В синей курсантской форме он был неотразим, и девчонки заглядывались на него, а он смотрел только на Лару. А потом в какой-то кутерьме его увлекли из дома на улицу, и он куда-то пошел с веселой компанией. Потом опомнился, вернулся, но Лары уже не было. Он метался, искал, побежал к ее дому, стучал, звал...

Долго звал. Приезжал в город ее студенчества, к ней в общежитие. Просил, умолял. Но Лару надо было знать. Возников пил и не пьянел. Теперь он умел много пить: «Под пытками бы она не выдержала, – с горьким отчаянием подумал Алексей, – она сама кого хочешь до смерти запытает. Катком проехала по его и своей судьбе. В такое пике отправила. А что я знаю о ее судьбе, может быть, у нее все в порядке», – Возников вылил из бутылки оставшийся коньяк и переключил телевизионный канал. «Первым делом, первым делом – самолеты... Ну а девушки? А девушки – потом», – словно издеваясь над ним, пел с экрана знакомый всей стране голос.

– Да знаю, знаю я, что небо – наш родимый дом, – буркнул он недовольно, – да вот отлетелся ты, Алексей Иванович, а на земле у тебя дома нет.

«Опять этот жуткий сон. Опять эти похороны, – с ужасом, просыпаясь в холодном поту, подумала Лариса. – Когда же это закончится?» – она широко открыла глаза, чтобы только проснуться и избавиться от похоронной процессии, преследовавшей ее всю жизнь. С возрастом она стала бояться этого сна. Бояться за близких, особенно за детей. За окном

светила луна. Наверное, Лариса обрадовалась бы сейчас даже телевизионной рекламе, чтобы только жизнь заявила о себе во весь голос. «Лешка, какой ты теперь?.. Нет. Надо еще поспать. И так поздно легла. Скоро вставать». И, наверное, уснула, потому что опять шла по весеннему кладбищу, опять что-то искала. И нашла! Вот эту могилу она так долго искала. Ну, кто же здесь похоронен? «Твои не рожденные дети», – услышала она рядом чей-то голос, а с фотографии на памятнике на нее прямо смотрел Алексей.

Кажется, она подскочила на кровати. Муж завертелся рядом. Лариса встала, накинула халат и, стуча зубами, прошла на кухню. Включила свет, нажала кнопку чайника и заплакала, не в силах дальше сдерживать себя.

Она хотела Лешке сделать сюрприз. Купила билет на поезд и поехала в город, где он учился в своем летном училище. «Воскресенье ведь, вот он удивится и обрадуется», – мечтала она, стоя у КПП. Почему-то ждать пришлось долго. И она отошла от пропускного пункта, скучала, глядя как из ворот училища один за другим выходят курсанты в синих формах, только Лешки все не было. Появился он неожиданно, не из ворот. Он бежал от бетонного забора, полы шинели мешали, ноги вязли в снегу. Так, на бегу, запыхавшись, он схватил ее и крепко сжал в объятиях, целовал и, прижимая к себе, шептал: «Как же я люблю тебя! Люблю!» Они не могли оторваться друг от друга, и он, вытирая ей слезы, торопливо говорил: «Я сегодня – дневальный, я постараюсь, меня должны отпустить! Слышишь, иначе быть может! Ларка!» Их свидание было коротким. Он скрылся за забором училища, и остаток дня до вечернего поезда она провела одна. Он уже был военным, а армия сюрпризов не любила.

А потом был тот вечер, когда он ушел кого-то провожать. За окном так же, как теперь, светила луна. Школьный друг пытался заладить неловкость, что-то объяснить: «Он сейчас придет! Ты только не волнуйся!» И понимал, что тщетно. Ее серые глаза потемнели и наполнились такой болью, что друг замолчал. Потом предпринял еще одну попытку: «Ни-

чего не произошло! Они сейчас проводят девчонок, и он вернется сюда! Подожди! Ну не уходи!» Она молча надела пальто и вышла. На улице остановилась. Увидела небо, усыпанное яркими звездами, и почувствовала, что сейчас умрет. В ее собственном кодексе чести не было места измене. Но она не умерла, не поняв, почему у нее так и не разорвалось сердце...

Утром она собрала вещи и сказала маме, что уезжает обратно на учебу.

– Почему? Ты же хотела побыть дома. Что случилось? Где Алексей? Вы поссорились? Не уезжай, поговори с ним. Так нельзя! – пыталась удержать ее мать. Но потом встретилась с глазами дочери и поняла, что ее младшая целую жизнь прожила за эту ночь.

– Не прощу, никогда, – сказала жестко Лариса.

– Тебе жить.., – вздохнула мать.

Они виделись потом еще два раза. Несмотря на хрупкую фигуру, Лариса обладала невероятно сильным характером, и упрямства ей было не занимать. А потому каждую осень на студенческие сельхозработы в колхоз отправлялась без всякого сомнения. Раз Родина сказала: «Надо!» – Лариса отвечала: «Есть!» А завершив достойно путь в борозде, ехала к маме домой – отмываться и за зимними вещами.

В проходящем поезде, как всегда, свободны были только верхние места, что ее совсем не смущало. Она забиралась на вторую полку и спала почти до своей станции. Когда оставалось ехать час, вставала и шла в туалет умываться. В этот раз на ней был надет спортивный костюм и резиновые сапоги с наспех отмытой колхозной грязью. А вот голова не мылась уже давно. Она кое-как закрутила грязные волосы резинкой и порадовалась, что в транзитном поезде ее никто не знает. Все, что случилось дальше, могло случиться только в кино. Перекинув полотенце через плечо, она двинулась по проходу вагона к туалету и лицом к лицу столкнулась с... Алексеем. Их глаза встретились, и они оба замерли. Спустя мгновение она отшатнулась, обошла его и почти по-

бежала к концу прохода, рванув на себя дверь. Поезд стоял на каком-то разъезде. А она стояла в тамбуре, не понимая, как такое вообще могло произойти. И только с ужасом думала о своих грязных волосах и резиновых сапогах. Как она покажется ему? Как будто только это имело сейчас для них какое-то значение.

Поезд стоял долго, пассажиры выходили покурить и заходили обратно в вагон. А она боялась покинуть свое убежище, откуда видела в окно Алешу. Он взволнованно курил, летная форма ему очень шла, особенно к его голубым глазам. Она залюбовалась им, забыв про свои грязные волосы и резиновые сапоги и мечтая о том, как они приедут на вокзал родного города, как он возьмет ее за руку и никогда больше не отпустит.

Состав дернулся. Лара схватилась за решетку окна. И не увидела, а почувствовала, что он идет к ней. Задохнулась от счастья. Но тут же откуда-то изнутри нее холодящим душу воспоминанием вылез тот звездный вечер, когда она осталась одна. Он решительно открыл дверь тамбура:

– Здравствуй!

– Здравствуй! – и она отвернулась к убегающему за окном полустанку.

Разговор не сложился.

В следующий раз они встретились уже тогда, когда он окончил училище и был лейтенантом, она родила дочь и полностью разочаровалась в своем замужестве. Они опять оказались в одно время в одном месте. И он пришел в ее родительский дом, когда она вместе с дочкой приехала на несколько дней и в тот момент спала вместе с малышкой.

Мама разбудила ее:

– Алексей пришел.

Она вышла в прихожую. Он стоял у дверей ослепительно красивый в своей офицерской форме. И что-то торопливо говорил ей, а она ясно понимала только одно, что совершила непоправимое. Теперь ей казались полным бредом и тот дурацкий вечер, и ее замужество, и то, что она не может его обнять, и...

– Ты слышишь меня? – с отчаянием твердил он, крепко держа ее за руки. – Поедем со мной! Никто мне не нужен, кроме тебя, твоя дочь станет моей! У нас будут еще дети! Много детей, сколько ты захочешь! Ну, пожалуйста, не мучь меня и себя, ты же тоже любишь меня, я знаю. Не ломай нам жизнь! Подумай и не говори прямо сейчас «нет».

– Нет, – выдавила она из себя, повернулась и пошла в комнату.

Уткнулась в подушку, обняла дочь. Она не могла подавить в себе гордыню, не могла смириться со своим жизненным поражением и сломленной вернуться к нему.

На свою последнюю преддипломную практику Лариса поехала в далекий сибирский город. Стояла осень. Очаровательное время года, которое она очень любила. Сентябрь выдался теплый, тихий и поистине золотой. На улицах города старушки продавали букеты астр, хризантем и гладиолусов, тонким кружевом золотистой листвы были осыпаны березы, и, словно облитые кровью, адели гроздья калины. Иногда она покупала себе астры, чтобы наполнить комнату их горьковато терпким осенним ароматом. Несмотря на большой объем работы, она отдыхала душой, не заметив, как пролетело два месяца. Пятиэтажное здание студенческого общежития, где она жила на самом верхнем этаже в полном одиночестве, должно было вскоре заполниться возвращающимися с сельхозработ студентами. Подходила к концу ее практика. И теперь ее мучила мысль о необходимости возвращаться домой, о встрече с мужем, жизнь с которым не сложилась в первый же год замужества. Разочарование угнетало ее. Положение казалось безысходным. Чувство вины перед мужем, которого она, как оказалось, не смогла полюбить, хоть и убеждала себя, что это возможно, мучило ее.

В то же время она не понимала, в чем эта вина заключается, и никак не могла разобраться в собственных чувствах. Она готова была пожертвовать собой ради мужа и дочери, но только с условием, чтобы муж на нее не претендовал.

Условие, конечно, было абсурдным. А его невыполнение в тысячу раз увеличивало в ее собственных глазах степень ее собственной жертвенности. Лариса мучилась, загоня себя в тупик и болезненно воспринимая окружающую действительность, тем более что в пустом общежитии действительность была представлена полной тишиной. Тонула в книгах, заменяя собственную жизнь чужой. В последнюю ночь перед отъездом зачиталась до глубокой ночи, а дойдя до сцены самоубийства главного героя, отложила книгу, вдруг поняв, что теперь ей надо делать. Часы показывали 3.30 утра. Забравшись на подоконник, она открыла двойные рамы и глянула вниз с пятого этажа. Ночь была теплой. В свете уличных фонарей под окном белел бетонный тротуар. И тянул ее вниз. Она отпустила руку, сжимавшую раму, хотела оттолкнуться другой и... вздрогнула от резкого стука в дверь ее комнаты. Замерла, растерянно глядя вниз, въедливый холодок страха стал пронизывать ее бесчувственное до этого момента тело. «Был ли стук? Здесь нет никого. Ей это только показалось». Она снова посмотрела вниз, неуверенно на дверь, и тут второй резкий стук привел ее окончательно в чувство.

Она спрыгнула с подоконника и повернула ключ в замок. В длинном общежитском коридоре стояла звенящая тишина – ни шороха, ни звука. Ни единого движения воздуха. И тут словно кто-то в самое ухо ей прошептал «Ася». Услышав имя дочери, она окончательно пришла в себя: «Как я могла!» И стала торопливо одеваться, чтобы дольше не оставаться одной, вышла из общаги и двинулась по еще спящему городу в сторону работы. Транспорт не ходил. Она шла по улицам большого города, дыша осенью, и стыдилась за свою слабость, повторяя, будто заклинание: «Об этом никто никогда не узнает...»

После окончания училища Алексей Возников без всякого сомнения решил подать рапорт о распределении его в ограниченный контингент Вооружённых сил СССР, дислоцирующихся в Демократической Республике Афганистан.

«Я – офицер советской армии, должен защищать интересы своего отечества и быть там, где офицер, прежде всего сегодня, должен находиться», – писал он. И не лукавил. Он всецело верил в написанное им. Собственно, выбор его был определен временем и присягой. Спортивный и перспективный, он изо всех сил рвался на войну. А с войной в прятки не играют. Раз однажды решил, все равно она тебя найдет. И нашла.

Прислушиваясь к гулу двигателя самолета, он твердил заученное, вбитое в сознание: «Поставлена задача, я ее должен выполнить с максимальной эффективностью, с минимальными потерями для себя и нашей армии». В Афганистане он воевал на советском МиГ-23МЛД в одном из истребительных авиаполков, действовавших в интересах наземных войск, прикрывавших Кабул и Баграм. МиГ-23МЛД ему нравился, машина была сконструирована так, что практически не сваливалась в штопор. О выходе истребителя на критический угол атаки и приближении к опасному режиму летчика предупреждала вибрация ручки управления. В Афгане он служил всего год. Потом был ранен. Но и года хватило. В госпитале ему торжественно и показательно вручали награду – Орден Боевого Красного Знамени, и молодая журналистка спросила его, что он делал на войне. «А на самом деле, что он там делал? И сколько лет журналистке? Пожалуй, не больше, чем ему. Почему же она кажется ему такой молодой? Почему она раздражает его своим нелепым вопросом. Что он делал на войне?» Перед глазами вновь проносится рыжая пустыня в окрестностях Баграма, потом бесцветное небо Кабула, потом снова пустыня, и этот сплошь бесцветно-рыжий вираж увлекает его к самому центру, туда, где красной точкой саднит постоянно мысль: «Надо наносить удар, а там внизу люди. Хорошая машина МиГ-23МЛД, не надо отвлекаться на приборы, в бою отвлекаться нельзя, ручка сама предупредит о приближении срыва».

– Алексей Иванович, – услышал он почти детский голос, – расскажите о своих боевых вылетах? – не отставала

журналистка, стоящая перед его кроватью с блокнотом и ручкой в руках.

– Тебе сколько лет? И как тебя зовут?

Журналистка смутилась.

– Я уже целый год работаю в редакции после окончания университета. А зовут Ларисой.

Возников предпочел вернуться в бесцветно-рыжий серпантин, но понял, что струсил, набрал воздуха и вынырнул обратно на поверхность: «Она наша ровесница, эта Лариса. Отчего же такая маленькая?»

– О боевых вылетах?.. Мы летали каждый день. Я выполнял задачи, которые ставили передо мной. Фронтовые истребители в Афганистане выполняли задачи, в основном не свойственные им, – удары по наземным целям. Это – хлеб штурмовиков. Но мы были подготовлены к боевым действиям по всем параметрам: воздушным боям, перехватам воздушных целей, ударам по земным целям в любых условиях. Была поставлена конкретная задача: нанести удар по такой-то цели, поднималось звено или два, выходили на цель. Удар и уход. Вот и все.

Он видел, что девушка разочарована. Ему стало ее жаль, тоже ведь работает, и он решил блеснуть красноречием дальше:

– Летаем мы только так, как определено инструкцией, каждый пункт которой устанавливает определенный порядок действий. Иначе нельзя, иначе получится воздушное хулиганство.

Он устал, но порадовался за себя: как умно, как правильно все сформулировал. Все в соответствии с инструкцией. Не допустив ни у кого даже мысли, что может действовать иначе.

Девушка готова была расплакаться:

– Алексей Иванович, а как же подвиг, героизм, за что вам дали орден?

«Почему таких маленьких девочек берут на работу? Инструкцией это запрещено. Он выполнял поставленные перед звеном задачи. Почему внизу всегда были люди? И почему

в Афганистане такое жаркое солнце и всегда бесцветное небо? Такую маленькую девочку зовут Ларисой...», – он выходил на глубокий вираж. И почему-то слышал, как на земле говорили: «Вам пора. Товарищ лейтенант устал. Он еще слаб». И просили совершить подвиг, а он не понимал, что это такое.

После госпиталя, в конце уходящего в историю восьмого десятилетия двадцатого века, Алексея Возникова направили служить в Польшу, куда попадали только по связям. Ему зачлась война. Он был пока лишь старшим лейтенантом, но уже нередко думал о том, что должен так пройти и пролететь свой путь, чтобы никто не плюнул ему вслед, когда наступит время армию покидать. Чтобы за все годы службы не уронить чести офицерской, служить не ради карьеры и лишней звездочки на плечах, а только защищая интересы своего государства.

В Польше он женился. Нина работала в летной части медсестрой. И с первой же встречи, как говорится, «запала» на новенького старлея. Он особо не сопротивлялся, надо же было когда-то жениться. А здесь все складывалось само собой и вполне благополучно. И комнату в офицерском общежитии молодоженам выделили сразу, и служили вместе, и Нина нормальной женой оказалась. И ничего сверхъестественного впереди не ожидалось, а потому – неси себе службу и неси, соблюдай устав, выполняй инструкции, не вспоминай Афганистан и не думай о том, что творится теперь в твоей стране России. Так убеждал себя Алексей и старался не думать. Не вспоминать. Бесцветное небо, рыжая пустыня и внизу – темные фигурки, видимо женщин, закутанных в чадру, приходили теперь только в тревожных снах. Лучше уж бежать по снегу, торопиться, надеяться, бежать и не добежать до своей мечты... Лучше уж этот сон, хоть и от него Алексея захлестывала такая тоска, что хоть опять в Афган.

После Афгана он научился пить. Не так, чтобы запоем, но, как положено офицеру Российской армии, от души. В девяносто первом, как и всегда, восемнадцатого августа на

широкую ногу в части отметили День военно-воздушного флота. Офицеры, поднимая тост за тостом, гудели до утра. Спать легли с рассветом. Не успели уснуть и протрезветь, как поняли, а это они понимали в любом состоянии, – тревога. Алексей давно привык лишних вопросов командиру не задавать. Но, оценив ситуацию, отметил, что командир тоже ничего не знает. Полупьяные, ничего не понимая, они вскакивали в самолеты, не представляя – куда и зачем лететь. Завели двигатели, приготовились к взлету. Команды нет никакой. От напряжения, непонятого ожидания проходило опьянение. «Что за черт?» – выругался командир. Неясность ситуации выводила из равновесия даже бывалых летчиков. Через полчаса объявили отбой тревоги. Утром всех собрали на общее построение. Сообщили, что в Москве государственный переворот. Вопрос: «Кто полетит на Москву?» – повис без ответа в полной тишине. Желающих не нашлось. Чувствовалось, что «наверху» тоже медлят с решением. У Возникова заболела рана; мысленно из кабины своего, теперь бомбардировщика СУ-24, он видел внизу не рыжий песок, а Красную площадь: «С ума они там, что ли, все посходили?» Кто «они» – он не знал, но точно знал, что в России. В Красном уголке включили телевизор. Офицеры его окружили. Вот они лидеры ГКЧП, у самого старшего трясутся руки.

– Расслабьтесь, ребята, – сказал Алексей, – они обречены, трясущимися руками перевороты не совершают.

И офицеры успокоились.

Вечером он сообщил Нине, что в Москве совершен государственный переворот.

– Надеюсь, там все обойдется без нас? – спросила она с такой ноткой в голосе, будто бросала вызов и ему, и тем, кто устроил переворот.

– Хотелось бы верить, – задумчиво произнес Алексей.

– Ты что, хочешь вернуться в Россию? – уловила она неуверенность в его голосе. – Ты с ума сошел? Там даже водка по талонам, не говоря уже о продуктах. Ты собрался с ре-

бенком возвращаться в эту дикую страну? Да не для того я правдами и неправдами вырывалась оттуда, спала черте с кем.., – она замолчала, будто запнувшись, но муж не закричал, не ударил ее по лицу, он только смотрел на нее так, словно видел в первый раз. И она продолжила, перейдя на крик:

– Это тебе наплевать, что есть и где спать. Это тебе наплевать, что растет ребенок, что у тебя семья, тебе нужны только твои самолеты! Тебе проще всего молчать...

Алексей молчал. Почему-то он впервые подумал о том, что ничего не знает о своей жене. Да и зачем знать? И что там творится в Москве?.. Не может армия подчиниться тем, у кого трясутся руки, другое дело, что, если перевес сил перейдет на сторону протестующих, которых возглавляет боевой офицер, заслуженный военный лётчик СССР, генерал-майор авиации в отставке. Генералов в отставке не бывает. У этого рука не дрогнет. За его плечами – почти пятьсот боевых вылетов, тяжелое ранение, поражение наземных целей. Этот не промахнется. А он, боевой офицер Алексей Возников, обязан будет подчиниться. Обязан выполнить приказ. Он присягал. Но генерал ведь тоже видел небо Афгана и бегущих вниз людей... А там – Москва, там – Родина, там – свои. И никакого международного долга. Надо идти на аэродром, лучше быть там. Жарко. А Польша – не Афганистан.

– Так и знай, я никуда не поеду! Отправляйся один на свою Красную площадь!

– Прикуси язык! – ответил он жене и вышел.

В августе девяносто первого обошлось. В прямом смысле обошлось без них. К крови, пролитой в Москве, авиация была непричастна. Вскоре необходимость для распавшейся страны в ней совсем отпала, собственно, как и в армии в целом.

Летный состав собрали на плацу и объявили приказ:

– Один полк остается в части и перегоняет в Россию все самолеты, два других самостоятельно добираются домой.

Все летное обмундирование везти самим, потеря казенного имущества не допускается. Вопросы есть?

Вопросов не было. Над плацом висела тишина. Строй стоял, не шелохнувшись.

– Ну, разойтись, что ли, – подавлено произнес командир. – Больше мне сказать вам нечего.

А кто скажет? Кто объяснит им, тридцатилетним офицерам, присягавшим на верность могучей и единственной стране, кто они теперь и что им делать дальше? Сорвать погоны, броситься в кабину своего бомбардировщика и была не была или угнать истребитель, а дальше что? Или, или...

– Мужики, что делать? – повис вопрос в офицерской общаге. И ответ был найден:

– Пить!

Пили долго и жестко. Когда очнулись, узнали, что за это время уволили всех командиров украинской национальности, якобы боялись провокаций и предательства. Алексей ничего не понимал. Что за предательство? Все проверенные, нормальные мужики! Хотелось снова заорать на весь мир: «Вы что, с ума все посходили?», пустить в воздух очередь, в конце концов, сбросить бомбу на какую-нибудь пустыню, где нет внизу людей, только чтобы их услышали, узнали, очнулись все. Что за вертеп творится вокруг? Разве этому он присягал?!

Его полку предстояло самостоятельно куда-нибудь добираться. В России остались однокашники по училищу, приглашали к себе, но ничего не обещали, у каждого все держалось на волоске. Нина истерила, собираясь остаться в Польше, но кому она была здесь нужна, если часть расформировывали. Паники не было. Был разброд, нехарактерный для армии, полнейшее опустошение в людских душах и первые суициды. Мужики пропивали последнее летное обмундирование и постепенно разъезжались в разные стороны.

Алексей, наконец-то, получил приглашение от бывшего сослуживца в воинскую часть, где набирали пилотов-инструкторов. Теперь его путь лежал в Саратовскую область,

где Возниковы на собственной шкуре ощутили все прелести наступающего капитализма. Нина на работу устроиться не смогла. Все медики при копеечной зарплате и большой ее задолженности держались насмерть за свои места. Офицерское общежитие в гарнизоне комфортом не отличалось, часто почему-то отключали воду, рамы и двери, давно покрашенные любимой в советское время синей масляной краской, зияли разохшимися трещинами, доставшаяся Возниковым от предыдущих поколений офицерских семей мебель требовала ремонта. Сантехника ржавая, пол скрипит. Оглядев свое новое жилище, Нина накинулась на мужа, сказав ему все, что хотела сказать за годы совместной жизни. Ни на то она надеялась, не того ждала, выходя замуж за красавца старлея.

– Хоть бы о ранении ты кому-нибудь напомнил, хоть бы наградами потряс, что ты все время молчишь? Ничего выбить не можешь.

Он обернулся к сидящей на чемодане дочери:

– Давай, Аленка, вещи разбирать.

Ничего, он мог приспособиться и выжить хоть где. После ночных полетов в доле с другом таксовал на его машине. В совхозы летчики и технические работники аэродрома подвязывались убирать картошку и арбузы, и отцы-командиры в этом помогали: одна эскадрилья летает, две – в боевой готовности, кому-то эта готовность нужна, другие – могут отлучиться на сельхозработы. За убранный урожай хозяйство рассчитывалось частично деньгами, а большей частью – натурпродуктом с тех же полей, который, кстати, тоже можно реализовать, объяснял председатель колхоза, рынок в районном центре богатый.

– Я буду на рынке стоять, а ты за меня летать, да? – поинтересовался Алексей у председателя.

– А это знаете, товарищ военный, есть такая поговорка: кто на кого учился...

– Знаю, – прервал Алексей, – я учился Родину защищать.

– Где теперь та Родина, – смягчился председатель, – все теперь сидим в одном навозе.

Когда же воинской части перепадало от щедрот душевных и за мелкую услугу, оказанную какому-нибудь кооперативу в виде, например, керосинчика, и в столовой появлялись продукты, и повара оживали, готовя блюда посытнее, то офицеры складывали в судки котлеты, макароны по-флотски или плов и несли домой.

Когда же совсем становилось невмоготу и зарплата не выплачивалась по пять месяцев, в бой вступала тяжелая артиллерия. Жены выходили на летную полосу и перекрывали ее. Вот и снова видел Алексей южное небо и людей внизу, женские фигурки стояли неподвижно, не боясь ни запущенного двигателя, ни прожекторов, разрезающих густую южную ночь. Или это все же было солнце?.. Лучше уж на войну.

И война началась, в девяносто четвертом – первая Чеченская.

...Мутное солнце совсем не по-доброму проглядывало сквозь черный затяжной дым, поднимавшийся снизу при бомбежках, когда Алексей Возников вел свой Су-27 над Грозным. В Чечне ему предложили возглавить разведку. Он согласился, потому что самолету-разведчику не надо убивать людей. Он себя обманывал и этим утешал, а на войне, как всегда, убивали. Хотели убить и его.

Это был десятый их со Славой полет в районе боевых действий, когда СУ-27 сбила ракета типа «земля-воздух», которые в избытке имели на вооружении боевики. Со Славой летать надежно. Он – хороший штурман и настоящий друг. Вместе с Алексеем они выпустились из училища, летали в одном экипаже и за то время, пока набирались опыта, сошлись как боевые товарищи. Потом дружили семьями. И в Чечне оказались вместе.

Они оба успели катапультироваться, но в воздухе их разнесло в разные стороны. За несколько секунд, проведенные над землей, Алексей представил, как гогочут удовлетворенные, обкуренные боевики; как продолжают стрелять по ним, сладострастно поглаживая перед пытками, которым подвергнут их со Славой, свои густые бороды. Он

умолял Бога, чтобы бандиты не попали в парашют, который относил его от них в сторону, и Бог ему пока помогал. Атеистом, воспитанным семьей и школой, он оставался ровно до первого боя. Он уже почти приземлился, как внезапно левую ногу обожгло кипятком. Он не понял, откуда в воздухе взялся кипяток, и в то же мгновение почувствовал, как штанина кальсон набухает от горячей, вязкой жидкости. И тогда дошло: «Кровь. Все же попали». В доли секунды в голове прокрутились все варианты. Их было немного. Плен. Попытки и еще раз попытки. «Живым не дамся. Пистолет с собой. „Лара, я обещал спасти тебя из плена“. А это зачем пришло в голову?» С простреленной ногой приземляться трудно, теряя от боли самообладание и уже не прося помощи у Бога, а только выплеснув весь известный и до этой минуты не известный запас непечатных слов, Алексей наконец-то упал в какой-то южный кустарник. Выпутавшись из парашюта и веток, опустившись на землю, он первым делом добрался до НАЗа – носимого аварийного запаса летчика, вынул оттуда промедол и воткнул шприц-тюбик сквозь комбинезон в бедро. Достал жгут, нащупал рану и перетянул ногу чуть выше. Боль отступала, нога теряла чувствительность: «Только бы не потерять сознание, – нащупал пистолет, – живым не дамся». Дополз до ближайшего дерева, стал ждать. Все-таки Слава был очень хорошим штурманом. Он нашел его раньше, чем нашли их боевики. Из ветки дерева соорудил что-то похожее на костыль, и они пошли. Двое – это уже не один. К тому же на одного раненого у них теперь было два НАЗа и на двоих – два пистолета.

Как они оторвались от преследующих их боевиков, он и потом не понимал. Час отстреливались, потом бандиты отстали. На автомобилях сквозь лесную чащу проехать не могли. Вернулись, чтобы перерезать им все пути. И тогда они со Славой приняли решение пробиваться в свою часть самым длинным и долгим путем, что никак не предусмотрели боевики. «Леха, дойдешь?» – с тревогой спросил Слава, ставя другу очередную инъекцию промедола. «Дой-

ду! – упрямо ответил Алексей. – Не в плен же сдаваться и не здесь в лесу помирать».

Еду и воду Слава добывал в местных селениях. Они хорошо изучили обычаи чеченцев: если ты зашел в деревню, ты – гость, но как только из нее вышел, ты – враг. Местные жители, также чтя свои устои, хоть и не с распростертыми объятиями, встречали русского, явно военного человека, но в еде не отказывали – угощали Славу фруктами и лепешками, давали в кувшине воду, а то и домашнее вино. К тому же в этой стороне, куда они шли, о сбитом самолете не знали, когда же они подходили к очередной чеченской деревне, то Слава оставлял Алексея в лесу, сам заходил за едой в деревню, а потом выходил совершенно в другую сторону от того места, где оставил друга. Чтобы вернуться обратно, нарезал стороной километров десять-двенадцать.

Друзья пытались шутить, что их прогулка явно затянулась. Уже больше двадцати дней они шли по российской, но теперь враждебной земле. И оба понимали, что Алексей с каждым днем теряет силы. Слава давно уже сам ему делал инъекцию в ягодичу, чтобы Алексей не видел, что друг вливает ему просто воду, лекарство кончилось, но при этом уверял, что промедол помогает. И летчик верил. Терпел и шел.



Последние дни из тех тридцати девяти, что они добирались до своих, они оба почти ползли. И вышли, выползли в Старопромысловский район Грозного. В каких-то руинах решили отдохнуть. В пистолете остался один патрон. Оба теряли сознание. Но о плене мысли не допускали. А потому легли так, чтобы одного патрона хватило на две головы. Штурман зажал в руке напротив виска пистолет. И, как ему казалось, контролировал ситуацию. Однако, когда его руку кто-то попытался разжать и вынуть из нее оружие, он понял, что пропустил опасный момент. Дернулся, но его как-то мягко и властно осадили. С трудом открыл глаза – свои, разведгруппа. И потерял сознание.

Неожиданно для себя самой в девяносто пятом Лара возглавила комитет солдатских матерей. Это тем более было странно, что собственного сына у нее тогда еще не было. Он родится двумя годами позже, но в ее небольшом городке так сложились обстоятельства, что именно она встала на защиту матерей, чьи дети попали на службу в Чечню, а по сути – на войну. Она настояла на создании службы психологической поддержки, о чем тогда понятия никто не имел. Русские бабы во все времена терпели боль, а когда было не вмоготу, то выплакивали ее горючими слезами. А Лариса Николаевна вон что придумала: психологическая помощь. А оно и, правда, легче становится, когда с тобой поговорят по душам, успокоят, надежду вселят. А надежда, ох, как была нужна, особенно, когда ничего о ребенке своим месяцами не знаешь. Лариса и запросы писать в военные части взяла на себя. Все вечера строчила письма разным командирам, прося и требуя сообщить, где находится такой-то и такой-то боец срочной службы, призванный осенью девяносто четвертого из города Черемухово. Командиры отвечать не торопились, но и Лариса им в упорстве не уступала. А уж если кому в отпуск из ребят удавалось прорваться, то все женщины собирались в доме счастливой матери. И слушали, слушали молчание солдата. Ох, как не любили эти мальчишки говорить о войне.

Новость об очередном редком отпускнике разлеталась молнией, и тут женщины тянулись к дому солдата. Лара, не обращая внимания, как правило, на скромное жилье своих земляков, напряжено вслушивалась в скупые слова военнослужащего.

Бабушка Саши перекладывала на столе всего три дошедших за полгода от внука конверта:

– Что же это делается на белом свете? – вздыхала она. – В Великую Отечественную письма доходили, человека через военкомат за неделю разыскивали. А сейчас с дедом новости слушаем, он – у радио, я – у телевизора. И ничего не можем узнать. Саш, а может быть, не поедешь обратно? – высказывает она вслух крамольную мысль.

– Ты что, бабуля? Я же ребят подведу. Им отпуск больше никому не дадут. А там же и из нашего города служат.

С Сашей передать письма в Грозный надежно. Матери несут конверты с одной просьбой: «Поищи моего». И он обещает: «Поищу». Не умолкает телефон и в комитете солдатских матерей, куда Лариса спешит после работы. После очередного разговора с областным комитетом началось оживление:

– Со всей области собирается миротворческий марш матерей в Чечню для поиска своих сыновей, – сообщила Лариса, – нам тоже надо идти. Будем добираться своими силами. Надо собирать деньги.

Матери России – это была новая сила, восставшая против войны, никогда прежде не заявлявшая о себе так бесстрашно. Протест вылился в настоящее движение, которое никто не мог остановить. Не веря больше государству, матери сами встали на защиту своих сыновей. Делясь последним, в пору полного безденежья в комитет солдатских матерей несли одежду, продукты, деньги, чтобы отправить женщин в миротворческий марш.

– Придется долго идти пешком, – готовила женщин Лариса, – может быть, слякоть и дождь, ведь осень. Надо запастись обувью, теплыми вещами, непромокаемыми накидками, – сортировала она принесенные вещи.

Когда все было готово, они погрузились в «Газель», выделенную машиностроительным заводом, чтобы ехать почти за триста километров в областной центр. Провожали их всем миром: желая удачи, крестя и благословляя.

– Лариса Николаевна, сможем ли мы? – произнесла одна из женщин.

– Не сомневайтесь! – заверила она.

Вместе с матерями поехала в Чечню и съемочная группа областной киностудии, фильмы которой были раньше известны на весь Советский Союз. Режиссер документального кино Елена Давыдова знала, что рассказать правду о войне можно, только поехав туда вместе с матерями.

Пленки не было. Собирали по всей студии плохую цветную и черно-белую. Все что нашли, взяли с собой. И режиссер с оператором шли вместе с матерями в течение их долгого и скорбного пути. Выполняя приказ командиров, российские солдаты пытались отбирать у них отснятый материал. Пленку и камеру оператор прятал у чеченских матерей.

Позже Лариса смотрела эти холодящую душу кадры черно-белой хроники: бесслезные лица женщин – русских, татар, башкир, опустившихся на колени в осеннюю слякоть перед российскими же солдатами с поднятыми фотографиями своих сыновей. И подавленные, растерянные мальчишки в камуфляже, с опущенными вниз автоматами, не выдерживающие этого немого укора и взгляда умоляющих глаз. Наконец, первый из них берет из рук женщин одну-вторую фотографию, кто-то проходит к ним из БТР, стоящего позади солдат и протягивает свое письмо, женщины прячут письма в одежде. Вот на площади читают молитву чеченские старики, умоляя Аллаха смилостивиться над этой землей, над чеченскими и русскими матерями. Вот опять молча стоят российские матери с фотографиями своих сыновей, с плакатами, призывающими прекратить эту ужасную, позорную войну, и чеченские матери идут вдоль этого немого строя и утешают, уговаривают, обещают: «Мы вам не враги! Мы будем искать ваших детей вместе с вами. Мы уже многих нашли. Мы сочувствуем вам. И наши сыновья на этой войне».



Плохая по качеству, как и полагается на войне, пленка, словно сквозь слезы и застилающий глаза туман: «Мы вам не враги!» А ночью Лариса опять видела сон, давно не мучивший ее, похоронную процессию с гробами, в которых лежали солдаты, которых они во время марша так и не нашли. Процессия шла, дрожа и размываясь под струями дождя, как те кадры черно-белого кино. А она смотрела в небо, закрываясь рукой от надвигающегося на нее самолета. «Будет бомбить», – подумала она и почувствовала, как земляной вал накрыл ее. Она задыхалась, хотела закричать и не смогла. К счастью, проснулась, поднялась с кровати, отдернула легкую штору и прижалась лбом к холодному, оконному стеклу. Дрожа, подумала о том, о чем думать себе запрещала: «Жив ли Алеша»...

Теперь они иногда перезванивались. И просто захлеб говорили о всяких пустяках, радуясь только тому, что слышат друг друга. Вдруг неожиданно выпал жребий. Ларису на-

правили в Москву в командировку. Алексей служил в Подмосковье. Не сразу решилась ему сказать. А когда сказала, то поняла, что и он боится этой встречи. Боевой офицер – он боялся ее снова увидеть. Она услышала в трубке, как он кашлянул, прочищая тут же перехваченное горло, и каким-то изменившимся голосом предложил:

– Давай встретимся на ВДНХ.

Скорый поезд мчал, колеса стучали и что-то свое молотили, за темным окном мелькал лес. Впрочем, он мелькал и днем. «Господи! Какая огромная страна, – отвлекала себя от наболевшего Лариса, – и все лес и лес... Как же я боюсь этой встречи! Нам уже за сорок. Две тысячи седьмой год, когда он в пятнадцать лет мне говорил: „Представь, мы будем жить в другом тысячелетии!“ – это казалось невероятным. И вот оно, другое тысячелетие. А что же будет потом?» Она не знала, «потом» – это когда: после встречи с Алексеем или в следующем тысячелетии, в котором они жить уже не будут. Она вообще теперь многого не знала и сомневалась: «А может быть, не стоит нам с ним встречаться? Прошло двадцать лет...» Измучившись от сомнений, хотела уснуть, но не могла. В окно вагона видела Большую Медведицу и еще больше волновалась.

Алексей Возников давно уже не курил. А тут не выдержал. Федечкин поделился сигаретой. В казарму идти не хотелось. Там мужики сегодня пьют, а ему и пить не хотелось. Затянулся и посмотрел на звездное небо. Большая Медведица, а вон и маленькая звездочка у второй звезды в ручке ковша. Когда-то давно он подарил ее Ларисе. Почему-то он не думал о том, как выглядит она теперь.

В его представлении она была только прежней – юной, с румяными щечками, со смешно надутыми губками в тот момент, когда чем-то была недовольна, с болезненно-упрямым взглядом тогда в поезде и дома у родителей, когда он после окончания училища звал ее с собой. Лара была его первой любовью, с годами ставшая образом этой любви – горящие глазки, румяные щечки и непередаваемая

нега, разливающаяся по всему телу только от одной мысли об этой любви. Алексей не думал ни о ее муже, ни о своей жене. Эфемерный образ любви в его представлении не совмещался с конкретными, физическими людьми. Более того, приближение любого человека, состоявшего из плоти и крови, к его иллюзорной страсти он воспринял бы только как кощунство. И что там лукавить, даже себе не мог признаться в том, что сжился с этой иллюзией и боялся ее потерять – свой спасательный круг, свою мечту и надежду.

На ВДНХ они созвонились. У Ларисы теперь тоже был свой сотовый телефон. Алексей объяснял, что ждет ее у фонтана, где же еще можно назначить свидание на ВДНХ, но Лариса не могла сообразить, как туда пройти. Он взволнованно засмеялся:

– Ларочка, ну напрягись!

Наконец, она двинулась в нужном направлении, голова кружилась, и сквозь этот головокружительный полет она представляла, как встретит сейчас голубоглазого юношу в такой же голубой военной форме с букетом цветов в руках.

А потому прошла мимо незнакомого полноватого мужчины в коричневой кожаной куртке, спрятавшего руки в карманы, случайно бросившего на нее взгляд, подумала: «Тоже, наверное, кого-то ждет» – прошла еще несколько метров... И остановилась. Взгляд. Знакомый взгляд. Она знает этого человека? Оглянулась. Человек стоял на том же месте и смотрел на нее. Повернулась и медленно пошла обратно. Он – ей навстречу. Не бросилась, не вскрикнула. С трудом узнавала знакомые черты. Что же время сделало с ними?!. Он обнял и прижал ее к себе. И тогда никак не ожидаемое ею чувство близости родного человека негой счастья разлилось по всему телу. Они сели на скамейку. Она прижалась к нему. Он гладил ее руки и осторожно целовал лицо. Кажется, она что-то говорила, встречалась с ним глазами, и их губы вновь и вновь сливались в поцелуе. И Лариса поняла, что все эти двадцать лет помнила их вкус. Сколько време-

ни прошло, они не знали; солнце, ярко светившее в первый миг их встречи, зашло за облака. Потянуло свежестью.

– Леш, пойдём ко мне в гостиницу, возьмём бутылку вина, – предложила Лара, ещё не представляя, как проведёт его в свой номер. Черт побери, эти совдеповские порядки, когда взрослая женщина должна объяснять дураку из охраны, почему в оплаченный ею номер она приглашает мужчину! Она не хотела думать о том, как пройти в гостиницу, понимая только одно, что никуда его не отпустит.

– Ларочка, я не подарил тебе цветов, думал успею купить, не успел, – он виновато смотрел на нее, – позволь мне исправиться.

– А-а, позволяю, – ее глазки как в юности задорно блеснули.

Они подошли к цветочному магазину, и он, не спрашивая, какие она любит цветы, купил букет хризантем. Он угадал – она любила хризантемы, с их горьковатым запахом полыни.

В фойе гостиницы холенный, бритоголовый охранник посмотрел на них с деланным равнодушием. А она внутренне негодовала, когда ее подполковник протягивал ему военный билет.

– Вы можете здесь находиться только до двадцати трех часов, – продемонстрировал власть охранник.

Лара подняла взгляд на часы, висевшие в фойе, ровно двадцать один час московского времени. Они не стали препираться и поднялись в скоростном лифте на двадцатый этаж. Лара окинула номер взглядом и, не найдя вазы для цветов, опустила хризантемы в ванну с холодной водой. И комната тут же наполнилась терпко-горьким ароматом.

– Я очень люблю хризантемы.

Он обнял ее за плечи и стал целовать. Она освободилась, в то же время понимая, что сопротивляться ей осталось недолго. Каждое его прикосновение кружило ей голову и невесомым делало тело. Они выпили вина и опять говорили, будто продолжая сидеть на той скамейке на ВДНХ. Он потянул ее к себе, она забралась к нему на колени и с чувством

сумасшедшего внутреннего ликования подставляла лицо для поцелуев. И не поняла, как они встали с кресла, как, не отрывая своих губ, он уронил ее на кровать. «Господи!» – пронеслось у нее в голове, оказывается, она и не знала, что называется счастьем, но, видимо, еще сопротивлялась ему.

– Пусти меня, – оторвавшись от ее губ, прошептал он.

Она послушалась и поддалась его телу...

Не сразу пришла в себя. Он все еще целовал ее. И ей хотелось, чтобы это было снова и снова.

...Потом сняла с себя деловой костюм или вернее то, что от него осталось, и накинула лиловый пеньюар, подошла к окну, за которым как на ладони лежала уже светящаяся вечерними огнями Москва.

– Леша, скоро одиннадцать, я не хочу, чтобы ты уходил.

– Я все улажу, – и он вышел из комнаты.

Вернулся быстро.

– Все нормально. Охранник просто назвал сумму, – он притянул ее к себе, чтобы снова поцеловать, и она больше не сопротивлялась. Блуждая по его телу, попала на шрамы.

– Ты был на войне?

– Не будем об этом.

– В Афганистане, Чечне? Две войны досталось нашему поколению. Пока две. Теперь я понимаю, что видела эти войны давно.

Он откинулся на подушку:

– Давай пить вино.

Встал и налил в стаканы сухого.

Она же хотела заполнить двадцать лет, прожитых врозь. И в то же время боялась неожиданных признаний и нечаянных разочарований.

– Ты любишь свои самолеты?

– Самолет – это произведение искусства, которое иногда летает, – шутит он.

– А иногда сбрасывает бомбы, – зачем-то сказала Лариса, вспомнив осеннюю чеченскую слякоть. – Если начнется гражданская война, мы будем с тобой по разные стороны баррикад, и ты будешь в меня стрелять.

– Я в тебя стрелять не буду и вообще ни в кого. Ларочка, ну о чем ты сейчас говоришь? – он встал и включил телевизор, надеясь разрядить обстановку, но Лара уперлась.

– Ты должен выполнять приказ и служить матери-родине.

– Иногда мне, кажется, что мы не той матери служим, – все-таки она его задела, и теперь он хотел ей что-то объяснить, доказать. – Тот, кто садится за штурвал самолета, должен быть думающим человеком. Мне всегда было важнее сохранить людей, чем машину. Ну и машину тоже, понимаешь, с самолетом – с ним ведь сживаешься, становишься единым целым. Мы летаем на машинах, давно выработавших свой ресурс. Это такие старые чемоданы! Но это – наши самолеты! Ну, как тебе объяснить...

– Я тебя понимаю, – перебила его Лара. – Похожее чувство я испытываю к России: сужу и милую, но другим не позволю, потому что это – моя страна.

Она понимала, что служба лишила Алексея многих возможностей, он даже не смог похоронить свою мать, которую горячо любил и при жизни боялся обидеть. Но армия была его выбором, его судьбой, а с судьбой не спорят.

– Помнишь, мы в юности встретились с тобой в поезде? Ты говорить со мной тогда так и не стала. Я ехал с похорон своего деда по линии отца. Он был донским казаком, жил на Кубани, имел хорошее хозяйство. И умел защитить свой род, пока его не раскулачили и вместе с семьей не выслали на Урал. Он был крепким казаком, жил долго. У казаков есть обычай: на могиле умершему ставят крест, и пока он стоит, за могилой ухаживают и помнят казака. Человек он, значит, был настоящий. Я знаю, что крест на могиле деда стоит до сих пор, хоть и стал в основании тоньше. Я тоже хочу прожить так, чтобы крест на моей могиле не свалился в первый день.

Лариса обняла Алексея, и они долго стояли так у окна, глядя на ночную Москву.

Как и прежде, в их отношениях все было очень серьезно.

На следующий день Алексей провожал Ларису на поезд. Они сидели в какой-то привокзальной кофейне и пили чай. Надо же было что-то делать в оставшееся до поезда время. Больше молчали и только смотрели друг на друга, будто вели внутренний диалог. И когда он сказал решающую фразу:

– Я не буду тебе ничего обещать... Не могу, не имею права, я – человек военный.

Она испуганно перебила:

– Не обещай!

Конечно, она хотела, чтобы он подарил ей весь белый свет и свое бесконечное небо, но даже мысль о прикосновении к счастью пугала ее.

Что они могли обещать друг другу? Только незабытую любовь.

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ НЕ СХОДЯТСЯ

Вы знаете, что такое восемьдесят второй год? Ритуля Ковалева знала. В восемьдесят втором она окончила школу и поступила на журфак. В этом же году умер Брежнев, в то время генеральный секретарь коммунистической партии Советского Союза, то есть руководитель всей страны. Из-за траура студентов первого курса не отпустили на короткие каникулы. Вернее, отпустили, но из Свердловска уезжать не разрешили, взрослые были растеряны и, как показалось Ритуле, вообще сомневались в том, продолжится ли жизнь в СССР после смерти вождя, правившего шестнадцать лет подряд, почти всю Ритулину жизнь, а если вдруг не продолжится, то первокурсники в тот момент почему-то обязательно должны находиться в общежитии. Они находились. И скучали. Хотели домой, потому что еще не привыкли жить в чужом городе. Ритуля тоже скучала, забившись за шкаф, где стояла ее кровать. Лезть в эту норку никто не хотел, а Ритуле нравилось, уютно – как улитка в домике. «Ритулей» ее звали в школе и дома, и здесь вдруг стали называть именно так. Она и была Ритулей – хрупкой, светловолосой и отчаянно голубоглазой.

Раз домой не отпустили, девчонки читали, ибо курс русской и зарубежной литературы был настолько велик, что даже за короткие каникулы его было не осилить. И траур для чтения очень подходил, если только в руки не попала комедия. Ноябрь стоял морозный. Продуктов у пятерых девчонок, занимавших двести тринадцатую комнату, было в обрез. Раз домой не отпустили, откуда продукты возьмутся. Варили картошку и покупали в магазине банки с мор-

ской капустой. Другой еды не было ни в магазине, ни на их подоконнике, выполнявшем роль холодильника. И потому, когда в дверь двести тринадцатой кто-то заскребся, девчонки точно знали, что это Мудрый обходит этаж в поисках пищи. Ну, скажите, наградили же праотцы человека фамилией – Мудрый, смех один. Видели бы вы этого Мудреца, – высокий, тонкий, патлатый юнец, с выразительными глазами и носом, чуть больше, чем полагалось для такой конституции. Имя родители, естественно, ему дали под стать фамилии – Игорь.

Ритуля не поняла, в какой момент Игорь Мудрый к ней прилип, но что прилип, это точно. Высокопарно и на всю комнату громко объяснял он свою привязанность к ней: «Марго – отличница, он – двоечник, а поэтому будет у нее списывать. Это закон природы: мальчишки всегда списывают у девчонок. И выбора у Марго нет». В комнате жили еще четыре отличницы, но на них это правило не распространялось. Вот это дурацкое «Марго» Ритуля терпеть не могла. И Мудрый это знал, но дразнил ее специально. И ис-



пытывал удовольствие от ее вспыхнувших глаз, от надутых губ и непременно брошенного ею «дурак». В ответ он смеялся и продолжал: «Марго! Марго!» Но чаще он звал ее просто «Риткой», и это означало наивысшую степень доверия между ними.

В дверь продолжали скрестись, но никому не хотелось вставать с кроватей, и девчонки запротестовали:

– Ритуля, это Мудрый от голода страдает. Открывай ему сама.

Ритуля неохотно поднялась, открыла дверь.

– Ритка, – тряхнул он своими волосищами, – дай кусочек хлеба, жрать хочется – спасу нет, – и смело переступил порог комнаты.

Девчонки подняли глаза от книг. На Мудреца сердиться было невозможно. Он был само обаяние, источал красноречие и такой тонкий юмор, что его стоило кормить только за то, чтобы слушать.

Ритуля подошла к подоконнику, «помела по сусекам» и поставила перед Мудрым тарелку с парой холодных картошин, рядом бутылку подсолнечного масла, нашелся и хлеб. Буханки хлеба у девчонок были всегда, а что еще прикажете есть. Включила чайник, достала банку малинового варенья, привезенную из дома. На чай девчонки тоже потянулись.

– Я, конечно, понимаю, что вождь приказал долго жить, но мы-то здесь при чем? – возмутился, проглатывая хлеб с картошкой, Игорь. – Не поступи он так опрометчиво, я бы сейчас трескал маменькины блины.

Ритуля отвесила ему подзатыльник, чтобы не ерничал, честно сказать, ей это казалось непозволительным. Она, как и взрослые, еще не очень понимала, как они дальше будут жить без вождя.

– Девчонки, а вы слышали, кого в преемники генералиссимусу метят? – продолжал издеваться Мудрый. – Такого же старпера, как он, да и где в политбюро других взять? – намазывал он густо хлеб вареньем.

– Так, поел и выметайся! – не выдержала Ритуля такого вольнодумства.

– Я еще не доел, – спокойно возразил Мудрый, – быть тебе, Ритка, таким же вечным партийным секретарем, как наш генсек.

– Хотела бы я знать, кем тебе быть? – начинала злиться Ковалева.

– Вольным художником. И только, – прихлебывал чай Мудрый, – ибо от партийных функционеров меня мутит. А без партии в газете делать нечего, поэтому я буду в Московском метро под гитару петь, а ты, Марго, передовицы в «Правду» строчить.

Под гитару он пел «Машину времени». Двести тринадцатая комната выходила в холл второго этажа общежития, где проходили все студенческие посиделки. Нередко Мудрый вечером приходил сюда, брал первые аккорды, а потом начинал:

Все отболит, и мудрый говорит:

«Каждый костер когда-то догорит,

Ветер золу развеет без следа...»

Девчонкам даже не стоило прислушиваться, чтобы слышать каждое слово. Они откладывали книги или общие тетради, в которых писали конспекты, и слушали. Ритуля тоже слушала. Песни «Машины» в исполнении этого балбеса действовали на нее ошеломляюще. Ей нравилась музыка, слова и голос Игоря, но они тревожили ее, нарушая порядок в мыслях и чувствах, сложившийся за школьные годы.

Тот был умней, кто свой огонь сберег –

Он обогреть других уже не мог,

Но без потерь дожил до теплых дней.

А ты был не прав, ты все спалил за час,

И через час большой огонь угас,

Но в этот час стало всем теплей.

К концу песни ей хотелось упасть на хилую грудь Мудреца и плакать благодарными слезами, но упасть она не могла. Игорь не воспринимал ее всерьез, всячески подтрунивая над подругой: «Ты, Ритка, маленькая девочка, а маленьким девочкам положено пить молоко и быть отличницами».

Видимо, большую девочку он в ней вообще не замечал. Но каждый раз, когда она возвращалась из дома с тяжелыми сумками, набитыми едой, он обязательно встречал ее с поезда. И вовсе не из-за своего пайка, Ритка и так его накормит, но он не мог допустить, чтобы она, такая хрупкая, тащила эти тяжеленные сумищи. А ей тоже было его жалко, ну, честное слово, такой тонкий, что подломиться может под этой тяжестью:

– Давай помогу, – предлагала она.

– Тяжелые сумки должны таскать мужики, а маленькие девочки – смотреть себе под ноги, – серьезно отвечал Игорь.

На занятия в университет он ходил редко. Только потому что дрых по утрам и не считал нужным нарушать свой сон таким пустяком, как учеба. Ритуля приходила в отчаяние, проводила с Мудрым воспитательные планерки, лишала, как он считал, законной пайки еды, особенно он бунтовал в тот день, когда она дежурила по кухне и готовила какую-нибудь вкуснятину:

– Марго, за плохое поведение я отдам тебя замуж за математика-толстяка, который живет на четвертом этаже, – дурачась, грозил он, чем доводил Ритулю до иступления.

Он также смеялся над ее деревенским происхождением, хотя сам был тоже из какого-то захолустья, но городского типа, что давало ему явное преимущество перед ней. На сельхозработках он страшно страдал от необходимости прикоснуться к крестьянскому труду и бесконечно донимал Ритулю, собирающую картошку, всякими дурацкими вопросами:

– Ритка, ну почему мы летаем в космос, а изобрести машину, выкапывающую картошку, не можем?

– Может быть, ты, философ, полные ведра высыплешь в мешки? – устало отвечала Ритуля.

– Тебе хорошо, тебе все равно, в какой борозде закапывать свой талант, а я себя должен спасти для потомков, – серьезно возражал Игорь.

Однако он так себя хранил, что стал прибегать к спиртованию. Особенно хорошо получалось принимать вовнутрь.

Тут уж Ритка к каким только воспитательным методам не прибегала: просила остепениться, угрожала, что теперь в жизни не даст ничего написать, призывала к комсомольской совести – все тщетно. Игорь напивался, брал гитару, приходил в холл и пел свою «Машину»:

Мы себе давали слово,
Не сходить с пути прямого,
Но так уж суждено.
И уж если откровенно,
Всех пугают перемены,
Но тут уж все равно...

Вот так пропил и пропел весь первый курс. И поскольку на факультете мало кто знал о его существовании, к летней сессии его не допустили, что грозило ему не только исключением из университета, но и призывом в армию. Ковалева стонала:

– Ну какой из тебя вояка? Ну неужели трудно при таком умище подготовиться к экзамену, хотя бы на тройку? Игорь, ты – полный дурак!

– Ритка, а ты меня будешь ждать из армии? – вдруг серьезно спросил Мудрый.

– Обязательно! И плакать у окна, – съязвила она в ответ.

Так и не доросли они ни до каких отношений. Не успели. Игоря отчислили, и он пошел топтать сапоги, потряхнув своими волосищами, спел на прощание ее любимую песню из репертуара «Машины»:

Бывают дни, когда опустишь руки,
И нет ни слов, ни музыки, ни сил.
В такие дни я был с собой в разлуке
И никого помочь мне не просил.
И я хотел идти, куда попало,
Закрывать свой дом и не найти ключа.
Но верил я – не все еще пропало,
Пока не меркнет свет, пока горит свеча...

Ну вот и все. А дальше жизнь у каждого складывалась, как могла. В восемьдесят седьмом году Ковалева готовилась к защите диплома. Часть вопросов надо было готовить в ре-

дакции одной из центральных газет, и собственный журфак отправил ее в командировку на журфак МГУ, чтобы братья по крови посодествовали с выполнением задания. В Москве ей предстояло прожить неделю, койко-место в общежитии для студентки москвичи тоже пообещали выделить уральским коллегам. Но, на свое несчастье, Ритуля приехала в Москву вечером, когда самый главный университет уже не работал. Нашла обещанное общежитие, но вахтерша, что тот цербер, даже слушать ее не хотела, нет бумаги из деканата журфака МГУ, о чем с тобой говорить? Вы знали этих старушек с вахт? Иногда казалось, что все они в прошлом работали в КГБ, более студенческо-ненавистнических людей на свете не было. Поняв, что вахтовый бастион ей не пробить, Ковалева не на шутку загрустила:

– Куда же мне идти? Ночь наступает, на улице не май месяц, я в Москве впервые, у меня никого здесь нет, – пыталась пробиться она сквозь скорлупу к сердцу вахтерши.

– А меня это не волнует, – отрезала та, – и вообще, иди отсюда. Ты мне дверь загораживаешь.

Ритуля вздохнула, взяла тяжелую сумку и вышла на крыльцо общежития. Дул пронизывающий мартовский ветер. В промокших сапогах быстро замерзли ноги. «Куда идти? Придется возвращаться на вокзал». И только она сделала шаг с крыльца, как шедший навстречу юноша вцепился в нее и дурниной заорал:

– Ритка! С ума сойти! Ритка!

Когда прошел обрушившийся на нее страх, в свете фонаря она увидела знакомое лицо, но поверить не могла:

– Игорь?!.

Он схватил ее. Обнял. И весь, разрываясь от радости, тормошил ее, смеялся сам:

– Боже мой, кто передо мной? Сама Марго!

Но Рита так была оглушена встречей, что не отреагировала на «Марго», а только растерянно, как эхо, повторяла:

– С ума сойти! С ума сойти!

Быстро уяснив все обстоятельства ее изгнания из общаги, Игорь взял ее сумку:

– Жди меня здесь. Я быстро, – и, войдя в общагу, скрылся за дверями.

Честно сказать, она уже совсем замерзла, но под впечатлением от встречи не чувствовала окоченевших пальцев: «Откуда он здесь? И куда пошел?»

Мудрый вернулся через несколько минут и с места в карьер:

– Говнистая совдепия! – Когда уже наступит свобода в этом гребаном совке! Плохи дела, Ритка. Через эту подружку Феликса Дзержинского нам не просочиться. Придется лезть через чердак. Ты как относишься к пожарной лестнице до двенадцатого этажа?

– Я? – с ужасом спросила Ритуля. – Игорь, я высоты боюсь.

– Понимаешь, Ритка, выбора у тебя нет. Только два варианта: замерзнуть ночью на улице и умереть или грохнуться с пожарной лестницы и умереть в полете. В полете романтичнее, – он взял ее за руку и куда-то потащил.

На заднем дворе общежития, где не было ни одного фонаря, но зато откуда-то появилась на небе луна, он указал ей на металлическую пожарную лестницу, поднимающуюся до девятого этажа, то есть до этой самой луны.

– Поднимайся первая. Я за тобой. Крепче держись! Будем надеяться, что лестница нас выдержит.

– Игорь! Я не могу! Я боюсь!

– Не бойся! Я с тобой, – сказал он просто и спокойно.

И Ритуля успокоилась, но все равно упиралась:

– Как я буду подниматься первая? Я в расклешенном пальто и колготках, – смутилась она.

– Ритка, не смейся меня. Думаешь, я не знаю, что у девушек находится под колготками? Все, кончай разговоры, скоро совсем околеем.

Ритуле было страшно. Очень страшно. Цепляясь изо всех сил руками за поручни металлической лестницы, которая ходила под их с Мудрым весом ходуном, она смотрела только на луну и стремилась только вверх. Как-то же они поднялись до самого девятого этажа. Как-то влезли в чердачное

окно, рискуя сорваться в любое мгновение. Но как только ощутили под ногами чердачную твердь, Мудрый тут же принялся дурачиться:

– Марго, а колготки у тебя такие тонкие...

Она не дала ему договорить и самой ощутила всю глубину пережитого ужаса, вспыхнула:

– Дурак! Настоящий дурак!

– Марго! Марго! – счастливо смеялся он и тащил ее, сердито раскрасневшуюся, по каким-то переходам и коридорам. Наконец, остановился возле какой-то двери и заскребся. Из-за двери крикнули:

– Мудрый, заходи!

Они вошли. В комнате были три кровати, еще какая-то мебель – Ритуля сразу не рассмотрела, потому что очень застеснялась.

– Девчонки, постоялицу к вам привел. Накормить, обогреть...

– Может быть, сам обогреешь? – перебила его выступившая вперед высокая девушка.

– Элен, не вопрос, но накормишь ты и спать уложишь.

Ритулю накормили. Не сказать, что мгушницы ей обрадовались, но Мудрому не возразили. Потом он ввалился сам и тоже выпил чаю.

– Девчонки, мы давно не виделись, пойдём с Марго поболтаем, а вы ей раскладушку приготовьте.

Они вышли в холл, сели на скамейку.

– Значит, ты здесь учишься?

– Значит. Сапоги оттоптал и сюда. Не возвращаться же мне в твой Зажопинск, где живут одни зажопинцы.

– Я тоже, между прочим, там живу.

– Ты, Ритка, исключение. Редкое земное существо, приспособленное жить даже в провинции. И каковы дальнейшие перспективы твоей жизни?

– Поеду с мужем в Сибирь за туманом и за запахом тайги, – сказала она как-то без энтузиазма.

– А-а-а..., – протянул Мудрый, – выходит, что не сидела у окна, не плакала, ожидаючи меня из армии.

Ритуля, кажется, впервые посмотрела на него серьезно. И неожиданно спросила:

– А ты в каких войсках служил?

– В королевских, слышала про такие? Стройбат называется. Знаешь, как в народе говорят, в стройбате такие служат, что им даже оружие бояться давать. Скажу больше – нам и вилки в столовой не давали. В общем, Ритка, прошел я такую школу гладиаторов, что врагу не пожелаю, – сказал он неожиданно серьезно, но тут же изменил стиль и высокопарно продекламировал. – Стройбат! Как много в этом звуке... Но-стальгические воспоминания о службе в армии теперь навевают только пробуждение в вырезвителе. Ритка, ну что ты можешь знать о такой форме досуга советских мужчин, если ты там никогда не была? А поэтому откуда тебе знать, сколько интересных людей в этом достойном учреждении можно встретить, сколько умных бесед можно услышать...

– Я смотрела «Осенний марафон», – как-то отчужденно, думая о чем-то своем, проговорила Ковалева.

– Вот, правильно! Только в фильме дана неполная картинка дня в вырезвителе, не все возможности его раскрыты. Например, для тех, кто не желал мирно отойти ко сну, были предусмотрены водные процедуры и боксерские поединки с сотрудниками – правда, только в качестве груши. А сладкий момент пробуждения... Громкая команда «Подъем!», и ты забываешь, где ты, и думаешь, что в стройбате, а потом медленно приходишь в себя и понимаешь, что не в армии, и не знаешь, чему больше радоваться. Башка трещит, но утро встречает прохладой. Под сводами сонного царства раздаются первые реплики: «Тебя где забрали?» Но ответ на этот вопрос мало кто помнит. Потом наступает выдача ремней-шнурков и личных вещей. Ты выходишь на свободу с чистой совестью и, зачастую, с выпотрошенным кошельком, хотя на проезд деньги оставляют – не звери же.

И тут Ритулю прорвало:

– После УрГУ в стройбат, после стройбата в МГУ, это же какие надо иметь мозги, чтобы их совсем не иметь? Какова черта ты не учился у нас? Столько времени потерял!

- Нужен мне ваш Зажопинск. Ритка, я тебе целую поэму про вытрезвитель прочитал, а ты меня даже не слушала.
- Дурак! Какой дурак! – с отчаянием повторяла она.

Ну вот и все. А дальше жизнь у каждого складывалась, как получалось.

Где-то в середине двухтысячных, когда уже появились социальные сети под названием «Одноклассники», и люди ни с того ни с сего стали искать друг друга, находить и восстанавливать изрядно потрепанные в девяностые годы связи, Ритуля тоже не чуралась этого занятия. От одноклассников она жила далеко, от однокурсников тоже. Как и обещала, уехала в Сибирь, где с лихвойхватила и туманов, и запаха тайги, правда, со временем поняла, что это была не лучшая страница в ее жизни, без которой вполне можно было обойтись. Но обойтись не получилось. Да и как бы без нее выживала в девяностые годы провинциальная пресса? А с ней выжила, потому что Маргарита Ковалева с прежним усердием отличницы возглавляла одну из городских газет.

В «Одноклассниках» Маргарите особо сидеть было некогда, но иногда заглядывала. И так однажды заглянув, увидела на своей странице Мудрого. Узнала. Удивилась. Обрадовалась. Разволновалась. Ответила и получила от него письмо на шести страницах. Настоящее жизнеописание за все то время, когда они ничего друг о друге не знали. С того самого момента, как в восемьдесят седьмом после ее завершившейся преддипломной практики он посадил ее на поезд на Казанском вокзале и помахал в окно, скорчив при этом смешную рожицу. Она засмеялась. Ну не плакать же было им.

И теперь Ритуля читала его исповедь, с которой ни один детектив, никакой боевик или мелодрама рядом не стояли. Как окончил университет – так и оказался в самом водовороте событий, например, корреспондент в окопах войны: «Кроме Чечни, в молодости бывал и в других горячих точках. Один раз был в Приднестровье, на линии фронта.

Можно дальше по-русски? Вражеский снаряд пиз...л рядом, меня метров на десять унесло взрывной волной, потом сутки ничего не слышал и месяц обнимался с белым другом – контузило. Короче, да здравствует мир во всем мире!» Там же в молодости – алкоголик и наркоман. Как было с алкоголем она помнила, но наркотики зачем? Он, будто слыша ее, отвечал: «Ритка, ну ты прикинь, как я мог писать о такой беде, как наркомания, если бы сам через нее не прошел? Ну за что бы стал агитировать овец, заблудших во мраке?», – как и прежде стебался он и дальше подробно описал, как сначала подсел на траву, потом попробовал какую-то дрянь по сильнее, но вовремя спохватился и победил зависимостью, на которую, к своему счастью, еще не подсел. Зато какое непаханое поле открыл для себя Мудрый! Как понимал «падших овец» со всеми их полетами во сне и наяву после очередной дозы.

А в девяносто первом и девяносто третьем он уже парламентский корреспондент. И участвует во всех событиях внутри и вокруг Белого Дома в Москве. А еще, между прочим, отец двоих детей и бывший муж двух жен, одна из которых живет в Лондоне, и он с ней тоже там жил пять лет. «Ритка, ну ты же помнишь, что английским я с университета владею в совершенстве, а потому регулярно летал в Англию, и после развода с женой мы остались друзьями, а без дочери я жить не могу, вернее, без двух дочерей, вторая уже не моя, а какого-то британского обалдуя, но все равно я ее обожаю».

Читая на третий раз исповедь Мудрого, чтобы хоть как-то уложить ее в голове, Ритуля беспорядочно выхватывала абзацы из его откровенного послания и безнадежно пыталась осмыслить каждый в отдельности. «Ритка, ты понимаешь, я всегда находился в Москве и в гуще политических событий. Помню, как впервые в девяносто четвертом стали депутатами Гена и Жирик, как брал тогда у них – молодых и сильных – интервью и комменты. Не то, что ты в своем Зажопинске, где, разумеется, пашешь, как лошадь Пржевальского, а на тебя валят все, кому не лень...» Ритуля обхва-

тила голову руками. Сказать, что она была потрясена – не сказать ничего. И снова вырвала взглядом: «Так я привык считать себя историографом постсоветской политической реальности, которую знал в лицах и нюансах, о которых писал, работая на разных позициях в одной из ведущих политических парламентских партий. А знаешь, какие были буфеты в Думе, когда по всей стране нечего было есть, а там в те годы продавалось бухло... В девяностых они были модными ресторанами для мальчиков в велюровых пиджаках с тёлками в ультракоротких юбках. Это было оооооочень престижно – „Вчера оттопырились в Государственной Думе...“ Но для прохода туда требовалась заявка, и не всякий бык или барыга мог позволить себе оттянуться там, где мы, скромные журналиги, каждодневно трудились и оттягивались тоже, конечно. Ритка, по этому поводу коротко и схематично описываю профессиональное мини-приключение на фоне исторических мега-событий. Короче, экспромт с использованием нескольких фрагментов собственных баек».

И дальше шла отдельная история – рассказ в рассказе, вернее – в письме.

«Все было буднично, я работал парламентским корреспондентом информационно-аналитического агентства PostFactum, за окном стоял грозовой девяносто третий год. Событие произошло в Белом Доме на Краснопресненской набережной, где сейчас заседает правительство страны и Съезд народных депутатов. Съезды в девяносто втором-девяносто третьем проводились часто – каждый раз, когда обострялись годом ранее братские отношения Ельцина с большинством депутатского корпуса и председателем парламента Хасбулатовым (в 1991-м вместе с Ельциным подавлявшим неуклюжий бунт ГКЧП). Я мониторил происходящее с близкого расстояния, это было захватывающе интересно.

К тому времени, благодаря экономическим экспериментам Кремля, зарплаты парламентского журналиста с трудом хватало на то, чтобы снимать комнату в коммунальной квартире. Я успел побывать в некоторых горячих точках только что развалившегося Советского Союза и пони-

мал, что подобные аттракционы не обойдут стороной и Россию, если не остановить охватившее страну безумие. Парламент представлялся альтернативой этому безумию, хотелось, чтобы он законными методами добился победы, благо действующая на тот момент Конституция закрепляла верховенство законодательной власти над исполнительной. Пропагандистская машина ельцинского Кремля работала на полных оборотах, рассказывая про парламент всякую чушь, однако при близком рассмотрении законодатели вызвали доверие. С некоторыми из них профессиональные отношения переросли в приятельские.

В один из осенних дней девяносто третьего года случилось то, чего инсайдеры ожидали, но во что боялись верить: Ельцин подписал указ о роспуске парламента и объявлении новых выборов законодательной ветви федеральной власти. И вечером того же дня председатель срочно созвал заседание президиума Верховного Совета, который остался ночевать в Белом Доме, как и существенная часть парламентских журналистов.

События принимали драматический характер, скрип колеса истории становился настолько оглушительным, что не выпить было невозможно. Я основательно нагрузился в кругу знакомых законодателей и сотрудников парламента, процесс продолжился в кругу журналистов. Позже одна из газет напишет: „Один из наших коллег, находясь в известном «задумчивом» состоянии, потерял дорогу». Так и было.

Я по наивности считал, что за два неполных года работы в Белом Доме хорошо его изучил. Не тут-то было, здание парламента таило в себе ловушки, о которых я не догадывался. Одной из них стал плохо освещенный склеп, в который меня угораздило попасть на рабочем лифте. Лифт захлопнул двери и обратно не вызывался. Возможностей связаться с диспетчером не было. Положение становилось критическим.

Стены склепа украшало большое количество загадочных кнопок и тумблеров. Несмотря на «задумчивое» состо-

яние, я принял верное решение нажимать на них в произвольном порядке, пока какое-нибудь ответственное лицо не допрет, что что-то не так. Сказано – сделано.

В этот вечер и ночь за парламентом следили тысячи недобрых глаз. Вероятно, им было интересно наблюдать, как выключался и вновь включался свет в крыльях и центральной части Белого Дома, как поднимался и опускался государственный флаг, как вспыхивала и гасла подсветка флага, как мигали окна целых этажей... Более того, злые языки утверждали, что обитатели окутанного осенней ночью Белого Дома были слегка встревожены тем, что в тот суровый исторический момент в кабинетах и залах заседаний парламента свет то включался, то выключался... Однако выбранная тактика принесла победу – приблизительно через час после начала парламентского светового шоу меня все-таки вычислили и вызволили из застенков.

Дальше было туманное утро и объяснительная записка на имя председателя Совета, правильно составив которую помог однокурсник, работавший в пресс-службе Совета. Вероятно, благодаря его таланту я был прощен. Пресс-секретарь главы парламента строго поинтересовался: «Ну, ты больше не будешь мудаком?» Я пообещал. И продолжил работу.

Сказать, что этот эпизод профессиональной жизни завершился хэппи-эндом, мешает злая ирония истории. Вскоре в Белом Доме действительно отключат свет, его возьмут под прицел ОМОНовцы и вошедшая в столицу бронетехника. Парламент, по выражению его председателя, станет «первым политическим концлагерем в центре Москвы». В начале октября, то есть девяносто третьего, в России вспыхнет гражданская война – скромная по масштабам и недолгая по времени. Однако и она оставит на асфальте кровавые лужи и унесет человеческие жизни. А орудийные залпы расплавят надежды на достойную жизнь в коктейле из железа и крови на Краснопресненской набережной.

Председателя концерна-спонсора информационного агентства PostFactum расстреляет на ступенях офиса наем-

ный убийца... А всего через год я буду красить стены домов в загнивающей от злостного капитализма Англии, но это будет другая история, увенчанная личной драмой».

Ритуля тупо сидела перед монитором компьютера, не в состоянии ни слова написать в ответ. Она, конечно, отразила, что в настоящее время Мудрый – не алкоголик, не наркоман. Живет в Подмоскowie, пишет книгу от имени депутата Государственной Думы, на обложке которой, конечно, будет стоять фамилия не его, а депутата. Но это понимание действительности не добавляло ей никакой ясности в отношении всего прочитанного. Разболелась голова, и где-то глубоко в черепной коробке горел костер «Машины времени» и пел голос Игоря.

Тот был умней, кто свой огонь сберег –

Он обогреть других уже не мог,

Но без потерь дожил до теплых дней.

А ты был не прав, ты все спалил за час,

И через час большой огонь угас,

Но в этот час стало всем теплей...

Ответ, собравшись с мыслями и силами, она смогла написать только через несколько дней.

Все свое житие-бытие уложила в полторы страницы. Менее подробно и оптимистично сообщала давнему другу о том, что сходила замуж и вернулась обратно, заметив, что в девяностых как-то не выдерживали браки проверку на прочность, теперь живет вдвоем с сыном. Ничего особенного вокруг не происходит, ибо в глубокой сибирской провинции все силы уходят просто на выживание. И не стала писать о том, как сохранила в девяностые годы городскую газету, как не прогибалась то под одну, то под другую власть; как выбивала малоимущим продовольственные дотации, детским садам – молоко, школьным столовым – муку. Разве могло все это сравниться с буфетом Думы, где отрывались парламентские журналисты? Или разве могла она претендовать на звание «историографа постсоветской политической реальности» в этом забытом Богом захолу-

стве, где до сих пор нет повсеместно Интернета? Отправила Ритуля письмо своему старому Мудрому другу, улыбнулась такому сочетанию и стала жить дальше. И друг стал жить дальше где-то в своем Подмосковье.

Но и в это раз не судьба им была расстаться навсегда. Спустя еще лет десять, окончательно поменяв шикарную шевелюру на достойную лысину, но при этом не прибавив ни одного грамма к своей тонкотелой фигуре, Мудрый, умело просочившись сквозь замки социальных сетей, вновь объявился пред ней. И сразу же от души стал потешаться над ее раздавшимися округлостями: «Привет, Марго, ты стала необъятной матроной! Теперь мне тебя не обнять, не обхватить». Ритуля злилась. Не настолько уж она необъятна, особенно, если не сравнивать ее с той девчонкой-первокурсницей журфака, которой всегда ее помнил Игорь. К тому же после пятидесяти можно и покрулеть. А он как ни в чем не бывало продолжал, будто только вчера ей писал свое письмо.

«Back to the point. Полтора года я не работал, невольно проведя над собой очередной эксперимент по выживанию. Уверен, ненужный опыт для бывшего парламентского корреспондента, но моя партия приказала долго жить. Без работы и денег я чувствовал себя нетрудовым элементом, то есть тунеядцем, за что в СССР, как ты помнишь, сажали на полгода. Теперь не сажают, а значит, не кормят. Год назад меня подобрали и обогрели сотрудники одной российской газеты. Без знакомства не обошлось. Но в стаю приняли и зарплату положили. Я оказался в любимой редакционной среде, к тому же совершенно не чувствуя себя пропагандистской блядью. Пишу, что думаю, и никто меня не цензурирует – это счастье. Совесть кристально чиста. То есть внешне все ништяк, я снова в центре событий и снова, как в профессиональной юности, с близкого расстояния слышу оглушительный и диссонансирующий скрип колеса российской истории, и в ежедневном режиме описываю очередную национальную катастрофу. Жизнь удалась.

Но тут вмешалась чисто техническая проблема – устал, как собака. Уже не могу работать в таком ритме и совсем не за те деньги, что платили парламентскому корреспонденту и что тогда считал несостоятельной зарплатой. Ищу другую работу, например, кассиром в метро со знанием английского, таких сейчас набирают. Или в электричках песни буду петь. В общем, думаю. Ритка, вот ты девушка провинциальная, бесхитростная, увесистая и бесконечно добрая, скажи мне – не пипец ли это? Посоветуй что-нибудь».

В этот раз она ответила быстро: «Журналист продолжает менять профессию. Кассир в метро да со знанием английского – выбор неплохой. Электричка – тоже вариант, но пенсию не заработаешь». А через секунду дописала: «Дурак ты, Мудрый». И тут же получила в ответ: «По сравнению с тобой, Ритка, я вообще – призрак. Но ведь как люблю тебя, сквозь годы. Наверно, противоположности действительно сходятся».

«Поэтому мы с тобой и не сошлись», – не написала, а подумала Маргарита.



МЕСТА ГНЕЗДОВАНИЯ

Самолет приземлился в Мюнхене. До этого они всегда прилетали в Берлин, где все по масштабу было соотносено с человеческим существом, а гигантский мюнхенский аэропорт сразил их своей несоразмерностью. Аля запаниковала, она не любила никакого громадьа, где психологически терялась. Ее друг и партнер по правозащитной деятельности успокоил: «Ты же со мной» – и крепко сжал ее маленькую ладошку в своей большой руке. С Глебом, и правда, было надежно, к тому же он мог легко общаться в любой стране. Он знал несколько языков и легко усваивал новые. Наделил Бог способностями, видимо, сэкономив на Але. Она даже знакомое со школьной программы «thank you» выдавливала из себя с трудом, будто язык прирастал к небу. Все ее существо не принимало чужой речи и чужой страны. Нет, она с интересом смотрела Европу, но говорить, уж увольте, она будет только на своем русском. А все вопросы к Глебу. Наконец, они вышли на парковку, где их ждал автомобиль и водитель, который представился на русском:

– Артур, – взял вещи и определил их в багажник «мерседеса». – Располагайтесь, – открыл дверь перед Алей, и она устроилась на заднем сиденье.

Глеб сел рядом с водителем:

– Думаю, вы уже поняли, что я – Глеб, мы с вами общались по телефону, а это – Аля.

Артур кивнул:

– Как долетели?

– Все в порядке. Мы куда сейчас? – спросил нетерпеливо Глеб.

– В Эрланген, небольшой городок, где находятся предприятия фирмы «Сименс» и один из самых крупных уни-

верситетов Германии. Устроитесь в отеле, а потом поедем к Давиду.

Глеб, как заправский автолюбитель, тут же стал интересоваться особенностями местного дорожного движения, Аля смотрела по сторонам и наслаждалась открыточными видами Баварии, где среди свежезеленеющих полей внезапно появлялись аккуратные хозяйства бауэров. «И как они умеют так все обустроить? Стерильная чистота, игрушечные домики, ничего не напоминает о живом, существе», – рассуждала она про себя. Бавария не похожа на север или восток Германии, где Глеб с Алей бывали неоднократно. Здесь свой колорит. А что значат эти жерди, ровными рядами утыкавшие все поля?

– Здесь выращивают хмель, – объяснил Артур.

Ах, да! Вспомнила Аля строчки Багрицкого про Диделя-птицелова: «По Тюрингии дубовой, ...по Баварии хмельной». И поэтические, почти музыкальные строфы всплыли в ее памяти, как птичьи голоса из манка птицелова:

...Марта, Марта, надо ль плакать,
Если Дидель ходит в поле,
Если Дидель свищет птицам
И смеется невзначай?

Она так увлеклась и хмельными полями, и Диделем, и птичьими голосами, что не сразу поняла, о чем так горячо толковал Артур:

– Основной причиной стала война. Я родом из Грозного. Шел девяностый год, мне было шестнадцать лет, мы чувствовали приближение войны, но не верили, что это может случиться. Мои друзья-чеченцы уговаривали меня не уезжать, убеждали, что такого не может быть, чтобы мы стали врагами. А потом началось настоящее безумие, мы уехали сюда, но Германию я не люблю и по телевизору смотрю только российские каналы. Я – немец российский, а местных немцев не признаю. Тяжелый народ – серый, прагматичный, безынициативный. Страшные индивидуалисты. Коллективизм и энтузиазм – это не про них. Все отношения жестко регламентированы, дружбы между ними не бывает.

Я научился понимать систему их взаимоотношений, иначе это не назвать, но душой ее не принимаю. Нас они воспринимают как чужих, сколько бы лет мы здесь ни прожили. Может быть, когда-нибудь «своими» станут наши дети. Может быть, не уверен...

Аля, оторвавшись от хмельных полей и птицелова Дидея, прислушалась к словам Артура. Российский немец. Грозный. Война. Это были как раз те темы, которыми они с Глебом занимались. И, решив несколько вопросов с Давидом по музейной экспозиции в небольшом городке вблизи Эрлангера, проехав по Земле Баден-Вертюмберг и навестив еще одних партнеров, должны были двигаться дальше, в Берлин и Польшу, на международный семинар.

Артур остановился у небольшой гостиницы, вокруг которой цвели крокусы и какие-то деревья. Аля с Глебом, живущие в северных широтах, все эти цветущие растения воспринимали с детской радостью. У них-то в марте еще лежит снег. Артур помог занести вещи и заговорил с администратором за стойкой на немецком языке. Тот в ответ, конечно же, заискивающе заулыбался и быстренько заговорил:

– Битте, битте!

Глеб уже сто раз возражал Але: «Ну почему именно заискивающе, они просто рады твоему пребыванию в их гостинице. Вообще-то ты им деньги приносишь». Но Аля упрямо видела во всей европейской доброжелательности сплошную искусственность и натянутые маски и ничего со своим отношением поделаться не могла.

Долетели они нормально, но летели ночью, а летать ночью Аля не любила, потому что невыспавшаяся Аля представляла собой даже не полчеловека, а полное его отсутствие, поэтому она с надеждой посмотрела на часы и обрадовалась, что до встречи с Давидом еще целых три часа. Можно поспать.

Она любила номера европейских отелей. Их регламентированный уют, блеск ванной комнаты, обилие зеркал, создающих иллюзию пространства... Впрочем, иллюзией казалось ей и то, что происходило с ней в очередной раз.

Ирреальность настоящего окончательно теряется в непостижимо белоснежной, шелковисто-мягкой постели, спеленатой в один непроницаемый кокон тишины. Куда деваются все звуки, как только ты попадаешь в этот мир зазеркалья, не ведает даже тот, кто это все устраивает почти без нашего вмешательства, но непременно напоминает о себе в то самое мгновение, когда она проваливается в сладкое небытие сна, а ноги ее начинают ощущать вполне реальную землю. Теплую проселочную дорогу, покрытую мелкой бархатистой пылью и плетями ползучего спорыша. И она становится девчонкой в выцветшем ситцевом платье, в изношенных сандалиях с порванными ремешками, а оттого пропускающими вовнутрь и дорожную пыль, и мелкие листики спорыша, случайно сорванные болтающейся застежкой. И как только она хочет вдохнуть в себя запах этой дороги, настоящей на жарком солнце и горькой полыни – самый родной для нее запах – видение растекается, а она утыкается в лавандовый настой постельного белья и еще больше



удивляется тому, почему она здесь, в центре Европы, а не на той пыльной дороге, по которой ей суждено было пройти.

Из пыльных дорог состояли все улицы ее большого казахстанского села, раскинувшегося на несколько километров вдоль и поперек и, видимо, на счастье обогнувшего подковой огромное озеро, противоположный берег которого уходил к горизонту и прятался за выступы березовых сопок. Говорили, что вокруг всего озера можно обойти за один день. Но Аля не очень-то этому верила. Озеро в ее представлении было морем, которого она никогда не видела. А море обойти нельзя, это она откуда-то знала. Когда она вырастет, то обязательно увидит море, ведь она уедет. Далеко. В город, чтобы учиться. Что такое город она тоже еще не знала.

Чуть позже, лет в одиннадцать, каким-то образом ее стали интересовать взаимосвязи в мире. Не то, что теперь называют международной обстановкой. Тогда для нее такого понятия не существовало. Международной обстановкой для нее был Советский Союз, дружба народов и какая-то Куба, которая, судя по патриотической песне, которую заставляли учить во всех школах, была где-то рядом. Алю Куба не интересовала, как и ее воспеваемый герой Че Гевара. Гораздо больше в ней вызывал любопытство окружающий мир. И свои наблюдения и открытия она записывала в тетрадь, которую окрестила «дневником». «Наблюдала бой ласточек над водой. Странно, у птиц тоже есть свои законы и права». О правах Аля написала скорее интуитивно, в школе им твердили только об обязанностях. Это же понятие вбивали в сознание, словно гвоздь в стену, и в семье.

Она относилась к поколению, рожденному в шестидесятых годах XX века. Как и другим поколениям этого столетия, ему был предопределен свой жребий. Родители появившихся на свет в шестидесятых годах Юрок, Светок, Наташек, Вовок, Ирок, Пашек и Колек благословляли не небеса, а коммунистическую партию, предназначавшую их чадам счастливое детство.

Сами они все были детьми Великой Отечественной войны, пережившими голод, нищету и потерю близких. Теперь, когда родились их дети, страшная война была позади, страна восстановлена из разрухи, впервые человек полетел в космос, и он тоже наш – советский! Теперь мальчишек, появившихся на свет, называли Юриями, в честь первого космонавта. Какая сила! Какая гордость! А к восьмидесятому году будет построен уже коммунизм, и молодая счастливая поросль будет творить в ином обществе, в новой формации. И обязательно долетит до Марса, где будут «яблони цвести», конечно, с появлением там очередного советского Юрки. И ни одна война больше не коснется их великой, победившей державы. И поколение шестидесятых всегда будет жить в достатке при холодильниках «Минск» и «Бирюза», стиральных машинах «Алма-Ата» и «Урал». Эти блага цивилизации наравне с железными кроватями с панцирными сетками, а порой и трюмо, появились почти в каждом сельском доме. В одинаковых универсамах бесконечными рядами висели в ряд одинаковые серые, коричневые и черные драповые «польта». Других цветов в Советском Союзе почему-то не было, зато эти «польта» были крепкими и носкими. Их можно было передавать от бабушки – внуку, из мужского перешивать в женское. Ну и что? А в блокадном Ленинграде не было и этого. А на фронте воевали чуть ли не босыми. Это были весомые аргументы, и они могли повергнуть в стыд любого, посмеявшегося претендовать хоть на какой-то маломальский достаток. Жить обеспеченно, лучше, чем другие, считалось неприлично. «Социальное равенство и справедливость!» – вот лозунги, вооружившись которыми, советское общество уверенно шло к коммунизму.

Аля верила в незыблемость советских идеалов и правоту коммунистической партии. А во что же верить еще? Если с экрана телевизора и со страниц всех газет твердили только об этом. Даже на покосившемся заборе центрального рынка села, где продавали все: от пуговиц до кур-наседок и парной свинины – висел «Кодекс чести коммуниста».

Видимо, это стимулировало торговлю и укрепляло посетителей рынка в правильности выбранного пути.

Поколение шестидесятых. Что знало оно о немцах, Германии и Европе? В школе на уроках подробно учили историю древнего Рима и Греции, а также Французскую революцию. Из учебников экономической географии знали о странах социалистического лагеря и Совете экономической взаимопомощи, главное здание которого в виде раскрытой книжки, расположенное в Москве, часто показывали по телевидению. Вот и вся вам Европа. С Германией вообще все понятно, это – наш враг, и немцы все – враги. Даже демократическая Германия, отделенная Берлинской стеной от буржуазной, не может быть нашим другом на том простом основании, что она – наш враг.

Аля не сразу поняла, что звонит будильник. Спасаясь от навязчивого звука, еще глубже стала закапываться в лавандовый запах, но звук не утихал.

– Просыпайтесь, фрау! – услышала она голос Глеба. – Нас ждут великие дела.

Она бы с удовольствием отложила все величие дел на завтра, не выбираясь из постели, но их короткое пребывание в Баварии было расписано по часам. А немцы, как известно, народ пунктуальный.

Но Артур задержался на целых пятнадцать минут и, ничуть не смущаясь, объяснил, что придерживается прежних традиций.

– Каких? – уточнил Глеб. – Опаздывать, когда тебя ждут?
– А вы не похожи на русских, – не остался в долгу Артур.
– А вы давно не были в России? – не отступал Глеб.
– Давно, с тех самых пор, как уехал. С девяностого.
– Тогда не советую вам с позиции того времени судить о русских и современной России.

Дискуссия оборвалась так же внезапно, как завязалась. Артур лихо подрулил к двухэтажному зданию, отделанному декоративным камнем.

– Давид любит этот ресторан. Он вас ждет.

Ресторан был почти пуст. В углу, в спрятанном от света пространстве, сидел за столом харизматичный мужчина – типичный грузин: большой, с крупными руками, шевелюрой седых волос, весь словно грубо вырубленный скульптором-монументалистом из камня. Встал навстречу гостям. Горячо пожал руку Глебу, Алю обнял. Пригласил за стол. И сразу же предложил мясо на углях.

– Здесь его прилично готовят, – сказал с грузинским акцентом, – не так, как в Грузии, но все же лучше, чем в других местах Германии. И еще нам принесут много зелени с овощами.

Красное вино, конечно, грузинское, уже стояло на столе. Давид налил всем по бокалу и поднял тост:

– За Советский Союз!

Аля поняла, что сейчас важно ничего не пропустить. И ожидала, что Давид не сразу перейдет к делу. Вид у него был какой-то обреченный, как у тяжелобольного или пораженного тоской. Такому сначала выговориться надо. И он заговорил:

– Я устал жить в этой стране. Я здесь не свободен. Я хочу отсюда уехать и уеду. Свобода есть в России, но не здесь.

– А как же европейская демократия, разве она не гарантирует свободу? – не удержалась Аля.

– Это ты наслушалась сказок дядюшки Обамы? – без всяких реверансов перешел он на «ты». – Никакой демократии в Европе нет. Есть управляемые Америкой процессы. Европа боится Америки и ложится под нее, как проститутка. А Россия не легла. И теперь Европа боится России, которая у нее вызывает удивление: почему Россия не боится Америки, должна бояться вместе с ней. Для Америки Россия – кость в горле. А европейцы – трусы продажные. Чиновники в Германии – страшные. Общество – сытое и бесчеловечное... А я хочу домой, в СССР, в свою Грузию.

Первое впечатление Али от Грузии осталось в прошлом. В далеком прошлом. Когда она в девяносто первом решилась отдохнуть на грузинском курорте Цхалтубо. Мало того, что решила отдохнуть сама, так еще и потащила за собой пя-

тилетнюю дочь. Путевки ей не досталось, а курсовку председатель профкома умудрилась выменять в другом профкоме за какую-то личную услугу. Естественно, что никакой курсовки двадцатипятилетнему сотруднику не полагалось. За какие такие заслуги перед Родиной и в таком возрасте ехать на курорт? Болезней еще не накопилось, трудовой стаж не выработан. Так рассуждал в то время любой член профсоюза с большим стажем и непременным списком заболеваний, претендовавший на эту путевку. Но Але повезло, болеющие стажисты на курсовку не претендовали. Курсовка не обеспечивала койко-место в санатории, а только – если повезет жилье в частном секторе курорта. Алю это не пугало: жилье так жилье. А что повезет, она не сомневалась. Собрала чемодан и сто раз возразив мужу, что летит не к черту на кулички, а на вполне реальный советский курорт, и если его в отпуск не отпустили, то не стоит отравлять ей жизнь, она посадила дочь в автобус, следом поднялась сама с чемоданом и помахала в окно мужу: «Пока».

«Ту-154» долго заходил на посадку. А может быть, ей только так показалось, но хорошо видимый внизу горный массив с острыми пиками не оставлял никаких шансов выжить при крушении. «А что, собственно, я волнуюсь? Котенок со мной, значит, погибнем вместе, а все остальное не важно», – успокоила она себя. Однако, когда «Ту» все-таки сел в аэропорту Тбилиси, она передумала погибать и потянулась к выходу вместе с другими пассажирами.

На юге темнота опускается рано, не то что в их северных широтах, где полночи светло, а дальше снова светло, потому что наступает утро. А здесь в двадцать один час уже все погружено в густую темноту. До железнодорожного вокзала, откуда автобус отправлялся в Цхалтубо, они долго ехали в маршрутном такси. Ксюша спала у нее на коленях. Аля не отрывала взгляда от города, яркими картинками калейдоскопа меняющегося за окнами такси. Тбилиси поражал своеобразной архитектурой, гармонично вписанной в природный ландшафт, окрашенный в сочные краски. Дома старого города, словно гнезда-коробочки, увитые плющом, ле-

пились на горных террасах. Несмотря на вечер, город жил. В ярко освещенных дворах за накрытыми столами сидели компании. Аля не слышала, но понимала, что где-то за этими столами не просто пьют вино, но и поют. Город полон света, цвета и цветов. На всем пути встречаются небольшие кафе и бары. Столики на улице. Пиво, вино, шашлыки, мороженное. Богатые, частные особняки с большими садами, увитыми гирляндами цветов, с фонтанами и цветомузыкой. И вдруг Аля остро ощутила диссонанс, несоответствие реальностей одной огромной страны. В ее местности жизнь была совсем иной: серой, нищей, убогой. С вечными холодами, снегом, отсутствием зарплат, жильем барачного типа, где до сих пор топились печи и не было никаких удобств. Где уставших от безденежья людей призывали к выполнению производственных показателей, чувству долга, ответственности. «Мы ведь не живем, а существуем, – с горечью думала Аля, – какие могут быть планы и обязательства, какой может быть долг и перед кем, если все ежедневные усилия – не для жизни, не для человека, не для красоты, а во имя одной только цели – выживания?» И почему так иронично, так издевательски звучит фраза «красиво жить не запретишь», жить и нужно только красиво, так красиво и сытно, как живут в Тбилиси.

Курортная часть Цхалтубо состояла из огромного парка и санаториев, куда на бальнеологические процедуры ранним утром ходила Аля. Дочь ждала ее в фойе, как правило, развлекаемая кем-нибудь из обслуживающего персонала. От этого самого персонала Аля, между прочим, и узнала, что Цхалтубо – самый уважаемый курорт Советского Союза, где в свое время лечились Иосиф Виссарионович и его приближенные. «Угораздило же меня», – без всякой солидности подумала Аля и, потянув за собой Котенка, отправилась в парк, сплошь состоящий из окультуренных тропических растений.

Дочь играла в песочнице, Аля читала, наконец-то довольная имеем на это время. И не заметила, как к ней подошел солидный мужчина, не лишенный привлекательности, с

мальчиком лет восьми. Заговорил. Грамотный русский, хоть и с небольшим грузинским акцентом Алю сразу расположил, хотя и была она тысячу раз предупреждена председателем профкома. Дескать, знает она, чем на курортах занимаются, и если что, то обязательно письменно сообщает о морально-нравственном поведении сотрудника в организацию, а потому с посторонними мужчинами ни в коем случае знакомиться нельзя. Она и не знакомилась. Мужчина говорил о сыне. Котэ был долгожданным и любимым, а теперь вот страдает болезнью сердца, и жизнь его каждый день висит на волоске. Жена – врач, правду ему не говорит, а сама все знает и все время работает, а он не может расстаться с сыном. В это время мальчик играл уже с Ксюшей, а мужчина говорил и говорил о том, как он его любит и готов на все, но не знает, что еще для него сделать, а жена молчит и правды не говорит. Тут дети подбежали к ним, мальчик держал Ксюшу за руку, и они над чем-то смеялись. И мужчина прослезился: «Я первый раз за последние месяцы вижу его смеющимся». И, растроганный, повернулся к ней: «А пойдёте вместе в кино. В кинотеатре идет американский фильм про Тарзана. Вы видели Тарзана?» Нет, она не видела, читала о фильме-легенде и хотела посмотреть, понимая, что в ее провинции этого может никогда не случиться. И она согласилась. Мужчина, который, наконец-то, представился – Деди, обрадовался, купил всем четверым мороженого в вафельных стаканчиках, и они пошли в кино.

А потом гуляли по парку, опять ели мороженое, дети убежали вперед, прятались от них за деревья, смеялись и снова убежали. «Вам понравился фильм?» – спросил Деди. «Да, – ответила Аля, – только в жизни так не бывает, чтобы женщина променяла богатство и благополучие на жизнь в дикой природе».

– Она променяла на любовь. Разве вы бы так не смогли?

– У меня нет богатства, – будто не поняв вопроса, ответила Аля.

– Что может быть ценнее любви и свободы? Мы – грузины, очень ценим волю и родство с природой. А Тарзан – он ло-

вок, силен, красив, смел, как настоящий грузин, – серьезно сказал Деди и посмотрел на нее. – Поедемте завтра на море, я приготовлю настоящий шашлык, мы будем пить истинно грузинское вино, есть много зелени с овощами и фрукты. Не отказывайтесь, пожалуйста, мой сын давно так не смеялся. Мы утром заедем за вами с Ксюшей, где вы живете?

– В частном секторе.

И они поехали на море. И было все, как Деди обещал: шашлык, вино, много зелени с овощами, фрукты и смеющиеся, плескавшиеся в море дети.

– Давид, может быть, мы перейдем к делу? – отодвинул пустую тарелку Глеб.

– Я люблю самолеты, у меня много летающих моделей, я хочу создать музей или клуб любителей. Я купил здание, но мне одному с этой задачей не справиться. У тебя, Глеб, интересные идеи, много идей, давай вместе делать музей. Я могу умереть, кому достанутся мои самолеты? Мои немецкие дети их не любят. А мой грузинский сын улетел далеко. Я подарил ему свой лучший самолет, – без предисловия перешел к делу Давид

Какая-то непреходящая печаль застыла в глазах этого седогривого льва. Он заказал себе кофе, Глебу с Алей – чаю.

– Нельзя мне пить кофе, а я без него не могу.

– Давид, почему ты позвал нас? А местные специалисты, любители, общества по интересам?

– Какие общества по интересам могут быть у этих бюргеров, они ленивы и ничего не хотят. Все общества у них – это любителей пива.

– Давид, вы так давно живете в этой стране, почему же ее не принимаете?

– А ты бы приняла, если бы родилась в Грузии? Это все жена, она решила сюда уехать. А я любил жену.

И он опять долго говорил, теперь о жене, враче-кардиологе, решившей в девяносто третьем уехать сюда из Тбилиси. Она хорошо знала немецкий, ездила на международные конференции. А он – инженер-энергетик, окончил Тбилис-

ский университет, потом защитил кандидатскую в Ленинграде. Немецкий не знал совсем. И это стало причиной их развода: жена не хотела тащить на себе бесперспективный в Германии балласт. Сейчас она работает в одной из ведущих клиник Берлина. А он имеет свое предприятие и сотрудничает с фирмой «Сименс». И по-немецки говорит, дай Бог каждому. Женился во второй раз и родил с Мариной двоих детей. Перенес тяжелую онкологию со злокачественной опухолью.

– И все еще живу, – закончил он свой обреченный монолог. – А в Грузии был сильный и ловкий, как Тарзан. Вы смотрели такой американский фильм?

– Этот фильм смотрели все, – ответил за них обоих Глеб. – Ну и где же твои самолеты?

– В мастерской. Поедемте, – тяжело поднялся Давид. – Я вам все покажу.

«Мастерская» – это сказано скромно. В большом здании на двух этажах в разных залах и боксах расставлены, подвешены, подготовлены к сборке сотни моделей самолетов самых разных типов. Здесь можно проследить всю историю «летающих легенд». О, это впечатляет, потрясает и, честно говоря, пугает, когда прямо над твоей головой резвится «Мессер» времен Второй Мировой войны. Давид неожиданно легко поднимает огромный реактивный истребитель, с любовью держит его в руках, ласкает взглядом, гладит крылья, все с такой же любовью рассказывает о нем, о мастерстве пилотирования с земли и захватывающем ощущении высоты:

– Это – свобода! Понимаете, свобода!

Давид включил видеозапись полетов, конечно, просматривая ее в тысячный раз, он растворился в реве двигателя и реактивном свисте, его глаза заблестели, лицо как-то враз расправилось, помолодело.

– Вам нравится летать? Вы при этом испытываете удовольствие? – спросила Аля.

– Больше, чем с любимой женщиной, – взволнованно ответил он и всецело отдался зрелищу на экране.

Аля поняла, что они с Глебом ему больше не интересны. А возможно, не интересна и сама идея музея, где самолеты не летают, а стоят. Пока Глеб вникал в толстенный проект возможной музейной экспозиции, небрежно брошенный Давидом на стол, она решила пройти по мастерской. Все двери были открыты. В сборочных боксах пахло клеем и еще какими-то специфическими запахами.

Одна из комнат напоминала берлогу одиночки, никак не отмеченную присутствием женщины. Широкая тахта была небрежно расправлена, на спинку стула брошена мужская одежда, на столе перед компьютером стояла грязная чашка из-под кофе, рядом с монитором – две фотографии в рамке. На одной – мальчик лет десяти, на второй, черно-белой, – кадр из какого-то фильма. Аля пригляделась. Актеры Лекс Баркер и Вирджиния Хьюстон – исполнители главных ролей в фильме «Тарзан в опасности» на съемках картины. Подумала: «Помешан на Тарзане, что ли? Тарзан и самолеты – странный коктейль». По портрету мальчика только скользнула взглядом, хорошенький грузинский мальчик, наверное, сын.

Когда вернулась к мужчинам, они о чем-то спорили. Прислушалась. Об устройстве экспозиции. Работала кофемашина. Давид обернулся:

– Аля, кофе будешь? – махнул рукой. – Забыл, что не пьешь, как можно не пить кофе и не летать? Чем тогда наслаждаться в жизни? Ты, наверное, зашла в мою пещеру, там не убрано. Уборщица придет только завтра. А сегодня я буду там спать, вот только отвезу вас в гостиницу.

– Там мальчик на портрете, это ваш сын? Он остался с женой? – зачем она об этом спросила.

– Нет, он не остался с женой. Он улетел далеко. И тогда жена решила уехать в Германию.

Ночью Але приснилось, как грузинские мужчины любят деньги и русских женщин. Нет, не сам процесс, а Деди, который с ней на эту тему говорил. Деди заехал за ней с Ксюшей, чтобы ехать на море, а во дворе дома, где они

жили, в одних семейных трусах под утренним солнцем гулял профессор МГУ, тоже постоялец. И по этому поводу Деди ей потом говорил: «Ну что у вас, у русских, за мужики? Как вы такие, женщины, ну просто женщина-персик, можете любить таких мужиков? Они ведь ничего не умеют делать: деньги делать не умеют, пить не умеют, за женщиной ухаживать не умеют и спать с ней тоже не умеют. За женщиной надо ухаживать красиво: ресторан, цветы, шашлык. А поэтому надо уметь делать деньги, много денег. И как можно этому мужлану, с таким пузом, прогуливаться перед тобой, перед пожилой хозяйкой в одних трусах?» Аля решила заступиться за нацию: «Он – не мужлан. Он – профессор. Но говорит, что старый и глупый». Деди обрадовался: «Да он просто осел, раз ходит перед тобой и хозяйкой в трусах! Зачем вы с ними живете? Надо красиво жить!» Аля за время короткого пребывания в Грузии хорошо и быстро усвоила, что жить надо красиво. И постаралась оправдаться: «Я с профессором не живу». Деди посмотрел на нее и с горечью сказал: «Ну ведь с кем-то живешь». Она не ответила. И он стал ей читать «Витязя в тигровой шкуре» на грузинском языке. Она видела перед собой лицо мальчика в рамке, а дети возились и смеялись на заднем сидении.

За завтраком Глеб излагал Давиду предложения по созданию экспозиции, которые они вечером обсудили с Алей. Особенно Давид оживился, когда Глеб предложил запустить в музее звуковой фон, который бы приблизил посетителей к реальности. Звуки аэродрома, двигателей самолетов, воздушного боя. Давид одобряюще кивал своей лохматой головой и вдруг выдал:

– Я бы хотел слышать везде только один звук – гимн Советского Союза. Тех политиков, что развалили СССР, я бы и отправил в последний воздушный бой.

Аля вдруг разозлилась на нытье Давида и только что не сказала вслух: «Заработал бы ты в Советском Союзе свои миллионы на дорогие самолетики», – а он не унимался:

– Мне редко приходится общаться с такими людьми, как вы. Все ежедневное общение – это решение шкурных вопросов, здесь никому нельзя доверять! Вообще никому. Я верю единственному человеку – Артуру, он с Кавказа, он меня не обманет. Я начал свой бизнес в России, успел. И сейчас у меня там есть компании. Я – свободолюбивый горец, а эти бюргеры пугают меня законами.

– Давид, ну законы в любой стране необходимо соблюдать, – подчеркнуто заметила Аля.

– В Германии самым страшным преступником считается тот, кто не заплатил налог. Вот и весь их закон.

– Поэтому они так хорошо и живут, что все платят налоги, – не уступила Аля.

Давид махнул рукой, дескать, о чем с тобой, женщина, можно говорить:

– Давайте, я вам почитаю «Витязя в тигровой шкуре» на грузинском языке.

Глеб, большой поклонник поэзии, оживился. Аля с какой-то неясной тревогой пристально взглянула на Давида: «Все грузины любят своего Руставели».

В следующий раз Деди повез их в Кутаиси. Сначала они присоединились к экскурсионной группе, которая отправилась в пещеру Прометей, но Аля не любила пещер, и вообще не любила замкнутого пространства, а поэтому они быстро вернулись обратно. И Деди возил ее и детей по цветущему городу. Они плескались у фонтанов, ели мороженое и играли в прятки у кустов роз. Дети прятались, а Деди с Алей их искали. Потом они пошли в парк, где Аля заметила пустой постамент. Деди, проследив ее вопросительный взгляд, равнодушно сказал: «Ленина убрали». Аля не то чтобы не согласилась с утилизацией Ильича, но озадачилась вопросом: «А разве можно с памятниками воевать?» Деди тут же вскипел: «А может быть, поставить памятник вашему русскому генералу Родвинову, расстрелявшему девятнадцать ни в чем не повинных молодых людей девятого апреля восемьдесят девятого?.. Они пришли

на митинг, чтобы сказать свое слово, а он – комендант города, по ним из оружия! Мы это запомним и отомстим!» Деди был не похож на прежнего грузина, красиво сопровождающего женщину, он преобразился в мстительного воина: «А этим юношам и девушкам уже сегодня ставим мемориалы во всех городах Грузии, вывешиваем их фотографии и кладем к ним цветы. Мы это запомним!» Свой обличительный спич он завершил фразой на родном языке и только тут заметил онемевшую Алю, инстинктивно прижимающую к себе замеревших детей – русскую девочку и грузинского мальчика.

На обратном пути из Кутаиси они не смеялись. Километров за десять до Цхалтубо Котэ стало плохо. Ребенок закатил глаза, посиел и вытянулся словно струна. Деди погнал «Жигули», выжимая из новехонького автомобиля всю его мощность, Ксюша вжалась от страха в сиденье, а Аля, прижав к себе мальчика, то слегка била его по щекам, то дула ему в лицо, то бессвязно приговаривала: «Пожалуйста, пожалуйста... уже скоро, все будет хорошо, Котэ-мальчик, уже скоро...» Деди мчал, не обращая внимания на сигналы светофора и шарахающихся пешеходов, у врачебного корпуса затормозил со страшным скрежетом, выхватил сына из Алиных рук и буквально взлетел по высокому крыльцу, скрывшись с мальчиком на руках за массивной дверью.

Аля с Ксюшей медленно побрели в сторону частного сектора. Молчали. И только у самого дома Ксюша тихо спросила: «Он умрет?» Аля опустила перед дочкой, заглянула в ее большие глаза: «Ну что ты? Нет, конечно. У него мама врач, она его спасет».

Больше они не встречались. Деди не приезжал. Да и курсовка Али завершалась. Они с Ксюшей съездили еще на море под Батуми. На обратном пути их автобус долго стоял на каком-то железнодорожном переезде, пока им не сообщили причину: где-то идет забастовка, и не предложили перейти переезд пешком и пересесть на общественный транспорт. «Забастовка» – пугающее, настораживающее слово, ранее известное ей только по учебникам истории. И вдруг Аля по-

чувствовала, как хочет домой, будто предчувствуя, что скоро политики Россию и Грузию объявят врагами.

Она опять тонула в лавандовом запахе, иногда смешанном с запахом полыни. И то куталась в сугробы постельного белья и одеяла, то тонула в сугробах, наметенных разгульной казахстанской зимой. Она не хотела просыпаться, лелея эти мгновения, заплутавшие между реальностью и сновидениями, продлевала их, намеренно не открывая глаз, в надежде как можно дольше сохранить дорогие ей ощущения, и тишина за стенами отеля, заговорщически соглашаясь, пеленала ее в свой кокон. И все же проклюнувшись из него, она сначала высвобождала из-под одеяла ступни ног и шевелила ими в подтверждение своих намерений о пробуждении, потом потягивалась, прислушивалась – есть ли жизнь вокруг, и только потом открывала глаза.

С Давидом они почти все закончили. И сегодня собирались на поезде ехать в небольшой городок земли Баден-Вюртемберг, где их ждали давние партнеры из российских немцев, супруги Вуль, защищающие в Германии права соотечественников. Знакомы они были только заочно, что не помешало реализовать им пару совместных проектов.

Алька вошла в дом и выпалила новость:

– Немцы приехали, мы смотрели, как они вещи выгружают.

– Какие немцы? – недоуменно спросила Таисия, ее мать.

– Настоящие, фашисты, – без тени сомнения продолжала Алька.

– Я тебе дам «фашисты», я тебе дам! – непонятно чего взъелась мать. – Чтобы я больше не слышала этого!

Алька замолчала, насупилась и пошла в свой уголок. Она не поняла настроения матери, обычно сдержанной на слова и эмоции. Ну и ладно, у нее были свои собственные дела и поважнее всяких немцев.

На следующий день, когда они своей уличной ватагой играли в выбивалы, к ним подошли мальчик и девочка –

дети новых соседей. Девочка была примерно Алиного возраста, и очень удивила всех толстой косой, в которую у нее были туго сплетены волосы пшеничного цвета. Мальчик был чуть ниже ее роста, ушастый, с выстриженным чубчиком, с волосами такого же цвета, как у сестры. Они держались за руки.

– Мы тоже хотим с вами играть, – на правах старшей произнесла девочка.

Вся ватага с любопытством рассматривала новеньких. Они, держась за руки, настороженно стояли в сторонке, будто чего-то боялись.

Общее молчание длилось недолго. Его нарушил казах Жакен.

– Валите отсюда, – вдруг произнес он, – гады, фашисты! Еще нашими русскими именами называются, – и Жакен поднял с земли камень.

Такого остервенения от казаха Женьки, как звала его уличная пацанва, никто не ожидал. Но Женька метнул камень в девочку и не промахнулся, она заплакала, закрывая лицо рукой. Заревел и ее младший брат. А стоящая напротив них толпа почти хором заорала: «Фашисты! Гады!» В это время показалась новая соседка, мать детей, и позвала их на непонятном языке. Дети, зарыдав, кинулись к ней, а женщина так посмотрела на улюлюкающих местных ребят, что они сразу примолкли. Аля тоже замолчала, почувствовав, как крапивный жар обдает ее всю, от ступней до затылка. Это чувство было новым и ужасным. Это был не просто стыд, это было невыносимое ощущение, выжигающее все внутри от сознания того, что она стала не только свидетелем, но и участником унижения людей. Таких же, как она сама. От этого испепеляющего ее чувства казалось, что она на самом деле сейчас исчезнет, растворится в потоке горячего воздуха, которого ей так сейчас не хватало, чтобы восстановить дыхание.

Они разошлись молча. И каждый ждал дома нагоняя, так как понимал, что новая соседка обязательно пожалуется их родителям. А она не жаловалась. И это ожидание

наказания тоже было наказанием. Вечером Аля не выдержала и все рассказала матери, не представляя, что ждет ее в ответ. Таисия долго молчала, словно про себя взвешивала, что должна сказать дочери. Наконец, спокойно и внятно произнесла:

– Они не фашисты и никогда ими не были. Я прошу тебя уважать людей, к какой бы национальности они не принадлежали.

– А в деда стреляли немцы, – упрямо возразила Аля.

– Это была война. В него стреляли враги. А наши новые соседи – не враги, они сами пострадали от войны.

– Как они пострадали, если немцы?

Таисия устало вздохнула, она не решалась чего-то сказать. И тогда попросила:

– Дай мне слово, что ты никогда больше не посмеешь обидеть человека только потому, что он – не русский. Ты же дружишь с казаками.

– Так они ведь наши, – удивленно посмотрела на мать Алька.

Таисия улыбнулась:

– Вот таким же «нашими» должны стать для тебя Валя и Саша. Ты должна им помочь, вам учиться в одной школе, где тебе уже все известно, а новеньким всегда труднее.

Не услышав в ответ голоса дочери, Таисия более требовательно произнесла:

– Алевтина, ты обещаешь?!

Неожиданно на Алю накатило то же самое чувство, что и на улице, когда она увидела глаза матери «новеньких», от которого она тут же задохнулась, и ее стало тошнить, она заново пережила состояние унижения, которому они подвергли брата и сестру. Восстановив дыхание, она твердо произнесла:

– Обещаю, мама.

Потом они к новым соседям привыкли. И только став старше, Аля поняла, что немцев вокруг нее всегда было много. Просто фамилии их с раннего детства были на слуху, были «своими» и никак не ассоциировались с немцами-врагами.

Поколение шестидесятых ничего не знало о том, что люди имеют права, которые порой нуждаются в защите. По крайней мере, Аля никогда не слышала об этом в своем селе. И после, когда училась в университете, им чаще всего говорили о том, что они учатся на самом идеологическом факультете и в будущем обязаны эту идеологию защищать, в то время еще коммунистическую. Но иногда она ощущала прилив того крапивного жара и тошноты, испытанного в детстве при знакомстве с детьми новых соседей, оказавшихся российскими немцами и униженных ими, жесткой детворой. И теперь об этой жестокости ей напоминали ее собственные ощущения, наступающие в тот самый момент, когда кто-то в ее присутствии унижал человека. И она тут же, сопротивляясь несправедливости на интуитивном уровне, вступалась за него. К концу восьмидесятых, когда коммунистический режим целенаправленно шел под откос, она узнала о тоталитаризме, репрессиях, диссидентах и правозащитных организациях, одну из которых возглавила сама.

Это случилось в девяностые, когда те же самые российские немцы как представители одного из народов, репрессированных по национальному признаку в годы Второй мировой войны, с одной стороны – бросились защищать свои права, с другой – длинными караванами потянулись в эмиграцию на историческую Родину, о которой узнали в те же девяностые, словно не догадываясь о ее существовании во все предыдущие времена. И нередко в бывшем СССР называли эти караваны колбасной эмиграцией, ибо в России, как и в ее республиках-собратьях, колбасы не было совсем, а в Германии – вволю, а еще переселенцам давали социальное жилье и пособие, и хоть эмигрантов со своими гражданами на одну половицу не ставили, но материальных благ не лишали. И одни из них, заняв низшую социальную ступень, довольствовались этими благами, другие, как супруги Вуль, вооружившись воинствующим опытом общественной работы в СССР, пытались развить общественную деятельность в необщественной Германии



и на пустом месте защищать права своих соотечественников. Кое-что у них получалось. Например, издавать свою газету «Отечество» или проводить Дни памяти у Рейхстага, посвященные депортации из Республики Немцев Поволжья в сорок первом году, будто их депортировали хозяева Рейхстага, а не Кремля. Делалось это нарочито ностальгически: с желтой бочкой, по пухлому боку которой большими буквами написано «КВАС», с выступлениями в русских сарафанах и песнями под гармонь, с петициями в адрес правительства Германии и требованиями предоставить миллион свобод, будто бы их кто-то эмигрантам обещал. Аля понимала противоестественность подобной «борьбы за права», но умела миновать острую грань в отношениях и использовать дружбу с партнерами во благо обеих стран.

Давид проводил их на поезд. Крепко пожал руку Глебу, Алю – обнял, прощались ненадолго, договорившись вместе дать жизнь летающим легендам.

– Когда ты снова приедешь? – требовательно обратился Давид к Глебу, достав из кармана массивные круглые часы

на серебряной цепочке, открыл крышку, словно по ним сверя ответ.

– Подарок отца. Храню.

На внутренней стороне крышки Аля заметила портретик того мальчика, что уже видела в рамочке на столе. Перехватив ее тревожный взгляд, Давид произнес будто заученную фразу:

– Котэ улетел далеко. На самом лучшем самолете.

– У него было больное сердце? – Аля спросила это отстраненно, будто только сейчас предположив, не сделав никакого намека на прошлое.

– Да. Жена знала правду, а мне не говорила, – он сразу как-то осел, стал беспомощной каменной глыбой.

Когда они устроились в поезде, Глеб поинтересовался:

– Ты откуда знаешь про сына?

– Просто спросила, – ответила Аля, глядя в окно.

И Глеб понял – беспокоить ее пока не стоит.

Валерий Вуль встретил их на вокзале Штутгарта. Как-то сразу узнались и без церемоний обнялись. Алю очень подкупало, что Вули тоже были родом из Казахстана, и у них совместными с ней были небо и песни из прошлой жизни, где не только Альке уютно бегалось в рваных сандалиях, но и Раисе руководилось одним из самых крупных обкомов профсоюзов в Чимкенте, а ее мужу Валерию, – следователю в офицерском звании, – ловилось преступников и бандитов. Неумная натура каждого из них требовала деятельности и на исторической родине, но родина этого не ценила, равнодушно считая их, как и прочих, эмигрантами, усеченными в правах и положении.

Вот у них даже не было социального жилья, хотя, по мнению Валерия, учитывая заслуги его отца перед германским государством, им просто обязаны были выделить жилье. Но германское государство считало иначе. Собственные заслуги у эмигрантов девяностых годов могли быть только в СССР, потому они и тащили за собой на историческую родину своих престарелых родителей, коренных российских

немцев, пострадавших от репрессий, ведь в этом случае Германия сулила больше материальных благ.

Эмиграция девяностых XX века, которую Аля с самого начала наблюдала собственными глазами, тоже была жребием ее поколения. Из разодранной на клочки страны, обессилившей от экономического краха, передела собственности, безработицы и обрушившегося на нее, откуда ни возьмись, капитализма – оголтелого, бандитского, потянулись эмигрантские обозы с родины – единственной, на родину, откуда ни возьмись, – историческую, а если честно – в тихую и сытую гавань. Внезапно ощутив свою немецкую, еврейскую или польскую идентичность, уезжали соседи по улице, одноклассники, знакомые и друзья. Тем, кому идентичности не хватало, тут же выходили замуж или женились на ее представителях, еще вчера составляющих единую общность – советский народ, а сегодня скоропалительно восстанавливающих дедовские фамилии, чтобы эту самую идентичность доказать. Аля не видела в них ничего общего с Буниным или Куприным, а ее собственная идентичность была определена однозначно и безнадежно принадлежала этой стране.

У Вулей случай был другой, о чем они могли говорить по секрету только в очень узком кругу. Несмотря на первую встречу живьем, Аля с Глебом с первых минут стали тем самым кругом. Их ждали. В лучших русских традициях, а может быть, и казахских или просто советских, когда гостей неприлично было встречать, не усадив за стол, этот самый стол, приготовленный Раисой, просто ломился от яств, а кульминационным блюдом в разгар обеда стал казахский бешбармак. Глеб стал было отказываться, ссылаясь на сытость, но Аля так посмотрела на него, что он понял – не стоит обижать хозяев и пренебрегать восточным гостеприимством. К тому же, кто отказывается от бешбармака, и что может быть вкуснее на свете главного казахского блюда? Аля уверена – ничего.

После выпитого и съеденного Глеб с Валерием удалились на просторный балкон покурить, а Раиса с Алей – на

кухню, где за мытьем посуды самое место и время для женского общения.

– Хорошая у вас квартира, – отметила Аля: она любила уютное жилье.

– Съемная, – пояснила Раиса, – своей у нас нет. Но чимкентская лучше была. И все в Чимкенте было лучше.

– Вы ведь не немка, – обращаясь к Раисе на «вы» в силу большой разницы в возрасте, осмелилась предположить Аля, с первой минуты заметив в ее лице знакомые с детства азиатские черты.

– Отец был казах, а мать русской. Я вышла замуж за немца и всю жизнь была преданной ему и верной. Ты ведь знаешь, не в восточных традициях изменять мужьям, а мой отец мусульманские традиции чтит. Мама любила его и приняла его образ жизни. Так и нас с сестрой воспитывали. Сестра в Казахстане осталась. Наши дети – дочь и сын – вместе с внуками в России. А мы вот здесь...

Аля взяла уборку посуды на себя, но на чужой кухне все расставить по местам не могла, поэтому Раиса подхватывала вымытые тарелки, чашки, блюда и расставляла по шкафам и полкам. Только тут Аля заметила, что Раиса заметно прихрамывает. Постаралась предупредить ее следующее движение, но Раиса попросила не беспокоиться.

– Я уже давно болею, онкология. Опухоль на позвоночнике.

Аля остановилась как столб. В ее понимании в Германии не может быть онкологии, ну или должны вылечить всех. Как же так?

– Очень просто. Никому мы тут не нужны. Лечат, конечно, но... на все нужны деньги, у нас их нет. Много вкладываем в газету. Не получается привлечь дополнительные средства, да еще с налогами первоначально не разобрались, налетели на большой штраф. Теперь несколько лет нам его выплачивать.

– Зачем вам все это надо? – не удержалась Аля.

– Я всегда активисткой была, общественницей. Последние десять лет перед отъездом в Германию возглавляла

в Чимкенте обком профсоюза целой отрасли. Вот и здесь придумала себе деятельность. Тем более, что российские немцы в Германии тоже в защите нуждаются. Я бы сказала так, это – народ без дома и родины, всегда в пути, и этот путь никуда не приводит.

– Раиса Маратовна, я вам в подарок оренбургский пуховый палантин привезла, – вдруг ни с того ни с сего сказала Аля.

– Да что ты! – искренне обрадовалась Раиса. – Так дари же! Это – дорогой подарок! – Она накинула на себя палантин и стала красоваться перед зеркалом:

– Теплый какой, легкий! Ну, Аля, угадала ты с подарком! А я для тебя приготовила французские кружева, ты еще молодая, где-нибудь пофасонишь.

Вскинув на себя кружевную ленту, Аля сквозь стекло окна заметила, как эмоционально на балконе жестикулирует Валерий. Ну, понеслась деревня по кочкам, вспомнила она бабушкину присказку, когда дед начинал махать руками и повышенным тоном говорить о беспорядках в совхозе. Он был украинец по национальности, прижимистый и толковый в ведении хозяйства.

В другое окно виден был лес. Совсем не такой, как в их северных широтах. Южный лес – густой, богатый на сочную листву, несмотря на конец лета. У них в эту пору лиственный лес уже прозрачный, а хвойный замирает в ожидании холодов. Приближение осени здесь совсем не чувствовалось.

Особо Алевтина переживала в детстве отлет птиц. В серые осенние дни она шла к озеру, где на воду, словно на живульку, прихваченную с берега первым льдом, садились на отдых лебеди. Птицы сбивались в небольшие стайки и парами жались друг к другу на темной воде. Алевтина ежилась от пронизывающего ветра, а внутри нее что-то сжималось и тянулось грустной песней, которую пела бабушка, крутя нитку на колесной прялке:

То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит –

То мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит.

Ей было жалко птиц, она не понимала этого неистового стремления к перелету на многие тысячи километров, грозящего пернатым смертью и разлукой, что для лебедей было равносильно той же смерти. Она хотела постичь эту природную тайну, спрашивала у отца, он уклончиво ответил: «На родину стремятся», смотрела телевизионную передачу «В мире животных», рылась в книгах в библиотеке, но так и не могла найти ответа на мучающий ее вопрос.

Поздним вечером она выходила на крыльцо, смотрела на звездное небо и ждала прощального крика журавлей. Огромные тополя, путающиеся в темноте кронами с пожухлой листвой и швыряющие эту листву вниз от малейшего прикосновения ветра, вздыхали и скрипели как уставшие великаны. И, когда девочка совсем уже замерзала и думала о том, что сегодня, наверное, опять не пролетят, откуда-то из звездной выси доносилось протяжное курлыканье, такое печальное, что у Али наворачивались слезы и тихо стекали по щекам, а она их не замечала, находясь вся во власти сладостно-горького состояния – щемящей любви к дому, отцу и маме, озеру и друзьям. Она переживала, что когда-то ей придется уехать в далекий и неизвестный город, оставив все, к чему так была привязана ее детская душа.

Как-то не выдержав мучающего ее вопроса, спросила у Анны Ивановны, учительницы биологии:

- Почему птицы летят на юг, а потом обратно?
- В теплых странах они пережидают зиму, а с наступлением весны возвращаются обратно на родину, в места гнездования.
- Зачем им возвращаться на такую холодную родину?
- Аля, родина не может быть теплой или холодной. Она бывает только единственной.

Валерий не просто жестикулировал руками. Он словно сорвался с цепи, так казалось Глебу. «Эти козлы» – самое мяг-

кое, что услышал он от него за последние два часа, причем это определение относилось как к казахстанским властям, так и к немецким. Из его «мультимедийного» представления своего прошлого, где пришлось бы запикивать каждый слог, коснись представлять эту мультимедию общественности, Глеб понял, что Валера вполне себе неплохо жил в Чимкенте. Дослужился в уголовном розыске до подполковника, и всякая бандитская рожа знала его в лицо, меньше всего желая с ним встречаться, так как Вуль снискал себе славу неподкупного мента и гражданина начальника. А бандитских рож в девяностые хватало. По терминологии Валеры, к ним относились все воры, расхищающие социалистическое имущество: от заведующего мелким складом до секретаря обкома.

– Ты бы еще на генсека замахнулся, – сострил Глеб, – какое к черту социалистическое имущество в девяностые? Остатки неразворованного.

– Вот где они у меня все были, – со злобной страстью сжал кулак Валерий. – Все! И до тайны моей они добраться не могли. А я жил с ней... и боялся, что узнают. Но на этот счет у меня было табельное оружие, пусть бы попробовали.

Тайна Валерия для советских социалистических лет на самом деле была страшной, как его взяли в уголовку с таким прошлым, непонятно. Следы замел хорошо, впрочем, не он – отец. Да и узнал об этой тайне Валерий тогда, когда отец засобирался в Германию и детей с собой своих позвал. Дочь Миля с русским мужем Васей сразу согласились, а Валерка – старший сын – задумался. Повышения ждал – полковника, тогда отец и подлил масла в огонь.

– Родом мы с Украины, – откровенничал Валерий, – ты же знаешь, что во время войны Украина с Белоруссией первыми были оккупированы. Отцу тогда пятнадцать лет было, жил в деревне с родителями. Не успели еще ничего сообразить, что делать в условиях войны, как эсэсовцы выгоняют всю молодежь за околицу рыть противотанковые рвы. А что ты сделаешь против наставленного на тебя автомата? Пацаны ведь совсем. Вот и рыли, а потом их всех

зачисли в команду СС. Особо отец не распространяется, что дальше было. В ссылку, в Чимкент, как и многие, попал, за то, что во время войны оказался на оккупированной территории. Понимаешь, они ведь козлы!

Глеб знал трагедию граждан оккупированных территорий. С командой СС дело, конечно, хуже, но ведь прожил как-то с этим человек всю жизнь, сын в органах карьеру сделал. Дело не в том, что был в СС, хотя и в этом тоже, вопрос в другом – как удалось это скрыть при советской дознавательной системе?

– Ну, а как в Германии его встретили? Рассекретил свои заслуги перед исторической родиной твой старик? – не скрывал невольную неприязнь Глеб. И неприязнь эта поднималась в его душе не против пятнадцатилетнего мальчишки, вынужденного под дулом автомата копать противотанковые рвы, а против старика, который поднял этого мальчишку из прошлого, чтобы получить причитающиеся ему блага от той же команды СС.

– Рассекретил и подтверждения нашел, – как-то остервенело сказал Валерий и налил себе водки, – а я полковника жду, и Раиса такой пост занимает... Ну ему тут все блага, конечно, жилье выделили в бывшей ФРГ, пенсию приличную. А Мильке – нет. Довольствуйтесь социалкой. А мне вообще – ничего. Они – козлы тут все! Отец жизнью рисковал, а нам – ничего.

– Так отец ведь, а не ты. Тебе за что?

– Я тоже рисковал, и не раз. Все эти бандитские рожи, знаешь, у меня где были?

– Так ты в Чимкенте и все имел. Чего сюда-то рванул? С полковничьими что ли погонами решил здесь порядки наводить?

– Отказался от погон, – сдулся Валерий. – Кто бы меня сюда полковником впустил, слишком высокий статус для них. И полковником не стал. И здесь с гражданством восемь лет душу мытарили, мы жили на птичьих правах, Рая вся разболелась. Отец, пока был жив, помогал. А теперь вот все в долгах, да еще с газетой этой...

Однако и подполковника Валерию хватало, чтобы чувствовать себя гражданином начальником в охраняемом им торговом центре. «Вот, где они все у меня», – в очередной раз сжал он кулак и налил себе водки, но Глеб понимал, что это уже миф: какие бандиты могут быть в немецком торговом центре. Разве что мелкие воришки. И ощущал всю горечь Валеры, который пил и не пьянел и во снах ловил своих бандитов.

– Красивый у вас лес, – глядя в окно, с наброшенными на плечи французскими кружевами сказала Аля.

– Сколько моих слез видел этот лес, – обняла ее Раиса и как-то некстати продолжила, – зато теперь я знаю, где меня похоронят, свекор предусмотрительный был, на всех нас место откупил.

– Раиса Маратовна, вы думаете, вас бы в Чимкенте хуже похоронили? – не прикусив вовремя язык, поинтересовалась Аля.

– В Чимкенте я бы дольше прожила.

А дальше шел монолог еще живой, но готовой к смерти женщины. И Аля, продираясь сквозь пелену непонимания в собственном сознании, все же пыталась постичь то, что двигало этой женщиной, обрекшей себя на эти страдания.

Они с мужем долго думали о том, следовать ли за родными в Германию, и честно признавались себе, что в Чимкенте ни в чем не нуждаются, что Валерию присвоят полковника, что при их статусе никто не посмеет их тронуть ни в каких национальных разборках, в которых потонули все бывшие республики после распада СССР. Казахи тоже были не святыми и повязаны с криминалом и органами одинаково. Вуль умел лавировать между разными группировками, при необходимости прижимая и сажая вовремя одних, поддерживал тех, кто чрезмерно не нагел. Это была целая система отношений, куда Раиса была посвящена только поверхностно. Ей хватало своих забот в должности председателя обкома профсоюзов. Ну не стало бы потом профсоюза, она бы успешно заняла должность другую.

С ее авторитетом, с казахскими корнями по линии отца забыть ей не грозило. Но родственники не отступали.

Свекор, сытно устроившись в Германии, наконец-то, сведя счеты с СССР за годы страха, а возможно, и упущенных возможностей, настойчиво звал за собой и сына. Обещаниям не было конца. И они купились. Однако вместо обещанных благ в первые годы эмиграции нахлебались сполна. Ладно бы негде жить, ладно бы не платили никакой социалки, все-таки дед своих не бросал и поддерживал деньгами, но дед не мог защитить их от унижений, до которых опустило их новое государство. И это их, спустившихся с одной из самых высоких ступеней советской иерархической лестницы! О гражданстве речи с ними никто не вел. С них бесконечно требовали документы и доказательства. Только годы спустя Валерий понял, что свое руководство уголовным розыском и подполковничье звание надо было тщательно скрывать, а не кичиться этим. Германии эми-



гранты со званиями были не нужны: мыть пол и посуду, подавать в ресторане, подметать улицы, продавать орехи и фрукты – это пожалуйста, а со званиями – приходите обратно в СССР. Нет Союза? Это ваши личные проблемы, а не германского государства, и так потратившего на вас деньги и время. Валерий, и раньше не чуждавшийся спиртного, пил теперь беспощадно. Раиса убирала дома состоятельных немцев, мыла полы в школе, подвязывалась на любую «черную» работу, о которой узнавала из газет и объявлений. Слава Богу, сил в ней, сорокапятилетней, еще хватало, к тому же сын и дочь помогали ей, тихо ненавидя пьяного отца. В свободные от тяжелой работы минуты Раиса уходила в лес, чтобы никто не видел ее слез и страданий.

Наконец, Валерий не выдержал. И уехал обратно в Чимкент, пообещав устроиться в новой ситуации на работу и забрать обратно семью, благо шикарную квартиру там не продали. Уехал и пропал. Ждали долго. Раиса билась с раннего утра до позднего вечера на разных работах, не чувствуя рук и ног, считала каждый пфенинг, только бы накормить и одеть детей, которых, тоже бесправных, никуда не могла пристроить. Зная, что в Казахстане все изменилось за годы их отсутствия, горько жалела, что согласилась отпустить мужа, и с ужасом думала: не убили ли его где-нибудь? Она похудела, постарела, от прежней Раи – энтузиастки и оптимистки – ничего не осталось, только упрямая способность к выживанию. Наконец-то мир оказался не без добрых людей или доброжелателей, как в таких случаях правильно говорить, и Раисе из Чимкента сообщили, что ее законный супруг вполне себе ничего живет в собственной трехкомнатной квартире с прежней любовницей, о которой она по наивности своей не предполагала. Теперь Рая бегала в лес не плакать, а выть. Она издавала звуки, не похожие на человеческий плач, скорее на страдания раненого животного, каталась по траве, царапала ногтями корни деревьев, устилающие землю, поднималась на колени, снова скребла кору деревьев на стволах, в кровь царапая руки, ломая ногти, она, неверующая,

молила всех богов помочь ей вернуться домой, просто вернуться домой. Ни к мужу, ни в квартиру – домой. Уставшая, измученная, она лежала на земле, затаенной мхом, сквозь обильную крону деревьев неба она не видела: оно было высоко над кронами и совсем другое – не такое, что в ее родном Казахстане, но и в этом чужом небе летали птицы. И Рая завидовала им: они могли улететь домой.

Потом Аля с Глебом гуляли по этому лесу, и она видела его шикарную, сочную зелень, его густую чащу, переплетенную вьющимися стволами, похожими на лианы; огромные деревья платанов и бука, обвитые плющом, представлялись заколдованными великанами, которыми восторгался Глеб, а она не могла восхищаться, она видела лес только сквозь призму страданий Раисы.

Дед, несмотря на подполковничьи погоны сына, с помощью каких-то неведомых никому аргументов сумел вернуть его жене, а по возвращении фигурально высек и велел заняться делом. Не простили отцу такого хамского предательства дети и, не дождавшись никаких благ от исторической родины, уехали в соседнее со своей родиной государство – Россию, где получили образование и создали семьи. Звали с собою Раису, но она не смогла оставить Валерия, по большому счету никому не нужного на исторической родине. Выполняя наказ свекра заняться делом, Раиса занялась правозащитной деятельностью, помогая своим соотечественникам в Германии, в том числе и через созданную ею газету. Валерий охранял супермаркет, обходя с важным видом вверенные ему владения, и помогал жене в борьбе за справедливость. Через восемь лет жизни в Германии они, наконец-то, получили гражданство. И все. На этом льготы, предоставленные им немецким государством, были исчерпаны. По-прежнему жили в съемном жилье и на минимальную пенсию.

Они пили с Раисой чай с молоком, как принято в Казахстане.

– Аля, я верю, что вы доведете наш совместный проект до конца. Я познакомлю вас с Глебом с нашими людьми,

которые нашли себя в Германии. И вы расскажите о них в России. Завтра мы поедem к Гере Штиру, он возглавляет молодежную организацию, которая защищает детей российских немцев в судах и в колониях.

– Раиса Маратовна, – простонала Аля, – надеюсь, в колонию мы не поедem? И нельзя ли найти чего-то более оптимистичного?

– В колонию не поедem. Нас туда не пустят. Беда в том, что не все наши дети адаптируются в школах Германии. Им проще в эмигрантских школах, где наравне с нашими учатся дети, приехавшие в Германию из других стран. Те, кто не может адаптироваться, страдают психологическими проблемами, хулиганят или совершают преступления. Ну, а если более оптимистичное, то тогда кафе «Лазурит». Его открыли немцы, выходцы из Таджикистана. У них замечательное кафе с отличной национальной кухней.

С Герой Штиром встретиться не срослось. Он срочно отбыл в одну из колоний, где случилось ЧП с подростком из российских немцев. Таким образом, жребий сам собой выпал в пользу «Лазурита». На вопрос Али, откуда взялось такое название для кафе с таджикской кухней, Раиса объяснила, что супруги Вольф, открывшие его, уверяют, что в Таджикистане когда-то добывали лазурит, вот в честь это таджикского лазурита они назвали свое кафе.

– Там стильно и вкусно, вам понравится, – созвонившись с хозяйкой кафе Людмилой, добавила, – у них сегодня свадьба, как раз сейчас накрывают столы, но нас вниманием не обделят.

Аля за первое десятилетие XXI века успела насмотреться на стильные кафе. В своей провинции с барачными двухэтажками, откуда в девяностo первом ездила в Грузию, давно уже не жила, да и с мужем давно рассталась. Ее дочь Ксения выросла и стала уважаемой дамой и бизнесвумен. В мегаполисе, где она теперь жила и работала, с кафе все было в порядке. Их было много и разных. Но ведь это Германия, и здесь свой стиль и финансовый достаток, значит, и «Лазурит» стоит посмотреть, чтобы в

голове сложилась полная картина успешности соотечественников.

Честно говоря, она потерялась с порога. Глеб посмотрел на нее вопросительно, дескать, куда ты меня привезла. Вообще-то, не она, а Вули. В небольшом зале в один длинный ряд были сдвинуты столы, застеленные клеенкой в цветочек, той самой, из советских времен. В салатницах – селедка под шубой, винегрет, оливье, квашеная капуста, шпик, нарезанный тонкими ломтиками. Никаких тебе креманок с порционным салатом или блюд с тарталетками и канапе. На весь зал соловьем заливался Лев Лещенко со своей «Соловьиной рощей». Ага, с трудом сообразила Аля, это инсценировка советской свадьбы, как раньше у нас в селе. С атрибутами, блюдами и песнями тех лет. Видимо, инсценировка специально для них. А зачем? Все же она недоумевала по поводу происходящего. Но тут вышла официантка и проводила их в кабинет хозяйки, пообещав накрыть им здесь, и объяснив, что встречаться с Людмилой они будут тоже здесь. Раиса смотрела на Алю победно. Она видела растерянность Али и отнесла ее к произведенному впечатлению. Кабинет хозяйки был музеем. Настоящим музеем СССР. На стенах висели флаги союзных республик, вымпелы советских лет за победу в социалистическом соревновании с неизменным портретом Ильича. Буденовка, галстук, горн и барабаны, коллекция значков от октябрятской звездочки до Ордена Трудового Красного знамени, бархатное переходящее красное знамя, расшитое позолотой, портрет Ленина и Брежнева – в центре зала. У Али начинался когнитивный диссонанс. Она окончательно потерялась, не зная, какое дать определение всему происходящему. Тут появилась Людмила, потом ее муж Анатолий. На стол принесли оливье и винегрет, соленые огурцы и помидоры. Обещали манты и плов.

– Видите, мы стараемся от вас не отставать – создаем для соотечественников атмосферу родины, – с гордостью сообщила Людмила.

Из зала уже слышно было не Лещенко, теперь Анна Герман пела о том, что бывает, когда цветут сады.

Стоило выпить водки, иначе не под силу разобраться в лихо закрученном сценарии.

– А у нас на свадьбе поют уже другие песни, и другая музыка звучит, – попробовала на вкус реальность Аля. Ну ведь она не совсем сошла с ума, и в Германии тоже, как и в России, две тысячи одиннадцатый год.

– Серьезно? – искренне удивилась Людмила.

– Вы когда уехали? – спросил трезво Глеб.

– В девяносто первом. А что?

– И вы считаете, что в России, не знаю уж, как в Таджикистане, до сих пор на свадьбах слушают Лещенко и едят селедку под шубой?

Да, они так считали. Более того, они несколько не сомневались в том, что жизнь в бывшем СССР остановилась, замерла в начале девяностых. И копировали. Тиражировали эту жизнь здесь, прежде всего сами не желая с ней расставаться. Они хранили традиции и символы СССР, продолжая тем самым жизнь несуществующего государства, лелея свою привязанность к тем годам, создавали прообраз и подобие ушедшего времени.

Манты были вкусными. Уж в мантах Аля толк понимала. И выпито было не по одной рюмке водки. И Глеб с маниакальным упорством доказывал, как все изменилось в стране, и вот эти декорации, он обвел выставленные напоказ символы СССР, пора отнести в чулан. Но хозяйева кафе с ним не согласились, более того, они возмутились. К ним сюда специально соотечественники приходят, чтобы придаться ностальгии, вспомнить о детстве и юности, со всей мощи дунуть в горн и выбить на барабанах пионерский марш. Нет, это наше, а свое мы никому – ни-ни.

Взывая к последнему аргументу: «Да вы что газет не читаете? Телевизор не смотрите?» – Глеб поднялся из-за стола. «А кто бы нам здесь про Россию рассказывал или наш Таджикистан?» – с недоумением спросил Анатолий.

Глеб взъерошил волосы:

– Ну, в Интернете-то все сегодня можно найти.

– Некогда нам в Интернете искать, у нас бизнес, – деловито ответила Людмила.

Бизнес уже давно подавал голос. Теперь хмельной и душещипательный. В зале, где шла свадьба, пели хором под баян: «Ромашки спрятались, поникли лютики...» «Эту песню любила моя мама», – подумала Аля, и отчего-то ей стало грустно, так грустно, что хоть пой вместе со свадьбой.

На следующее утро, когда Глеб с Алей планировали ехать дальше в Берлин, а оттуда в Польшу на международный семинар, Раисе стало плохо. Она не поднялась с постели. Сильная и очень терпеливая женщина, она не смогла превозмочь боль. Растерянный Валерий носил в спальню обезболивающее, суетился и торопился на работу: «Сегодня мне обязательно надо быть на работе». Аля с Глебом были подавлены. Вдруг раздался слабый звук колокольчика, так Раиса просила подойти. Валерий, отводя глаза, вошел в спальню, а когда вернулся, обратился к Але. «Она тебя зовет».

Аля вошла. Присела рядом с кроватью. Взяла совсем слабую руку Раисы. Та лежала с закрытыми глазами. Было непонятно, чувствует ли она ее присутствие или надо дать о себе знать. Но Аля не решалась. Через некоторое время, видимо, собравшись с силами, Раиса тихо спросила:

– А ты давно была в Казахстане?

– Три года назад.

– Расскажи, как там.

И Аля стала рассказывать про столицу Астану – современный город, созданный в пустыне, по типу эмиратского Дубая.

– Надо же, – еле слышно произнесла Раиса, и так же тихо спросила, – а помнишь, какие у нас были зимы – морозные, снежные.

Аля помнила. Больше всего зимой она любила буран. И не понимала взрослых, почему они недовольны «этим светопреставлением». В школу во время бурана они не ходили. Ее старшая сестра Ленка, забравшись под теплое одеяло,

блаженствовала с книгой в руках, ничего не замечая вокруг, в том числе и младшую сестру. А она, натянув на себя плотные штаны и валенки, с трудом повязавшись старой скатавшейся шалью и набросив тяжеленное драповое пальто, выбиралась на крыльцо. Оттуда, с трудом отворив дверь, засыпанную снегом, выходила на улицу, чтобы всецело ощутить снежную круговерть, тут же залепившую глаза и рот; задохнуться от морозной пыли, слепившей веки и ресницы. Услышать какой-то звериный вой стихии, не уносивший упрямую девчонку в свою преисподнюю только потому, что она хотела и смела быть своей – смелой и свободной, как сама стихия. Аля, ничего не видя, с трудом удерживаясь на ногах и мгновенно коченея от холода, испытывала ни с чем не сравнимое чувство возбуждения и упоения от слияния с этим снежным потоком, одновременно вырывающимся прямо из-под ног, обрушивающимся сверху, завывающим с одной и другой стороны.

Они ехали в комфортабельном автобусе из Берлина в Польшу. За окном часто мелькали косули, тщетно пытающиеся добыть корм из-под снега. Нетипичная картина для весны в Европе. Вот и пересечена граница. Сегодня Польша не похожа на Германию. А между тем за эту часть Нижней Силезии в истории несколько раз шла борьба между двумя странами. Вдоль автобана изредка встречаются небольшие хутора. Об особой ухоженности или роскоши говорить не приходится. Из больших кирпичных труб над черепичными крышами домов поднимается дым. Топят камины и печи, что для этого времени года нехарактерно и расточительно. В Польше энергоресурсы экономят, как и везде в Европе. Проезжая небольшие городки, в редком окне можно увидеть свет, хотя уже сумерки. На улице людей нет. Во всем ощущение пустоты и настороженности.

Очередной населенный пункт остается позади, снова вокруг белые поля, проступающие сквозь сумрак. И вдруг справа от автобуса, откуда-то из молочно-сизого марева неба, выкатывается огненный шар солнца, словно капля

расплавленной стали из мартена катится по горизонту. И почти в то же самое время на другой стороне неба показались темные росчерки пера, они увеличивались, приближались, а приблизившись, выстраивались в четкие косяки летящих с юга диких гусей. Их было так много, что все розовеющее на закате небо было расчерчено на множество треугольников. Это было так удивительно, что люди, ехавшие в автобусе, попросили остановить машину и вышли на припорошенную снегом дорогу. Аля, подчиняясь необъяснимому волнению, охватившему ее, будто она сама могла оторваться от земли и присоединиться к летевшей стае, прижалась к Глебу. И не отрывала глаз от сотен птиц, четко выстроенных в клинья во главе с вожаками. Гуси опускались на отдых, шум синхронного взмаха крыльев уже доходил до земли. Но этот шум перебил гортанный, тревожный клекот уставших птиц, повисший над снежным безмолвием и замерзшими водоемами. Какие природные инстинкты толкают птиц на этот трудный путь? Так Але никто и не смог объяснить... Но ведь они летят, не зная границ, тысячи и тысячи километров в постоянные места обитания, только туда, где могут дать потомство, чтобы сохранить свой род и свою популяцию. Дикий гусь выбирает пару на всю жизнь, храня верность своей самке и своей земле. Они летят, останавливаясь на отдых вблизи водоемов и озимых полей, и это место ими выбрано неслучайно. Здесь есть река и поля, но поля покрыты снегом, а речка – хрупким льдом. И, пробивая грудью этот лед, птицы падают на воду, чтобы отдохнуть и покормиться, чтобы выжить и продолжить путь домой.

Старинная графская усадьба, где проходил семинар, встретила приехавших поникшими от холода вечнозелеными туями и нескончаемым клекотом птиц в уже темном небе. В больших строениях усадьбы зябко. Отопление на случай зимы, которая здесь редко бывает холодной, не предусмотрено. Уставшая Аля кутается в теплое одеяло, но не может согреться в остывшей постели. И все же веки смыкаются.

Сердце сжимается от непрекращающегося тоскливого крика сотен измученных птиц, остановившихся на ночевку у водоема графской усадьбы. Сознание Али путается. И она видит, как из какого-то ковша Давид выплескивает красное солнце, а грузинский мальчик с явно знакомыми ей чертами лица поднимается по трапу самолета, напоминающего серого гуся, расправившего крылья, туда, где у входа в салон его ждет улыбающаяся Раиса Маратовна, обнимает за плечи, и они прощально машут кому-то оставшемуся на земле. Аля еще слышит тревожный клекот птиц, но уже не в состоянии понять, самолет ли издает такой звук, или где-то летит косяк диких гусей.

Раиса Маратовна умерла спустя полгода после встречи с Глебом и Алей. В последние свои дни она никого не узнавала. Ее похоронили, накинув на голову и изболевшееся тело оренбургский пуховый палантин, тем самым выполнив ее последнюю просьбу.

НА ТОМ БЕРЕГУ

«Эта тема – русские и немцы – она совершенно же неслучайна. Более того, истинное осмысление Великой Отечественной, видимо, еще впереди. Может, даже не нашим поколением. Мы только немного заглядываем в щелочку без разрешения. Мы пытаемся расковырять себе „дырочку“ в толстенной стене запрета – именно на эту тему: русские и немцы. Постижение истины – все-таки еще будет. А пока вот так, через отдельные судьбы, ведь каждый человек достоин того, чтобы его жизнь состоялась. Да, переосмысление жизни, вплоть до переосмысления веры – через судьбы и трагедии „песчинок“, – а больше и глубже тебе пока не позволят. Где та самая точка отсчета, к которой мы все стремимся в познании мира, истории, себя?»

(Из письма современника)

Нить к пониманию

С приобретением компьютера жизнь Нины Совеельевой изменилась. Конечно, писателем она была не великим, но и не писать не могла. И в осмыслении происходящего вокруг нее отказать себе тоже не могла. А вокруг была объявлена свобода, гласность и демократия. И многие темы, на которых раньше лежало табу, теперь широко обсуждались интеллигенцией. А Нина себя от нее не отделяла.

Вместе с компьютером она обрела Интернет и электронную почту, в освоении коих делала первые шаги. И с этими

шагами на нее накатил вал информации. Ого, мир оказался огромен и разнолик. А почта – вот же диво, позволяла так быстро общаться с подобными ей, что тут же увеличила ее жизненный темп, который и без того зашкаливал.

И все же письмо незнакомой женщины из Германии стало большой неожиданностью и удивило ее. «Я имею русские корни. Тема взаимоотношений русских и немцев, двух народов, прочно связанных историей России и Германии и разрушенных Второй мировой войной, это – большая тема. Я благодарю Вас за трепетное отношение к ней в своем творчестве и хочу пригласить Вас в Германию, где познакомлю с людьми, которые пережили войну с обратной от Вас стороны. Я готова обеспечить Ваше пребывание здесь». Ого, в конце девяностых мир открывал ей границы.

Но поездка сложилась не сразу. У Нины не было опыта зарубежных путешествий, а поэтому пришлось приобретать. После всех собранных документов в консульстве Германии она объяснила свой десятидневный визит в Берлин чисто профессиональным интересом. Но на ее, казалось бы, убедительный довод из-за стекла, за которым сидела молодая женщина с непроницаемым лицом, последовал вопрос?

– Вы замужем?

– Какое это имеет отношение? – опешила Нина.

– Прямое, – не изменив интонации, ответила женщина за стеклом.

– В разводе, там же все написано, – растерялась Нина.

– Чем подтвердите, что едете в командировку? Где документы?

– Там есть приглашение, – недоумевала Нина.

– Если вы не принесете в течение суток подтверждение деловой поездки, то получите отказ, – вежливо и безапелляционно заявила застекленная дама.

«Какое подтверждение? – мучительно соображала Нина. – На работе оформила отпуск. Да и кому в институте, где она преподавала, нужна была ее писательская жизнь. Главное – выполнить учебный план». Сообразила не сразу, но, bravo, Нина дошла все-таки до здравой мысли, а вместе

с ней и до местного отделения Союза писателей России, где секретарь не поспешила на справку, подтверждающую, что госпожа Совельева едет в Германию с деловой целью – книжку писать.

– А с какой я могу еще туда ехать? – пожалала плечами Нина.

– Известное дело, с какой, мужика ловить, на частную немецкую собственность посягать, – объяснила вездесущая секретарь.

– Какой мужик? – взвинтилась Нина. – Своих девать некуда. И вообще, у меня ребенок и собственная квартира, зачем мне чужой мужик и чужая собственность?!

– Идите уже в консульство, – миролюбиво посоветовала секретарь.

И она пошла. А вскоре и полетела в Германию. Лириком Нина не была, в творчестве тяготела к реализму. И в самолете, прикрыв глаза и тем самым дав понять соседям по креслу, что не расположена говорить, стала думать. В школьные годы вокруг нее было много сверстников с немецкими фамилиями, но ее не волновало, откуда появились они в небольшом уральском городке. Да что немцы? Рядом жили башкиры и татары. Нередко встречались украинцы. Жили себе рядом все и жили. Без всяких национальных притязаний. Это теперь, в девяностых, заговорили в голос о репрессиях, о местах ссылок и лагерей. И увидела Нина свой край другими глазами.

И все же немцы – это особый разговор. К пониманию проблемы Нина шла медленно и осторожно. Ее поколение появилось на свет спустя двадцать лет после окончания Великой Отечественной войны. Оно не знало той войны, но помнило ее памятью своих вернувшихся с фронта дедов. Оно жило героизмом русского солдата, праздничным перезвоном медалей и орденов фронтовиков; деревянным стуком костылей и протезов инвалидов, потерявших ноги на фронте; уроками памяти у обелиска погибшим выпускникам в школьном дворе и торжественным пионерским салютом.

Отношение к фашизму и немцам закладывалось с детства. И не было им никакого прощения.

Первым неуверенным шагом к пониманию для Нины стал фильм «Берег», поставленный по роману Юрия Бондарева и вышедший на экраны кинотеатров в восемьдесят третьем году. В основе истории – судьба советского писателя-фронтовика, встретившего во время войны в Германии девушку-немку, полюбившую его. Вновь их встреча состоялась спустя много лет, когда жизнь и война как будто бы начали переосмысливаться с обеих сторон. Ещё больше, чем фильм, поразил Нину роман, в котором автор откровенно размышлял об отношениях немцев и русских, Германии и СССР, о последствиях Второй мировой войны, и не только тех, что лежат на поверхности, но и глубоко проникших в менталитет. Это – не только счет на миллионы погибших с обеих сторон, но память и ненависть, заложенная во все последующие поколения советских людей. И осмысление прошедшей войны и ее последствий русской интеллигенцией, которая, по словам Дмитрия Лихачёва, имела привычку к обсуждению общих вопросов во все времена. Это, наконец, те причины, которые и в настоящем делают мир таким хрупким – национализм и стремление к неограниченной власти. «Берег», ставший одной из первых нитей к пониманию, быть может, потому и не имел широкого показа и прочтения в конце восьмидесятых, что нить была еще слишком тонкой. На понимание и прощение требовалось время.

Как ни парадоксально, но именно девяностые годы, сложные в экономическом плане, стали тем временем, которое дало импульс к дальнейшему осмыслению взаимоотношений немцев и русских, Германии и России.

«Я лечу в страну, к которой с детства испытываю предубеждение, быть может, чтобы избавиться от него навсегда. Избавиться – значит понять. Прежде всего, понять...», – думала, волнуясь, Нина.

...Неоднократно в мыслях она возвращалась к «Берегу» Бондарева, ещё раз прочитанному перед этой поездкой

в Германию. Был канун мая, как и в романе, в Германии цвели деревья и заканчивалась война...

Не нарушая тишины

Анна Гердт, ее новая знакомая, ожидала Нину у выхода из таможенной зоны. Обнялись, как старые знакомые, в переписке они и вправду многое узнали друг о друге. Она хорошо говорила по-русски, чуть заметный акцент придавал ее речи только пикантность.

– Сейчас в отель. Думаю, Нина, тебе там будет удобно. А вечером мы идем на творческую встречу с немецкой журналисткой Евой Бозе. Она пишет о детях войны и пережитых ими страхах, – Анна вывернула руль и повернула к столице.

Берлин удивил Нину сразу – отсутствием имперского стиля, присущим большинству столичных городов, и «пробок» на автодорогах. Поразил разноликой демократичностью, узнаваемостью зданий социалистической Москвы и постоянным, горьким напоминанием о войне. «Вот Бранденбургские ворота – символ нашей победы, – тут же отреагировала Нина на виденное много раз на снимках сооружение. – Берлин так и не избавился от войны, или не избавилась я? Почему мне хочется заглянуть в глаза стариков, медленно бредущих по берлинскому тротуару? Почему я думаю, что в них боль и страх перед словом „русский“? Или это мой личный страх и моя собственная боль снова мучают меня?» – терзалась она.

В отеле она отдохнула, привела себя в порядок и, смакуя мелкими глотками кофе, ждала Анну на открытой террасе, с которой открывался вид на величественный собор Святого Николая. Она уже знала, что это – реконструкция самой старой церкви Берлина, сожженной во время бомбардировок. Задумавшись, вздрогнула от неожиданного прыжка зайца, невесть откуда-то взявшегося в центре столицы, уставившегося на нее одним глазом, или ей толь-

ко так показалось, и тут же скрывшегося в зарослях нарциссов.

Анна подъехала на такси точно ко времени и объяснила:

– Здесь почти рядом. Пройдемся, – после окончания встречи нам могут предложить легкое вино.

Наравне с понятием «генетической памяти», о чем теперь так часто думала Нина, немецкая журналистка напомнила ей и о существовании «генетического страха» – явления, подавляющего человека, приводящего к тяжелым психологическим травмам. Этот феномен, как ярко выраженное следствие войны, Ева Бозе исследовала в своей книге «Дети войны вне тишины».

– Я буду переводить, – шепнула Анна Нине, когда в конференц-зал вошла невысокая, седая женщина и положила перед собой книгу. – Но тема будет непростая. Ты знаешь, насколько важна в твоей стране память о Второй мировой войне. В Германии тоже есть культура памяти, но она занимает несколько другое положение в общем культурном слое. Для Германии – это война, которую немцы проиграли, это – стыд и позор немецкого народа. Ева Бозе занимается проблемами последствий Второй мировой войны. Возможно, то, что ты услышишь, станет для тебя откровением.

– Сегодня в Германии особая ситуация, – тихо переводила Анна, – чем дальше уходит время Второй мировой войны, тем больше немецкий народ думает о ней. И думают не только участники событий, но и те, кто пережил их, будучи детьми. Волнует эта тема и мое поколение, а я рождена в сорок седьмом году, и следующее, которое примерно на десять лет моложе. Думают об этом и дети детей войны, которые появились на свет в шестидесятые годы XX века. Они говорят, что плачут невыплаканными слезами своих матерей и бабушек. Они переживают время скорби, после чего для них начинается новая жизнь.

– Почему же только теперь, спустя столько десятилетий после окончания войны, эта немецкая женщина, не виде-

шая бомбежек и зарева пожаров, определила его для себя как время скорби? – спросила Нина.

– Эта проблема очень подробно раскрыта в ее книге, – ответила Анна. – Вы детьми играли в войну?

Играли ли они в войну? Еще как играли! Все дети в СССР, рожденные в шестидесятых годах XX века, играли в войнушку. И смысл игры всегда был один – победить фашистов-немцев. Немцем никто быть не хотел. Поэтому бросали жребий. После очередной победы «русских» «немцы» с синяками и ссадинами обязательно сдавались. Чтобы отыграться, менялись местами, и бывшие «немцы», а теперь «русские» мутузили в рукопашной и били прикладами деревянных автоматов еще недавних победителей. После завершения боя залечивали раны и мирились, а на следующий день снова играли в войнушку. Даже девочки не чурались побить немцев.

Как оказалось, у немецких детей тоже были свои игры. В маленьком провинциальном городе, где выросла Ева, взрослые никогда не вспоминали войну. А дети играли в одну из любимых игр «Германия объявляет войну»: цель игры состояла в том, чтобы каждый участник мог занять как можно больше земли и пересечь границы, которые постоянно менялись, чертились палочкой на земле и при необходимости снова стирались. Надо было ложиться даже в грязь и, насколько хватало длины тела, занимать как можно больше чужой территории.

– Чью территорию занять? – с тревогой спросила Нина.

– Не важно чью, Нина. Это просто игра, – попыталась успокоить ее Анна.

«Очень даже важно, – чувствуя нарастающее неприятие, подумала Нина. – И тут же остановила себя: ты же хотела понять».

По словам Евы, взрослые не интересовались миром детей, о войне вслух никто не говорил.

– Война была чем-то очень важным – это чувствовалось, – вслед за журналисткой повторяла Анна. – Это слово было покрыто тайной. Если взрослые о ней говорили, их

голоса менялись. Они становились тише или напряженнее. В том возрасте, когда ребенок обычно живет лишь в настоящем и прошлое, как категория, им еще совсем не осознается, в мое сознание проникало что-то такое, что сообщало мне представление о прошлом и делало меня более чуткой, – говорила Ева.

Да, все, что говорила немецкая журналистка, для Нины было откровение. Как понять: те взрослые, что вместе со своими маленькими детьми пережили страх и ужас бомбежек, запретили теперь взрослым своим детям вспоминать об этом. После войны в обществе наступило молчание. Тишина становилась такой невыносимой, что сама внушала страх. «Иногда я желала, чтобы прямо рядом с нашим домом упал самолёт – только для того, чтобы произошло что-то, что взорвало бы тишину», – цитирует Ева. Но взрослые молчали. И детям с самого юного возраста внушали, что о войне говорить нельзя. Их призывали смотреть вперед и радоваться жизни. Большинство из них так и поступало. «Для того чтобы такое пережить и не быть выброшенным на обочину жизни, нужно было приспособливаться. Если признаться, что у меня было плохое детство, и оно меня преследует, это было бы клеймом», – признается автор.

Получив профессию журналиста, Ева, как и полагалось к тому времени, испытывала чувство вины, которое культивировалось в обществе. Чувствовать свою вину только потому, что ты – немец, стало естественным, но никто, никто не брался за другую тему – психологических проблем детей войны, не изживших из себя тот страх, который сохранило подсознание. Ева по своей инициативе провела ряд исследований и поняла, что такие люди редко влюблялись и создавали семью. И только реконструкция памяти военных событий помогла им частично избавиться от зависимости собственного страха. На страницах своей книги Ева Бозе размышляет о том, что дети всех военных поколений переживают одни и те же ужасы: смерть близких, бегство, депортацию, нужду, голод и болезни. И утверждает, что ни один литературный деятель в Германии в послевоенное

время не рискнул приблизиться к тематике бомбардировок. Об этом рассказали дети военного поколения, определив фазу эмоционального осмысления, которая, конечно, должна была начаться с реконструкции памяти в семье.

– Их общение с миром более молодых людей часто затруднено, – шепча, переводит Анна. – От этого страдают, прежде всего, дети «детей войны».

«Мои сверстники, – отметила Нина. – А мы с раннего детства чтим память о погибших на войне, чтим, как могли, как нас учили».

– Она завершает, – шепнула Анна. – И говорит о том, что еще в шестьдесят седьмом году, – улыбнулась, – когда ты родилась, в Германии вышла книга о послевоенном менталитете немцев, название которой стало крылатым выражением: «Неспособность чувствовать». Она надеется, что, может быть, дети «детей войны», то есть поколение шестидесятых, еще смогут наверстать упущенное. А теперь цитирует американского писателя Уильяма Фолкнера: «Прошлое не умерло, оно даже не прошло». И добавляет, что знание истории собственной семьи освобождает от страха и другого наследия войны и позволяет открыто смотреть в будущее. Она надеется, что российское и германское общество обязательно придут к тому, что следующие поколения не будут воспринимать друг друга как врагов. Мы должны преодолеть эту традицию, иначе у нас нет никакого будущего, – завершила Анна на секунду позже до несмело раздавшихся аплодисментов.

Потом, неформально общаясь, что давалось Нине с трудом, она пригубила белого вина из большого стеклянного бокала-шара и вежливо улыбнулась Еве, как все улыбаются друг другу в Европе, и что ей давалось с трудом. Ей проще было отойти к окну, откуда открывался вид на завершающую часть улицы Унтер-ден-Линден и вход в Тиргартен парк. В ее бокале-шаре болезненно отразилась гримаса Бранденбургских ворот – не только символа Победы ее страны, но и свидетеля факельных шествий фашистов.

Ну как же ей понять? Как принять?..

Солдат войны

Анна позвонила Нине в отель.

– Сегодня у нас встреча с участником Второй мировой войны, воевавшим на восточном фронте. Нина, ты морально готова к встрече с будущим героем твоей новой книги.

– Анна, ты уже уверена, что он герой и что книга будет?

– Зная твои произведения, не сомневаюсь, – однозначно ответила Анна

Нина была внучкой солдата Красной Армии, сражавшегося осенью сорок первого года под Москвой, получившего здесь тяжёлое увечье и оставшегося навсегда инвалидом, но живым. Дед прожил долгую жизнь, но о войне любить не говорил. Никогда не выставлял напоказ фронтовые медали и орден Красной звезды, но каждый год 9 мая крепил их на лацкан пиджака и шел к обелиску погибшим солдатам, после чего выпивал законные сто грамм и долго молчал.

В школьные годы Нина теребила деда: «Расскажи о подвигах на войне». Он всегда отнекивался, но как-то не выдержал и в сердцах сказал: «Какие подвиги! Против танков с саперной лопаткой стояли, чтобы фашиста к Москве не подпустить! Пушечным мясом были!»

Тогда Нина обиделась на деда. И очень нескоро поняла, что это были первые правдивые слова, сказанные ей о той страшной войне.

И все же, сколько бы теперь ни пересчитывали потери Великой Отечественной, сколько бы ни кроили историю, выясняя ошибки и просчеты сорок первого года, День Победы остаётся поклонным днем. «Во всяком случае, ещё для моего поколения, – сознавала Нина, – но в то же время это не лишает нас права знать правду и пытаться понять истинную суть той самой войны. Не только с точки зрения советского человека, но и немецкого, воюющего на другой стороне. Я пришла к этому. И ценю выпавшую мне, словно жребий, возможность», – убеждала она себя.

– С тобой согласен встретиться и поговорить о войне герр Виланд. Он был солдатом. И был в советском плену, – продолжала Анна.

– Как ты его уговорила? – искренне удивилась Нина.

– Доверься мне, – ушла от ответа Анна.

Сначала они ехали на машине, которую уверенно вела Анна почти по зеркальному автобану, потом, согласно указателю, съехали с него и вскоре попали в небольшой городок, где на одной из штрассе, судя по всему, и жил немецкий солдат. Анна остановила машину у двухэтажного дома, выполненного в готическом стиле, расположенного в глубине сада и утопающего в розовом цвету магнолий и сакуры. Аромат вскружил голову, и Нина невольно подумала о том, цвели ли такие деревья в мае сорок пятого, или это небо было затянуто черным дымом бомбежек? Она еще не сообразила, что хозяин этого дома и есть тот самый солдат, который был в советском плену. Ведь ее дед, защищавший Москву в сорок первом, вместе с бабушкой жил в маленьком домике, без всяких удобств, с большим огородом, с которого собирали под сотню ведер картошки, и были счастливы, что на зиму хватало себе и детям.

Герр Виланд встретил их на крыльце дома – высокий, статный и подтянутый, ему никак не дашь его годы – за семьдесят, и Нина смущается: мог ли этот человек воевать? Видимо, ей не удалось скрыть недоверия. Анна улавливает ее состояние и спрашивает о чем-то хозяина. Потом переводит для Нины:

– Он двадцатого года рождения, когда началась война, служил в армии.

Виланд приглашает их в просторную комнату с камином, кожаной мебелью и большими картинами на стенах. Стена-окно открывает вид на все те же цветущие деревья, яркую зелень и небо – ослепительно-голубое. Одно небо – над Германией и Россией.

В Германии празднуют Пасху. И в ожидании гостей герр Виланд накрыл стол белоснежной, выбитой по краям салфеткой, на которой светились чашки из тонкого фарфора

под кофе, источающий аромат по всей комнате. В середине стола – традиционный праздничный пирог – кухен.

– Битте, битте! – приглашает он гостей.

Кофе необыкновенно вкусный. Нина делает глоток и ловит себя на том, что этот моложавый, улыбающийся человек в джинсах и белой рубашке, с волной седых волос никак не олицетворяет образ врага, с которым она сжилась с детства. Он подливает ей кофе, подогретый тут же на спиртовке, и аккуратно на тарелочку, такую же прозрачную, как чашка, выкладывает кусочек пирога.

– Данке, – отчего-то стесняясь, поблагодарила Нина.

Виланд о чем-то спросил Анну. Она перевела.

– Он не понимает, почему русскую писательницу интересуется его собственная война, об этом его ни разу не спрашивали в Германии. Никто.

– Скажи, что я хочу знать правду.

Анна перевела.

Он посмотрел на Нину голубыми, как небо, глазами, – у ее деда глаза были зелеными, и не вызвал никаких чувств, кроме любопытства. «Я должна его ненавидеть, как минимум», – дала она себе установку, но установка не срабатывала.

Виланд поднялся и вышел из комнаты. Вернувшись, протянул ей почтовую карточку и стал что-то говорить.

– Эту открытку из советского плена он отправлял родным, а это его фотография, сделанная в плену.

С маленькой фотокарточки на нее смотрел потерянный, худой, бритый наголо, ушастый юноша.

Он родился за двадцать лет до начала Второй мировой войны. В семье маляра и домохозяйки, где было двое детей. Учился в гимназии, потом два года учился на банкира, ещё полгода работал служащим. В апреле сорокового года в возрасте двадцати лет его призвали в армию в часть связи, расположенную в Кенигсберге. Герр Виланд сделал паузу, посмотрел на Нину и сделал акцент на следующих словах, которые Анна перевела:

– Он говорит, что был связистом, но стрелять не умел, не умел убивать.

«Теперь все вы „не хотели и не умели убивать“, – с ожившей в ней непримиримостью подумала Нина. А Виланд продолжал, и Анна переводила.

За три недели до начала войны их часть дислоцировали на косу, которая врезается у Кенигсберга глубоко в Балтийское море. Когда Нина летела из Калининграда в Германию, то в иллюминатор хорошо видела эту полосу суши, разрезающую морскую гладь на многие километры. Виланд уверял, что им, солдатам, было неизвестно, в связи с чем изменена дислокация части.

– Нам ни за что не могла прийти мысль о войне! Мы знали, что между Германией и СССР подписан пакт не просто о ненападении, а именно о дружбе. Но мы двигались все ближе и ближе к территории Литвы, то то есть – к Советскому Союзу. За день до наступления нам объявили, что завтра начнется война. Мы все были в шоке! Мы не хотели войны! Нам стало страшно! Мы были молоды и хотели жить, а не умирать! – на лице Виланда отразилось волнение.

И только тут Нина смогла отождествить этого красивого, благородного мужчину, которого назвать стариком язык не поворачивался, с тем испуганным юношей с маленькой фотокарточки. «Может быть, и, правда, не знал, не понимал. Что мог понимать тогда в жизни этот ушастый пацан?»

По берегу Балтийского моря без всякого сопротивления со стороны Красной Армии немецкие части продвигались к Ленинграду. Народы Прибалтики встречали их как освободителей. Первое сопротивление, вызвавшее полное недоумение в немецких частях, встретилось им под Ленинградом. Ближко подойти к городу они не смогли. Могли только бомбить с воздуха.

Война затягивалась, что было не предусмотрено военным командованием Германии. Воевать зимой в России никто не собирался. Однако шел уже сорок второй год. А Ленинград они взять так и не могли. И часть, где служил Виланд, по-прежнему стояла под Ленинградом, что вызывало недоумение и раздражение у немцев. Теперь он умел стре-

лять. И стрелял. В январе сорок второго был ранен первый раз.

След от пули остался навсегда, чуть выше виска, он словно вдавлен в голову солдата. Полгода длилось лечение в госпитале. После чего его в составе новой части отправили в Сталинград.

«Повезло тебе, герр», – опять с каким-то преимуществом над ушастым подумала Нина. Но сполна испить свою чашу Виланду все же не пришлось, хотя откуда ей знать, что такое жребий на войне.

По пути в Сталинград, под Курском, их остановили. Потом он будет отступать и выходить из окружения, потом будет плен и русский лагерь под Москвой, но даже пройдя все это, он теперь говорит:

– Мое счастье в том, что я не попал в Сталинград...

Начало сорок третьего года запомнилось ему битвой под Курском, которую в советской истории называют Курской дугой. И ему она запомнилась страшным танковым сражением, где погибло очень много людей, он так и сказал «людей», не разделяя их на немцев и русских. Ибо то сражение лишний раз подтверждало, что жизнь человеческая не стоит ничего, а жить хочет каждый.

Вольф Виланд находился в двух-трех километрах от фронта, обеспечивая связь между передовой и тыловыми частями. Попав в окружение, смог прорваться на машине, к которой были прикреплены связисты в составе пяти человек, которыми он и командовал в чине унтер-офицера. Прорвавшись из окружения, отступали на запад через Орел, Брянск, Киев. Благодаря связи, они были информированы о происходящих сражениях, вплоть до того, какие улицы в городах освобождены, а какие заняты. Они смогли остаться живыми, вернувшись с востока до самой Польши.

Он переводит дыхание, снова подливает горячий кофе Анне, смотрит на Нину, будто извиняясь и, кажется, восхищаясь:

– Фрау Нина, – и наклоняет кофейник над ее чашкой, Нина смотрит на темную пахучую жидкость, потом на вяз-

кие сливки кремового цвета, стекающие из носика молочника прямо в ее чашку, и беспристрастно спрашивает:

– Вам было страшно на войне?

Анна переводит. И он с готовностью откликается.

– Я! Я! – что значит: «Да! Да!». И продолжает: – Все-таки до Сталинграда мы были уверены в победе Германии. После того, как была проиграна Сталинградская битва, все поняли, что проиграна и война. Теперь мы хотели только одного – живыми вернуться домой.

Немного подумав, он продолжил:

– Настоящая война началась с приходом русской зимы. Мы не были приспособлены к таким климатическим условиям. Знаете, сколько наших солдат осталось с обмороженными ногами и руками! – восклицает он. – У нас не было ни теплой обуви, ни одежды! Я бы тоже обморозил ноги, если бы зимой сорок второго года не снял валенки с убитого русского. Ещё на ваших были теплые фуфайки, а мы мёрзли.

«Может быть, мне тебя еще пожалеть», – вела свой внутренний диалог с ним Нина. И ничего не могла поделать с охватившим ее ожесточением. Генетическая память – вещь упрямая.

– Мы не собирались так долго воевать, командование нам обещало к зиме сорок первого года военную компанию на востоке закончить, – словно сопротивляясь ее внутренним чувствам, произнес Виланд.

В Польше они снова попали в окружение, машина сломалась, оружия не хватало. Но ещё пять недель они продержались в крепости города Познани, только потому что хотели жить. Понимая всю обреченность своего положения, надеялись на чудо. Но его не случилось. Какое-то время они еще скрывались в подвале. Но понимали, что шанс выжить у них остался только один – сдаться в плен. С поднятыми над головой руками вышли из крепости. Их было десять.

«А наши бы не сдались, – без сомнения мысленно прокомментировала Нина, – черта с два бы они вышли с поднятыми руками».

– Вы боялись сдаваться в плен? – снова задала она вопрос.

– О, да, да! Очень боялись! – перевела Анна. – Но был январь сорок пятого года. Мы понимали, что война заканчивается, и хотели жить.

Вольф Виланд первым выходил с поднятыми руками. Перед ними стоял молодой русский с автоматом. Он был один. Они сдавались и надеялись, что русский не будет стрелять. Но он выстрелил. Пуля попала Виланду в шею. Задела горло. Его товарищи бросились оказывать ему помощь, так как у всех были при себе медицинские пакеты. Они перевязали его, и русский солдат повел их в лагерь военнопленных. Так он оказался в строю уже седьмым. Они отошли недалеко, когда увидели, что к ним приближается машина, там были русские, они были пьяные и пели песни. Один из них выскочил из машины и подбежал к ним. Он был очень пьяный. Конвоир ему что-то сказал. Но пьяный стал стрелять в каждого из них, сначала в первого, второго, третьего... упал шестой. Когда ты знаешь, что сейчас будешь убит, вся жизнь пролетает перед глазами. У меня тоже пролетела. Пьяный наставил автомат на меня, но выстрела не получилось. Он попытался выстрелить во второй раз, тоже не получилось. Он хотел ударить Вольфа автоматом, но в эту минуту его позвали в машину. Пленных осталось трое, и русский привел их в лагерь.

Нина пристально посмотрела на герра Виланда: он был как будто спокоен, только как-то отрешен, словно в эту минуту снова двадцатипятилетним стоял перед дулом автомата.

«А кто знает, что пережил за войну тот пьяный русский солдат? За кого он мстил, расстреливая себе подобных?» – однозначно оправдывала она своих соотечественников.

Видимо, настал момент все троим передохнуть. Герр Виланд улыбнулся и в очередной раз предложил:

– Битте! Битте! – указал он на пирог и добавил по-русски, – кушайте, кушайте!

Пирог был удивительно вкусный, но напряжение не покидало Нину. Она чувствовала расположенность немецкого

солдата и даже верила в его искренность. Он без всякого пафоса и трагизма говорил о войне. Он говорил об этом, как о своей судьбе, которую в те годы кто-то определил за него.

– Герр Виланд, а какими наградами немецкое командование отмечало заслуги своих солдат на войне?

– Железными крестами четырех степеней. У меня был первой и второй степени, ещё был значок пролившего кровь, его давали за ранение. Ещё был орден, я не помню его официального названия. Его давали всем, кто побывал в России, – он саркастически улыбается, – мы его называли орденом мороженого мяса, этим мясом были мы все! Все награды свои я потерял, какое они имеют значение?.. Почти десять лет я пробыл в России, лучше бы это забыть совсем... И никогда не вспоминать.

И дальше, страстно убеждая:

– Мы были молодыми. С десяти лет нам насаждалась идеология о том, что немцы – особая интеллигенция, а русские – люди второго сорта. К этому нас призывал Гитлер. Мы ему верили. Мы были молоды, хотели жить, а не интересоваться политикой. Когда мы уже воевали с Россией, а мне было чуть больше двадцати лет, произошло событие, которое потрясло меня. Мы стояли в какой-то деревне, и вдруг пронесся слух, что недалеко есть партизаны. И нам, группе из двадцати солдат, которой командовал офицер, приказали их уничтожить. А мы не могли их найти. И неожиданно встретили очень красивую девушку. Очень! – подчеркивает Виланд. – Она шла с сумкой в руках. Офицер ее остановил и спросил, не знает ли она, где партизаны? Она не знала. Тогда он вытряс все из ее сумки. Там не было ничего, что могло бы быть полезным офицеру. И он ей сказал: «Иди!», он отпустил её, – взмахивает руками Виланд и продолжает с волнением, – а когда она отошла на некоторое расстояние, он выстрелил в неё и убил. Для меня тогда весь мир перевернулся! И я впервые разочаровался и в высшем командовании, и в Гитлере! Какие же мы интеллигенты, если ни за что можем убить красивую молодую девушку! Это была первая ситуация, от которой я испытал нравственное потрясение.

Когда он совсем разочаровался в политике Гитлера, то решил выжить, даже в лагере.

В лагере военнопленных, расположенном под Москвой, было около двух тысяч немецких и австрийских солдат. Их использовали во вредных условиях труда на стекольном заводе. Тачку готового сырья нужно было опрокидывать в печь с высокой температурой, полуфабрикат проходил через форму, и выходил готовый лист стекла. Потом они эти листы укладывали, если стекло ломалось, то осколки врезались в руки. Но у этой работы было преимущество – они были в тепле. Ведь хорошей одежды у них не было, только солдатская шинель, а зимой в ней холодно. В шесть часов утра в бараках, где зимой тоже было холодно и кроме соломы ничего не было, и они грелись друг о друга, объявляли подъем, к восьми их приводили на работу. Три раза в день кормили супом с капустой. Летом из свежей, зимой – из квашеной. И давали по куску хлеба. Все время в лагере кормили только капустой.

– Но одной капустой сыт не будешь, этого было много, чтобы умереть, и мало, чтобы выжить, – говорит герр Виланд, и справедливо добавляет, – но русские рабочие тоже голодали! Был такой случай, когда я украл три картофелины, которую всё-таки привозили в лагерь, тайком пробрался к печи и положил их, чтобы испечь. Я с нетерпением ждал, когда картошка испечётся, потому что очень хотел есть, но русский выследил меня и забрал мою картошку. Значит, он тоже был голодный, иначе, зачем бы стал воровать? – убеждённый в своей правоте спрашивает он.

Еду им, конечно, подбрасывали русские женщины, работавшие на заводе. Пленные солдаты были молодыми, а женщины – одинокими. Война закончилась, а жизнь продолжалась.

Иногда военнопленные пытались бежать из лагеря. Но это было утопией. Куда могли убежать немецкие пленные, не зная языка, не имея другой одежды, кроме солдатской шинели? Пойманных не расстреливали, их ставили на сутки на стол с плакатом «Я пытался бежать!», чтоб боялись

другие. Часто они не выдерживали и теряли сознание, поэтому другие боялись.

За работоспособностью пленных следил врач. Сначала, по словам герра Виланда, был безжалостный еврей из Берлина, который знал немецкий язык, но скрывал это, поэтому докладывал обо всём, что говорили пленные, начальству. Они поняли это не сразу. На смену ему заступила русская женщина.

– Она была очень хорошей! – улыбается Виланд. – Она многих спасла, иначе покойников было бы больше. Как-то она подошла ко мне и протянула мне вот эту мою фотографию, – показал он на ушастого. – Она что-то говорила, улыбаясь, я её не понимал и до сих пор не знаю, почему она отдала мне эту фотографию, но знаю, что она была доброй.

В октябре сорок седьмого при росте в сто девяносто сантиметров он стал дистрофиком, и русская женщина-врач списала его как доходягу, зная, что при этом его отправят домой. В телячем вагоне из Можайска вместе с другими подобными ему дистрофиками Вольфа отправили в Германию.



Он замолчал. За большими окнами белые магнолии давно погрузились в темноту. Он встал и предложил себе-себе сдаться воды.

– Вы были ещё когда-нибудь в России? – спросила Нина, сжимая в руке холодный стакан.

– Ни! Ни! – замахал он руками на переведённый ему вопрос. И опять заговорил. – Я столько видел там мёртвых, что когда в сорок седьмом году меня высадили во Франк-фурте-на-Одере, то я вдохнул тот воздух и сказал себе, что я больше никогда не вернусь в Россию! Что больше меня там никогда не будет! И не было! Я жив и радуюсь этому!

Нина понимала, что они уже явно злоупотребляют гостеприимством. Поэтому предложила Анне откланяться радушному хозяину. Они заговорили между собой. И Анна обратилась к ней:

– Он спрашивает, не придем ли мы завтра еще? Он может показать нам свой сад.

Нина отрицательно покачала головой. И увидела явное разочарование на лице герра Виланда:

– Фрау Нина., – на большее у него словарного запаса не хватило. И он опять обратился к Анне.

– Он волнуется, не накажут ли тебя в России за эту встречу? И спрашивает, когда выйдет твоя книга?

– Не накажут. Когда выйдет книга, я не знаю. Когда напишу и найду деньги на издание.

Герр Виланд удивился переведенному ответу, он думал, что такие книги издает государство. И что-то быстро стал говорить Анне. Она улыбнулась:

– Герр Виланд хочет тебя убедить, что в Германии жить легче, чем в России, ты можешь у него погостить в любое время. Он будет рад.

«Вообще-то я внучка русского солдата, воевавшего под Москвой», – оскорбилась Нина, но в ответ натянула улыбку и произнесла:

– Спасибо за приглашение.

– Я сказала, что ты подумаешь над его словами, – хитро улыбнулась Анна.

Внезапно герр Виланд обнял Нину и, заглядывая ей в глаза, что-то опять быстро залопотал на чужом для нее языке.

Она аккуратно высвободилась и тихо сказала, будто бы он мог понять:

– Я завтра улетаю домой, в свою Россию.

Он не понял, но с сожалением посмотрел, как она двигается по дорожке его двора от него, на улицу, к автомобилю. И снова быстро стал о чем-то говорить Анне. Она отвечала ему, взяв за руку, будто успокаивая, как маленького. А Нина почему-то вспомнила застекленную женщину из консульства, спрашивающую, замужем ли она.

Когда они отъезжали от дома герра Виланда, он стоял у кованой узорчатой калиточки, какой-то потерянный, очень похожий на того ушастого юнца с крошечной фотографии, которую вместе с почтовой карточкой он подарил Нине как доказательство того, что он говорил ей правду.

Магнолии и сакура источали цветочный аромат. А в России в мае расцветут яблони и тюльпаны. Девятого мая в День Победы она нальет в граненый стакан сто грамм и поставит перед портретом деда. Они были просто солдатами той страшной войны.

После некоторого молчания Анна спросила:

– Почему бы тебе на самом деле не приехать на месяц и не пожить здесь, он готов принять вас вместе с сыном. Он обеспеченный человек, жена его давно умерла, ты бы не билась здесь за каждую копейку, а писала спокойно свои книжки.

– Анна, я могу писать только на русском языке. И могу жить только в России.

Анна неопределенно пожала плечами.

Нина снова вспомнила бондаревский «Берег», вспомнила слова Виланда о том, как они верили Гитлеру и с десяти лет впитывали идею об исключительности немецкой интеллигенции, «а мы с десяти лет впитывали идею об исключительности коммунистической партии и советского строя». Два таких разных понятия, как свобода и власть – две самые призрачные иллюзии, ради которых свершались

беспощадные войны, которым были посвящены самые лучшие произведения мирового искусства, где над этими самыми иллюзиями все же возвышаются и торжествуют общечеловеческие ценности. И главные из них – любовь и гуманизм, утверждённые неважно на каком берегу.

Тайна Виланда

Через полтора года она написала книгу, еще месяц понадобился на верстку и корректуру. Когда макет был почти готов, ей позвонила Анна:

– Герр Виланд тебя часто вспоминает. Оказалось, у него есть воспоминания о советском плене. Он долго думал и готов передать их тебе для книги. И еще.., – Анна сделала паузу, – он готов дать тебе денег на издание книги. Не отказывайся, он искренне хочет помочь.

Она не отказалась. Но с воспоминаниями и деньгами оказалось сложно. Набранную на немецком языке и переведенную на русский рукопись Анна отправила ей на электронный адрес. Чтобы успеть ее вставить в почти готовый макет, Нина вместе с надежной помощницей и верстальщицей Жанной, верставшей ей книгу бескорыстно, только из любви к искусству, остались в издательстве после рабочего дня. Но верстка не шла. Рукопись не становилась: то ползли целые абзацы, то пропадали заголовки, то исчезали слова. Жанна, настоящий профи в своем деле, совсем отчаялась:

– Я не понимаю, что происходит.
– Вражеская диверсия, – неожиданно для себя произнесла Нина, – на сегодня все. Завтра подумаем, как жить дальше.

Завтра позвонила Анна и сообщила, что для перевода такой приличной суммы евро необходим валютный счет.

– Вышли мне номер.
– Какой валютный счет? – растерялась Нина. – У меня и рублевого нет.

– Значит, открой. А то каким образом герр Виланд переведет тебе деньги?

После некоторых мытарств в Сбербанке она счет все-таки открыла. Но перевод такой большой суммы евро облагался приличным налогом, а герр Виланд деньги на это тратить не хотел. Что дальше? Дальше проще было отказаться от рукописи, которая по-прежнему не хотела вставать в макет, и денег, которые перевести не было никакой возможности. Но русские, как известно, не сдаются.

«Надо сначала завершить книгу, а потом думать об издании», – согласно логике вещей, успокаивала себя Нина. Писательским трудом она занималась по остаточному принципу. Поскольку в России такой профессии, как писатель, нет, то она, как большинство ее коллег по творческому цеху, творчеством занималась в свободное от работы в институте время, которого не было никогда. Время летело, и время тянулось, не позволяя завершить ей работу над книгой. Анна устала от неопределённости с рукописью Виланда, от невозможности решить финансовый вопрос, когда, кажется, все было решено, и вот они деньги на книгу, которые готов дать Вольф, но из-за всяких препон Нина получить их не может. Устала, перестала писать и звонить. А тут позвонила.

– Нина, герр Виланд всю сумму дал мне наличкой, сказав, чтобы я дальше сама занималась этим вопросом. Он так и сказал: «Возьми деньги и найди возможность передать их фрау Нине», – Нина слышала и не верила сказанному, тем более что голос Анны был отнюдь не восторженным. Скрытая тревога передалась и ей, и вместо благодарности она спросила, – что случилось Анна?

Телефонная трубка молчала.

– Алло! Анна!

– Нина..., герр Виланд вчера умер.

– Теперь я просто обязана издать книгу, – решительно ответила Нина.

Верстку уже вычитывал корректор, а они с Жанной все тыкались с немецкой частью, которая по-прежнему не ре-

агировала ни на одну из программ и не вписывалась в макет. Нина уже решила капитулировать. Но теперь уперлась Жанна: «Русские не сдаются». Наступил Новый год, в январские праздничные дни они опять сидели за компьютером. Стрелка часов перевалила за полночь. Как и полагается ночью, во всем издательстве не было ни души. Хотя насчет души не стоило горячиться.

– Нина, – не своим голосом вскрикнула Жанна, – посмотри, все встало, я тысячу раз уже делала эту операцию, текст вообще не реагировал, а теперь смотри, Нина.., – они не верили своим глазам.

Текст ровно по строчкам, по абзацам, с заголовочками и подзаголовочками встал на страницы так, как будто был здесь всегда.

– Ничего не понимаю, – растерянно бормотала Жанна и осторожно листала на мониторе страницы, будто боялась, что они пропадут. Нина замерла, тоже боясь поверить происходящему.

– Нин, смотри, – уже прошептала Жанна. И указала на подпись в конце русскоязычной версии рукописи: «Я освобожден из плена 6 января 1945 года». – А сегодня какое число?

– Уже шестое января, – не слыша собственного голоса произнесла Нина.

Они оглянулись, будто кто-то мог стоять рядом. Нина на цыпочках подошла к двери кабинета и закрыла ее на ключ. Села рядом с Жанной. Они смотрели на монитор и друг на друга. И боялись, как могут только бояться две женщины, случайно попавшие ночью на кладбище.

Никаких сбоев с версткой больше не происходило. Корректор все вычитала, правка была внесена. Макет можно было сдавать в печать, о чем Нина и сообщила Анне.

– Видишь, все как по маслу, кажется, так у вас говорят. Сегодня я деньги отдала своим знакомым, а они – своим, потому что к ним приезжают родственники из твоего города. И они тебе деньги привезут, – радостно сообщила она.

У Нины потолок завертелся над головой.

– Анна, а если не привезут?.. Как можно было отдать такую сумму незнакомым людям?

– Почему не привезут? – удивилась Анна. – Они обещали, – успокоила она Нину.

– О боже! Немецкая простота! – простонала Нина.

– Кто эти люди? Мужчина, женщина, как фамилия? – Нина уже поняла, что этих денег ей никогда не увидеть.

– Это женщина, – оскорбилась Анна, – что ты меня принимаешь за дуру, кажется, так у вас говорят, – я взяла ее адрес. Вот, улица Ленина.., – ну, конечно, Ленина, она есть в каждом населенном пункте России. «Анна, ты – настоящая дура», – хотела закричать Нина, но вместо этого спросила, – ну и когда эти родственники возвращаются в мой город?

– Завтра я это выясню и тебе напишу.

Нина почему-то вспомнила рассказ Вольфа Виланда о том, как он пек в лагере три своих украденных картошки, а русский их украл у него, потому что тоже был голодный, «иначе зачем бы ему красть», – искренне считал Вольф. Согласно его логике деньги, предназначенные для нее, могли украсть только потому, что в России сейчас денег не было ни у кого. Иначе зачем их еще красть? Она попрощалась с деньгами, так и не дошедшими до нее, и с книгой, которая теперь уже точно не выйдет. Особенно ясно она это поняла, когда Анна написала на электронную почту короткое сообщение: «Женщина найдет тебя сама». «Кто бы сомневался», – саркастически ответила ей Нина.

Но где-то через неделю ей позвонили, и незнакомый женский голос сообщил о том, что ей передали из Германии деньги. Она может к ней прийти и назвала адрес по улице Ленина. Лучше вечером, после работы.

Почему она пошла одна? Почему никакого с собой не позвала? Ну хотя бы Жанну, она вместе с ней переживала всю историю с книгой. Зимой темнеет рано. Но дом на улице Ленина Нина нашла безошибочно. Вошла в темный, холодный подъезд. Наощупь медленно поднялась на третий

этаж. Выше этажом тускло горела лампочка. И потому она нашла нужную ей дверь. Нажала кнопку звонка. Она ничего не слышала, кроме стука своего сердца. Наконец, дверь открыли. В прихожей стояла женщина:

– Проходите!

Нина вошла:

– Здравствуйте!

Но женщина уже ушла в комнату, а Нина осталась в прихожей. Почему-то очень тяжелыми стали ноги. Слух напрягся, уловив тиканье часов и бурчание закипающего чайника. Женщины не было долго. Или нет? Но вышла она из комнаты как-то неожиданно и протянула Нине пухлый конверт. И с любопытством спросила:

– А вы правда писатель?

Нина кивнула и с трудом выдавила из себя:

– Спасибо. Я пойду.

– Осторожнее, там света нет, – предупредила женщина.

«Я в курсе», – видимо, про себя ответила Нина. Она также медленно спускалась вниз, как и поднималась вверх. Только теперь она ждала удара по голове, почему именно по голове, можно было ее просто толкнуть в спину, и она полетит вниз и убьется. Лучше не бежать, не торопиться. А почему, лучше? Перила кончились. Еще две ступеньки вниз. Холодная дверь. Она с силой толкает ее и оказывается на улице, белой от снега. И теперь уже точно бегом устремляется со двора на улицу, где есть люди, много людей.

Дома она пересчитала деньги, три тысячи триста евро, больше ста тысяч в переводе на рубли. Теперь их надо поменять и заплатить издательству. И только теперь до нее дошел истинный смысл всего происшедшего: купюры фальшивые! Ну конечно! Кто же ей просто так привезет из Германии подлинную валюту? Поэтому женщина так просто с ней и обошлась. «Я пойду в банк. И еще там засвечусь с фальшивыми евро», – Нина не спала всю ночь, решив, что утром сдаст деньги в милицию. Но утром позвонила Жанна.

– Нин, ну что, евро привезли?

- Кажется, да.., – неуверенно ответила она.
 - Ес! – обрадовалась Жанна. – Видишь! А ты не верила!
- И Нина поняла, что пойдет в банк прямо сейчас.

Через месяц книга вышла из печати. В немецкой главе вместе с рукописью о плене была размещена почтовая карточка со штемпелем сорок седьмого года, подписанная на немецком языке, и фотография бритоголового юнца с оттопыренными ушами.

ЕСЛИ Б НЕ ИСТОЧНИК, ЗАСОХЛА БЫ РЕКА

У Жаман-сопки, что в переводе с казахского значит «плохая», легендами связанной с набегами разбойников, в памяти Маратбека Жумагулова постоянно всплывали одни и те же строчки, прочитанные им когда-то давно в книге о пути великого Абая, всегда хранившейся на столе отца. Книга лежала открытой, и он, проходя мимо, успевал ухватить глазами: *«Тайное ущелье – все эти места знакомы ему не хуже, чем родной аул. Два раза в год – весной и осенью – аул прикочевывает сюда и надолго здесь располагается. Каждое ущелье, овраг, лощина, места, где привязывают жеребят или ставят юрты, овечьи пастбища на возвышенности, что видна с дороги, – все это мило и знакомо»*. Не так уж часто Маратбек ездил мимо Жаман-сопки, его хозяйство находится далеко – в стороне у Жана-су сопки, что в переводе значит – новая вода. Но каждый раз, когда он проезжал мимо этого места, его память поднимала откуда-то из глубины строки, не связанные лично с ним ничем, кроме как книгой с отцовского стола. И вместе с ними возникали в его воображении видения из кочевой жизни казахов, звучали чьи-то голоса, и откуда-то приходило знание обычаев и законов его рода, которые он со временем стал называть памятью предков.

Его семья жила, конечно, уже в доме, а не в юрте, как кочевавшие раньше и зависевшие от пастбищ его предки-скотоводы. Но в юрте, которую в его детстве ставили в ауле только на праздник Ураза-байрам, он чувствовал себя легко и свободно, будто здесь вырос. Накануне праздника Маратбек помогал бабушке взбивать сливочное масло, которое она потом слегка солила, именно такое – малого засола,

любили все в семье и подавали гостям. Но больше всего ему нравилось катать шарики из сырно-творожной массы, которые потом бабушка сушила, чтобы получился курт – солоноватые творожные комочки, которые можно перекачивать во рту или, бросая в туздык, растворять в мясном наваре. Любил он запах свежеиспеченных баурсаков, а чтобы лакомству придать дополнительный вкус, надкусывал воздушный пончик и в его пустоту закладывал жент – творог, растертый со сливочным маслом и медом.

Потом помогал бабушке устилать юрту кошмой из овечьей шерсти, на которую сверху бросали яркие ковры, ставили стол на низких ножках, а вокруг раскладывали подушки для гостей. Бабушка стелила дастархан – красивую скатерть – и расставляла блюда. Впрочем, и сам накрытый стол называли дастарханом. Каждый вошедший в юрту сначала обращался к бабушке с дедом, который к тому времени заканчивал работу со скотом и торжественно ждал гостей. Стариков называли почтительным словом «жарыктык», кланялись и приветствовали: «Ассалаумаалейкум!», на что дед с достоинством отвечал: «Уагалайкумассалем!», – и приглашали за стол.

В юрте говорили по-казахски, и Маратбек все понимал, хотя в райцентре, где жили его родители, и было много русских, в семье часто говорили на русском, он тоже незаметно переходил на неродной язык, который чаще всего слышал и за пределами дома. В ауле у стариков он жил, пока не ходил в школу, и любил слушать их разговоры о степи и пастбищах, отарах овец и лошадиных табунах. Любил красивые сказки бабушки, которую на казахский лад называл «аже». Она была прекрасной сказительницей, знала много мудрых фраз, пословиц и поговорок.

В старших классах Маратбек уже реже приезжал в родной аул. А провожая, как оказалось, в последний раз, аже обняла его и сказала: «Сын мой, будущее ляжет на твои плечи. Но всегда помни, что конь – для человека его крылья, а в хлебе его сила. И нет земли лучше родины, и нет людей лучше, чем на родине. Живи здесь, и пусть Аллах хранит



тебя». И он последовал ее завету. А чтобы приносить пользу своей земле, поступил в сельскохозяйственный институт на зоотехника, выбрав профессию, связанную с разведением домашнего скота – очень нужную в сельской местности.

Чалкарский район, где он жил, имел большие земли и крупную животноводческую базу. Районное сельхозуправление объединяло пятнадцать совхозов, а сколько еще было во всех селах и аулах частных дворов, где разводили коров, овец и лошадей, вряд ли точно знал даже статистический отдел. Согласно наказу аже, Маратбек выбрал себе крылья, а силу отдал отцу, который всю жизнь занимался хлебом и возглавлял самый крупный элеватор в Казахстане, где хранился стратегический запас зерна для всего района на пять лет вперед. В период уборки очередь из грузовиков, груженных спелым зерном, выстраивалась к элеватору на многие километры. Горы янтарной пшеницы занимали и всю площадь элеваторного двора, как предмет гордости каждого жителя, возвышаясь над каменным забором, отделяющим стратегический объект от улиц райцентра. На самой высшей точке величественного и грациозного строения, узнаваемого из любого конца раскинувшегося на многие километры райцентра, в темное время суток светились слова: «Вперед к коммунизму!» В коммунизм можно было идти только сытыми, уверенными в богатых запасах хлеба и корма для скота. Ведь село без скотины представить нельзя, а казах не может называть себя казахом, если у него во дворе нет хотя бы десятка овец и упитанного коня.

В конце восьмидесятых годов двадцатого века Маратбек окончил институт и был направлен в Аркалинский совхоз, где работал до девяносто второго года сначала зоотехником, а потом и главным. Чувствовал себя человеком нужным и уважаемым в селе. Всегда помня бабушкину присказку: «Земля деревьями богата, скотом богат народ» – в силу своих знаний и умений богатство это приумножал. Животных он понимал, работы никакой не боялся, с детства умел и сено косить, и стойло почистить, и коня запрячь. Знал и обычаи скотоводов, что называется, впитанные с молоком матери

и передаваемые от одного поколения к другому. А потому не сразу понял, что означает независимость Казахстана, объявленная в конце девяносто первого: от чего и от кого? Вместе с независимостью кормчий государства постановил, что сельское хозяйство теперь стране не нужно, что дешевое мясо будем покупать за границей. А собственное, неоправданно затратное, животноводство ликвидируем под корень.

И пошло-поехало. По селам и деревням корни выкорчевывали безжалостно. Люди, лишившись работы и привычного уклада жизни, уезжали с насиженных мест в города, где тоже были никому не нужны. А потому спивались и разбойничали. Маратбек не мог поверить в перемены до тех пор, пока не стали массово забивать скот, пренебрегая всеми обычаями и заповедями казахов, которые он помнил с детства. Убирая в кошаре, где содержали овец, его дед-ата не раз повторял: «Баранов не держать – богатства не видать», отдавая тем самым дань животным, что приносили мясо, шерсть, молоко для кумыса и курта.

Маратбек обходил совхозные фермы, овчарни и конюшни. Гладил доверчивые морды коров, трепал за бока круторогих баранов, приговаривая вслух: «Жануар, жануар», и замер, припав к любимому скакуну. «Жануар, жануар» – это ласкательное выражение, обращенное к животным и не переводимое на русский язык, он не смог сдержать, понимая, что это их последняя встреча. «Будущее ляжет на твои плечи», – вспомнил он слова дорогой аже, видела ли она, что будущее будет таким, что казахи станут убивать лошадей?

Участвовать дальше в общем безумии он не мог. Совхозная скотобойня утопала в крови. Животные, будто почувствовав приближающуюся смерть, бились в загонах, издавая какие-то дикие звуки, а приближающихся людей, к которым еще вчера доверчиво протягивали морды, лягали и бодали, не подпуская к себе. Скотники, намахнув стакан-другой самогона и вооружившись кувалдами, матерясь и ругаясь, наступали на скотину так, будто приступом брали бастион – один за другим. Били кувалдой между глаз, а потом выволакивали из стойла потерявшую разум живо-

тину, обвязывали веревками у фермы или конюшни и тащили дальше к скотобойне.

Животноводство, испокон веков существующее в скотоводческом краю, было здесь отменено вместе с сельским хозяйством. Зато было узаконено, что все теперь могут быть фермерами и разобрать в частную собственность земельные пай и недобитую скотину. Абсурд крепчал, всюду простирая свои щупальца.

Маратбек не знал, где найти ответы на вопросы, мучившие его. Обращался за советом к отцу, также сокрушавшемуся по поводу воцарившегося хаоса. Отец, коммунист, в прошлом первый секретарь районного комитета партии, построивший и возглавлявший не один элеватор в районе, больше всего ратующий за приумножение национального богатства и сохранение народных традиций, знал цену миру и хлебу и был против всякой войны и даже независимости, если она достигалась путем разрушения. Отец был фронтовиком и во время Великой Отечественной воевал в авиации, был летчиком-штурмовиком, и каждый год накануне Дня Победы Маратбек вместе со своими старшими братьями начищал ордена и медали отца, который девятого мая стоял на трибуне среди почетных гостей. Воевать он начал еще в Финскую, в тридцать девятом году, вернулся с войны в сорок шестом, когда отгремели последние выстрелы на Дальнем Востоке. А потом всю оставшуюся жизнь посвятил работе, укреплению социалистического строя и приумножению хлебных запасов в то время самого великого государства – СССР. И детей воспитал в том же духе. Самый младший Маратбек родился в селе под названием Парткоммуна, где Ануарбек строил очередной элеватор. И отец был горд – знаменательно это для сына. Равносильно тому, что под счастливой звездой родиться. И светила им эта звезда до той самой поры, пока воспетый ими строй не рухнул, открыв двери в атмосферу свободы, независимости и демократии. Далеким их предки-кочевники тоже ценили свободу, пока советская власть не оседлала их насильственным путем. Насажение очередного общественного строя

и теперь сопровождалось неотъемлемым хаосом и насилием. В девяностые все пояса были развязаны, узы разорваны, вековые устои пограны.

Удивительно, но книга, лежавшая на столе отца, всегда была открыта на странице, будто сквозь кристалл пропускающей время и преломляющей его в настоящем: *«Минувшим летом он не раз видел ястребиную охоту. Когда наступают сумерки и тьма борется со светом, ястреб, взлетевший в небо и освещенный закатившимся уже солнцем, горит таинственным пламенем, и крылья его сверкают, как огненные языки».*

Огненные языки Маратбек видел в каждом селе и ауле. Сначала охмелевшие от вседозволенности и потерявшиеся от неопределенности люди растаскивали по домам совхозную технику и обезумевшую скотину. Потом под призывы – сам сей, убирай, корми скот – разбирали наделы земли. И тут оказалось, что быть фермером не каждому дано. Советская власть огнем выжгла собственническое начало не в одном поколении сельских жителей. Новоявленные частники не знали, с чего начинать и к чему стремиться, никто и никогда не учил их новому укладу жизни. А поэтому, подтянув последние штаны, забивали скотину, технику бросали, землю запускали. И тогда появились инвесторы. Слово чуждое и незнакомое пришло на село. Они брали разрушенные хозяйства в аренду и создавали холдинги. Брошенные земли тоже забирали, засеивали, убирали и уезжали, оставив село ни с чем. Без всякой поддержки и надежды. Сливки сняли и «адыю». Но больше всего инвесторов привлекали кредиты, что государство выдавало на поддержку нового класса, а этот класс на эти деньги себе офисы строил, иномарки покупал, не вкладываясь ни в развитие бизнеса, ни в поддержку села. Народ, оставшись наедине со своими бедами, стал бежать в город. Маратбек с отчаянием воспринимал крушение села, и в такие минуты в его сознание, словно птица в окно, стучались мудрые слова аже: «Можешь не быть сыном своего отца, но будь сыном своего народа» – и являлись для него маяком, светлячком в ночной степи: «Реку можно остановить, жизнь – никогда», – слы-

шал он голос бабушки. И, как многие другие, старался найти свое место в городе.

Место директора областного мясокомбината, на первый взгляд, оказалось неплохим. Но именно здесь Маратбек осознал все масштабы истребления скота: забивали даже стельных коров, что являлось настоящим святотатством. Сначала мясо возили по всему Казахстану, предлагая торговым компаниям по низкой цене, но очень скоро ситуация изменилась. Своего мяса не стало. На рынке появилось американское брикетированное, которое завозили из Киргизии, мечты сбывались, заграница поставляла суррогат и отнюдь не по низким ценам. В таких условиях мясокомбинат стал не нужен. Перерабатывать было нечего.

А Маратбеку надо было дальше как-то выживать и не стать бандитом. Люди, жившие рядом с ним, вступали на путь преступления от отчаяния и безнаказанности. Но Маратбек ни при каких условиях не мог изменить заповедям своей аже, семьи и рода. В эпоху неопределенности он вступил с вековыми ценностями и традициями, которые считал для себя истинными.

Страница книги на столе отца перевернулась: *«Лай собак, окрики пастухов, бляение овец и ягнят, топот коней, скачущих на водопой и поднимающих золотистую дымку пыли, ржанье жеребят, только что спущенных с привязи и мечущихся по степи в поисках маток... Вот о чем тосковал в городе мальчик! Вот что заставляет его сердце биться в радостном волнении, подобно играющему скакуну, вот что властно захватывает все его чувства!..»*

Он должен вернуться в село. И должен возместить то, что у села отняли. Бабушка, рассказывая ему легенды о набегах врагов и разорении казахских аулов в далекие времена, наверное, не предполагала, какой разор их ждет впереди. Но почему тогда внушала внуку: *«У разоренного народа не бери и бульдерги»* – ременной петли на рукоятке плети.

Маратбек решил. С детства помнил, что труса и собаки кусают и птицы клюют. А он не трус. Да и учителя у него были хорошие. Общение с бригадирами в период работы зоотехником в совхозе, постижение тайн отчетности и дру-

гой документации, уроки инвесторов, от которых холодела душа, – все это внушало надежду на то, что он справится и, как гласит казахская мудрость, не утонет в чашке воды. Конечно, фермерскому делу его никто не учил, но он уже кое-что понял, наблюдая со стороны за новой игрой. В любой игре посторонний видит больше, чем игрок.

Естественно, что выбор свой Маратбек остановил на лошадях. И поскольку в округе скот остался только некондиционный, то на полученные от государства кредиты он закупил племенных представителей. Решил разводить лошадей для производства национального напитка – кумыса. И только тут оценил всю истину бабушкой мудрости «конь – для человека как крылья», потому что сам теперь не ходил, а летал – одухотворенный.

Небольшое фермерское хозяйство, созданное им в течение двух лет, стало его главной заботой. Посев зерновых на корм, заготовка сена, уборка урожая, содержание и разведение лошадей... А дело это не быстрое, ведь кобыла, как бы ни спешил человек, вынашивает жеребенка год. Маратбек с энтузиазмом работал в хозяйстве сам, но один в поле не воин, нужны были помощники, дополнительные руки и понимающие дело люди. И вот тут-то он столкнулся с последствиями компании по ликвидации животноводства. Люди не хотели работать скотниками. Развращающая народ прививка была поставлена быстро и надолго. Потомственные сельчане предпочитали бичевать в городе, но не ходить за скотом. А у Маратбека, как говорится, аппетит разыгрался во время еды. Он стал экспериментировать в хозяйстве – откармливать лошадей, чтобы повысить удои кобыльего молока. Усилия увенчались успехом. Надо было идти дальше – производить кумыс и войти с ним на рынок, пока ниша оставалась незанятой, благо областной центр недалеко. И тут, на счастье, на работу в хозяйство устроилась семья из казахского аула. Супруги Айша и Божей Сулеймановы не только умели за лошадьми ухаживать, но и знали, как изготовить настоящий кумыс. Дальше дело оставалось за малым. И вскоре в хозяйстве появился небольшой цех,

где сбивали кумыс. Маратбек вместе с женой Алией взялись за маркетинг и разработали собственный бренд, в магазинах на бутылках с кумысом впервые появилась этикетка.

За табуном лошадей появилось стадо коров. Хозяйство Маратбека приросло землей, расширились поля и пастбища. А степь простиралась дальше и словно просила: «Возьми меня». Степь до самого горизонта, накрытая небесным шатром, ослепительно молочная – зимой, звенящая травами – летом. Степь, понятная ему до самого тонкого стебелька травы, колыхающегося на весеннем ветру. Он чувствовал великую любовь к своей земле и этой степи, выразить которую не мог, не знал, как внутри себя найти красивые слова, чтобы они были такими, как в книжке на столе отца: *«С нежностью и волнением смотрит он на окружающий его мир – на бескрайнюю степь, на простор, на сопки, где он родился и где провел детство. Ему хочется обнять все это и покрить горячими поцелуями... Родная моя, милая степь!..»*

Вращенное и взлелеянное им хозяйство стало не только предметом гордости и делом жизни, но и возрождением традиций предков, одним из правил которых было гостеприимство, что во все времена говорило о достатке и радушии дома. Маратбек с Алией щедро встречали гостей. Алиа пекла баурсаки, делала курт и жау-буйрек – вкуснейшее кушанье из почек, накрывала дастархан, Маратбек готовил бешбармак так, как его могут готовить только казахи. Потом на большое блюдо выкладывал разное мясо – копченую конину, толстое казы – конскую колбасу, слоящиеся курдюки, желтое сало загривка и мягчайшее мясо свежей конины – всю эту аппетитную гору мяса увенчивала голова барана, которая подавалась самому почетному гостю. Уважение к гостям в традициях казахского народа.

Гости тоже уважают Маратбека, уважают его люди, живущие рядом, за то, что не позволил земле своей засохнуть и опустеть. Будущее легло ему на плечи и окрылило его.

Ведь сам Маратбек выбрал крылья! Крылья, которые сохранила для него мудрая аже.

СТАРАЯ ТЕМА НА НОВЫЙ ЛАД

Был в советское время производственный жанр. Фильм, пьеса, повесть о производстве. Те, чья молодость пришлась на девяностые годы, еще в детстве этих производственных произведений, пусть и невольно, но насмотрелись и начитались немало. Ни один фильм по телевизору, даже самый «любовный», не обходился без производственного совещания. Черно-белые сцены совещаний в кабинете директора или главного инженера какого-нибудь завода-гиганта, где мужики в клубах табачного дыма спорят о том, как любой ценой выполнить план, были нормой для советского кино и театра. При этом в титрах никто не предупреждал о том, что курение опасно для вашего здоровья. Курить на планерке и умирать за рабочим столом от инфаркта считалось нормой в советскую эпоху. Без этого коммунизм строить было невозможно.

Людмила Борисова тоже помнила эти фильмы из своего детства, и особенно школьной юности, когда с нетерпением ждала окончания производственного совещания, за которым непременно следовала любовь. Впрочем, какая любовь была в том кино? Смех один. За руки главные герои подержались, глазами встретились, Людмила ждала – вдруг еще и поцелуются. И уж, конечно, даже в страшном сне законченного гуманитария представить не могла, что сама когда-нибудь, глотая клубы сигаретного дыма, будет сидеть на таких же совещаниях и ненавидеть все мужское население земли за эту страсть к бесконечному курению и разговорам, от которых, по ее мнению, давно пора было переходить к делу. Она курить за всю свою тридцатилетнюю жизнь так и не научилась, хотя в девяностые это было модно. Не научилась матерно ругаться, хотя без этого на

производстве мало кто обходился, и в силу сменившейся формации строила уже не коммунизм, а, говорят, капитализм, хотя, как он выглядит, еще никто из населения ее большой страны не знал. А вот переходный период, коим называли в газетах то время, в которое она была назначена начальником нового экспериментального цеха, правильнее было бы назвать задницей, в которой они все очутились после объявленной перестройки.

Впрочем, нового и экспериментального цеха – это сказано громко. Финский ангар, площадью почти в четыреста квадратов, и приказ о назначении – вот что было ее стартовой площадкой. Больше ничего. Все остальное, и в первую очередь – коллектив – добудь сама, а уж этот коллектив пусть строит свой собственный цех, а потом оснащает его оборудованием, а потом выпускает продукцию – мебель из массива; что это такое – мало еще кто понимает, и куда ее сбывать, не понимает совсем, а чтобы Людмила поняла, ей объяснили: «Вывезешь все на себе – будешь жить. Не сможешь – твои проблемы». Походило ли это на капитализм, она не знала, скорее все на те же киношные оперативки по выполнению обязательств социалистического соревнования, хотя ведь и что такое капитализм, ей тоже никто объяснить не мог. В производстве она была несильна. Но после того, как медным тазом накрылись комсомол и организация стройтреста, которую она возглавляла как освобожденный комсомольский секретарь (была такая должность в советские времена) была распущена, а ее должность ликвидирована, выбор у нее был невелик. Предложили тот самый цех внутри треста создать. «Ты идейная, – сказал директор, – за идею работать и будешь». «А как насчет зарплаты?» – поинтересовалась на всякий случай Людмила. Директор за словом в карман не полез: «Пусть муж семью кормит. Если цех создашь, то зарабатывай себе и людям на зарплату. Других предложений у меня нет». Если учесть, что зарплату мужу на заводе не платили уже полгода, то выбора у Людмилы не было вообще. А еще ее охватил азарт или, быть может, та самая идея, о которой говорил директор. Ей хотелось всем

доказать и прежде всего себе самой, что она сможет создать новое производство и даже разобраться в усвоенных ею школах признаках капитализма. Согласно ее учебникам, капитализм по всем параметрам представлял загнивающий на западе экономический строй. Но, видимо, совсем он не загнил, а протянул свои щупальца в ее страну. И теперь ей предстояло, как говорится, взять этот самый капитализм за рога и не остаться на свалке истории.

А поэтому она стала действовать активно. Из соседней организации, где зарплату не выдавали давным-давно, силой ораторского искусства и методом идеологического убеждения она переманила бригаду, в которой были хорошие рабочие: столяры, резчики по дереву и даже художник-оформитель – что для будущего мебельного цеха вполне могло сгодиться. Мужики, конечно, не сразу повелись на уговоры резвой комсомолки, на привычном месте работы они могли кусок хлеба заработать халтурно, то есть вне всякого производственного задания, чисто за наличный расчет. А комсомолка красиво пела о будущем мебельном цехе, но пока-то его нет. Думали, обсуждали, выкурили не по одной пачке сигарет, прежде чем дать комсомолке ответ. Вряд ли сами себе тогда могли объяснить, почему ей поверили. Говорила она убедительно и смело. А смелости в то время многим не хватало. Поэтому подписались они на ее план: сначала цех создать, а потом продукцию выпустить.

Согласно канонам производственного жанра, теперь должна быть сцена у ангара следующего описания: стали мужики у разбитого корыта, вернее пустого, ни разу не опробованного, почесали в затылках и... В общем, так почти и было, но лучше эти подробности их трудовой биографии опустить, так как проехали они начальный период, как ни странно, на вдохновении. Их комсомольская начальница бегала по промплощадке, как заводная, вследствие чего к ангару в срок и бетон, и трубы, и пиломатериалы подвозили. А потому всего за два месяца, то есть до наступления холодов, работу они все вместе провернули огромную.

Забетонировали пол, провели отопление, построили служебные помещения.

Свои внутренние планерки Людмила проводила быстро и четко, уговорив мужиков в это время не курить; они совместно подводили итоги минувшего дня и определяли объемы на завтра. После первого месяца работы она сделала свои собственные выводы.

«Производство можно понять, только непосредственно занимаясь им. Начальники цехов – это то звено, от деятельности которого зависит движение всего производственного механизма. Обеспечив материалами, просчитав экономически, можно с наименьшими затратами, собственными силами, не прибегая к помощи подрядчика, в трудной экономической ситуации, в которой сегодня находится Россия, строить, ремонтировать и развивать».

Здесь бы следовало уже показать кадр про любовь. Но любви не было, только работа. И одновременно поиски того, что называлось капитализмом, к которому, по утверждению ведущих экономистов страны, необходимо было стремиться все той же стране. Впрочем, более приемлемым понятием стал рынок. В рынок превратилась также вся страна. Торговали все – кто чем мог. У кого не было денег, занимались бартером, то есть товарообменом. Кто хотел денег сразу и много – те грабили и убивали, почти на законных основаниях. Это были девяностые.

Людмила очень старалась вписаться в новую экономическую формацию. Ведь теперь она несла ответственность не только за свою семью, но и за семьи своих рабочих, и вообще за все новое производство, создаваемое ею. А потому, оценив своими комсомольскими мозгами ситуацию внутри треста и за его пределами, она решала собственные ребусы. Главная задача – производить товар, который будет пользоваться спросом на рынке. А если не будет, как оплачивать труд рабочих? Прежняя система со старыми нормами труда, тарифами, разрядами, с несовершенной налоговой системой и каждый день растущей инфляцией не позволяла Людмиле свести дебет с кредитом так, чтобы

и овцы были целы, и волки сыты. У нее оставались все голодными.

Проработав начальником два месяца, она не на словах – лозунгах и призывах, а на своей собственной шкуре поняла, что такое переход к рыночным отношениям в условиях государственного предприятия. Если сказать мягко, то – произвол. Брошенные на выживание коллективы вынуждены были каждый день без всякой государственной поддержки решать вопросы поиска заказов, снабжения, сбыта продукции при крайне нестабильной политике ценообразования.

Людмила со своим коллективом торопилась как можно быстрее наладить выпуск продукции, чтобы зарабатывать на ее реализации. Правда, что это будет за продукция, и куда она ее будет реализовывать, она еще не знала. После установки первого оборудования, при наличии массы всяких недочетов и недоделок, Людмила настояла, чтобы рабочие приступили к разработке первых видов продукции. По ее мнению, начинать необходимо было с простого, например, с книжных полок. Но бригадир Самойлов предложил делать сразу кровати из массива с резными спинками, о чем должен был подумать художник-дизайнер. Не зря ведь его повысили в статусе, отказавшись в названии должности от «оформителя»: не в кинотеатре ведь афиши предстояло писать.

Людмила сомневалась, ведь именно ей потом предстояло куда-то эти кровати сбыть. Но выбор был небольшой, и она пошла на риск.

Работа ее захватывала. И выматывала. Домой она приходила поздно. Мужу это не нравилось, его завод в связи с отсутствием сырья работал на укороченном графике, неполный рабочий день, и он возвращался домой гораздо раньше жены. Злился, что обязан заниматься домашними делами, ведь готовить ужин и учить с детьми-младшеклассниками уроки считал занятием, не достойным его мужского самолюбия. И появление на пороге уставшей до смерти жены оптимизма ему также не прибавляло. Но пока именно на ее небольшую зарплату они существовали, поэтому

претензии он, конечно, ей высказывал, но дальше этого дело не шло.

Откуда в ее комсомольском сознании отыскалось такое понятие, как стиль, который, якобы, надо было разработать, чтобы заявить о себе на новоиспеченном мебельном рынке, она не знала. Но не сомневалась, что так должно и быть. Почему-то ей виделось, что мебель, выпускаемая ее цехом, должна быть близка к той, которой в дореволюционное время обставляли свои особняки русские дворяне. Удобная, красивая, с резной отделкой и многофункциональная – шкафы, комоды, бюро, секретеры, туалетные столики, буфеты, кровати. Воодушевленная пришедшей ей в голову на ночь глядя идеей, она неосторожно поделилась ею с мужем. Зря, конечно. Он посмотрел на нее, как на больную, и добавил: «И обязательно бар под спирт „Рояль“». Людмила замолчала. «Рояль» пили во всех подворотнях как самый дешевый и доступный вид алкоголя. Другого просто тогда не продавали. Но, чтобы сохранить идею в живых, а не похоронить в своей обиде, улыбнулась: «Можно и бар».

Но начали все же с кровати. Буквально в течение месяца было разработано три опытных образца. Первая кровать, с одной спинкой в изголовье, украшенной объемной резьбой, выглядела богато и массивно. Ей дали название «Консул». Другая получила имя «Виктория»: обе ее спинки украшали резные короны на переборках из точеных балясин. Игра тонов мореного темного и чистого светлого дерева придавала изделию изящность и легкость. Третья кровать, увенчанная резными светлыми коронами, вместе с прикроватными тумбочками составила спальный гарнитур «Этюд». Эти изделия действительно были оригинальным новшеством среди примелькавшейся, тяжелой на взгляд и вес корпусной мебели из древесно-стружечной плиты. Просчитав с экономистом сравнительно невысокие с учетом ручной работы цены, Людмила развезла кровати в магазины своего и соседних городов. Они быстро обратили на себя внимание покупателей. В основном отмечали ори-

гинальность и богатство мебели, а поэтому не покупали. Вопросы «Зачем такие красивые? И куда их ставить?» были самыми частыми. Продавцы в ответ пожимали плечами: «Ну не спать же на такой красоте».

Людмила задумалась: *как быть со вкусом покупателя – следовать его удовлетворению или формировать новые потребности, более эстетические, что ли?*

Муж опять не удержался и с сарказмом отреагировал на ее размышления вслух: «Тебя на каком комсомольском собрании этому учили?» Она серьезно ответила: «На том, которое еще впереди». Впереди была борьба за покупателя и рынок сбыта.

На очередной планерке, где Людмила, как всегда, задыхалась в клубах сигаретного дыма, директор треста, лишенный всякой сентиментальности, после принятия отчетов начальников всех участков поднял из-под очков глаза на Людмилу и без всякого предисловия выдал: «Комсомолка, если ты в течение месяца свои кровати не продашь, сама будешь спать на них за деньги. Я больше твой коллектив кредитовать не собираюсь. Мне твоя художественная самодеятельность до лампочки, ты обещала выпускать товары народного потребления, а не крестиком по дереву вышивать. Месяц, слышишь!» Сказал, как отрезал, и для пущей убедительности саданул ладонью по столу.

Мужики, а среди них в тресте Людмила руководителем среднего звена была одна, кто с сочувствием, кто с усмешкой посмотрели в ее сторону. Она вспыхнула не от смущения – от гнева, резко встала и направилась к двери. Директор рывкнул: «Куда?» Людмила повернулась уже у двери: «Спать на кроватях» и хлопнула дверью. «Уволить», – кивнул директор начальнику отдела кадров. Никто не шелохнулся. Все знали отходчивость директора, который частенько в сердцах «увольнял» сотрудников.

Людмила подходила к цеху. Честно признавшись себе, она не знала, что делать дальше. У ворот ангара стояла «Волга» с незнакомыми номерами. А в кабинете художник развле-

кал хорошо выглядевшую даму лет пятидесяти, которая явно дожидалась Людмилу. Она представилась директором заводской гостиницы. Людмила сообразила, что из соседнего города, где завод купила какая-то крупная компания. Дама тут же перешла к делу.

– Мы приобрели в магазине для гостиницы комплект мебели, изготовленный в вашем цехе, под названием «Этюд». Нам одного мало. Мы сейчас реставрируем главный корпус гостиничного комплекса и хотели бы вип-номера обставить подобной мебелью, сделанной по нашему заказу. Ваш художник должен поехать со мной и на месте посмотреть, в каком интерьере мебель будет расставлена, а исходя из этого, продумать дизайн.

Людмила боялась поверить тому, что слышит. Заказ! Крупный заказ! Так не бывает. Конечно, не бывает, что и подтвердила дальше деловая гостя.

– Только денег у завода нет. Рассчитываться будем телевизорами и видеомангитофонами.

– Зачем мне видеомангитофоны? – разочаровано спросила Людмила.

– Часть продадите и выручите деньги, другую часть подарите своим рабочим вместо зарплаты к новому году. У них что, у всех есть хорошие телевизоры и видеомангитофоны? – с вызовом спросила потенциальная заказчица.

– Не знаю, не выясняла, – Людмила села на свое место за стол. – Знаю только, что всем нужны деньги.

– Ну, милочка, – произнесла дама снисходительно, – денег сейчас нет ни у кого. Ну что, берете заказ?

– А куда нам деваться? – уже не сдерживая разочарования, ответила Людмила.

– Вот и я так думаю, – поднялась дама. И добавила:

– Не унывай, прорвемся. Я тебе хорошие телевизоры отберу, японские. Только и ты уж не подкачай.

Дальше, согласно жанру, должна опять идти сцена производственного совещания, теперь цехового, где Людмила убеждает коллектив взяться за крупный и ответственный заказ. Но жанр в очередной раз нарушен. Она устало сидит

за столом и почему-то представляет себя маленькой девочкой в тот момент, когда ей надо одной войти в темную комнату. Все дети боятся темноты. И Люся тоже боялась. Особенно окон, так как в их доме почему-то никогда не было плотных штор, скрывающих оконные проемы, а только белый хлопчатобумажный тюль, узоры которого призрачно оживали в темноте. Девочка уговаривала себя переступить порог комнаты и не могла. Узоры шевелили щупальцами, моргали ресницами, порхали бабочками. Наконец, внутренне собравшись, она зажмурилась крепко-крепко глаза и быстро пробежала сквозь большую залу в свою детскую комнату или спальню родителей, туда, где горел свет, где она могла смело открыть глаза и спокойно предстать перед старшим братом или отцом с матерью. Она никому не рассказывала об оживающих узорах, преодолевая собственный страх сама.

В кабинет вошел художник.

– Я стучу, но вы не отвечаете. Мы посоветовались с мужиками. Телевизоры – это тоже неплохо. Мы найдем, кому их продать.

С заказом справились в срок. Хозяйка гостиницы тоже выполнила свое обещание. Телевизоры и видеомагнитофоны разгружали прямо в цех. Перед этим соответствующим образом в бухгалтерии был проведен взаимозачет. Трест продавал заводу мебель, завод тресту – теле- и видеоаппаратуру. Коллективу мебельного цеха аппаратуры выдали ровно столько, чтобы рассчитаться с каждым в счет невыплаченной зарплаты. Еще осталось по комплекту для директора треста и главного бухгалтера, остатки были отправлены на склад – на всякий случай, в целях дальнейшего обмена.

Людмиле так же, как и всем в цехе, полагался комплект: телевизор и видик. Муж был счастлив, дети тоже. Откуда-то в квартире появились кассеты с мультиками производства «Диснейленд», и дети забросили уроки, скатившись в школу до троек. В единственный свой выходной – воскресенье – между стиркой белья, уборкой квартиры и попыткой при-

готовить из чего-нибудь еду, чтобы накормить троих мужиков, Людмила пыталась воспитывать детей и вразумлять мужа, который, выгружая из видеомагнитофона кассеты с мультиками, ставил свои, загадочно подмигивая замотанной жене, дескать, что я достал. Дети возмущенно визжали, повисая на руках у отца, пытаясь забрать Диснея, он же легко их стряхивал, и в свою очередь возмущался в адрес жены, которая не реагировала на его подмигивания, а домывала пол в спальне, аппетитно выгнув все свои округлости.

Но глава семьи не отступал. Строгим голосом отправив мальчишек в детскую комнату, он вставлял кассету в магнитофон, и на экране тут же появлялся логотип одной из голливудских кинокомпаний. И звучала присущая только Голливуду музыка, по крайней мере, так казалось Людмиле. А потом гнусавый переводчик долго-долго перечислял главные и второстепенные роли, актеров, их исполнявших, это длилось так долго, что Людмила успевала домыть пол не только в спальне, но и в прихожей, а муж устроиться в кресле с бутылкой пива:

– Жена, бросай ты уже свой пол. Я сегодня эротику у мужиков надыбал.

Людмила стеснялась эротических фильмов, возмущалась той откровенности, с которой муж обсуждал нескромные, на ее взгляд, кадры. Она не понимала чужого кино и чуждого ей мира. И жалела, что взяла в счет зарплаты этот чертов видеомагнитофон. Имена Барбары Стрейзанд, Микки Рурка, Николь Кидман, Ричарда Гира, Джулии Робертс все чаще и чаще звучали с экрана телевизора в ее доме, доме недавнего комсомольского лидера, вытесняя имена отечественных актеров, известных ей с детства. Да и само отечественное кино как-то сошло на нет и приказало долго жить, вместе с его социалистическими идеями и производственными совещаниями, место которым теперь в ее жизни было отведено не в искусстве, а в реальной действительности.

И об этой реальной действительности Людмила не переставала думать ни на минуту. Такое понятие, как рен-

табельность, она слышала и раньше, но тогда оно ее не касалось. Теперь же «рентабельность» не давала ей покоя ни днем, ни ночью. Как оказалось, в условиях переходного периода, а по сути социалистического капитализма, мало было выпустить продукцию, понеся затраты на сырье и материалы, заработную плату, выплату налогов, мало было и реализовать ее, зависив в два с половиной раза себестоимость.

Людмила выводила формулу: *«Отдельно проданный гарнитур при всех вышеназванных условиях может быть высоко рентабельным, но в целом по цеху он погоду не сделает, если есть на складе остатки готовой продукции, поскольку рентабельность раскладывается и на них. Еще большие колебания рентабельности задавала себестоимость пиломатериала, которая в цену изделия закладывалась одна, а завтра могла в целом по тресту измениться из-за влияния какого-либо фактора. И как было поймать и удержать эту призрачную рентабельность? Чего, несмотря на полученный телевизор и видеомагнитофон, постоянно требовал директор треста. И чтобы этого добиться, работать только под заказ было недостаточно. Необходимо было запускать серийное производство, а для этого не хватало оборудования, инструмента, финансовых средств».*

Тем не менее год коллектив продержался. По этому поводу организовали праздник. Русские люди такой повод пропустить не могут. В этот день солнца в природе было мало, шел дождь, но были цветы, которые мужчины принесли для Людмилы. Звучала музыка, играло брызгами шампанское. И ей хотелось говорить хорошие слова людям, которые год проработали рядом с ней, и она говорила, поймав себя на мысли, что гордится ими, возвышает их, дав им право и возможность почувствовать свою значимость. Им – рабочим! Ведь и они, и она были человеческим видом переходного периода, сформированные советской эпохой и вынужденные жить в новой формации.

– А помните первоймай? – неожиданно с тоской в нотке спросил бригадир Самойлов. – Как на демонстрацию все вместе ходили, как потом за столом с друзьями сидели, мо-

ральное поощрение оно же для рабочего человека ого-го! Разве нам деньги только нужны?..

Да, в первую очередь им нужны были деньги. Они зарабатывали больше всех в тресте и быстро к этому привыкли. Людмила анализировала очередной заказ: *«При отработанных каждым рабочим девяносто восьми часах рентабельность составляла семьдесят шесть процентов, а средняя заработная плата на одного человека пятьсот тысяч рублей, выше средней по тресту и в городе. Но Людмила понимала, что это пиррова победа; чтобы закрепить результат (она все больше убеждалась в этом) необходимо наравне с индивидуальными заказами наладить серийное производство».*

Январь нового девяносто четвертого года начался удачно. В цех поступил заказ на изготовление двух наборов мебели из самой Москвы. Каждый гарнитур должен был состоять из двуспальной кровати, двух тумбочек, геридона – круглого стола на одной точеной изящной ножке, гардины, трехстворчатого шкафа и двух бра. В процессе разработки конструкции и дизайна гарнитур получил название «Вернисаж». Спинки кровати гармонично сочетали резьбу с точеными балясинами в середине, а венчала композицию резная корона. Больше всего проблем оказалось с платяным шкафом, довольно громоздким, сложным в исполнении. Однако он значился в заказе, и его необходимо было изготовить. К концу месяца все изделия, кроме шифоньеров, были готовы. Людмила планировала завершить их в феврале и добавить в план разработку кухонного гарнитура.

В феврале начались морозы. Почти каждый день температура опускалась ниже тридцати градусов. Финский металлический ангар был категорически против такого холода. Мастера работали в цехе в валенках и телогрейках. Очень плохо шла склейка щитов, клей при низкой температуре терял свои свойства, и щиты беспощадно лопались по швам. С ослаблением мороза склейка наладилась, но было потеряно много времени, производственный график был нарушен.

С ростом требований к заказам обострялась проблема с оборудованием и инструментом. Кроме мастерства людей, требовались хорошие режущие инструменты, технологичные деревообрабатывающие станки, на покупку которых не было финансов. Что-то придумывали сами. Конструировали различные приспособления, делали станки в кустарных условиях механического цеха. Как правило, они не уступали по своим свойствам заводским и даже в чем-то имели преимущества. Наверное, творчество Кулибиных – это чисто русская черта, трудно представить, чтобы, например, немецкий мастер на производстве думал о том, чем ему изготавливать товар.

Угнетало Людмилу и распределение затрат на потребленные электроэнергию.

«Так никогда мы не получим реальную рентабельность! Как можно все затраты раскладывать поровну на все цеха? Все мои расчеты сегодня чисто теоретические». Так у нее ненавязчиво возникала мысль об аренде своего цеха, чтобы экономически его вывести из структуры треста. Но необходим был опыт поточного производства. Необходим!»

Она не знала, как выдержать баланс между индивидуальными заказами, авторскими разработками и серийным производством. В пользу первого было то, что ее коллектив с нуля занимался технологией массива, то есть производством из чистого дерева, давно забытой и в бывшем СССР, и в России. Все мебельные гиганты в стране работали на древесно-стружечной плите, в то время как спрос на корпусную мебель резко упал. И это был один из парадоксов времени. В обнищавшей стране дешевую мебель покупать не хотели, а дорогую не могли. Фабрики, выпускающие корпусную мебель, разорялись и закрывались. Перевод их на массив требовал капиталовложений, которых не было. На фоне таких потерь у коллектива Людмилы, нарабатывающего опыт с учетом новой технологии, открывались перспективы в скором будущем стать конкурентоспособным средним предприятием. Поэтому требовалось усиление позиций за счет серийного произ-

водства, способного выпускать качественную и комфортную мебель из массива.

И тут, как часто бывает, помог случай. Однажды в областном центре Людмила, рассматривая мебель в магазинах, дабы понять, что сегодня в тренде, услышала обращенный к ней возглас:

– Вижу, что и вам ничего не нравится. Я вот знаю, что хочу, но не знаю, где взять.

– А что вы хотите? – отозвалась Людмила.

– Мебель для фешенебельного ресторана. Он находится в центре города и должен быть привлекательным, располагающим и зазывающим. Зал уже оформлен, а мебель соответствующую найти не могу. Столько магазинов уже объехала, рынков, салонов – все не то. Есть эскизы, есть чертежи, но кто сегодня это изготовит?

Людмила поняла – вот ее удача.

В цехе чертежи и эскизы рассматривали все вместе. Чужой стиль, незнакомый дизайн и сложность в исполнении определили отрицательную реакцию мастеров.

– Стулья очень сложные. У нас нет необходимых фрез. Срок изготовления нереальный. Мы ничего не успеем, – подвел итог бригадир Самойлов. И с ним все молча согласились.

Людмила стояла перед ними, меньше всех уверенная в том, что это можно сделать. Но ей не давала покоя одна мысль: областной центр, лучшие условия для рекламы.

– Хорошо. Если я продлю сроки недели на две и постараюсь решить проблему с материалом?

– Все равно не успеем. Фрез нет, – не сдавался бригадир.

– Сколько нужно времени, чтобы изготовить фрезы?

– Недели две. Дизайн сложный. Нет, не сможем.

Людмила повернулась к художнику в надежде найти хоть какую-то поддержку.

– Мы сможем это сделать?

– В общем-то, сможем.

– Видите, даже конструктор наш в этом не уверен, – добивал удовлетворенно бригадир.

– Если вы получите каждый по миллиону от этого заказа, беретесь? – что она несла, какой миллион, где она его возьмет...

Неуверенное молчание. И тогда она разозлилась. Молча. Про себя. А вслух тоном, не терпящим возражения, сказала, сначала обращаясь к бригадиру:

– Александр Николаевич, заказывайте фрезы!

Потом к дизайнеру:

– Геннадий Петрович, делайте рабочие чертежи!

И уже в кабинете экономисту:

– Считайте цену так, чтобы зарплата была миллион на каждого.

Экономист без энтузиазма произнесла:

– Цена будет огромная. Кто нам ее даст?

– Считайте, потом посмотрим, – Людмила опустилась на свое место, кажется, она вляпалась в серьезную аферу. Что делать дальше, она пока не представляла.

Внезапно она ощутила то состояние страха, дикого риска и ответственности за каждое свое движение, которое испытала однажды в студенческой жизни.

Они были слишком молоды и слишком беспечны, и как-то поздним вечером решили идти в университет, чтобы присоединиться к тем, кто выпускал ночью факультетскую стенную газету. Это всегда был ритуал, захватывающий не только редколлегия, но и всех, кто ждал с нетерпением очередную растянувшуюся во всю большую стену бумажную ленту с интересными текстами, шаржами, черно-белыми фотографиями. Они толкались, ползая на четвереньках по полу, где была растянута газета из склеенных ватманов, смеялись, шутили, балдели от того, что стали первооткрывателями стеннушки, и представляли, как завтра с превосходством будут смотреть на тех, кто, опережая друг друга, устремится к газете. И вдруг кто-то из мальчишек крикнул: «А пошли на карниз!» И Люся двинулась за ними. На карниз, нависший над землей с высоты четвертого этажа

здания старой постройки, где пролет между этажами равен двум в современных зданиях, можно было попасть из окна аудитории, что они и сделали. А потом, осторожно продвигаясь над пропастью, прилипая к каменной стене и держась за нее руками, двигались к концу карниза. Мальчишки Люсю отговаривали, но она не слушала их. Ужасно боясь высоты, она медленно двигалась по карнизу, стараясь не смотреть вниз, а только на огни оперного театра, расположенного напротив университета. Дул весенний ветер, и здесь, на высоте, он создавал ощущение небывалой свободы, и ей хотелось подхваченной его потоками лететь, парить над огнями оперного, а не липнуть к холодной стене. Но стена возвращала к реальности, и Люся, дойдя до конца карниза, вернулась обратно, где у окна, не скрывая волнения и восторга, ее подхватили мальчишки, а Шурка, которому она очень нравилась, не выдержал и сказал: «Люська, ты хоть и отличница, но дурная».

Сейчас Людмила отличницей себя не чувствовала, только дурной. Она понимала, что первая проблема, которую ей предстоит решить, связана с сырьем. В тресте не было сушки пиломатериала, отвечающей всем требованиям мебельного производства. С малыми объемами еще кое-как справлялись, а справятся ли с потоком – вопрос. На общем селекторном было принято решение, которое не очень-то обрадовало руководителей других производственных подразделений. Специально под этот заказ цех по выпуску пиломатериалов должен был изменить технологию распила, сушильный – оборудовать специальную камеру с термообработкой, мебельный – четко соблюдать технологию раскроя и склейки пиломатериала. Такой подход давал шанс не только на успешную реализацию заказа, но и в принципе на освоение новой технологии трестом.

Довольно быстро и качественно в механическом цехе сделали необходимые фрезы. Поступила первая партия пиломатериала. Мастера мебельного шутили: «Целуйте жен, берите с собой фотографии детей. Опять работа в две смены

и в выходные дни». Экономист вывела цену. Людмила сообщила ее Ларисе, именно так звали директора ресторана. И она согласилась, более того, пообещала, что в условиях дефицита наличных средств, выплатит всю сумму наличными, но с условием, что трест, в свою очередь, в документах не покажет налог на добавленную стоимость и специальный налог. Людмила пошла на переговоры к директору.

– Наличными, говоришь? – переспросил директор, когда Людмила изложила ему предложение рестораторши. Он прикинул в уме: – Это зарплата на три цеха, и налички у меня для ее выплаты нет, – он барабанил пальцами по столу и смотрел в окно, будто там мог найти ответ на трудный вопрос. Наконец, устало произнес: – Ладно, комсомолка, соглашайся, как-нибудь выкрутимся.

Людмила вышла на улицу. Ей было нехорошо. Она не всю правду сказала директору. Ее мучила совесть. И она пыталась ее усмирить. Дело в том, что миллион ее рабочим никто бы не выплатил. Таких зарплат не было в городе. Такой зарплаты не получал и директор треста. И он бы ее не понял. Не в отношении себя, а остальных членов коллектива треста. Но с Ларисой переговоры вела она лично. И деньги Лариса обещала только ей. И директору она озвучила сумму без той разницы, которую необходимо было заплатить мебельщикам до миллиона. Она старалась урезонить свою совесть: если они не получают миллион, не будет выполнен заказ – значит, трест не отработает новую технологию и тем более не получит наличные деньги. «Да и вообще, совесть, молчи! Отступить уже поздно. Будем работать».

Первая часть заказа – мебель для банкетного зала – была выполнена в срок к десятому декабря. Лариса лично приехала за изделиями, лично передала деньги Людмиле, которые она должна была сдать в кассу треста.

– Я сдам наличку и принесу документы о принятии денег, – сказала она Ларисе, отпивающей небольшими глотками из чашки кофе и со вкусом пускающей сигаретный дым.

– Не торопись, мне документы не нужны, мне нужен товар. А он уже загружен, – они по умолчанию перешли

на «ты». – Качество отличное. Все остальное должно быть такого же уровня. Ты же понимаешь, что я только вершина айсберга. В основании пирамиды стоят крутые ребята, «центровые», слышала о таких? Им и нужен этот ресторан, они и башляют наличку. Оставшаяся мебель нужна точно в срок. И я точно в срок должна открыть зал: у ребят планы. А их планы нарушать нельзя. Они этого не любят и наказывают, – Лариса раздавила остатки сигареты в импровизированной пепельнице. – И наказание у них одно. Но я думаю, что до наказания дело у нас с тобой не дойдет, – она встала. – Надо ехать. Далеко вы находитесь.

Людмиле всегда было жалко, когда из цеха увозили мебель, будто частичку тебя самой, ведь она наблюдала ее создание с пиломатериала, поступившего к ней из сушильной камеры, и отдавала изделием, сияющим теплотой.

Проводив Ларису, Людмила с сумкой денег отправилась в контору треста. По пути размышляла: «Центровые, значит деньги бандитские. Ну и что? Как известно, деньги не пахнут. А работники треста получают за свой труд зарплату». В коридоре конторы она столкнулась с директором, тот пошутил:

- Ну что, комсомолка, наличку несешь?
- Да, – ответила она, не шутя.

Вторую часть заказа, семьдесят стульев и восемь столов для общего зала, они должны были изготовить через две недели. После удачной сдачи первой партии все были в приподнятом настроении. И никто не предполагал, что может произойти в последующие дни.

А произошло то, что может случиться в любой день в северных широтах. И что случалось не раз. Начались морозы. В котельной треста из-за нехватки топлива и поломок оборудования возникали бесконечные перебои. Склейка в мебельном встала. За одну ночь лопнуло тридцать щитов. Лак замерзал прямо в краскопульте. В цехе невозможно было работать без перчаток и валенок. Нервы у всех на пределе.

В одно утро мастера не стали снимать верхнюю одежду. Все сидели вокруг единственного калорифера и молчали. Людмила возвращалась с директорской оперативки, где все проблемы не на один раз были обсуждены, предприняты меры. Она подошла к рабочим. И сразу почувствовала их настроение:

– Что будем делать, Людмила Григорьевна? – обратился к ней бригадир Самойлов. И, не дождавшись ответа, все более раздражаясь и не сдерживаясь, заговорил резко с вызовом:

– Вы нам не создали условия для работы, ни вы, ни директор треста. В этой стране все через одно место организовано. Здесь живут одни идиоты, а нормальные люди из страны уезжают и правильно делают.

Людмила его перебила:

– Можно я за всю страну отвечать не буду? А сейчас идите по домам, – и она повернулась в сторону своего кабинета.

В кабинете шел пар изо рта. Людмила вдруг кожей ощутила безвыходность положения, и самое ужасное – свою личную беспомощность перед ситуацией. Заказ оказался на грани срыва. И обо всех возможных последствиях знала только она. Здесь же, в цехе, убеждать кого-то в чем-то не имело смысла. А главное – она не имела права давить в этих условиях на чью-то совесть, рассчитывать на энтузиазм.

Ни в этот, ни в другой день рабочие домой не уходили. Действовали так: в лакокрасочной, где был установлен калорифер, установили ваймы – механические сжимы для склейки щитов. В цехе задували лаком детали изделий и бегом несли их в ту же лакокрасочную, к теплу. Все это очень снижало производительность труда. Пришлось работать сверхурочно. Морозы не спадали. Все страшно вымотались и держались только за счет внутренних ресурсов. Наконец, через две недели мебель была полностью готова, упакована и ждала отгрузки. Людмила отправила всех по домам. А сама набрала междугородный номер. И пока в трубке долго шел вызов, ее изнутри охватывала непонятная дурнота,

предвещающая нехорошую новость. Голос Ларисы был тревожным:

– Слушай, Люд, я в ближайшее время не смогу приехать. У нас тут... в общем, ребят постреляли, разборки были между группировками.

Людмила тупо спросила:

– Как постреляли?

– Естественно, как еще стреляют? – Лариса, судя по всему, затулилась сигаретой. – Я позвоню, когда с похоронами разберемся. А может быть, раньше. Поминать братву-то надо будет, не за столами ведь, накрытыми клеенкой. Ну, будь! – и Лариса повесила трубку.

Людмиле казалось, что расстреляли и ее. Что она скажет завтра своему коллективу? Как посмотрит в глаза уставшим и злым мужикам?..

Почему-то вспомнилось, как во время студенческой практики она работала в деревне, из которой в район всегда приходилось добираться с трудом. В определенное время от остановки, расположенной у совхозной конторы, один раз в сутки в район отправлялся «пазик». Не автобус, а сельскохозяйственный «грузовик», тряский и грохочущий всеми своими составляющими частями, который давно пора было сдать на металлолом. Но он возил людей, и люди в нем ездили. Неоднократно приходилось трястись до райцентра в нем и Людмиле. А в тот день перед ней стоял выбор: закончить срочную работу или на три часа раньше удрать, практика завершена, и собранный чемодан стоял рядом. Комсомольская ответственность удрать не позволила. Позже водитель совхозного газика, срочно откомандированный в райцентр, согласился подвести Людмилу прямо на вокзал. Они ехали и трепались о том и сем, так как оба были молоды и хороши собой. И вдруг с возвышенности, на которую поднималась дорога и открывался вид на близлежащие поля, они увидели сбоку от шоссе перевернутый и раздавленный «пазик», несколько машин и скорую помощь. А еще... белые простыни, разбросанные там и тут вблизи автобуса. Водитель газика затормозил и при-

свистнул. А Люся тупо спросила: «Зачем простыни разбросали?» Парень сочувственно посмотрел на нее, а она, с трудом сообразив, что случилось, так как соображение отказывало ей, молниеносно прикрыв рот рукой, выскочила из машины, чтобы склониться над колеей, так как судороги сжимали желудок и выворачивали его содержимое.

Как выяснилось потом, в автобус врезался огромный трактор «Кировец», управляемый в дым пьяным водителем. Из тех, кто был в автобусе, никто не выжил.

Людмила погасила свет в кабинете. И оставила холодный цех.

Всю ночь на нее наезжал «Кировец» или ее расстреливали из автоматов. Она вскакивала на кровати, обхватывая голову руками, которая пылала и плыла, в висках стучало. Не сумев справиться с силами, Людмила снова валилась на подушку, и снова на нее наезжал «Кировец», и снова ее расстреливали. Утром она не могла оторвать горячую голову от подушки. Все тело ломало. В горло будто кто-то насыпал битого стекла, и каждое движение доставляло ей боль, боль, боль. Неимоверным усилием воли Людмила заставила себя встать, выпить чаю и прополоскать горло. Градусник боялась брать в руки. И все же. Ртутный столбик перевалил отметку 39. Нашла в коробке с лекарствами аспирин, выпила. Бросила пару таблеток в сумку. Уличный термометр показывал минус тридцать пять. Значит, детям в школу не идти, пусть спят. Разбудила на работу ворчащего мужа, и, не в силах реагировать на что-либо, толкнула входную дверь.

Потом, пытаясь в памяти восстановить это утро, она не помнила, как преодолела до работы три километра по морозу и темноте, как вошла в цех и поднялась в кабинет. Первая картина того дня, всплывающая в памяти, ассоциировалась с первыми проблесками дневного света за окном и жесткими лицами ее рабочих, пришедших грузить мебель.

– Они не приедут, – мученически преодолевая боль от дробленного стекла в горле, сказала Людмила. – Не нашли машину, да и мороз такой.

В ответ молчание до того момента, пока бригадир Самойлов резко не произнес:

– Зачем все это надо было начинать? Если в цехе нет никаких условий для работы? Если нам платят низкую зарплату. И никто не ценит наш труд.

– Низкую? – не слыша свой голос, переспросила Людмила. – Никто не ценит?

– Ни в одной стране так к рабочим не относятся, вот в Германии...

– А вы там были?

– Нет, не был, но буду. И никто меня не удержит, никакие ваши миллионы, вы даже один не способны выплатить.

Все остальные хмуро молчали. Злые мужики сидели перед ней, а она стояла перед ними будто распятая. Ей хотелось забыться, просто забыться. Она не знала, сколько времени продолжалась эта казнь. Пока она явно не услышала:

– Даем вам два дня на решение вопроса, и вообще... мы можем работать и без вас, так цехом и я могу руководить. Короче, если через два дня не будет денег, то и вас...

Она не услышала, что с ней будет дальше. На нее снова стал наезжать «Кировец»; чтобы не упасть, она оперлась на стол и тихо, но жестко потребовала:

– Оставьте мой кабинет, можете идти по домам, в цехе все равно работать нельзя.

Они ушли. Директор обходил промплощадку. Зашел и в мебельный. Поднялся к ней в кабинет. Закурил. Она поморщилась. Посмотрел на упакованную мебель.

– Когда заберут?

– Не знаю.

Затянулся:

– Плохи наши дела, Людмила Григорьевна, трест хотят обанкротить и продать.

– Как продать? – тихо выдохнула Людмила.

– Естественно, как? Бандитам. Сейчас бандиты всем управляют. Вот и ты мебель для них делаешь.

– Я же за деньги, – будто оправдываясь, с трудом произнесла Людмила.

– Да ты – молодец, я тебя не упрекаю, – погасил окурок в импровизированной пепельнице, невольно сморщился и схватился за левую сторону груди, но тут же выпрямился, и, глядя в затянувшиеся инеем окна, произнес, – да-а, мороз. Ничего, еще повоюем, они мне предложили вместе с ними банкротить трест. Мне, двадцать лет возглавляющему предприятие, стать продажным жуликом! – возмутился доверительно директор и посмотрел на Людмилу: – Да ты, комсомолка, не в себе, больна что ли?

– Есть немного, – каждое слово ей давалось с трудом.

– Да не немного. Знаешь что, садись в мою машину и езжай домой.

Она не стала сопротивляться.

За мебелью приехали через два дня. Пока грузили КАМАЗ, Людмила сдавала в кассу треста деньги и получала на подотчет для выдачи зарплаты. Другая часть была оставлена ею в цехе. Когда КАМАЗ отъехал, увозя набор «Мелтекс», лучший из произведенных ими когда-либо, она не чувствовала грусти от расставания с ним. После того, как она сутки пролежала в забытьи, вместе с болью в горле отболело и что-то глубже.

Она выдала зарплату. Ей хотелось услышать какие-то слова поддержки, элементарный вздох облегчения, вместо этого она услышала фразу:

– Мало денег.

И тогда она почувствовала себя совершенно больной, усталой и разбитой. Захотелось уйти. Никого не видеть, ничего не слышать. Она чувствовала, что рабочие ее предали, а самое страшное, что они предали идею создания нового производства.

Людмила делала неутешительные для себя выводы: *«Я ошиблась, я потеряла ту золотую середину, что является необходимой для руководителя, когда органично сочетаются адми-*

нистративный и демократический стиль руководства. А может быть, никакой демократический стиль на производстве и неприемлем. Порой я излишне привязываюсь к людям. В деловых отношениях это непростительно. Уважая своих мастеров, я пошла у них на поводу, я снизила роль руководителя в плане проявления своей воли, своего слова, постановки и выполнения своих задач и планов. И я больше не верю в этих людей, и в то, что смогу работать с ними дальше».

Как там было в советской пьесе? Производственное совещание, смерть директора от инфаркта, любовь.

Совещаний было много, но они не спасли трест от банкротства. Директор умер от инфаркта за рабочим столом незадолго до этого. Сразу после его смерти Людмила оставила трест. Ее опыт по созданию нового производства был оценен, и она получила приглашение возглавить частное предприятие в соседнем городе. Бригадир Самойлов пытался руководить цехом при новом управляющем директоре, но хозяин его не оценил. И тогда, взяв немецкую фамилию жены, он уехал в Германию, где умер спустя три года от сердечного приступа, так никем и не признанный. Художник Геннадий Петрович снова стал оформителем в дышащем на ладан Дворце культуры, где часто вспоминал лучший период своей жизни, когда был дизайнером в мебельном цехе.

А любовь? Любви в этой истории никакой не было. Пожалуй, кроме любви к азарту.

ЯВЬ И МИРАЖИ ВЕРОНИКИ РАДУЖНОЙ

Была у Ники Радужной дурацкая привычка копаться в себе и своей жизни. Выискивать собственные несовершенства и анализировать «подарки» судьбы, преподнесенные свыше за время ее полувекового существования. «Подарки» были разными, не всегда приятными, но она была уверена, что все в жизни дается неспроста и обязательно для чего-то.

Вы спросите, кто такая Ника Радужная? Филолог, а временами – журналист. Одно другому в ее жизни не мешало. И филологом, и журналистом она была хорошим. А фамилия? Фамилии у людей бывают разные. Женщины к тому же имеют способность выходить замуж, заодно приобретая мужа и фамилию. Радужной Ника стала во время второго замужества. Фамилия ей нравилась. Гораздо лучше ее девичьей и уж точно лучше фамилии первого мужа. Теперь ей не нравилось все, что было связано с первым.

Да и вспоминать о нем не стоило. Она бы и не вспоминала, если бы он, выматывая ей кишки, частенько сам уши не грел у телефонной трубки. Именно кишки, ибо все, что было связано с ее душой, его не касалось. Поговорить ему, видите ли, не с кем, а как же Любаша – его теперешняя жена и ее бывшая подруга? «Не то, – говорит он, – у нее сердца нет». В этом месте Ника произносит заученную фразу: «Генном, отвали». Он, оскорбившись, отваливает, а через день снова звонит. Ника бы ему легко не отвечала, так этот урод начинает дочь доставать, а Ольга его душевные приставания не выносит. Да и вообще разговор сейчас не о нем. Дело в том, что Нике, а если быть точным, то Верони-

ке Львовне, предложили ставку в институте. Преподавать русский и литературу.

Городишко их – так себе, довольно обычный шахтерский городишко, но политехнический институт, громко говоря, для формирования инженерных кадров здесь имелся. Правда, тоже заштатный, но чему-то там учили. В том числе, оказывается, и русскому языку с литературой. Особо, конечно, на этих дисциплинах не заморачивались, поэтому ставка была небольшой, что Нику вполне устраивало. Человеком она была свободным и независимым, а потому свободу свою менять на кабалу в политехе не собиралась. И вообще старалась понять, а надо ли ей это?

Она давно не преподавала. Выросли и стали взрослыми дети из ее первого класса – шестого, который она, приехав в этот город, взяла в девяностом. Выросли и стали приводить к ней в клуб своих подрастающих детей. Филологом и журналистом она была местами, а вот с детьми работала всегда. И они ее любили. И выростали рядом с ней хорошими людьми. Она не заискивала с ними, и они не становились льстецами, она их не предавала, и они не росли продажными. Она не позволяла ломать деревья, и они вместе с ней насадили целые рощи, она была влюблена в этот край, и они его любили. Она учила их выживать, и они умели выжить.

А преподавать Вероника стала сразу после окончания педагогического в своем же институте, ей это нравилось. Со временем она поняла, что жизнь слишком коротка, чтобы можно было позволить себе заниматься нелюбимым делом. И она не позволяла. Теперь же, когда много лет не преподавала, старалась понять, доставит ли ей это удовольствие? Желание понять приводило не только к привычному самокопанию, а возвращало ее в прошлое, где она не все могла себе объяснить, как ни пыталась сопоставлять и анализировать данное свыше. Честно говоря, она не очень понимала, за что народу такой огромной страны, каким был СССР, даны были девяностые, хотя лично для нее они начались счастливо.

Из записей педагогини

«„Педагогинями“ нас называли студенты всех других вузов. Девчонки – с насмешкой, парни – с нежностью. Ибо к нам в общагу можно было прийти в любое время суток, найдя здесь и стол, и дом. Своих-то парней у нас почти не было, какие парни в педагогическом? Два с половиной калеки, а в горном, например, учились такие красавцы – геологи. Студенчество наше пришлось на восьмидесятые годы двадцатого века, когда в воздухе устойчивого государства ССР стали появляться какие-то миражи. Неощутимые, неуловимые. И если мы слышали песни „Машины времени“ или местной студенческой группы „Наутилус Помпилиус“, то нам хотелось плакать и куда-то бежать».

Но летом, как и положено, мы ехали в деревню на практику собирать и записывать фольклор, где подружались с местными ребятами. Практика шла сама собой, а наша дружба с ребятами была сплошной романтикой. Почему именно в это время я вышла замуж за Геннадия Михайловича, человека из рабочей среды, я смогла объяснить себе позже. Миражи миражами, но по привычке, прочно сложившейся в нашей стране СССР, мы были запрограммированы на стабильность. Притом стабильность плановую. А что могло быть стабильнее и плановее, чем замужество за человеком, работающим на заводе?

Наверное, глубоко в душе я была романтичной, но семья и школа, пионерская и комсомольская организации воспитывали меня правильно, без всякой романтической плесени, которая, следуя их твердым постулатам, никогда не должна была пробиться наружу из моей хрупкой души. И одно время ей, то есть романтике, было не до того.

Рождение дочери, жизнь в квартире мужа, далекого от всяких миражей, вполне конкретного заводского человека, создали ощущение не только прочной стабильности, но и полного ужаса от этого самого обретенного планового счастья.

И летом девяностого года, будучи преподавательницей своего педа, оставив маленькую дочь со своей матерью, я вновь сбежала на фольклорную практику в ту самую деревню, где мне когда-то было так хорошо.

Девяностый год стал для меня поворотным. Именно девяностый. И, как мне казалось, не только в моей судьбе, но и многих других людей. Появилось много неожиданностей, а все плановое рушилось, даже спланированное на сто лет вперед. Для меня же главным стало понимание того, что я вышла замуж не за своего человека.

Мне было двадцать пять. Я так была еще молода. И я должна была, не навредив дочери, найти кого-то и что-то свое в этой жизни. Этот год прошел для меня под знаком группы „Мираж“.

Музыка нас связала,
Тайною нашей стала,
Всем уговорам твержу я в ответ:
Нас не разлучат, нет...

– пел „Мираж“, а я хотела, чтобы меня никто не разлучил с тем, кто мне был ближе Геннома, почему-то именно так со временем я стала называть Геннадия Михайловича.

Музыка меня связала с семнадцатилетним деревенским юношей, с которым мы мотались на мотоцикле, жгли костер, пучками искр взлетающий в небо. Чтобы получить такую канонаду искр, надо кидать в костер много еловых веток. И Андрей кидал! И огонь несся до небес, создавая вокруг такую головокружительную романтику! А с деревенской дискотеки неслась музыка и песни „Миража“:

День сменяет Ночь –
Так длится много лет.
На вопрос простой
Им не найти ответ.
Спорят День и Ночь,
Но мы сумеем им помочь,
Кто из них сильней.
Мне нужно это знать,
Как мне дальше быть:
Упасть или летать...

„Упасть или летать“?.. Я решила – летать. И, вернувшись с практики, ушла от мужа. Ну он меня просто достал! Сексуальный маньяк! А мне не это было нужно. И не нужны мне были его политические, дурацкие, глубокомысленные разговоры. Мне нужен



был костер, феерия, звезды! Я всегда была правильной девочкой, а тут прорвало. И в двадцать пять стала совсем не правильная. Ужасная. Мне хотелось быть молодой. А за плечами филфак: Достоевский, Блок, любимая Цветаева. И этот переломный во всех смыслах девяностый, когда появилась литература, раскрывающая жизнь великих мэтров без глянца. И оказалось, что в быту они не всегда были великими. И моя любимая Цветаева, оказывается, тоже не заморачивалась бытом, а значит, есть оправдание и мне. И в отношении профессии учителя девяностый тоже был решающим. Нас наконец-то вывели из-под ореола неземных, бесплотных существ. А то ведь учителю в понимании граждан ничего нельзя. Учитель не может спать, есть, пить, а уж любить... Ему строго настрого запрещено. А мне любить очень хотелось...»

Она честно себя временами казнила: имела ли она право на любовь лучшего своего ученика – Влада Радужного? И она честно не поняла, как он оказался тогда рядом. И сегодня порой ей становится страшно, когда она думает о том, а она ли должна была стать его судьбой? «А если это я все только подстроила? А если я сама создала ситуацию – голову на плечо положить. Прибежала сказать – спаси меня». Ну что теперь этим мучиться, когда вырос уже их общий сын? И почему Влад столько лет терпит ее, не способную вести хозяйство и дом? Уходила ведь, но он вернул ее обратно, со всеми незамысловатыми пожитками самолично обратно перевез. А она готовить и то не умеет. Всегда готовил Влад, а потом подросшие дети. Ну не дано ей от природы быть домохозяйкой. Все время манит к себе ее костер, улетающий в небо искрами, из лета девяностого. И она летит на эти искры.

«Лететь ли дальше? Зачем мне этот политех?.. – размышляла она. И опять убежала мыслями в прошлое, цепко привязавшееся к ней. – А ведь если бы не девяностый, не ушла бы я тогда от Геннома, и в родном Заводогорске не выжила. В девяностые в нашем жутком городе люди с ума сходили, под поезда от отчаяния бросались, – думала теперь Вероника. С матерью своей она жить бы не смогла. Да-да... общагу

давали ей при институте. Комната девять метров, общая кухня и общий туалет. Какой общий туалет для маленькой дочки?.. Нет, если бы не Влад, ей было бы не выжить».

Дневник писать у нее не получалось. Кропать изо дня в день хронику не могла, так как никогда не слыла системным человеком. Разве системный умеет летать? Но в девяностых писала чаще, чем потом, когда работала в редакции. В девяностых была потребность. И не для того, чтобы свои терзания сохранить для потомков, скорее – здесь и сейчас разобраться с этим самой.

Из записей педагогини

«О том, как мы развелись с Генномом и как я сбежала с Владом и маленькой дочкой в его родной город, это – отдельная история. Геннадий Михайлович меня убить хотел, а Влад за меня смело сражался, и его порывы вдохновляли меня, я чувствовала себя королевой бала. Отбившись от Геннома, ранней осенью девяностого года мы с Владом поехали к его друзьям. Это была наша первая ночь. Ему было двадцать, а женщины у него еще не было, и ему очень хотелось не просто ее обрести, но и владеть ею. Я помогла ему и позволила. И навсегда осталась его. Влад предложил мне руку и сердце. После чего и состоялся наш побег из Заводогорска, от преследующего нас Геннадия Михайловича. „Санта-Барбара“ отдыхала, не стояла, не сидела, не спала рядом с этой историей, хотя сам бесконечный сериал придет на телеэкраны нашей страны почти годом позже. Придет и войдет своим названием в обиход, как обозначение невероятных жизненных ситуаций, в то время как в девяностые у нас такое происходило, что американской ни Санте, ни Барбаре даже не снилось.

Думаю, что и Влад не раз сомневался, стоит ли связываться со мной, с моим непростым характером и вопиющим свободолобием. Нет, он мне об этом никогда не говорил, но мне так казалось, я так прочитывала в его глазах, а может быть, и мыслях. Не знаю... Но однажды мы с ним сбежали и приехали в его родной город, где он познакомил меня со своими родителями. И они мне

понравились. Не скажу, что чувство было взаимным, но они приняли меня и Ольгу, потому что любили своего сына. И я училась у них родительской любви. Что касается Влада и Ольги, то они как увидели друг друга, так и подружились, не испытывая никаких проблем с привыканием. Ольга сразу назвала его папой, а Генном остался в ее жизни «тем, кто из другого города, который пугал ее большим резиновым крокодилом». Именно так папаша выражал свою любовь к ребенку, укрепляя в семье статус самого главного. Я не раз, заступаясь за дочку, долбила его этим крокодилом по голове, но, увы, не помогало. Генном был трудно воспитуемым подростком, несмотря на свою идиотскую взрослость. А Влад с Ольгой много играл и шутил, у них сразу сложился хороший тандем. Он ее принял как свою, а ведь ему было всего двадцать. Потом друзья, воспитывая меня, не раз попрекали этим, дескать, он уже совершил для тебя подвиг: „Ты что, дура, не понимаешь, этого?“ Да все я понимала. Просто заведомо родилась на свет ненормальной. Меня надо любить такой, какая есть, или не любить совсем. А зачем переделывать?.. В отличие от друзей Влад не переделывал, позволяя оставаться самой, настоящей и свободной.

В родной его город – Северошахтинск, мы приехали в ноябре девяностого. У меня было ощущение, что я читала до этого книгу, и вот... перелистнула страницу и закрыла книгу совсем. Передо мной – белый лист, как тот белый снег, который укрывал весь Северошахтинск. В Заводогорске такого чистого снега не было никогда. Только копоть и дым. Теперь я могла писать книгу своей жизни с чистого листа. С самого начала. И все, что я буду писать, будет создано только мною.

Меня принял в свои объятия уютный город, укутанный белыми, пушистыми сугробами. У Влада здесь была родительская квартира, а сами они жили в частном доме. Я пошла работать в школу, став заниматься любимым делом. Мои дети из шестого класса любили меня, а я – их. Жизнь казалась сказкой. И если бы не страшные вести из Заводогорска, где моим знакомым месяцами не платили зарплату и они буквально выли от безысходности, я бы ничего не знала о реальности девяностых. Но даже когда до

меня доходили эти вести, я не заморачивалась, ведь это лично меня не касалось.

У меня были дети, мы готовили с ними Рождество и масленицу, которые теперь можно было открыто отмечать. Ходили в походы и экспедиции. Я влюбилась в этот край, стараясь его понять. Вот, например, почему поселение, где нет ничего сельского, называют рабочим селом? Мне объясняли: „Село, потому что была церковь. А рабочее – потому что жили золотари“. Золотари! Что-то было магическое в этом слове. В Заводогорске мои друзья мучились безденежьем, не зная, чем накормить семью, а здесь я об этом не думала, потому что после школы ехала на автобусе к бабе Вале, бабушке мужа. Она жила в своем доме, где всегда было сыто и тепло. Баба Валя бесконечно варила, стряпала, пекла и кормила нас всех – детей, внуков и правнуков. Как ей все удавалось? Я не задумывалась об этом. И уж, конечно, тогда не знала о том, что баба Валя научилась выживать еще в тридцатые годы, когда ее, пятилетнюю малышку, голодный мужик полоснул топором и убил ее восьмилетнего брата. Об этом она, раскулаченная, репрессированная, рассказала мне гораздо позже, а тогда просто кормила нас и кормила.

В августе девяносто первого по телевизору вместо традиционных „Новостей“ неожиданно появился балет „Лебединое озеро“, в нашей стране – всегда предвестник беды. И точно! В ходе противостояния в Москве – танки в центре города, три жертвы. Ельцин как единственная надежда. И мой внутренний вопль: „Не дай нам Бог сойти с ума!“ Я взахлеб читала Солженицына – „Архипелаг ГУЛАГ“ и в „Круге первом“. Впервые осознавая: что-то с нами было не так. И задаваясь вопросом: что нас ждет впереди? Ведь никто не знал, чем дело кончится. И никто не представлял, что будет реставрация какого-то капитализма. В городе вовсю процветала торговля подпольным спиртом „Рояль“. Одни помирились от этой дряни, другие – сколотили на этом состояние и стали первыми в городе бизнесменами».

При всей красивости своей фамилии и общей дружелюбности Вероника – человек в общении сложный. Вернее, очень даже легкий и открытый, но не со всеми. Думаете, какое

слово она не любит больше всего? Ни «в жисть» не догадаетесь. А слово это, пришедшее в нашу речь в конце девяностых, называется «толерантность», то есть терпимость. Ну, что такого в нем особенного? А Нику оно бесит: «Что за ерунда – терпимым быть к другим? Я принимаю человека или нет, а причем тут терпимость? У меня есть отношение к явлению, и это – мое отношение, вообще-то я – мыслящее существо, а не терпящее того, что не приемлет моя душа», – бескомпромиссно заявляла она в любой аудитории. Вот, вот! Вся причина в душе. Душа ее всегда должна пребывать в комфорте, чему должна служить оболочка. А оболочка не терпит искусственности и фальши. Сложно? Да нет, нормально. Просто она – настоящая. Как кора на дереве, песок у реки, роса на траве. Она – естественная, без всякого наносного и корыстного. Ее не бывает много, а всегда ровно столько, насколько в ней возникает потребность.

Любит Вероника босиком ходить по траве и смотреть на звездное небо, любит домотканые половички, полевые цветы-ромашки и тайгу, где чувствует себя как дома. Любит вещи называть своими именами, а это любят не все. А потому и не все любят ее. А она не напрягается по этому поводу, и тех, кто разбогател на спирте «Рояль», солью земли не считает. Да и вообще не считается с ними, всегда помня о том, откуда пришло их богатство.

Больше ее мучил другой вопрос: «Как же так случилось, что в девяностые в одночасье рухнули все наши прежние скрепы? Ну, хорошо, – вела она внутренний диалог с собой, – СССР развалился, не выдержав проржавевших идеологических и экономических пут. А куда же делась наша духовность, самая что ни на есть национальная скрепа?» Вероника жила в городе горняков, и точно знала, что даже один надломленный вертикальный столб крепи в шахте может обрушить всю горную породу и навсегда похоронить проходчиков. «А тут рухнуло все! Разом! Видимо, крепи наши подгнили совсем. А может быть, их удачно пошатнули извне?..» – от этой осенившей мысли у нее и сейчас округлились глаза.

Из записей педагогини

«И все же я была счастливым человеком до тех пор, пока реальность девяностых не настигла и меня. Я попала в секту, которые тогда нещадно множились и плодились, повсюду набросив свои сети, будто щупальцами стискивая души бедных людей, жаждущих веры хоть во что-нибудь, хоть какой-то надежды и света. Откуда столько взялось американских проповедников в еще недавно закрытой области, для меня, как и для многих других, оставалось секретом. Будто их высадили целый десант. И они зажгли огонь возрождения, заполняя духовную пустоту внутри нас. И мы устремились к этому огню. Кроме общего беспросвета, в которое было опущено наше общество, у каждого пришедшего в секту была своя личная боль. У меня в те дни девяносто пятого тяжело заболел трехлетний сын. У него на тельце непонятно откуда и по какой причине возникла никому не известная, даже врачам, гнойная гематома. Дело шло к летальному исходу. Уже готовили вертолет, чтобы нас увезти в областной центр. А тут оказалась нелетной погода. Я в больнице днями напролет твердила, как учил пастырь Михаил: „Господи, спаси! Господи, спаси!“ Михаил вместе с сестрами меня не оставляли и тоже много молились. Через сутки нашей непрерывной мольбы сыну стало легче. Нас стали лечить на месте. И тогда я поняла: Бог есть. Это только Он помог.

Моя секта называлась „Сеятели семян“. Проповедник наносил факелы на карту нашей области, которые, по его словам, зажигали сеятели. Весь наш край горел их факелами. Они могли заманить к себе приветом и любовью, сочувствием и поддержкой. Первый раз я пришла просто послушать проповедь, душа искала веры. Ведь в девяностых у нас отобрали все – идеологию, согласно которой мы жили, надежду в страну и ее верный курс, в ее „богатство и справедливость“. Отобрав, погрузили в хаос, а хотелось веры. И эту веру несли нам американские проповедники. Правда, вместе с чуждой религией, прославляющей богатство и деньги. „Если ты не богатый, то ты – никто. Если богатый, то Бог тебя любит“, – такой был мотив всех проповедей.

Как и многие, я сначала им поддавалась. Но постепенно стала осознавать, что не хочу просто так впитывать манную кашу, что вкладывают мне в мозги. „Что они хотят из нас сделать?.. – спрашивала я себя. – Зачем забрались в нашу тьму таракань? И зачем клеветают на православие, начиная с почитания икон как образов, заканчивая книгами?..“

Я пыталась во всем разобраться. И если я не подседа на телевизионные лекции так называемых врачей-телеведущих, Кашипарового и Чумного, когда люди, будто массово сходили с ума, заряжая у экранов телевизоров воду, крема и мази, то и секта не смогла кардинально повлиять на меня. Я многое там поняла. Когда меня убеждали в том, что монастыри – это зло, я отвечала, что многие библиотеки сохранились, благодаря монастырям. Я все больше и больше убеждалась в том, что передо мной люди, проповедающие нам свои истины вполне с определёнными целями, способные совершенно в американском стиле заводить людей на эмоциях, раскачивая толпу. Я это почувствовала, ощутила на себе. И поняла: это – серьезно и страшно. Так можно лишиться разума и собственного отношения к жизни, собственной оценки происходящего. Возможно, на это и был сделан расчёт. Навязать чужую психологию, а через это и чужую идеологию, обесценивая при этом все, во что верили мы с детства. Верила ли раньше я в Бога? Думаю, да. Быть может, неосознанно, но верила. И верила в стяжание духа святого, одну из православных ценностей, стремление к высокому и достижению высокой духовной цели, а не набить себе карман любой ценой. А чему учили эти сеятели и всякие хаббарды? Что главное в мире – золотой телец и потребитель. Тезис – неприемлемый для меня. Хотя должно сектантским мантрам я отдать должна, они держали меня в своей паутине три года подряд, однако, не удержали...»

Филологом и журналистом она была временами. А большую часть жизни провела рядом с детьми, тем самым сохранив свой собственный скреп. В созданный ею клуб влюбые годы приходили девчонки и мальчишки. И оставались. На удивление осталась и Марина, бродившая по городу, что кошка бездомная – нечесаная и голодная.

Тринадцатилетняя девчонка из бедной, неблагополучной семьи толкнула дверь клуба и спросила: «Сигаретки не будет?» Вероника вместо курева предложила ей чай. Маринка согласилась, жрать ей очень хотелось. Согревшись за чаем, решила посидеть еще. А куда ей было идти – к пьяницам-родителям или подружкам, околачивающимся по грязным подъездам? По крайней мере, здесь тепло и не жалеют сладкого чая с печеньем. «И тетка эта ничего, в поход зовет, там тоже кормить, наверное, будут», – думала Маринка. Но курить ей все же хотелось: «А сигаретки не найдется?» Тетка ответила: «Перебьешься». Маринке и это понравилось, морали не читает.

А в походе том костер горел такой яркий, с улетающими в небо искрами, и кашу варили с тушенкой, и Сережка помогал ей рюкзак нести. В общем, прижилась Маринка к теплоте и, в ее понимании, харчевому месту и не заметила того, как стала вместе с Львовной деревья в парке белить, книжки умные читать. А после школы совсем сдурила и пошла на педагога учиться. И выучилась ведь! И за Сережку замуж вышла, и сына ему недавно родила.

В этих детях и была главная правда Вероники. Ее вера и сила.

Из записей педагогини

«Сектантская паутина была точно рассчитана на наше состояние в девяностых. В советское время, в СССР, мы были одержимы верой в светлое будущее, для целых поколений это был коммунизм. А тут разом все отобрали и ничего не предложили взамен. А секты предлагали и активно воздействовали на молодежь. В девяносто первом я писала прямо в классе на доске: „Не дай мне Бог сойти с ума! Не дай нам Бог сойти с ума!“ Пролитая в те дни кровь притянула к себе следующую кровь. Стали нормой бандитские разборки на глазах горожан. Я боялась вечерами ходить по улицам с коляской, где мирно спал маленький сын. А потом пришла эта страшная беда – наркомания. Началось все с нюхательных

пакетов. Они валялись везде. Дети надевали пакеты на голову и нюхали клей и всякую дрянь. Разбитые, распахнутые настежь двери подъездов замызганные привлекали к себе малолетних наркоманов. В подъезд страшно заходить, даже днем. Откуда все это взялось?.. А потом в город зашел герыч. Наркотик такой – героин. Сколько подростков и молодежи на него подсело! И молодежь стало выкашивать. Мальчишки и девчонки, подсевшие на герыч, реально умирали. Люди впадали в ступор, не зная, как противостоять неизвестной раньше беде – наркомании. Мы остались один на один с этой язвой, косившей молодежь. Растерянность, подавленность, бездействие. Никто не знал, что делать. Даже подъезды закрывать додумались не сразу. Но герыч научил, заставил.

„Не дай мне Бог сойти с ума!“ Меня, бывшую пионерку и комсомолку-активистку, защищала вера. Я не знала молитв и только бесконечно твердила «Да светится имя твое», фразу, видимо, пришедшую ко мне из прошлого, от моей бесконечно любимой верующей бабушки. Наши бабушки спасали нас во мраке девяностых. Откуда пришел этот мрак и почему вместе с „Миражом“?..

Мраком, только мраком можно было объяснить жуткие истории изнасилования и убийства малолетних детей, словно цепной реакцией прокатившиеся одна за другой по маленьким провинциальным городам. Разве можно было раньше представить, чтобы взрослые, состоявшиеся мужики насиловали и четвертовали маленьких детей и расчлененные тела выбрасывали в мусорные баки или закапывали в парке? Весь этот бред не укладывался в голове. Не обошла такая беда и наш город. Страшно морозным декабрьским днем весь город черной рекой стекался к школе, где в актовом зале, на постаменте, в маленьком гробу с большими белыми бантами лежала зверски убитая второклассница. Ее буквально собирали по частям. На детском лице сквозь пудру и крем проступали синяки и ссадины. Город погрузился в скорбь. Мы еще не знали, как реагировать на такое зверство, не понимали, как утешить друг друга и спасти сошедшую с ума мать девочки. И мы не хотели удерживать себя от ненависти, глумясь над пожилыми родителями убийцы и устраивая им самосуд. Время высвобождало звериные инстинкты, выпуская на свободу грех и порок. Нехороший штрих, показатель, лакмусовая бумажка времени.

Откуда все это взялось?.. Ведь именно тогда мы слушали песни внезапно погибшего в девяностом году Виктора Цоя и вместе с ним ждали и требовали перемен:

*Перемен требуют наши сердца,
Перемен требуют наши глаза,
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен
Перемен!*

Мы ждем перемен.

Какой драйв мы испытывали от его концертов, затирая в пыль и без того некачественные записи! Мы молоды! Мы – то поколение, которое все сможет! Мы жаждем перемен! И свободы! Внутренней свободы! И девяностые свободу нам обещали. В обмен... на пройденный мрак».

Но иногда и ей хотелось вопить от возмущения. Или отхлестать по щекам эту чертову Нинку. Сколько лет она бьется с ней. После смерти матери, когда ей было пятнадцать, она взяла Нину под свое крыло. И все же не уберегла. В какой-то момент девчонка, красоты необыкновенной, подседа на наркоту. Как же Ника тянула ее из этого ада! Как тянула! Но не вытянула. По проторенной своими подружками дорожке Нинка отправилась в тюрьму. Вероника злилась, не сдерживаясь от эмоций, ругала и Нинку, и себя, бездарную педагогиню. А выпалив весь запас малохудожественных слов, пошла в банк платить кредит за эту идиотку. И платила, пока не выплатила весь. И ездила к Нинке в тюрьму, увидев ее, обняла, и обе разревелись.

Освободилась Нинка условно-досрочно за хорошее поведение. И обратно к Веронике под крыло. Та на работу ее к себе взяла, учиться заставила. Сейчас девицу не узнать. Замуж вышла, детей родила, на машине гоняет, и как допинг для нее во всех случаях жизни звонок Нике по телефону: „Вероничка Львовна, а вы очень заняты?..“»

Все. Вероника поняла, что политех ей нужен. Первого сентября она вновь, как и много лет назад, войдет в аудито-

рию. И не важно, что там требует программа, но она начнет с «Гранатового браслета» Куприна. Она будет говорить со своими взрослыми детьми о любви. О том, что только любовь может быть величайшим достоянием каждого из нас, что только это чувство может маленького человека сделать великим и подвигнуть на возвышенные поступки. Только любовь созидательна, даже если она безответна, что даже трагическая любовь – это чувство, очищающее душу. Она постарается до них донести, что только «любовь заключает весь смысл жизни – всю вселенную!» – как писал автор «Гранатового браслета», но этот дар надо заслужить. Не пошлостью, не цинизмом и даже не конформизмом, а только искренностью и полной самоотдачей.

А если они не поймут таких слов? Тогда она им расскажет о Цое, а чтобы они почувствовали настоящий драйв, включит им песню «Мы требуем перемен». Молодежь всегда ждет перемен. Ее мысли прервал телефонный звонок: «Вероничка Львовна, а вы очень заняты?» – «Для тебя, душа моя, всегда свободна», – ответила она Нинке. И успокоилась: «Поймут».

ФАМИЛЬНАЯ РЕЛИКВИЯ

Остановившись перед огромной темной лужей, Вера вдруг почувствовала, как эта лоснящаяся, ехидная грязь будто втягивает в себя последние капли оптимизма, которые она пыталась сохранить на длинном пути от работы до дома, бесконечно преодолевая раскисшее весеннее бездорожье. Лужа была похожа на чернильное пятно, безобразно растекшееся и занявшее всю возможную для прохода часть переулка. Чернила Вера помнила из детства, хотя ей писать ими уже не пришлось, – когда она пошла в первый класс, им вручили шариковые ручки, – а вот старшая сестра почти каллиграфически выписывала в своих тетрадках острым чернильным пером. Таня писала аккуратно, а бутылку с чернилами как-то пролила именно Вера. Решив тоже попробовать поводить пером и заправляя чернильницу, не удержала бутылку и пролила темно-синюю жидкость прямо на тетрадь, в которой, готовясь к школе, выводила кружочки и палочки. Пятно, простирая безобразные щупальца, расплзлось по всей странице. Вера очень испугалась кляксы – живой, ползучей и какой-то зловещей в своем намерении захватить всю тетрадь. Ее спасла Татьяна, объяснив, что клякса все же не живая, но тетрадь придется выбросить. Клякса в виде этих грязных луж, пусть и не живая, но преследовала ее всю жизнь.

Вера мерила глубину водостоя, осторожно ступая резиновыми сапогами в мутную воду и нащупывая дно, надеясь, что высоты сапог хватит, чтобы не зачерпнуть через верх. Наконец, преодолев вредную кляксу и выбравшись на сушу, Вера обрадовалась, что дом почти рядом, но отчаяние взяло верх. И она невольно вспомнила тех друзей детства, что в девяностые вовремя смекнули уехать за границу

и теперь оттуда любили родину всей душой, расточая при встрече речи об истинности патриотизма, который только и можно в полной мере почувствовать вдалеке от родины. Ну, конечно, что бы его ни почувствовать, сидя, например, в благополучной Германии, а сюда – в родную деревню – наезжать только с одной целью – выпить всю имеющуюся в окрестностях водку, чтобы потом до очередного приезда вести во вновь избранном отечестве благообразный образ жизни.

А вот она, Вера, окончившая в тех же девяностых годах один из престижных вузов бывшего Союза – институт физики и электротехники в Новосибирске, пошла против всех правил, только чтобы вернуться в родное село, в полной уверенности, что ее жизнь может состояться только здесь. И теперь, когда большая часть жизни уже прошла, она недоумевала: за что родина ее так не любит? Пятьдесят лет она прожила в Кузьминке, наблюдая смену власти, идеологии и государственного строя, и при всех этих множественных переменах неизменно ужасным оставалось только отношение к ней – человеку.

Родительский дом – просторный, добротный, со множеством строений, где она жила с раннего детства, отец в свое время специально построил почти на окраине большого села, где земли было немерено. Тогда, в шестидесятых годах прошлого века, в Казахстане землю больше измеряли гектарами, и участки под частные огороды отводили соток по пятнадцать-двадцать, а поскольку с водой всегда было трудно, то дом, построенный рядом с котлованом, вырытым для водоплавающей птицы, очень ценился. И перед этими преимуществами отступали все прочие. Не очень тогда, например, задумывались над тем, что детям далеко придется ходить в школу, в самый центр, по неблагоустроенным улицам, не отсыпанным щебенкой переулкам, где весной и летом в дождливую погоду из липкого чернозема было не вылезть. Вера помнит, как в такую погоду шла в резиновых сапогах почти половину пути, потом снимала их, надевала туфли, которые несла с собой в портфеле, а сапоги

оставляла в палисаднике у знакомых, чтобы на обратном пути вновь переобуться и добраться до дома.

Но вот прошли семидесятые, когда она ходила в школу, потом восьмидесятые, когда училась в институте, потом девяностые, когда измученное и истерзанное лихолетьем село кое-как выживало; теперь уже кануло в лету первое десятилетие нового века, а мучившее Веру бездорожье по-прежнему оставалось незабываемым. И теперь она отчаянно думала о том, о чем думала всегда в такой ситуации: «Неужели за полвека так и нельзя было победить чертову кляксу – построить дорогу, чтобы по полгода не ходить людям в резиновых сапогах, утопая по колено в грязи. Когда-то я мечтала, что будут тротуары и фонари. Уже не мечтаю. Не будет ничего и никогда», – вздохнула Вера, наконец-то добравшись до крыльца.

Хозяйство у нее было небольшим. С десяток куриц, на которых был один петух, да кошка Соня с котенком. Пока она целый день была на работе, куры с петухом и Соня с котенком прекрасно себя чувствовали в огромном дворе, где когда-то размещалось большое хозяйство из коров и свиней. Но с ее возвращением ближе к кухне подтягивались и коты, надменно демонстрируя свое преимущество над всеми, в том числе и над ней.

– Ой, какие мы важные, – говорила с ними Вера, накладывая в кошачью миску свежих рыбешек, купленных на рынке по пути с работы, – и за что я вас, лохматых, только люблю?

В остальном – приготовлением еды она себя не утруждала, довольствовалась бутербродом с чаем и глазуньей. Жалела время, которого и так не хватало. В такую грязь в огороде делать было нечего, она взяла книгу, не дочитанную вчера, и отключилась. Кто теперь бы мог поверить, что Вера, вслед за старшеклассницей сестрой, в восемь лет прочитала «Анну Каренину». Но роман ей не понравился, ничего она в нем не поняла. Теперь понятно все, и не только с Анной Карениной, но времени на чтение, как и жизни, оставалось все меньше и меньше, она читала каждую свободную ми-

нута, чтобы, как она любила выражаться, будоражить свое поблекшее воображение и шевелить усохшие мозги.

Внезапно погас свет. Она отложила книгу. Электричество и теперь нередко отключали в Кузьминке, а уж окраина села, хоть и дополнилась новыми улицами, так и была погружена во тьму, как и в девяностые годы, когда впервые после советского времени все лампочки на столбах, забранные в примитивные металлические сетки, одновременно погасли. Видимо, тем самым возвещая о наступлении новой эпохи. С тех пор темные кляксы растекались не только под ногами, они накрыли плотной тьмой улицу и сверху.

Вставать не хотелось. Вера укуталась в одеяло, но ей не спалось. За что родина ее так не любит? Как говорит Лена, ее подруга детства: есть – родина, а есть – государство. Не любит государство, а родина все терпит вместе с ней. Родились они с Ленкой в одном государстве, а потом, разделив Советский Союз, разделили и их. Лена теперь в России, а Вера, как и прежде, в Казахстане. Могла бы тоже остаться в России: после окончания с отличием престижного вуза получила хорошее распределение, но, проявив недюжинную смекалку, провернула трехкратный обмен направлений, после чего вернулась в родную Кузьминку. Она могла жить только здесь. Под этим небом небывалой ширины и глубины, среди этих степей, настоянных на запахе трав, и березовых рощ, где осенью, шурша листвой, собирала грузди. А еще она была маминой дочкой. И хотела домой. Мама, встретив ее, вздохнула – желала лучшей доли для младшей. Но втайне от нее согласилась: начало девяностых было беспокойным, откуда-то изнутри государства вдруг, словно жало, вылез национальный вопрос. Времена наступали смутные, а на своей земле со своим хозяйством всегда можно продержаться. Старшая их дочь Татьяна уехала далеко, но и ей они помогали. Когда в России перестали платить зарплату, одну из пенсий отправляли ей.

Вера, не успев устроиться, потеряла работу. Никому ее престижный институт в Кузьминке оказался не нужен, как и специальность, которую под силу было получить толь-

ко хорошим физикам. Вот и вышло: из института – в никуда. Семья Львовых в Кузьминке считалась крепкой, как и их дом, и хозяйство. Глава семьи Антон Александрович – мужчина большой и сильный, был человеком работающим, непьющим, радеющим за достаток семьи и образование дочерей. Его жена Мария Дмитриевна – женщина добрая, отзывчивая, всю жизнь работала с детьми. Ее любили воспитанники, уважали родители. И своих дочерей она воспитывала, никогда не употребляя дурных слов и нелестных примеров. Они с мужем – дети войны, знали, что такое голод и безотцовщина, не понаслышке знали, что такое выселение и раскулачивание, потому и пустили корни на своей земле, будто этими корнями хотели удержаться, защититься от всех напастей. Поэтому, не раз успокаивая дочь, потерявшую работу, Мария Дмитриевна приговаривала:

– Лишь бы под окнами не стреляли, а то бежать-то некуда. А прокормиться – прокормимся.

– Давайте к Тане поедем, – предлагала в ответ Вера и особенно уповала на отца, – и ей поможем, и все рядом будем, и я работу найду.

Родители молчали. А потом с трудом выдавливали из себя:

– Как же без земли? – будто виновато спрашивала Мария Дмитриевна.

– Вера, подождем еще немного, – примиряюще предлагал отец. – Вдруг все образуется.

«Образовалось, – кутаясь глубже в одеяло, вспоминала Вера. – Не дай Бог, как образовалось». На работу ее взяли в местные электросети, ничего хорошего ей это не предвещало: добираться пешком приходилось километров пять, зарплату, как и везде, там тоже не платили. Электропровода и кабели на всех участках воровали дуром, за чем следовали аварии и отключения электроэнергетики, и так подаваемой с большими перебоями. А следом жалобы и проклятия населения, и новое воровство, и новые аварии, и новые жалобы... Вера работала потому, что не работать не могла. А выбора у нее не было. И в этой битве за выживание никто из них троих не заметил, как заболела Мария Дмитриевна.

Онкология подкрадывалась незаметно, а когда заявила о себе, то было поздно. Однако Вера не смирилась с приговором. И откуда у нее, казалось бы, такой избалованной родительской любовью дочки, взялось столько сил и решимости, чтобы не просто ухаживать за больной матерью, но и скрывать истину от отца. С навалившимся горем обнажилось другое, что большой и сильный мужчина – опора всей семьи – совсем не готов противостоять болезни жены, а еще больше – остаться без нее. К великому счастью, Вере удалось определить Марию Дмитриевну в областную онкологию. С пониманием отнеслись к ней и на работе, разрешив находиться в конторе неполный день, да и не убудет от конторы, где зарплату забыли, когда выдавали. Как ее на все хватало? Ранним утром пешком она добиралась до электросетей, отработывала полдня и на любом имеющемся транспорте, вплоть до попуток, ехала сотню километров до областного центра. Всю дорогу до больницы Вера уговаривала себя держаться, чтобы мама не видела ее слез, и, глубоко вздохнув перед дверью палаты, входила спокойная и деловитая:

– Мамочка, вот и я, – присаживалась она на край кровати, брала исхудавшую руку матери в свои ладони и говорила ей ласковые, утешительные слова, баюкала ее руку, веря, что сила ее любви удержит родную ей душу на этом свете.

Когда были силы, Мария Дмитриевна приоткрывала глаза, с любовью и благодарностью смотрела на дочь, шептала:

– Верочка, ты такая маленькая, как же ты со всем справляешься? Не надо навещать меня так часто, ты нужна папе, и себя береги для дальнейшей жизни.

Вере так хотелось зарыдать: «Зачем нам с папой жизнь без тебя?» – но вместо этого она начинала, ухаживая за матерью, подбадривать ее и себя. Мария Дмитриевна исхудала, стала легкой, ничего не весящей, что почувствовали надежные руки дочери. На самом деле Вера была не маленькой, это для Марии Дмитриевны она всегда оставалась младшенькой. За два часа отведенного ей времени она успевала рассказать маме о том, что дома все в порядке, папа ходит по хозяйству и всегда думает о ней, что на работе все

нормально и теперь регулярно выдают зарплату, и как только врач позволит, они заберут ее домой, а дома, как известно, даже стены помогают, и она быстро поправится.

На обратном пути Вера позволяла себе плакать. Заскочив в какую-нибудь попутную машину, она молча вытирала слезы, понимая, что на это исцеление у нее мало времени, ровно столько, чтобы доехать до Кузьминки, а перед домом собраться с мыслями, успокоиться и войти в дом. Отец посмотрит на нее настороженно и внимательно:

– Ну что там?

И она скажет ему, что сегодня лучше, и быстро переведет тему на него самого, укоряя в том, что не выпил лекарства и не выходил из дому подышать свежим воздухом. И, схватив подойник, отправится во двор, где мычат пять недоенных коров. Она пыталась говорить с отцом, чтобы трех продать, но он и слышать не хотел, не желая предположить всю степень предстоящей трагедии. О трагедии он мысли не допускал. Он только ждал, когда Маша вернется домой.

И день этот настал. Когда Вера появилась в онкологическом отделении, сестра ей предложила пройти к врачу. Разговор в таких случаях бывает коротким и тяжелым:

– Я думаю, что Марию Дмитриевну вам лучше забрать домой, – сказал врач, опустив глаза.

Она все поняла. Замерла. И чужим голосом ответила:

– Мне нужно время, чтобы все организовать.

– Конечно, – согласился врач.

И разговор был на этом окончен. Как бы она себя к этому ни готовила, она не переставала цепляться за надежду, веруя в какое-то чудо, ведь недаром имя ей такое было дано. Верила, молила Бога, о котором никогда ничего не знала, просила силы у родной земли – не для себя, для мамы. Теперь надо было как-то объяснить отцу, что его ненаглядную Машу привезут домой, но пока ей надо лежать, пока... Вера закрыла лицо руками и зарыдала.

– Плохи дела? – спросил водитель, уже не раз подвозивший ее за полгода из областного центра.

– Плохи, – промолвила Вера.



– Быть может, помощь нужна? – спросил ее в общем-то незнакомый человек.

И она ответила:

– Нужна.

Марию Дмитриевну – маленькую, высохшую, но в которой еще теплилась жизнь, привезли домой. И она почувствовала дом. Успокоилась, спросила:

– А где Таня?

– Едет, – ответила Вера. И это было правдой. Сестра уже ехала домой.

Антон Александрович суетился рядом, старался быть нужным, строил планы:

– Вот только ты, Маша, поднимешься...

Ей стало хуже к вечеру вторых суток. Морфий уже не действовал, с трудом поворачивая голову на подушке, просила: «Хочу на землю, хочу коснуться земли. Где Таня?» Вера от нее не отходила, баюкала ее руки, поливая слезами сплетенные их вместе ладони:

– Мама, мама...

А она в забытьи:

– Таня, Таня.

Таня застать маму живой не успела. А потом были похороны. Как и полагается в селе – всенародные. Гроб с телом Марии Дмитриевны стоял в большой комнате, и люди шли и шли. Одни уходили, другие приходили. Все время кто-то сидел рядом с покойной, говорили тихо, вспоминали только добрым словом: тот детей к ней в детский сад водил, другой – внуков, приходили коллеги и подруги. Вера с Таней, с ввалившимися глазами, почти не спали все трое суток. До Антона Александровича случившееся не доходило и впоследствии не дошло, от реального мира он отгородился миром своих иллюзий, где по-прежнему оставался со своей Марией Дмитриевной.

Вера не поняла, спала она или нет. Отчего-то открыла глаза и увидела в мягком солнечном свете, заливающим всю кухню, маму в белом платочке, переливающей молоко из

подойника в банку. В окно с отдернутыми белыми занавесками видна розовая мальва, мама улыбается ей, а молоко льется, льется... И Вера удивляется, что банка никак не наполняется. Молоко льется и льется из подойника. Вдруг ярко ударило по глазам. «Свет, – подумала Вера, – дали свет». Встала, щелкнула выключателем, комната погрузилась во мрак; с удовольствием вспомнила, что завтра выходной, и, сбросив одежду, снова легла под одеяло.

Смерть жены парализовала сознание Антона Александровича. Он стал почти беззащитным дитем, о котором теперь надо было заботиться втрое больше. Сколько раз, преодолев необходимые пять километров до работы, Вера, сорванная его телефонным звонком – «ему плохо», бежала посередине дня домой. Да, отцу было плохо, но она не могла залечить его душевной раны, бесконечно саднила и своя. Уговорами и лекарствами приводила его в чувство, но не могла даже намеком показать ему собственных переживаний. Большой и сильный мужчина сдавал у нее на глазах, превращаясь в слабого и беззащитного. Иногда он забывался, выходил во двор, пытался заниматься хозяйством, но брал топор и застыбал на месте, и Вера осторожно, разжимая его пальцы и вынимая из них деревянную ручку, понимала, что лучше бы уж он к таким экспериментам не прибегал. Трех коров она все же продала. Денег, правда, много не выручила, у кого были деньги в девяностые годы? Шел сплошной товарообмен, вот и ей за коров привезли уголь и дрова, и на том спасибо, зима не за горами. Вечной проблемой оставалась вода. Скважины поблизости не было. Раньше отец возил бочки с водой на «газике», а теперь Вера на себе за три квартала тащила тележку с флягой. Изучив физику и электротехнику в институте, она поняла, что главным явлением в природе оставался человек, приспособленный к выживанию. Ну почему за пятьдесят лет ее жизни ни одна власть ни в какие времена в этих безводных краях не подумала о водопроводе? Именно в девяностые научились здесь воду продавать. И те редкие, прежде общественные

скважины пресной воды быстро превратились в частные, где воду отпускали только по расписанию и за деньги. В то время, когда отпускали, Вера была на работе, поэтому воду запасала в выходные дни на неделю. Честно говоря, она не понимала, как выжила, как продержалась, продлив еще на десять лет жизнь и отца. После его смерти легче не стало. Старый и надежный дом, Верина крепость и талисман, будто почувствовав, что утратил хозяина, стал капризничать и болеть. Черная клякса стала подбираться и к нему.

«Караул! – писала Вера Ленке в Россию по электронной почте. – У меня потекла система отопления, которую папа варил сорок лет назад, и печку надо переключивать. Представляешь, что меня ждет!»

Ленка не представляла, потому что давно жила в благоустроенной квартире, а любую сантехническую поломку воспринимала как всемирный катаклизм. «Слушай, – отвечала она подруге, – у тебя завтра День ангела. Желаю ему крепче тебя оберегать!» «Спасибо, – строчила Вера, – но мне иногда кажется, что я его достала, и он мечтает от меня избавиться». «Пусть только попробует, – не сдавалась Ленка, – отправим его тогда охранять какую-нибудь плохишку».

Ремонт отопления превратился в целую эпопею. И прежде всего надо было решить: связываться ли с этой бедой. А если не связываться, то как зимовать? «Значит, связываться, – логически рассуждала Вера, – каковы тогда будут моральные и материальные издержки?» Интуитивно чувствовала, что моральные потери ей не сосчитать, а деньги все равно придется. Она и прежде навещала могилы родителей не по установленным дням, а как почувствует, что тянет туда. Иногда так припечет, что она в обеденный перерыв хватала такси и с работы ехала к ним. А тут и родительский день приближался. Пошла Вера на кладбище, все убрала у родных могил, села на лавочку и стала мысленно говорить с папой о том, как ремонт этот злосчастный делать, ведь ничего она в нем не понимает. Поговорила и вроде легче на душе стало. А вскоре и сварщиков нашла, они пришли, чтобы оценить весь предполагаемый ущерб.

«А в дальней спальне труба отопления проходит в шкафу, – сообщала Вера подробности Ленке, – и я боялась, что из-за этого придется шкаф громить, потом кто его обратно будет собирать? А первое отделение в шкафу – папин отдел, заваленный весь какими-то мелкими железками и охотничьим снаряжением. Мы с детства знали, что трогать там ничего нельзя, да и ничего интересного там не было. Конечно, за последние годы я на полках немного похозяйничала – ружье продала, выгребла часть железа, а освободившееся место заполнила своими мелочами. Это я к тому тебе говорю, что шкафчик не такой уж и безжизненный был. И вот сварщики открыли дверцу и стали смотреть трубу, только сунулись вовнутрь, а один мне с удивлением говорит: „О, да у вас тут клад!“ – и подает пачечку советских червонцев из восьми штук. Смеется: „Дальше искать?“ Но больше ничего не нашли. А самое главное – вынесли вердикт, что трубу менять не надо. Я выдохнула, успокоилась...»

Червонцы эти Вера убрала в ящик собственного письменного стола. К чему они теперь? В музей только сдать. Но покоя они ей не давали. «Странно все это, – думала она, – папа никогда никаких записочек не держал. Зарплату маме всегда отдавал, и где деньги в доме лежали, в семье все знали. А тут в шкафу, где я уборку уже проводила... Странно, странно это... Какую же цену за работу сварщики заломят?»

Вопрос повис в воздухе, потому что сварщики временно пропали. Знаете, как это бывает с рабочим классом? Подвернется очередная халтура, – и все, мой адрес Советский Союз, то есть ищи ветра в поле, пока халтура не закончится и деньги не пропьются, при этом психология пролетариата на всем постсоветском пространстве одинакова. Ожидание затянулось. И Вера, тоскливо оглядывая свою печь вместе с чугунными трубами, стекающими со всех четырех комнат к общему водяному бачку, пессимистично оценивала свои перспективы с ремонтом.

Что ей понадобилось в том шкафу, куда она редко теперь заглядывала, поскольку мелочи, определенные ею туда, как раз в силу своей невостребованности и были убраны

с глаз долой, но только ноги к шкафу привели, и дверцу она открыла, и тут... на ковер снова посыпались советские червонцы.

Вера присела на рядом стоящий стул. «Так, – ущипнула она себя за руку, – я живая, у себя дома, и со мной все в порядке». Она покосилась на рассыпанные на полу купюры, лежат, значит существуют материально, мысленно пересчитала, кажется, семь. Собрала, каждую потрогала руками – настоящие, ну то есть советские, с тех времен. Засомневалась в себе, все-таки возраст, и почти уверенная в том, что в прошлый раз что-то напутала, открыла ящик письменного стола. В углу лежали восемь десятков – советских, красноватого оттенка. Подумала, значит, всего сто пятьдесят, в прошлом веке точно бы на ремонт хватило. Сто пятьдесят... Ее мысли перебил стук в окно:

– Хозяйка, ты дома? Эй!

Вера открыла окно. Трезвые, даже не с похмелья, перед ней стояли двое сварщиков.

– Мы вернулись, – категорично заявили они, – сто пятьдесят тысяч тенге – и твое отопление, как новое.

Веру как током ударило: вот они, папины сто пятьдесят! «Надо будет к папе сходить и за помощь поблагодарить», – подумала мимоходом, пока определяла в своем доме место для работяг.

И сварщики во всей этой беде с отоплением оказались почти удальцами. Потягивая явно не компот из припасенной и спрятанной от глаз хозяйки фляжки, они как-то споро и почти без противоречий, куда трубу заводите и откуда выводить, за неделю разводку отопления сваяли и тут же подвели итог:

– Все, хозяйка, наше дело правое, и мы его победили, а дальше зови печника!

– Где же мне его найти? – с надеждой спросила Вера, вдруг подскажут, и выдала удальцам оставшуюся от аванса сумму.

– Знаем одного, мастер на все руки, но он сейчас болеет.

- Тяжело? – недоверчиво спросила Вера.
- Недели две уже.
- А когда выздоровеет, сколько может продержаться? – вела светскую беседу Вера.
- Может быть, и успеет тебе печку сложить, – неуверенно предположили собеседники.
- Ну пусть приходит, – на том и распрощались.

Но прежде чем сложить, печку сначала надо было развалить. И вот с этим мастер на все руки справился быстро. А уж потом время потянул от души, чем Веру просто измучил. Лето подходило к концу, а у нее ни печки, ни порядка в доме. К тому же рук требовал еще и огород, забывалась она только в своем дивном цветнике, где многолетники еще остались от мамы, из года в год любовно Верой сохранялись и маме обязательно приносились.

И в тот вечер, занятая грустными размышлениями о том, что уже второй месяц живет в полной разрухе, и автоматически делая домашнюю работу, она пережила настоящий шок, о чем только два дня спустя смогла написать Ленке. «Ты знаешь, что такое последняя капля человеческого терпения? У меня есть кошка Соня, особа, о которой я тебе уже писала. Сейчас у нее маленький котенок. Я занималась своими делами, ходила туда-сюда, а потому дверь со двора не была плотно закрыта, и в щель незаметно проскользнул чужой кот. Я была во дворе, вдруг слышу какой-то жуткий ор, подумала, что этот котенок куда-нибудь упал. Спокойно захожу, не ожидая ничего плохого, а Соня гоняет чужого кота и орет диким голосом. Двери в комнату и на веранду открыты, кот ломанулся в первую ему попавшуюся – на веранду. А там тоже сплошной завал – все ковры и паласы из дома, на диване гора постиранного белья, в том числе шторы со всего дома, на столе – гора книг из шкафа, который еще не могу в комнате поставить на место. И этот кот залетает на веранду, при этом подпрыгивает так, что оказывается на столе, книги летят во все стороны, кошка летит за ним, он повисает на шторине, кошка тоже, оба орут дурниной. Кот прыгает на окно, пытаясь вырваться на улицу, горшки

с цветами с окна летят в разные стороны. Я стою в ужасе с промелькнувшей мыслью – лишь бы он стекло не выбил. Кое-как ловлю Соньку, закрываю в кладовке. Кота с разгромленной веранды перегоняю в коридор, сама уже боюсь, как бы не кинулся на меня, потому что он совершенно без ума. В коридоре все продолжилось в том же духе. Он тоже стал прыгать на окна, изодрав в клочья тюль. На столе стояли банки, краска, кисточки, замоченные в растворителе. Все это тоже летело в разные стороны, банки разбивались, краска разливалась, под раздачу попали мои новые босножки. Наконец, мне под руку попались грабли, и я кое-как выгребла это бешеное, вопящее диким голосом животное на улицу. Он летел по дороге со скоростью звука. Надеюсь, после этого происшествия у него надолго отпадет желание ходить к кошкам на свидание. Все это продолжалось недолго, минут пять или чуть больше, но мне пришлось полдня разгребать последствия. Представь себе разорванные шторы, разбитые банки и цветочные горшки, переломанные цветы, разбросанные книги – и все пересыпано землей с растворителем. А ведь ничто подобного не предвещало, да и Соня моя, всегда такая спокойная, оказалась настоящей фурией. В общем, шок был абсолютный, одно радуется, что они не разбили окна и меня не разодрали в клочья».

Ленка читала, рыдая от смеха и слез, картина и вправду не для слабонервных предстала перед ней, и она пыталась утешить подругу: «Верка, ну я не знаю, что с тобой делать. Мало того, что печник все в доме разнес, еще и коты помогли. Ну это, правда, какой-то триллер. Я бы тоже испугалась. Обезумевшие кошки – это дикие звери. Ну и умеешь ты свои истории живописать, что ты делала в своем электрофизическом институте, тебе только книжки писать».

Вера книжек не писала, но природу человека чувствовала тонко. И за каждый организм, наделенный душой, очень переживала. Работа ее была связана с пенсионерами и социально-нуждающимися людьми, и вот тут-то душа ее раскрывалась. И хоть воспринимала она «службу» в государственном учреждении неизбежным злом, но

обязанности свои выполняла четко. И людей выслушивать умела. А потому все жаждущие льгот, пособия и просто излить свою душу стремились попасть на прием именно к ней.

– Привет! – кивала сотрудникам.

А на прилетевшее в ответ «С добрым утром!» – не без иронии отвечала:

– Как подсказывает мой жизненный опыт, рабочее утро добрым не бывает. Ну, кто у нас сегодня первый с обращениями?

Вообще-то, в душе Вера торжествовала. Сегодня у нее был последний день перед отпуском, и на время этого внутреннего торжества она даже забыла о недостроенной печке. Она сегодня обязательно поделится с Ленкой радостью, и стала тут же невольно в мыслях писать подруге письмо: «Привет, я почти на свободе! Сегодня мой начальник вышел на работу. Никогда не любишь начальника так, как в первый день его выхода из отпуска. Теперь свои хвосты подберу, а то за месяц распустила как павлин, и можно думать о прекрасном. Но сначала вернуться к жизни. Больше всего я хочу на море. Мне нужно только гулять и смотреть на море. Но надежда встретиться с ним тает с каждым днем. Какой-то паршивенький внутренний голосок подсказывает мне, что никуда я не поеду. Как вариант можно гулять по родному лесу, не фонтан конечно, но что поделаешь. Помнишь, как мы гуляли с тобой по камням? Было очень прозрачное утро. А какие экземпляры камней мы встречали с тобой, просто сказочные! И мне всегда интересно, если все эти глыбы двигал ледник, то почему все свалил в одну гору, а в озеро не затолкал?..» И тут к ней пришли на прием.

То их с Ленкой прозрачное утро случилось на встрече одноклассников. Разбросало по миру их дружный класс, собираются вместе в родном селе, не только чтобы вспомнить, а чтобы снова ощутить близость друг друга и своей земли. Это правда, что земля их особенная – распростертая в объятиях к каждому. Если стол накрыли, то для всех – дорогих,

знакомых и рядом проходящих. Не успели они вечером расположиться в домиках базы отдыха, что стоят на самом берегу озера, как к ночи уже вся округа знала, что отдыхает здесь выпуск восемьдесят второго года. Подходили казахи и русские, присаживались к длинному столу – места хватало всем – ели мясо, рыбу и фрукты, наливали водку, пили, но не пьянели, потому что хмель в такой момент не берет. Вспоминали общих учителей, находили знакомых в России, Германии и, конечно, в Казахстане. Обнимались на прощание, и тут уже подходили другие, кто учился на год старше или младше, жил на соседней улице или проходил когда-то мимо. Повод значения не имел. Здесь так принято. Земля – одна, стол – один. Ночью пели, танцевали и, кажется, совсем не спали. А в утренней тишине они с Ленкой и пошли вдоль берега, любуясь бирюзовой водой и каменными плитами, где-то аккуратно уложенными друг на друга, а в другом месте нагроможденными так, будто черт над ними колдовал. Они взбирались на валуны, отсюда цвет воды был еще ярче и плотнее, будто вся хвоя прибрежных сосен, пронзенная солнцем, осыпалась на дно и, перемешавшись с водорослями на глубине, бирюзой пролилась на поверхность. По мере того, как солнце выпрямляло лучи, менялся цвет и озерной глади.

– Всегда скучаю по дому, – сказала Лена, когда они поднялись на огромную плоскую глыбу, словно скатерть, расстеленную среди россыпи камней.

– Моя Таня тоже скучает. И каждое лето приезжает. Я ей говорю, что за деньги, которые приходится тратить на дорогу, можно в любую страну слетать. А она мне опять про небо: «Белое от звезд августовское небо можно увидеть только в Казахстане! И сумасшедшие грозы! Это восхищение и наслаждение, перемешанное со страхом!.. Грозы я боялась только тогда, когда папы нет дома», – процитировала Вера письмо сестры. – Уже папы давно нет, а она все возвращается домой.

– Тянет, – подтвердила Лена.

– Всяких границ и таможен возвели, а вас все тянет.

– Небо от границ не зависит. Другого такого нет. А степная клубника, – мечтательно закатила глаза Лена.

– И про клубнику вы с сестрой тоже солидарны. Она в теннис играет. А у них жара за сорок. Чтобы игру не прерывать, вспоминает, как в июле мы ягоды собирали на солнцепеке, как комары нас ели, и второе дыхание у нее открывается: значит, и на корте выдержу.

– Сколько раз эти ягоды я в жизни вспоминала! И ведь не солнцепек и комаров, а аромат клубники и степной травы! – подхватила Лена.

– Когда хочешь – вспоминай. Нельзя себе отказывать в удовольствии. Это отрицательно сказывается на всем организме, – заключила Вера. И подруги рассмеялись. Это был Верин ключевой афоризм – несмотря ни на что, всегда вселяющий оптимизм.

С отпуском получилось печально. Умерла Верина тетка Люба, младшая сестра отца, оставшаяся ей самым близким человеком после родителей. Несмотря на свой преклонный возраст, умирать тетя Люба совершенно не собиралась. У нее было еще планов громадье, в том числе приехать к Вере и помочь ей с осенними работами. А еще они мечтали вместе съездить на море. Жила тетя Люба в России, в приграничном с Казахстаном городе, и теперь Вера отправилась к ней, чтобы проводить в последний путь.

И эти проходы произвели на нее ужасное впечатление. Она поняла, что умереть в городе – это небесная кара. Вера всегда хотела уважения и к умершему человеку, и к его памяти. Умерла тетя Люба в больнице. Утром Вера с двоюродным братом, то есть сыном тети Любы, подъехали к моргу. Им вынесли мешок, приоткрыли:

– Посмотрите, ваша или нет.

– Наша.

Погрузили в машину и в крематорий. «А в деревне люди в дом идут весь день – свои, чужие, иногда даже не знаешь, кто с тобой рядом, – думала Вера, сопровождая свою тетушку в скорбный путь. И будто проживала эти часы в парал-

лельной реальности, в своей Кузьминке. – И рядом с гробом всегда кто-то есть, сидят, потихоньку разговаривают, что-нибудь вспоминают. Многие предлагают помощь. Постепенно все перемещается на кладбище, там ты тоже видишь весь процесс захоронения, дальше поминальный обед, там опять же вспоминают человека, говорят хорошие слова. Понятно, – утешала себя Вера, – что этим ничего не изменишь и человека не вернешь, но хотя бы последний раз люди рядом с ним, вроде, как и жил не зря. А здесь целый день какая-то беготня по городу – только бумажки и деньги. Ты не можешь побыть рядом с дорогим тебе человеком, даже самые родные не могут что-то вспомнить, подумать, попросить прощения. Тому, кто умер, наверное, все равно. С тем, что умерла тетушка, она пока не могла примириться и продолжила свои мысли безотносительно к ней, но уверенная, что живым – это необходимо. А крематорий? Здесь и вовсе дело поставлено на поток. Справедливости ради отметила, что все хорошо устроено и оборудовано, молодой холеный батюшка поставленным голосом отпевает, делает все правильно, в соответствии с канонами, но... Как говорил папа – прокукарекал, а там хоть не рассветай. И здесь все, как положено, но ни капельки элементарного сочувствия чужому горю, ни грамма хоть какой-нибудь души, – сокрушалась внутренне Вера. – Поэтому никакого утешения или облегчения эта процедура не приносит. Тетушка прожила в этом городе всю жизнь. Выучилась, больше пятидесяти лет работала. А у гроба только шесть человек. Своих, родных. И больше никого не нашлось в миллионном городе, кто бы вспомнил о ней. Вот так и мои пенсионеры, никому не нужные. Страшное дело».

В угнетенном состоянии вернулась Вера в свою Кузьминку, к своим черным лужам, где жизнь не баловала ее, но была приемлемей и понятней. С удивлением обнаружила извещение на посылку и успела до закрытия сходить на почту. Посылка оказалась... от тети Любы. Разбирая содержимое, она обнаружила тяжелое серебряное кольцо с гравировкой. Вспомнила, что тетя никогда не снимала его

с пальца, коротко объясняя, что это – фамильная реликвия, доставшаяся ей в наследство от бабки. «Отдаю его тебе, храни, ничего больше от предков не осталось, погоняли их по свету, но кольцо это, будто заговоренное, спасло жизнь бабки во время революции, – писала тетя, – впрочем, скоро приеду, все расскажу».

Вера надела кольцо на палец, как тут оно и было, поняла, что дальше молчать не может, и села писать Ленке: «Представляешь, сегодня получила посылку от своей тетушки. Отправляла она ее за две недели до смерти. Нет ей бедной там покоя с ее деятельной натурой. Про посылку мне говорила, а я отбивалась: зачем тебе эти хлопоты, сама скоро приедешь. А она в ответ: вдруг не смогу. Я говорю: ну тогда я к тебе приеду. Вот и приехала... Теперь до конца своих дней буду чувствовать себя фашистом, что неправильно ее похоронила. Урну выдадут в порядке очереди. Как жутко это звучит! Потом брат привезет сюда, чтобы здесь нормально похоронить рядом с ее матерью и отцом, моими дедами. Лен, она мне кольцо фамильное подарила, только историю его я уже никогда не узнаю...»

Завьюжило, как всегда неожиданно. Черные лужи закрыл первый снег, высветлив утро почти добела. Вера спешила к своим пенсионерам и мысленно констатировала, что давно ничего от жизни не ждет. Видимо, так суждено. Даже кольцо тетушки, фамильную реликвию, сберечь не смогла. Пропало оно. Было на пальце, а потом не стало его. И ничего Вера не могла понять и тем более объяснить, будто во сне кто-то снял его с пальца. В поисках весь дом перевернула, на работе всю мебель проверила, как будто и не было никогда тетушкиного фамильного кольца. Посокрушались, подивились они с Ленкой на этот счет. Подруга на всякий случай уточнила: «Вер, а кольцо точно было?» Вера и сама уже в этом сомневалась, но ведь было оно, было.

Накануне Рождества Вера открыла морозильник, в который давно не заглядывала. Вынула пакет с морожеными ягодами, чтобы испечь пирог и угостить чаем своих пенсионеров. Пакет стукнулся о стол, издав какой-то нетипич-

ный звук. Вера приподняла его и обмерла. На столе лежало тетушкино кольцо. Вера присела на стул. Потрогала кольцо. Холодное. Серебро на глазах запотевало. Версий, как кольцо оказалось в морозилке, у нее не было, только самая примитивная: когда укладывала пакеты с ягодами, оно случайно соскользнуло с пальца, хотя и это объяснение было необъяснимым.

Придя в себя, отстучала Ленке новость. Та была в восторге. «Верка, хранить фамильные реликвии в морозильнике – это интересно, я повеселилась от души. Видимо, кольцу нужно было побыть одному, подумать, сбросить груз прожитых лет и теперь обновленному явиться к тебе в качестве новогоднего подарка. Просто рождественская сказка! Предновогоднее чудо – и это только начало. Поэтому копи силы и эмоции для дальнейшей жизни!»

Кольцо на пальце потеплело и словно слилось с самой Верой. И она вдруг поняла, что теперь именно на ней лежит обязанность сохранения семейной памяти – дома, земли, воспоминаний. Обязанность тяжелая, как все драгоценное, и животворящая, как всякая семейная реликвия.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

Инга любила поезда. Но, к сожалению, в автомобильный век на поезде приходилось ездить редко. Ну уж если была возможность проехать хоть сутки из пункта А в пункт Б, то она возможность не упускала, брала купе в фирменном поезде и, не вступая в разговоры с соседями, смотрела в окно, наслаждаясь редким покоем.

Когда тебе пятьдесят и у тебя свое дело, пусть не масштабное, но свое, требующее ежедневного присутствия и собственного внимания, то начинаешь ценить каждый свободный час. И прежде всего потому, что в этот час ты можешь побыть наедине с собой.

Она не сомневалась, что время стало лететь быстрее, чем текло раньше. Оно летит теперь так, что она не успевает отслеживать ежедневно меняющуюся парадигму устройства мира. В двадцать лет мир был гораздо устойчивее. И оттуда, из их двадцати с небольшим лет, ей со сверстниками пришлось совершить прыжок в безмерность, не определенную никакими парадигмами, где время спрессовалось в один момент от пионерского галстука до отрицания коммунистической идеологии. От шариковой ручки до компьютера, от стационарного телефона – до мобильного, от телеграфа до Интернета, от десятилетних очередей на квартиру – до ипотеки, от распределенного профкомом отечественного автомобиля «Жигули» – до потока импортных машин на улицах. И все это нужно было вложить в свою собственную жизнь, освоить, принять и пытаться успеть за следующими изменениями глобального мира, где, ко всему прочему, менялся климат, влияя не только на общее самочувствие планеты Земля, но и на собственные метеозависимые мозги Инги. И с этими мозгами понимание жизни давалось

с трудом, и все чаще она чувствовала себя в этом мире не молодой особой, на которую раньше оборачивались проходящие мимо мужики, а динозавром, не очень полезным ископаемым, носившем в детстве пионерский галстук, а теперь не умеющим наравне с внуками обращаться с любым гаджетом.

Инга смотрела в окно, за которым пробежала российская действительность первого десятилетия двадцать первого. Кто бы мог подумать, что они перейдут из одной эпохи в другую? Да и не все перешли. Девяностые сказались. Многие ее сверстницы в те годы потеряли мужей: кто отравился паленым алкоголем, кто подсел на наркоту, кого убили в разборках, а кто-то и сам, не выдержав суровой действительности, ступил в бездну с крыши девятого этажа или вздернулся в петле. Целый отряд вдов вокруг нее, и все оттуда, из девяностых. Вот им-то досталось выживать с детьми – пахать за себя и за того парня, то есть почившего мужа.

Инга подобного в жизни не допустила. И на каждый чих типа: «Да не парься ты по этому поводу», однозначно отвечала: «Я не парюсь, я делаю». Она делала, и все, кто был рядом с ней, тоже делали. Без работы и обязанностей Инга никому не позволяла рядом с ней существовать – ни старому, ни малому. Вся ее большая семья жила согласно установленным ею правилам. Быть может, тем и держались все вместе.

О том, как надо жить, а вернее, не надо, она впервые задумалась в десять лет. Окончив тогда четвертый класс в интернате за триста километров от дома, купила билет на автобус и самостоятельно приехала домой. Родители в то время только перебрались из деревни в небольшой городок Дымшино, поэтому, оказавшись на автостанции, Инга понятия не имела, где находится улица Луначарского, где они теперь жили. Но нашла. Родители были на работе. Инга нашарила под ковриком ключ, зашла в пустой дом после переезда родители еще не обустроились, только на окне стояла банка компота «Глобус». Продавали такой болгарский компот-

ассорти в магазинах в семидесятых годах. Инга хотела есть, открыла банку, съела яблоко из компота, отпила сиропу. Подумала: «И что? Так и будем жить с банкой компота?»

Инга была старшим ребенком в семье, ее никто никогда не баловал, с малых лет считая «большой». К тому же родители считали ее не особо способной, хоть и училась она в школе стабильно на «хорошо». Сказывалась высокая требовательность к детям в семье. Никто в те годы с ними не церемонился. Успешных лидеров тогда не растили, «главное, чтобы человеком стал и добросовестно трудился», – говорили в восьмидесятых взрослые и поощряли каждый шаг своих детей на пути к профессии. Поэтому, когда Инга решила идти после восьмого класса в машиностроительный техникум, за высшее образование родители не ратовали. «И сюда не поступишь», – не надеялась мама. А она поступила на технолога машиностроения, не женскую, казалось бы, специальность. Мама всегда призывала ее к скромности и послушанию, но в техникуме учила жизнь, а не мама.

Инга была смелой и не собиралась есть всю жизнь компот «Глобус». На втором курсе повезли их на практику в город Ульяновск, полстраны на поезде надо было проехать. А в вагоне духота. На очередной станции вышла она из вагона и пошла за водой. Сопровождавшая их куратор не пустила, но разве Ингу удержишь? Воды достала, но когда возвращалась к своему составу, перед ним встал другой. А ее поезд «тю-тю», уехал в Ульяновск. Инга отпила воды из бутылки, оглянулась по сторонам. Вспомнила, что до Ульяновска ехать больше суток, и, ничуть не смущаясь, пошла искать милицейский участок при вокзале. Нашла. Куда ему отсюда деться?

– Здравствуйте вам, – тряхнула она перед дежурным волной каштановой шевелюры.

Он посмотрел на нее с любопытством:

– Привет! Коли не шутишь.

– Не-е, не шучу. Я от поезда отстала, – и, не дождавшись от дежурного приглашения, присела на деревянный



диван, сохранившийся здесь, видимо, со времен царя-батюшки. «Ну и долго будет он на меня пялиться», – думала она, наблюдая за неторопливым дежурным.

«Не похоже, чтобы отстала, – думал дежурный, – наверное, аферистка, вымогать что-нибудь будет, совсем обнаглели, к милиции пристают». Но Инга не приставала, а очень серьезно сказала:

– Мы едем на практику в Ульяновск, на машиностроительный завод, и, если моя группа приедет туда без меня, большой шум поднимется по всей железной дороге. Оно вам надо?

Ему это точно было не надо, за это премии могут лишиться. И дежурный стал крутить диск телефона, с трудом дозвонившись в кассу, что находилась в двух метрах от его двери.

– Нужно срочно билет на ближайший поезд до Ульяновска.

Билет оказался только в вагон повышенной комфортности, «СВ», скорого поезда. Дежурный открыл перед Ингой дверь в купе с зеркалами и мягким диваном:

– Ничего себе! – воскликнула она, не видя ничего подобного в жизни.

– Раньше своих приедешь, только с вокзала никуда не уходи, жди свой поезд, – наставлял милиционер.

– Есть! – ответила Инга.

Когда дежурный ушел, она осмотрела бархат на диванах, потрогала никелированные ручки и глянула в большое зеркало, отразившись сразу в двух других – боковых зеркалах.

– Вот это да-да! – еще раз протянула восхищенно. – Вот это я вытянула лотерейный билет!

На скором она обогнала не только свой поезд, она обогнала время. А было ей всего семнадцать лет.

В восемнадцать она распределилась в один из алтайских городов, в цех машиностроительного завода. И ее назначили мастером. А что вы хотите? Лотерейный билет, фортуна прет. В подчинении – сто двадцать мужиков, которые не приняли ее всерьез. У Инги – смуглая кожа, нос с горбинкой, густые каштановые волосы и бирюзового цвета глаза.

– Гречанка! – как-то воскликнул один из подопечных сварщиков, будто и вправду видел когда-нибудь живую гречанку.

– Ага, с острова Крит, – уточнила Инга, будто на самом деле знала, где находится этот остров, но, как выяснилось, не промахнулась.

Так к ней это и прилипло. А она не сопротивлялась: Гречанка так Гречанка. Мужики думали – посмеются, позаигрывают с привлекательной мастерицей, но всерьез, конечно, не примут, ведь кому-то она в дочки годилась. Привычки и традиции десятилетиями в цехе складывались, ну, с похмелья там прийти или бутылочку с собой пронести – любой мужик-начальник тебя поймет. А эта соплюха права стала качать, порядок наводить: за опоздания – выговоры лепить, за прогулы – премии лишать. В общем, Инга быстро поставила себя так, что все чувствовали себя виноватыми, а с учетом того, что у нее в руках были наряды и деньги, то и быстро зауважали.

Против социалистического соревнования и строительства коммунизма Инга ничего не имела, но, видимо, уже

тогда – в конце восьмидесятых, в ней открылась не осознанная и не прочувственная ею самой до конца предпринимательская жилка. Укрепляя социалистическую мощь в качестве мастера на заводе, она не чуралась и приумножения в собственных интересах. Сначала выбила себе комнату, – а как бы вы хотели, чтобы молодой специалист в общежитии снова жил, Инга в студенчестве нажилась. Потом нашла себе мужа достойного, а когда появился первый ребенок, приложила усилия и добилась отдельной квартиры. В декрете расслаживаться не стала, и, хотя на заводе творилась какая-то чепуха с непоставкой сырья, с задержкой заработной платы, Инга с уважением относилась к производству. А мужики к ней, чувствуя в мастере надежность и основательность. Гречанка и зарплату на цех выбьет, и заказ в «клюеве» им принесет.

Только для Инги как-то стала меняться парадигма жизни. Умное слово «парадигма» ей нравилось. К тому же имело оно греческое происхождение и представляло некую модель устройства мира, общества и социализма. А тут именно с парадигмой социализма что-то непонятное стало происходить. Когда же ее не стала устраивать зарплата на заводах и фабриках, тем более ее полное отсутствие, а рядом с домом появился новоиспеченный рынок, Инга быстро сообразила, что надо делать. Идея совпала со вторым декретом, и одно другому не противоречило. Пока еще живот не лез на нос, нужно было фортуна хватать за хвост. «Чем торговать? – задумалась Инга. – Всякого дефицитного барахла типа джинсов, кружевных дамских трусов и бюстгальтеров на рынке уже было полно. Полотенец и покрывал тоже хватало. Так-так, – соображала Инга, – глядя в окно, словно пыталась сквозь стекло достать взглядом до торговых рядов. Достать мешал нестройный ряд автомобилей, старых „япошек“, завезенных сюда из Владивостока, рабочих ишачков зарождающегося класса коммерсантов. – Стоп! Автомобили! А без чего не могут они работать? Без запчастей! Зря что ли она училась на технолога машиностроения? Ну пусть не автомобили, но железки – ее среда обитания. Есть новая парадигма!»

За ужином мужу заявила:

– Ты пока дальше трудись на заводе, а я начну запчасти из Новосиба сюда возить, место на рынке возьму.

– С ума сошла! – опешил Андрей. – Какие запчасти? Тебе рожать через два месяца!

– Так ведь через два, – спокойно возразила Инга. – За это время я город из запчастей построю, я что, не русская женщина что ли? – погладила она живот.

– А может быть, ты о себе и ребенке подумаешь, – попытался Андрей воззвать к ее разуму.

– Я согласна подумать сразу о двоих, но только с точки зрения новой парадигмы.

Дальше дискутировать не имело смысла. Раз Инга решила, то переубедить ее было невозможно. Все остальное свершалось в считанные дни. К своей парадигме она привлекла друга семьи Николая, у которого к тому времени была неплохая «газель» – первый транспорт всех коммерсантов. До Новосиба, как называли между собой столицу сибирской науки жители алтайских городов, часов двенадцать пути, груженным – дольше. «Не вопрос», – решила Инга и пошла выбивать себе место на рынке.

Торговыми точками распорядился бритоголовый здоровяк в образе трехстворчатого шкафа.

– А ты знаешь, что за место надо платить, а ты получишь хорошее место, значит, платить надо вдвое больше, – обратился он с высоты своего роста к Инге, – не будешь башлять, и на живот твой не посмотрю. У нас разговор короткий.

– Не пугай! – с вызовом ответила Инга. – Пуганые уже. Тут к шкафу подошел завскладом из ее цеха:

– О, Гречанка! И ты здесь? И какие, Слон, между вами базары?

– Знаешь ее? – кивнул шкаф.

– А кто Гречанку не знает? Тоже точку хочет? Не робей, отводи ей место. Она своего не упустит, но и твое вовремя отдаст.

На том и договорились.

В первую поездку за товаром выехали в полночь, чтобы к полудню попасть в Новосиб. И добрались без приключений. А вот на обратном пути сначала не поняли, что происходит. Назойливый джип, следовавший за ними, сигнализировал фарами, требуя немедленно остановиться, но Николай решил не тормозить, а прибавил газу. Тогда джип стал их обходить и резко подрезал, чуть не столкнувшись с газелью. Инга от резкого толчка так подалась вперед, что ремень больно врезался ей в живот. От джипа отделились два бритоголовых молодца в кожаных куртках.

– Спокойно, Коля, – проговорила Инга, – открой окно, спроси, что им надо.

Им нужны были деньги, вежливо объяснили, что за провоз товара надо платить. И поскольку эта машина на данном участке замечена впервые, то плохое поведение в виде попытки побега прощается. Но второй такой возможности не представится.

– Коля, заплати, – сказала Инга и протянула деньги, – нас дома ждут.

– А это вам проездной билет для других участков, – протянул один из братков бланк какой-то квитанции с надписью: «Эти люди уделили внимание».

Они тронулись.

– Проездной билет.., – произнесла Инга, задумавшись, – посмотрим, что мы с ним выиграем.

Оказалось, что жизнь. Ближе к ночи им пришлось торгаться, так как дорога была запружена, тут же у обочины стояли автомобили автоинспекции, по-простому – гаишники. Они и закрыли проезд. Инга отстегнула ремень.

– Куда ты? Сиди, – попытался остановить ее Николай.

– Пойду посмотрю, что случилось. Парадигму, Коля, надо изучать.

И ведь удалось ей, далеко не хрупкой, со своим животом, где у нее жил уже сформировавшийся ребенок, просочиться к эпицентру трагедии, освещенному со всех сторон фарами. А трагедия была не шуточной. Даже Инга со своим хладнокровием и умением владеть собой содрог-

нулась. В колее, близко к трассе, лежал большой молодой мужчина, на его лице виднелись кровоподтеки, руки были странно выкручены, а пальцы неестественно торчали. Чуть дальше лежало на снегу распластанное тело женщины, высокой, длинноволосой. Волосы, разбросанные по снегу, кое-где залитые кровью, прикрывали и ее лицо. Среди прочих машин Инга заметила простреленную «тойоту», из которой, судя по следу, и тащили бедняг убивать. Дальше она пройти не могла. Все было оцеплено. Она вернулась к «газели», и в этот же момент открыли одну полосу, и они тронулись.

– Ну что, изучила парадигму? – угрюмо спросил Николай, покосившись на распластанные тела.

– Подлющая получается парадигма, – мрачно ответила Инга, – но мы изучим законы этого бешеного мира. Что-то знакомое мне показалось в этих убитых, но вспомнить не могу.

– Судя по номерам, «тойота» из нашего города – подтвердил Николай.

На следующее утро она впервые вышла на свою торговую точку. Разложила товар и тут же стала завязывать знакомства с теми, кто находился справа и слева от нее. Стала присматриваться к покупателям, которыми в основном были мужики, и зазывать их к себе, по наитию подбирая какие-то нужные слова. Вместе с ними изучала товар, названия запчастей и комплектующих, для чего они нужны, каков срок их долговечности и насколько сложны автомобили разных марок в обслуживании.

Насколько хватало обзора, пристально наблюдала за торговыми рядами, замечая, как общаются между собой торговцы, какая публика шатается между рядами и кто на самом деле владеет деньгами. Заметила, как кучка братьев в «коже» сбилась в стаю, руки у всех в карманах, понятно, что разговор конкретный. Позже поползли по базару слухи, что вместе с женой убили руководителя компании по продаже строительных материалов. Будто везли они из Новосиба, кроме товара, новогодние подарки для детей

сотрудников фирмы, отказались на дороге платить дань, новосибские бандиты и замочили их. Трое сыновей остались у погибших, старшему – десять лет, среднему – шесть, а младшему – два. «Точно! – подумала Инга, – Журавлевы и лежали вчера вдоль дороги. Точно они!» Была она как-то у них в офисе на соседней улице, зондировала почву по поводу бартера с заводом. Искала, кому трубы металлические продать, чтобы мужикам в цехе зарплату наскрести. Думала, вдруг строители купят. Нет, не купили. Но встречалась она тогда и с самим директором Вячеславом, и с его женой – замечательной красавицей Галиной. Говорили, что поженились они в студенчестве, были парой красивой и дружной, сыновей нарожали, жить долго собирались. Не побоялись фирму свою открыть, слыли честными и принципиальными, только у бандитов свои принципы. «Парадигму надо было изучать», – настойчиво подумала Инга.

На похороны к зданию офиса Журавлевых, кажется, собрался весь город. Инга тоже пришла. Два обычных гроба, обитых бордовым бархатом, без всяких резных наворотов, в каких обычно хоронили новых русских, стояли у крыльца. Головы Славы и Гали были обернуты бинтами, в бинтах были и кисти рук. Говорят, бандиты ломали им пальцы и вместе с кожей выдирали длинные Галины волосы. На том и другом гробу лежали матери убитых и причитали так страшно, что Инга обхватила свой живот руками и пошла прочь. Она не плакала, но в груди что-то больно надрывалось при каждом вздохе. «Может быть, все бросить к черту, – размышляла она, возвращаясь на рынок к своей точке, – на заводе мой цех еще жив, вот именно, что „еще“ – пока, а что будет через год?»

Через год она заматерела. Умело распределяя время и силы, растила детей, вела домашнее хозяйство и свое дело, для чего и в два, и в три часа ночи нередко ходила принимать и разбирать товар. Со временем не только она гоняла в Новосиб, но и ей привозили запчасти и прочие необходимые вещи для автомобилей. Да и самих иномарок ста-

новилось больше: пригоняли с Дальнего Востока, из Китая, доходили и с западных рубежей – из Калининграда, куда поступали из Германии и Польши. Как-то быстро освоила Инга науку общения с бандитами, рэкетирами и ментами. Да и наука проста – плати всем деньги, и будет тебе счастье, как часто обещала ей знакомая цыганка Иза, которой она тоже иногда платила, чтобы быть уверенной в завтрашнем дне. Суть существования бандитов Инга постигла в три счета: нагловатые пацаны, у которых есть «крыша над головой». И она нащупала ту золотую середину в общении, когда и с ней считались, и она умела договориться с бандитами и ментами. А они, как правило, были повязаны между собой, могла отстегнуть пачку денег тем или другим, и все понимали, что дело конкретное, а потому без всякого кидалова. А еще Инга быстро поняла, что она – бывшая комсомолка и мастер цеха, деньги сможет делать из всего, из чего их только можно делать, и даже из чего нельзя. Законы рынка щелкала как орехи. А потому дело ее шло по возрастающей. В общем, выучила парадигму, вытянула свой билет.

Когда завод загнулся под тяжестью долгов, Инга поняла, что наступает следующий этап в ее жизни. К барахолке в Новосибире она уже присмотрелась. С местными бригадами перетолковала и участок под строительство дома хороший нашла. Детей в охалку и поехали они с мужем новую жизнь возводить. Начали с буквального – строительства собственного дома. Муж стройкой командовал, а Инга на барахолке себе место видное застолбила, контейнер – торговая точка, почти в центре рынка, бесхозным остался. Бригадир предупредил:

- Только месяц с оплатой протянешь, сразу перепродам.
- Не протяну, – заверила Инга. И обязательства свои четко выполняла.

А вот пацаны бригадирские маху однажды дали. По ошибке ночью вскрыли ее контейнер. Обычно они не ошибались, а тут вскрыли замок, открыли дверь. А там, вместо пустого помещения очередного сбежавшего торговца, все

забито товаром. Пацаны офигели, поняли, что прокололись, за что бригадир по головке не погладит. Но, если ему не признаться, потом совсем не поздоровится. Бригадир, конечно, вломил им, и сверившись со своими бумагами, стал звонить Инге. А она в тот момент в отъезде была. И услышала по телефону, так и так, извините, уважаемая, конфуз вышел. Ваш контейнер случайно вскрыли, но все будет в целостности и сохранности.

– А если вопросы по товару будут, – посмотрел бригадир выразительно на пацанов, – звоните мне напрямую.

Вопросов не было. Весь товар был на месте. С бандитами можно было договориться, да и кто в те годы был бандитом, а кто представлял власть – сложно было понять.

Рядом с участком Инги, где быстро поднимался дом, еще много свободной земли оставалось. И решила она, что хорошо бы рядом родителей поселить и младших сестер. Дети бы их вместе росли, родители к старости под присмотром были. Идея хорошая. Теперь землеотвод надо получить. Двери во всех учреждениях она открывать умела. Твердо знала: любое продвижение и достижение цели требовало денег. Поэтому не скупилась. И вопрос решился быстро. Три участка рядом тоже теперь к ней перешли. На следующее лето, пока торговля перла дуром и деньги текли рекой, планировалось строить следующий дом. И вдруг, откуда ни возьмись, появилась в окрестностях некая барынька. Стала заглядываться на растущий дом, еще больше на участки рядом. Если заставала всегда работающую Ингу, здоровалась, начинала заводить светскую беседу, в которой Инга была не сильна, да и времени у нее на пустую болтовню не хватало. Но однажды барынька сообщила, что является супругой и назвала фамилию крупного бизнесмена, и вот этот участок, рядом с домом Инги, ей нравится очень. У них, конечно, есть роскошная квартира, но дом бы не помешал.

– Могли бы быть соседями, – мило улыбнулась она.

– Могли бы, но не будем, – также мило ответила Инга. – Все эти участки уже заняты.

– Моя дорогая, все в этом мире покупается и продается, – еще более мило улыбнулась непрощеная гостья.

– Согласна, – ответила Инга. – Они уже куплены.

– Значит, могут быть проданы или перекуплены, – про-должала дама.

– А не пойди-ка тебе лесом, – со свойственной ей прямотой предложила Инга.

Гостья переменилась в лице.

– Я-то, конечно, пойду, но и вы отсюда уберетесь, – зло усмехнулась она.

– Надорвешься! – не поскромничала Инга.

Ночью она маялась от навязчивого сна. Видела себя в свадебном наряде, только платье было красного цвета, она недоумевала по поводу свадьбы и платья, а больше всего парика из длинных волос, который зачем-то надели на ее собственные густые и вьющиеся волосы, и теперь ей пришлось плести косу из чужих. Коса была какой-то бесконечной, и, дойдя, кажется, до кончика волос, она путалась и снова начинала плести, испытывая при этом отвращение к вязкости и грязи чужих волос. Инга проснулась. Осторожно дотронулась до локонов, густо рассыпанных по подушке, а потом брезгливо стала стряхивать с них чужой налет, который ощутила во сне, будто освобождаясь от липкой паутины. «Что за ерунда привиделась?» – ощущая какую-то неясную тревогу, думала она. Как выяснилось, тревожилась не зря.

Несостоявшаяся соседка или ее крутой муженек провернули махинации с такой филигранностью, что все документы на отвод земли Инге в исполкоме, самых что ни на есть народных депутатов, или по-новому мэрии, исчезли без следа.

– Ничего себе парадигма! – воскликнула Инга, когда какие-то новоявленные землемеры пришли по новой перемеривать земельные отводы, при том с претензией на пару метров ее собственного участка.

Свои два метра она, конечно, отстояла, и тут же помчалась во властный дом, где ей ясно дали понять, что никаких

документов на оформление земли, прилегающей к ее участку, нет. Пройдя кабинетов пять, Инга поняла, что дальше в прятки играть бесполезно. Надо действовать иначе. Быть может, рыночные бандиты что-то смогут подсказать. Разыскала бригадира, рассказала о своей беде.

– Я тебя с депутатом Государственной Думы сведу, у него для местных олигархов свой кодекс законов. Они у него все на крючке.

– Сколько? – спросила Инга, понимая, что всякая услуга стоит денег.

– Сочтемся, – жуя жвачку, бросил бригадир. – Завтра сообщу тебе, где встретитесь. Слушай, – неожиданно обратился он, – а ты не гречанка по происхождению? В Греции не жила? Я там отдыхал на острове Крит.

– Жила. В прошлой жизни, – сострила Инга.

– В яблочко попал! – растянулся в улыбке бригадир.

Внешне депутат вполне себе соответствовал Государственной Думе: и сорочка фирменная на нем, и галстук. Инга, хоть и запчастями торговала, но толк в импортных шмотках знала. И говорил депутат умно, обстоятельно. Расспросил обо всех нюансах дела, усмехнулся:

– Значит, Лидочку к тебе магнат подослал.

– Не знаю, кто она, сказала, что супруга.

– Супруга и есть. Мы с ней когда-то за одной партией в школе сидели, она уже в то время могла любое дельце обстряпать. Ну ладно, восстановим попорченную справедливость, – заявил депутат, – найдут ваши бумаги, а если нет, то оформят снова.

– Сколько я вам должна?

– Нисколько, другие заплатят, – с удовольствием потер руки депутат.

– Ну вот хоть на пиво, – положила Инга перед ним десять тысяч.

Дня через три позвонили ей из исполкома, радеющего за интересы то ли народа, то ли депутатов, и как-то радостно заявили, что все документы на землеотвод участков нашлись.

– Ну и славненько, спасибо за добросовестную работу, – поблагодарила Инга, а положив трубку, подвела итог, – молодец, депутат, не обманул, надеюсь, и я чужую косу доплела.

Все участки застроили быстро, Инга поселила рядом сестер и родителей, а позже нашлось место для оперившихся детей и племянников. Создала Гречанка свое родовое гнездо – так и не определенного общественного строя, зато вполне сложившегося в девяностые годы среднего класса предпринимателей. Осознав это, она определила жизнь в гнезде по своим установленным правилам. Все жители гнезда должны были трудиться, учиться и приумножать семейное благополучие. Таково было ее безоговорочное условие, и никакого компота «Глобус» чтобы на окнах не стояло.

В купе осторожно постучали, сосед напротив приоткрыл дверь. Вошла проводница, предложила свежую прессу, сувениры, наудачу спросила:

– Быть может, кто-то желает приобрести лотерейный билет железной дороги, о выигрыше узнаете моментально.

– А давайте, – азартно согласилась Инга и протянула руку за билетом. Достала из небольшого бархатного мешочка лотерею, тут же разорвала склейку, взглянула и победоносно заявила, – сто тысяч рублей!

– Не может быть, – ахнула проводница, – первый раз за пять лет, – не веря своим глазам, смотрела она на билет.

Инга хохотнула:

– Люблю поезда, – и серьезно добавила, – жертвую эти деньги на лечение детей больных онкологией, как это у вас здесь оформляется?

– Не знаю, – растеряно пожала плечами проводница, – никто не выигрывал. Никто не жертвовал.

– Узнаем, – деловито поднялась Инга с дивана.

Она никогда не разбрасывалась деньгами, которые умела делать даже из воздуха, но с легкостью жертвовала их на храмы, больных и нуждающихся. Тем более что это был выигрыш, очередной счастливый билет.

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Вторые сутки шел дождь. Серый, унылый, затяжной. Изрядно подпортивший им встречу. Шутка ли сказать, не виделись больше тридцати лет. Об этой встрече мечтали, целый год общались в социальной сети, планируя и сверяя часы, и дождь в их планы точно не входил.

С Шуркой Омелько – своим горшечным другом, как говорит Лелька Велькович, с которой они все вместе ходили в детский сад и не исключено, что в сокровенно-интимные минуты сидели рядом на горшках, с Шуркой, с которым она училась в одном классе и все детство жила на одной улице, Даша Матвеева нашлась через социальную сеть «Одноклассники», куда заходила крайне редко. А тут – повезло, Шурка нашелся. И она писала ему: *«Приезжай на родину этим летом! Я тоже приеду. Надо встретиться. Шурка, откладывать дальше нельзя. Сейчас мы еще сможем узнать друг друга. Лет через пять – под вопросом. Дай бог каждому из нас эти пять лет еще прожить. Восемь человек из нашего „А“ класса к пятидесяти годам ушли навсегда. Слишком много... несправедливо это...»*

Закрыв чат, Дарья Михайловна поняла, что в редакции давно уже никого нет. Рабочий день закончился. Она автоматически отключила компьютер. Облегченно вздохнула, что очередной номер газеты сдан, а значит, и ей – редактору, тоже можно уйти домой. На пути к автобусной остановке невольно стала мысленно писать, писала она всегда, когда не читала. «Сегодня мы живем в разных городах и странах, мы – поколение, которому выпало пережить девяностые годы, разорвавшие нашу общую страну на разные государства; поколение, которому выпало испытать, что такое переход от одной общественно-экономической формации к другой, о чем мы раньше читали только в учебниках исто-

рии. Мы – поколение, которое переступило из века в век, из одного тысячелетия – в другое. Из одной эпохи – в другую. Мы – поколение – историческое». И тут же сама себя перебила, а какое у нас не историческое? Все поколения жили в эпоху перемен. И некстати отметила, что сегодня профессии пиарщика или журналиста – самые обычные, а когда она в начале восьмидесятых поступила на журфак университета, то стеснялась об этом сказать вслух, кто бы ей поверил? Быть журналистом в те годы, как сказали бы сейчас, было не просто круто, это было суперкруто. А она всю жизнь посвятила этой профессии. И пока ехала уже в полупустом автобусе, продолжала мысленный разговор с Шуркой: «Как же все-таки странно воспринимать друг друга взрослыми. Сначала я тебя совсем не узнала на фотографии. А потом стала разглядывать и нашла узнаваемые черты. Конечно, это – наш Шура! Хорошо тем, кто со школьных лет живет рядом, оставаясь между собой Ленками и Вадьками. Они на глазах друг у друга выросли, мудрели, менялись, а потому эта разница во внешности, обрушившаяся на нас, им совсем не известна. И не разделили их за границей, как нас, которым пришлось рассыпаться по всему бывшему Союзу и дальнему зарубежью. И теперь надо узнавать друг друга заново».

Сон для Дарьи Михайловны давно уже не был удовольствием. Засыпала она мучительно, в последние годы только со снотворным, во сне сознание не отключалось, а продолжало ее терзать сновидениями, вызывавшими в памяти давно забытые образы и лица, возвращало в родной дом, который она, забрав родителей, оставила четверть века назад. Сны ее водили по бесконечным коридорам, во снах она поднималась по лестницам, лишенным площадок, где вместо них открывалась зияющая бездна. Или судорожно собираясь, торопилась куда-то и не могла собрать вещи, которые не поддавались ей, рассыпались прямо под руками, или не могла надеть на себя платье и с ужасом осознавала, что остается голой. В самых жутких снах она вела на скорости машину, понимая, что не умеет водить, не зная, как затормозить, и просыпалась от дикого ужаса, потом не в силах

заснуть, казалось, что в этих кошмарах трансформировалась вся ее прошлая жизнь: «Как мы это пережили? Молоды были. Поэтому наверное и смогли». И в мозгу ее опять слова складывались во фразы, фразы – в предложения.

«Я не знаю, как ощущают себя люди, которые всегда живут там, где они родились; какие чувства они испытывают к месту своего рождения. Я живу в тысяче километров от своей малой Родины, а может быть, самой большой. Ведь в прямом смысле я родилась и выросла в СССР, в одной из его союзных республик – Казахстане. Почти тридцать лет прошло с девяносто первого года, когда распался СССР, а мы все не можем смириться с тем, что домой теперь надо ехать за границу. Мы любили озеро и сопки, и березовые рощи, и сосновые боры, и запах полыни, и горячую землю, по которой бегали босиком. Мы даже не любили, мы просто жили, ощущая себя единым целым с озером, сопками, рощами, землей...»

Оказывается, она не осознавала, что, однажды простившись со своей Родиной и одноклассниками, продолжала сохранять надежду на какую-то счастливую случайность, на какую-то невидимую нить, которая однажды приведет ее в родное село. И где-то в глубине себя рассчитывала на то, что успеет, вернется... нет, не рассчитывала, не думала,



она только сейчас отчетливо ощутила, что ничего и никогда не повторится, что ей пятьдесят пять! Не двадцать, не тридцать, даже не сорок пять, когда казалось: еще можно все изменить и начать жизнь сначала, и она меняла, начинала, а сейчас – ей пятьдесят пять! И ничего нельзя изменить! Наоборот, все может в один день внезапно оборваться, как оборвалось уже для нескольких ее одноклассников, для сверстников их выпуска восьмидесятого года.

И незнакомое чувство, сначала постепенно накатывая, а потом захлестнув удушливой волной, словно приступ недавней пневмонии, окатило ее холодным потом и безнадежным страхом: «Никогда ничего не повторится! И ничего я уже не успею». Впервые она физически ощутила время, субстанцию, которую не изменить, не ухватить, не задержать, и что впереди у нее этого времени уже нет. До этого ночного мгновения ей казалось, что еще есть, что можно откладывать дела, думать о будущем, переносить сроки, наверстать упущенное. Однако теперь ясное осознание того, что уже не все можно успеть и наверстать чего-то для нее очень важного, неожиданно холодной пустотой обрушилось на нее.

Утром голова была тяжелой. Выпив чашку чая с молоком, она отработанными до автоматизма движениями собиралась на работу, мысленно продолжая писать текст или начиная новый. Чаще открывала чат в «Одноклассниках», друг детства из далекой Сибири писал каждый день: *«Дарья, салют! Получил вчера твою книгу, спасибо! Она действительно шикарна. Ты Великая! Я буду читать ее не спеша»*. На что Дарья отвечала: *«Ура! Я люблю, когда подарки приходят по назначению. А по поводу великой, вспомни, как мы с тобой с кручи на лыжах сигали, и вся величавость – долой. Для тебя я – Дашка Матвеева с улицы Чапаевой, дорогая одноклассница, с которой ты вместе сидел за партой»*. И Шурка продолжал: *«Я по натуре оптимист и в стране Рашке (как ее некоторые называют) чувствую себя великоленно. Тот Казахстан, в котором мы родились, это все та же наша Родина, Россия!»* И Даша соглашалась: *«Мне тоже за границей медом не намазано. Я русская до мозга костей, хоть и казахского происхождения. Про родину нашу на все сто согласна!»*

Совещания, на которых она, по Шуркиной терминологии, прожигала жизнь, Дарья Михайловна не любила. Но разного рода заседания при руководящей должности – суровая неизбежность, с которой она, скрепя сердцем, мирилась. И давно выработала способность отключаться от пустой болтовни и думать о своем.

На референдум о сохранении Союза Советских Социалистических республик, состоявшийся в марте девяносто первого, она бежала бегом. Ей казалось, что ее мнение о сохранении СССР не только очень важно, но и непременно должно быть учтено при подсчете голосов. Референдум в стране проводился впервые, она была молодой, искренне верующей не в Бога, а в объявленную демократию и гласность. Ответ на вопрос в бюллетене: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?» был для нее очевиден. Конечно, да! Не сомневалось в этом и большинство граждан, проголосовавших за сохранение союза. Было ли предано их мнение, или Союз не мог дальше существовать как единое государство, но после его растерзания Дарья Матвеева чувствовала себя чудовищно обманутой. Окончив университет в России, она никогда не отрывала себя от Казахстана, физически ощущая связь с родной землей. А больше всего тосковала по родному небу.

И теперь, когда наконец-то она ехала на встречу с одноклассниками предосенним августовским днем, не могла не попросить остановить машину, чтобы выйти из нее и окунуться в небо. Она волновалась, ликуя сквозь слезы, и это ликование тут же находило отклик в ее душе, складываясь в образы:

«Я всегда скучаю по небу Казахстана. Такого неба нет нигде! Небо – шатер от края и до края, похожее на казахскую юрту, куполом накрывшее степь. Это небо я вижу во сне. И проселочную дорогу, покрытую лапками спорыша и мягкой горячей пылью. Годы промчались, а небо – мое небо,

осталось. И сейчас оно накрывает куполом степь и желтые пшеничные поля, отражается в озерах, щедро разбросанных среди степи, на глади которых суетятся дикие утки и грациозно скользят пары лебедей. Кажется, из того же лебединого пуха собраны и кучи облаков, в беспорядке разбросанные по глубокой синеве неба. Я растворяюсь в небе, облаках и степи, ощущая себя сотканной из этого воздуха».

И где-то с противоположного конца большой страны навстречу едет сейчас ее друг и одноклассник Шурка Омелько, поразивший и поражающий ее во взрослой жизни неумемной радостью от самого факта их земного существования до тех общих ценностей, которые, как говорилось в годы их отрочества, привили им в семье и школе. Они мало знали о своих «корнях», не принято было в те годы в своих родословных копать: вдруг предосудительное что-то накопашь, неприемлемое для советской власти. Это взрослым Шурка узнал, что семьи его бабки и деда по отцовской линии еще до революции, когда они были детьми, Петр Аркадьевич Столыпин из Украины вывез. Отчего он до сих пор мог трохи на мове балакать. От бабы Шуры, матери отца, и научился. Краем уха где-то слышал, что другой его дед – по матери, Сидор Иванович служил у Колчака, потом у красных. Разве можно было в советские годы об этом говорить?

А теперь он ехал в сторону своей родины из Сибири, радуясь, что в августе звезды правильно на небе сошлись, и они теперь все встретятся с одноклассниками, а Дюма со своими мушкетерами, тридцать лет спустя, пусть покурит в стороне.

Их долго носило с Дарьей по полям Интернета, ведь надо было рассказать друг другу всю жизнь. На него накатывало вдохновение, и он писал ей целый рОман о том, как в девяносто первом с развалом их общей великой Родины рухнули и его надежды, связанные с работой на оборонном заводе, с получением жилья и благополучием молодой семьи. Страны нет, армия не нужна, оборонная промышленность и работяги, соответственно, тоже не нужны. Полная демократия. *«Это отдельная тема, и я не выпью столько водки, что-*

бы обсудить ее до конца, – писал Шурка. – В девяносто третьем пошел на другой завод, но хрен редьки не слаще. В девяносто четвертом устроился к туркам на стройку за сто двадцать долларов в месяц. Рабочий день двенадцать часов, один выходной в месяц. И у них не посидишь, вату не покатаешь. Хватило меня на полтора года, потом близкий родственник позвал дальше, в Сибирь. Терять было нечего, и мы с женой покатали. В девяностом я все же вытянул один счастливый билет – встретил свою будущую жену. Знаешь, бывает такое, говоришь с человеком и понимаешь, что он твой. Она была и до сих пор остается моей любимой девушкой. Я тебе по секрету, как всегда, шепну: нашим женщинам надо памятники при жизни ставить. Они и в избу горящую войдут, и хобот слону на скаку оторвут. Раньше я думал, что лень – двигатель прогресса, а с возрастом пришел к другому выводу: женщина – двигатель прогресса. Неспроста в мультике мэн обещал любимой достать звезду. Но это лирическое отступление. А если дальше про родственника, то в итоге он нас кинул. Да и что святого было в девяностых? Не нас одних он обманул, потому сейчас и живет в Испании. Инвалид, физически неполноценный, а хватка оказалась железной. И спасибо ему за обман, перед тем как нас кинуть, он сначала поставил меня управлять ларьком, откуда началась моя предпринимательская карьера и появился первый опыт общения с народом и коммерсантами».

Двигаясь навстречу родине и Даше, Шурка радовался, что машину ведет жена, его любимая девушка. У нее это мастерски получалось, а он мог вспоминать и думать. Его трудно сегодня чем-либо удивить. На их с женой глазах прошло много человеческих судеб. Торговля на рынке в девяносто шестом была на улет, деньги у спекулянтов были шальные, и эти шальные бабули башню у народа срывали. Кто-то проигрывал в карты квартиры, машины, кто-то погибал от наркотиков. А чего стоили героические бандиты! Это время он сегодня вспоминал с содроганием. Ведь как на рынке сам начинал: шаровую опору от рулевого наколенника не отличал – элементарные вещи для продавца автозапчастей. Все пришло со временем и опытом. К тому же, он теперь не только токарь постсоциалистического реализ-

ма, при том, что ни токарь никому не нужен, ни его социалистический реализм, он теперь – психолог. Базар дорогого стоит! Народ идет, ему на тебя, мягко говоря, начихать, а тебе нужно этому народу вещь продать. Не продал – сдох!

А что пережил он осенью девяносто девятого? Приехал утром на работу, а половины рынка нет, в том числе и их контейнеров с товаром. Рекламная пауза... она же – шок! Оказалось, чтобы спекулянты, к коим он относил и себя, не разбежались по другим барахолкам, администрация базара ночью втихаря, без лишней огласки перевезла рынок на заранее отведенное место. Кому-то «без огласки», а им с женой – чуть не инфаркт с миокардой. Все их хлипкое состояние в то время находилось в этих контейнерах. Новое место отвели в чистом поле, где нормальные люди не ходят, рядом с ними стояли братья-армяне, шашлык жарили, а в свободное время диких уток по полю гоняли. А поскольку поле было бескрайним, то со временем они смогли открыть здесь три торговых точки, что положило начало его автосервису и магазину жены по продаже автомобильных масел. Тем более что поле постепенно обживалось и застраивалось, превратившись в один из элитных районов с его автосервисом в центре.

Не раз размышлял он по поводу того, почему, как говорится, страна так попала в девяностые, а заодно с ней и он – Шурка Омелько, и Даша, и его лучший школьный друг Сашка, так и оставшийся каким-то неприкаянным. Почему одним удалось остаться на плаву, другие – сгинули?

Звезды сошлись, возможно, не совсем так, как хотелось бы глядящим на них с земли и мечтающим о встрече людям, но темной августовской ночью они, словно светлячки, обсыпали купол, открывая перед Дарьей путь в ее воспоминания. Лелька встретила ее просто, словно она только вчера забегала к ней: «Располагайся. Ужин готов. Баня тоже». А Дарья и на самом деле не покидала ее дом навсегда. Видела во снах, со всеми уголками, где они играли с Лелькой в детстве. И снова бежала во сне по длинной веранде в са-

мый ее конец, где была кладовка – любимое место их игр. На веранде, прожаренной солнцем, всегда было душно. А теперь все окна закрывают выросшие деревья. Дарья вышла на крыльцо, окинула взглядом все светлячковое небо, встретила глазами с Большой Медведицей, как и в детстве низко висящей над притихшем селом. С обратной стороны двора горел костер, сознание волновалось, будоража воображение: «Я наслаждаюсь темным, чуть ветреным вечером, такие вечера могут быть только здесь. Пламя костра, вздрагивая сквозь ветви рябины, пляшет в черноте, создавая иллюзию отрешенности. Дым доходит и сюда. Как не вспомнишь Пушкина: «И дым отечества нам сладок и приятен...» Лелька показалась со стороны двора, обняла ее за плечи и повела в дом.

На базу отдыха на берегу озера они приехали на следующий день уже компанией, когда съехались остальные одноклассники. Было тепло, хотя свежий ветерок постоянно шнырял между ними, и, поживаясь, они набрасывали на себя теплые вещи. Пели «Смуглянку» и «Малиновый звон». Поднимали тост за свою Родину – СССР, и вспоминали слова бессмертного директора школы: «Учиться надо здорово!» И ощущение безвозрастности, освобождение от их пятидесяти пяти лет растворялось в этой ночи. А звездастое августовское небо было так плотно усеяно миллионами серебристых точек, что больно делалось глазам. На берегу озера наблюдали звездопад. Звезды горстями стремительно падали в воду, как всегда не давая никакой возможности успеть загадать хоть одно желание. И тогда Дарья поймала себя на мысли: «Вот встретились мы, не видясь с кем-то больше тридцати лет, и наговориться не можем, и понятны друг другу, как прежде, а живу с соседями на одной площадке десять лет, и не знаю, как их зовут, и необходимости в том не испытываю. Вот ведь, что поразительно. А что объединяет ее с этими людьми, с изменившейся внешностью, за которой кроется то, что роднит их друг с другом и их временем? Объединяет общее место рождения, принадлежность к одному поколению, к его символам, и мировоззрению, и к этой ночи».

Эти запахи пресной озерной воды и степных трав, перемешанные ветром и разбавленные настоем хвои соснового бора, Дарья остро ощутила, когда сидела одна на понтоне, свесив ноги в воду, чувствуя необыкновенную свободу и легкость. Нигде подобного состояния она не испытывала. Она могла любоваться природой России и заморских стран, но нигде не чувствовала себя единым целым с окружающим миром. Она – отдельно, мир – отдельно. И только здесь, свесив ноги в воду с детства знакомого озера, не чувствовала себя «отдельно». Это странное состояние внутреннего взаимопроникновения с небом, водой, ветром, легким шумом деревьев не было похожим ни на одно другое. А поэтому представлялось почти сакральным.

Вечером они все вместе гуляли по окрестностям. Вдруг стало прохладно. Вода в озере потемнела. Волны бились о камни. Ветер властвовал в вершинах сосен. Они шли, и молчали, и говорили. И все было к месту, и лишнего ничего. Триединство как устойчивая форма жизни.

Ночью разразилась гроза. Такая бывает только в этих местах. Задолго до дождя и грома налетает шквальный ветер, зарницы освещают весь горизонт со всех четырех сторон света. Сверкает и сверкает, освещая ярким светом все помещения даже внутри. Дашины одноклассники, устав от эмоций и долгих разговоров, спали вповалку на диванах и кроватях снятого ими коттеджа. Даша спать не могла, стояла у окна, смотрела на не успевший погаснуть костер у соседнего дома и грозу, пытаясь все это запечатлеть и сохранить, конечно, в словах: «Среди черной ночи отсветы костра и всплески молнии, передразнивая друг друга, соперничая с ветром и нарастающим громом, сливаются в чудовищной свистопляске, создавая космическую какофонию звука и света.

Захватывающее буйство непогоды не страшит, скорее – тревожит и пьянит душу. Эти встречи нужны не только для того, чтобы, спустя годы, увидеть друг друга, важнее – не порвать связующую нить. Между собой и этой землей. Почему мы в молодости так остро не испытывали необхо-

димости в этих встречах, потребности друг в друге? Наверное, потому что молодость наша пришлась на девяностые, когда мы бились за существование и растили детей. И совсем не задумывались о стремительности времени. А теперь откладывать некуда... „дальше“ и „потом“ уже может не случиться». Раскат грома сотряс вселенную, молния повисла в расщелине разверзшегося неба, яркая вспышка ударила по глазам. Дарья вспомнила, как много лет назад шаровая молния, пронзив оконное стекло, залетела к ней в редакционный кабинет, ослепив, и, покружившись прямо перед ней, мгновенно исчезла. Она тогда не поверила, усомнилась в происшедшем, как и коллеги, прибежавшие на громкий ее возглас, но оплавленное отверстие в стекле сомнений никому не оставляло. И тогда самая старшая в коллективе журналистка, посмотрев на Дашу, как на инопланетянку, сказала: «Теперь жить будешь долго, шаровая вообще-то никого не щадит». Жить она должна была ради чего-то, быть может, ради этого дня и этой ночи.

Вторые сутки шел дождь. Лелька топила печь, тепло наполняло дом и располагало к бесконечным разговорам. Они жарили рыбу, доедали оставшийся с озера настоящий казахский бешбармак и допивали кумыс. Народ после встречи разъехался, а Дарья с Шуркой еще нужно было навестить родную улицу Чапаева, названную теперь именем



казахского батыра. К вечеру вторых суток дождь замолчал, оставив после себя откровенную слякоть. Шура с Дашей буквально вязли в грязи, утешая себя только тем, что грязь родная. И вот она – их Чапайка, улица, на которой они жили с рождения и до окончания школы. Но, как говорит Шура, теперь привязки к месту почти нет. Дома изменились. Многие обветшали, в том числе, и Дашин.

– С возрастом понимаешь, как коротка жизнь человека, – стоя у родного дома, проговорила Даша хоть и избитую, но только теперь усвоенную ею самой фразу. – Слишком коротка, чтобы исправлять ошибки. Хорошо бы, чтобы о том, что такое «жизнь» предупреждали заранее, лет в двадцать пять, и предлагали на рассмотрение несколько вариантов этой самой жизни. Глядишь, тогда не промахнулся бы.

– Нет, – возразил Шурка, – если бы даже кто-то и рассказал нам «про жизнь», ту, что нас ждет, мы бы все равно не поверили. И все равно бы шли своим путем. Быть может, напролом или стояли в раздумье перед тем столбом, что в сказке – «Пойдешь налево, пойдешь направо, а прямо...», – и как угадать, какой путь выбрать. И шли бы, и совершали свои ошибки, и выживали, как это нам и пришлось.

– Все верно ты говоришь, умищем я это понимаю, но, черт, как хотелось бы кое-что скорректировать. А с другой стороны, одна корректировка потянет за собой длинный хвост. Ведь «если не случилось бы это», то «не произошло бы и того», а за этим еще тысячу «если бы». Ведь так?

Шурка утвердительно кивнул головой.

– Так что корректировка отменяется, – подвела итог Даша. И они пошли дальше.

Совсем теперь нет огромных тополей, выстроившихся прежде вдоль всех домов и защищавших всю улицу от палящего солнца, под которыми в детстве девчонки строили домики, а в юности под шепот великанов целовались. И колонка у Шурино дома, откуда брал воду целый край, стала какой-то уродливой, несуразной. С трудом узнавали они прежние уголки и цветущие в прошлом палисадники, теперь затянутые сорняком и бурьяном. А какой была в про-

шлом их дружная Чапайка! Дарья пыталась об этом рассказать неизвестному читателю: «Я очень любила нашу улицу, дружных соседей, которые воистину в горе и радости были рядом. Вместе справляли свадьбы, провожали в армию, а позже и в последний путь. Никогда в жизни и нигде, ни в одной „загранице“, я не ела вкуснее тех сдобных булочек и пирожков-конвертиков с сухой лесной клубникой, что пекли наши тетеньки-соседки. Пекли и разносили в соседние дома. Мы знали, как друг у друга закрываются двери, где при этом хранятся ключи и в какую сторону открывается калитка в соседнем огороде. Мы жили так, и я не представляла, что жить можно иначе. Конечно, все обусловлено исторически. Но как замечательно, что исторически мы родились и выросли здесь, что носили ситцевые платья, смешные пальто и войлочные бурки, и это не мешало нам дружить, мечтать, влюбляться. Это было время нашего формирования, что позволило выстоять потом».

Вернувшись каждый к себе домой, они писали в чате:

Шурка: *«Даша, приветик! Спасибо за фотки! Эти дни нашей встречи пролетели как во сне».*

Дарья: *«Жаль, что помешала непогода. Хотя дождь дал нам возможность посидеть у печки».*

Шурка: *«У печки посидели хорошо, но маловато. И все же у меня осталось ощущение, что заново родился!»*

Дарья: *«Это была репетиция. Готовься к следующей встрече».*

СОДЕРЖАНИЕ

Героини страшного времени (предисловие)	5
Клетка для чайки	11
Сквырла	37
Исповедь умершего мужа	56
Геката	71
Четыре дела Бахыта Калиева	79
Кассета	102
Воспоминание об осени	108
Бедная Лиза, царевна Софья и вор в законе «И звезда ты моя сумасшедшая...»	114 158
Инициация	235
Как мне жить без тебя?	277
О любви и войне всерьез	295
Противоположности не сходятся	330
Места гнездования	348
На том берегу	388
Если б не источник, засохла бы река	415
Старая тема на новый лад	425
Явь и миражи Вероники Радужной	449
Фамильная реликвия	465
Счастливый билет	486
Связующая нить	501

Художественное издание

ПАЭГЛЕ Наталья

ЖРЕБИЙ

Художник Н. Баканова

Редактор О. Адясова

Корректор Е. Карлушева

Дизайн обложки Н. Баканова

Дизайн-макет, вёрстка А. Тюменцева

Подписано в печать 03.03.2020. Формат 84×108/32. Бумага офсетная.
Гарнитура *Alegreya, Fira Sans, Corbel*
Уч.-изд. л. 26,37. Усл. печ. л. 27,09. Тираж 200 экз. Заказ 11737

Отпечатано в Универсальной Типографии «Альфа Принт»
620049, Екатеринбург, пер. Автоматики, 2Ж
Тел.: +7 (343) 222-00-34. Эл. почта: mail@alfaprint24.ru



Наталья ПАЭГЛЕ

член Союза журналистов и член Союза писателей России. Автор нескольких книг и множества статей в различных сборниках. Лауреат ряда публицистических и литературных премий: «Малой Родины» Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (2007), Всероссийской литературной премии им. П. П. Бажова (2009), Всероссийской Южно-Уральской литературной премии (2015), Всероссийской литературной премии им. Мамина-Сибиряка (2017).

«Книга „Жребий“ – полифонична, многотемна и многопланова, как и сам предмет ее литературного исследования – девяностые годы на постсоветском пространстве.

Книга „Жребий“ во многом исповедальна. Но исповедь эта – особая, автор словно совершает ее за всех тех, кто прошел через страшное время, и во имя их всех, укрепляя все-таки веру в то, что жизнь прожита не напрасно. Кажется, что девяностые годы не оставили им выбора, всем выпал один жребий. Но в то же время каждому из героев этой эпохи выпал и свой, личный жребий, и каждый распорядился им по-своему».

*Вадим Осипов,
член Союза писателей России*